

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2003

6

2003

# **НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР**

## **БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);**  
**ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);**  
**ЮРИЙ БУЙДА. Кёнигсберг (роман);**  
**ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);**  
**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**  
**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;**  
**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**  
**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**  
**ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Избранные места для переписки с  
друзьями (роман);**  
**НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Рассказы;**  
**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**  
**ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);**  
**ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА. Непобедимый (стихи);**  
**АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический  
роман);**  
**ЕЛЕНА ИСАЕВА. Первый мужчина (театр.doc);**  
**ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;**  
**ГЕОРГИЙ КАЛИНИН. Пробуждение (рассказы);**  
**СВЕТЛАНА КЕКОВА. Пленение инеем (стихи);**  
**НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);**  
**ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);**  
**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**  
**АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Заболоцкий и Пастернак (эссе);**  
**ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);**  
**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Белый дом без политики (повесть);**  
**АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);**  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);**  
**АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;**

(См. на обороте)

**ВЛАДИМИР НОВИКОВ.** Моншер (роман);  
**ОЛЕГ ПАВЛОВ.** Чаровщина;  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ.** Заморозки (повесть);  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ.** Пустырь (повесть);  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ.** Филологические новеллы;  
**РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН.** Средокрестия Москвы (эссе);  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН.** Избранник (роман);  
**МАРК РОЗОВСКИЙ.** Театральный человек (документальное повествование);  
**ДИНА РУБИНА.** На солнечной стороне улицы (роман);  
**РОМАН СЕНЧИН.** Вперед и вверх на севших батарейках (повесть);  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА.** Период (роман);  
**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ.** Новая проза;  
**АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ.** Игры на свежем воздухе (рассказы);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.** Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»;  
**МАРИНА СТЕПНОВА.** Рассказы;  
**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ.** Бабушкин спирт (повесть);  
**АЛЕКСАНДР ТИТОВ.** Прощание с гармонистом (роман);  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.** Сансаныч (повесть);  
**АНТОН УТКИН.** Новый роман;  
**НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ.** Стихи (из наследия);  
**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ.** Откос (повесть);  
**ГУСТАВ ШПЕТ.** «Я пишу как эхо Другого...» (письма к жене);  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА.** Новая повесть;

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК**, **БАХЫТА КЕНЖЕЕВА**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**, **ЕЛЕНЫ ШВАРЦ**, статьи, обзоры, эссе **СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА**, **ДМИТРИЯ БЫКОВА**, **ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ**, **АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА**, **ИРИНЫ СУРАТ**, **ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО**, **ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

**Адрес редакции:** Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
**Телефон/факс:** (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
**E-mail:** novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2003. Пресса России». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходиться за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблिकейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА — Предзимнее укрывание роз, стихи	7
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Третье дыхание, повесть. Окончание	11
ГРИГОРИЙ КОРИН — Из осколков дней, стихи	65
МАРИНА ПАЛЕЙ — Вода и пламень, рассказ	69
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Цикада в горсти, стихи	81
ВИКТОР ПАНОВ — И там жили, рассказы. Публикация А. В. Пановой	88

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

КИРИЛЛ ЯКИМЕЦ — Окно в Америку	128
АННА АРУТЮНЯН — Стекланный занавес Америки	138

### ОПЫТЫ

ОЛЬГА НОВИКОВА — Женщина с ее проектами. Питер и поэт. Из цикла «Вымыслы»	149
---	-----

### КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Пора гасить костры	164
------------------------------------	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Давид Самойлов. Из «Литературной кол-лекции»	171
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Шеваров. Неостывшие письма	179
Дарья Рудановская. Новый век. Новая литература?	184
Леонид Дубшан. Комментарий к кустарнику	187
Михаил Эдельштейн. Серебряный век: женский взгляд	193

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	196
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	202
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	208

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	215
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	219
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА  
С 70-ЛЕТИЕМ!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА,  
СТАВШЕГО СТИПЕНДИАТОМ  
АКАДЕМИИ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ  
И РОСБАНКА!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

---

---

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА



## ПРЕДЗИМНЕЕ УКРЫВАНИЕ РОЗ

### Террариум

Ты молчишь так давно, что уже не больно:  
медленная мучительная анестезия,  
потеря ориентации, гипноз, нирвана,  
какая разница — на обед или на ужин.

Одиночество ходит странными путями —  
не только дикой голизной пустыни,  
но стриженным изумрудным газоном тоже.  
Сейчас оно приткнулось под нишей кроной  
дерева, которое засуху переждать не в силах  
и просит, чтоб любили его и жалели,  
и заплакало бы — да не хватает влаги.

Интересно, куда ты уплываешь ночью?  
Какие миры тебе соприродны?  
На каком языке говоришь сам с собою?  
Наверное, для лингвиста он совсем прозрачен —  
в нем нет понятий жалеть и плакать,  
а все глаголы — только мужского рода.  
И если мы с тобой одной крови,  
то я попрошу себе другую шкурку.

Так и спи, мой стеклянный, чешуехвостый,  
даже во сне излучающий совершенство.  
Не поднимай век, а то увидишь  
прозрачную тоненькую лодыжку,  
бисерную кожу, одышливое горло —  
тварь, внимательно следящую из бездны  
круглым золотым лягушачьим глазом.

### Море в декабре

Это текст, записанный на песке:  
строчку слизывает волна, не дав ей достичь финала.  
Стая нырков жирует невдалеке,  
таская рыбку из бездны мало-помалу.



Испытываешь меня — ну что ж, пускай,  
 закаляй сталь, завязывай в узел, гни подковы.  
 На декорациях облезла краска (печаль? тоска?) —  
 в старых сыграли, теперь поиграем в новых.

Тяжелое солнце, хрипло дыша, ползет в зенит  
 и падает, насмерть разбившись о ртуть залива.  
 Ледяное эхо вертикально во мне звенит,  
 случайные чайки отражают его пугливо.

Водопад застывший, висящий на волоске  
 (при нуле по Цельсию), — такие дает уроки!  
 Под ногами хрустят ракушки — их тысячи на песке,  
 выброшенных, ненужных, переживших все сроки

(разбитые амфоры бессмысленной красоты  
 с нутром остывающего перламутра),  
 хрупких, как я, неодолимых, как ты,  
 и мертвенных, как последнее наше утро.

\* \*  
 \*

По пустым просторам гуляет вьюга —  
 октябрю не хватило накала, что ли?  
 А поскольку и нам не хватило юга,  
 мы с тобой на север идем, подруга,  
 где, мерцая, светится алым поле.

Красный глаз мертвеющего светила  
 озаряет цветом тягучей боли  
 лик земной, склоненный вполоборота.  
 Не винись, фортуна, — я все простила —  
 если воздуха родины не хватило,  
 мы его поищем в других широтах,  
 на просторах иной, ледяной Эллады,  
 в соляных склепах, оплывших фьордах,  
 где припай прошибают морские гады  
 с отпечатком ада на узких мордах.

Где резвится полярный Эол колючий —  
 ртутный блик ликует на дне провала,  
 однокрылое слово висит над кручей,  
 зацепившись плечом за сухие скалы;  
 стужа рвет покровы когтем железным,  
 мы не верим уже никаким ответам —  
 сделай вдох ледяной перед вечным летом —  
 лед горит и брызжет пурпурным светом,  
 темно-красной тушей сползая в бездну.

Ты же слышишь воловье гуденье крови,  
 моя летняя, вечная, золотая,  
 мерзлоту горящим крылом сметая,  
 на одной любви и на честном слове  
 в сияние северное влетая.

## На предзимнее укрывание роз

## 1

С северным ветром делить ледяную постель —  
 странные игры, но если означить цель —  
 приноровиться к узам грядущей стужи,  
 к мертвенной вечности — выбор не так уж плох.  
 Горлом стеклянным впивая морозный вдох,  
 помню о том, что когда-нибудь станет хуже.

Мы не южане — от северных матерей  
 нас принимал в подол акушер-Борей,  
 в слабые вены вplывая ртутью ползучей,  
 градусник в обморок падал ниже нуля,  
 жестью гремела торжественная земля,  
 грудь подставляя заступу — так, на случай...

Но жизнь уступчива — ее выжимают на край,  
 а она все пуще ветвится — кому-то рай  
 и в глухой воде под панцирем Антарктиды.  
 Я тоже выживу — в ледяном аду,  
 и, жидкий азот вдохнув, снова к тебе приду,  
 заморозив до времени слезы, шипы, обиды.

## 2

В нашем краю даже реки впадают в лед,  
 застывают в желе аорты подземных вод,  
 и, бинтуя стебли к зиме мешковиной грубой,  
 я не жду возвращенья полуденного огня,  
 но остаток нежности — вот что спасет меня  
 от лихой зимы, вечности тонкогубой.

Ну что тебе стоит — укрой меня, защити,  
 я побег предзимний — тревогу мою прости.  
 Обведу твою щеку движением осторожным  
 и, боясь ответа, скажу тебе не о том,  
 что болит внутри, — о том, как устроить дом  
 под сквозной дерюжкой, ветхим клочком рогожным.

\* \*  
 \*

Нарастает лед. Жизнь промерзает до дна.  
 В голове бардак — огненная страна,  
 вулканический выброс, горящий фосфор тоски.  
 Зима, зима — что ослабит твои тиски?  
 Огонь и лед — ничего себе перепад,  
 амплитуда крови, прямая дорога в ад.  
 Не рвись, золотая рыбка, не злись, вмерзай в стекло,  
 всех давно поймали, тебе одной повезло.  
 От них — перышки, чешуя, рыбий скелет,  
 а тебя найдут нетронутой через тысячу лет.

### Теперь

Пока я сидела в позе лотоса,  
мой муж наслаждался жизнью тридцать три раза,  
потерял подружку, нашел другую,  
теперь впал в депрессию, уже надолго.

Пока я сидела в позе лотоса,  
сын изучил два огромных талмуда —  
древнегреческий и древнекитайский,  
полюбил лесбиянку, послал ее к бесу —  
теперь обнимается с бас-гитарой.

Пока я сидела в позе лотоса,  
моя сестра сменила точку обзора —  
в Лос-Анджелесе у нее престижная вилла,  
две машины и новый друг ежедневно,  
раньше звонила — теперь перестала.

Пока я сидела в позе лотоса,  
три государства вышли войной друг на друга,  
террористы в бассейн подложили бомбу,  
на светской тусовке запахло кровью  
и открылось новое кладбище в микрорайоне.

Пока я сидела в позе лотоса,  
надо мной сместились знакомые звезды,  
пролетел век, за ним еще — быстрее, быстрее,  
одно мироздание кончилось — пошло другое.

Я открыла глаза — а на водной глади  
миллионы лотосов колыхались,  
и я теперь была самым младшим,  
и жестокое солнце палило с неба.



---

---

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

\*

## ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ

*Повесть*

### Глава 13

**Д**авно не было такого глухого утра. Все словно заложено ватой. Вспомнил, проснувшись: такой выпал вчера снег! И не просто выпал: я стоял на коленях под ним, глядя в небо, словно пытаюсь по нитке с белыми узелками подняться туда. «Помоги оказаться ей дома! Все остальное — я сам!» Погорячился под снегом! Что «остальное — я сам»? Сам-то в порядке ты? Дом-то — в порядке? Не сойдет ли тут она снова с ума?

Вдев ноги в тапки, кряхтя, прошаркал на кухню. Холодильник. Первый бастион. Оставить все так, как при ней лежало? Все эти крохотные скомканые целлофановые мешочки, которые она, озабоченно что-то нашептывая, складывала-перекладывала? Некоторые из них уже вздулись, несмотря на холод. Представляю, сколько там киснет всего!

При всей ее как бы тщательности, она выкидывала в ведро или забывала на прилавке шикарную свежую еду, а эту — перекладывала и с обидой — до слез — выкидывать запрещала! Честно говоря, «собачка» у нее уже тут завелась. «Ты, Нонна, гений гниений!» — весело ей говорил. Смеялась сначала: «Ты, Веча, мне льстишь!» Потом — плакала. Теперь ее «собачка» там. Триста у. е., что отвалил мне Боб за безуспешное воспевание сучьев, целиком почти на ее лекарства ушли. Есть толк? Вообще, если взглядеться, то есть... На мой пакет с передачей посмотрела и сказала: «Став сюда!» Заклинание наше. А в заклинаниях этих — наша жизнь. Как жизнь Кашея в иголке, спрятанной в яйце.

Жили мы тогда еще в Купчине, на болоте. Пустые прилавки. Жуткие времена. Но самое отвратительное было дело — бутылки сдавать. Стояли по многу часов. Сырость, туман. Измученная, плохо одетая толпа. Сколько перенесли издевательств! Почему сделано было так, что полдня надо было мучиться за эти копейки? И не денешься никуда. Хоть вой! По длинной очереди вдруг слух пронесился: молочные не берут! Почему, как? Без комментариев. Некоторые только с молочными три часа тут и стояли. И снова — удар: винные по ноль семьдесят пять не берут! Стон волной проходил. Кто же так издевался над нами? За что? Окончательно продрогнув, сломавшись, медленно спускались по осклизлым ступенькам в подвал. Ступенька — полчаса. Вместе с Нонной обычно стояли, морально поддерживали друг друга. И — наконец-то! Приемное помещение. Желанный подвал. Кислый запах опивок в бутылках. Лужи на полу — почему под крышей-то лужи?! Без комментариев — как и прочее все! На весу тяжеленную сумку держать? Не в лужи ведь ставить. И вдруг однажды — как раз день моего рождения прошел — тяжелую сумку доволоч. И старушка обтрепанная, в углу, с жалкой кошелкой, засуетилась. И засияла вся! «Да ты

ня дяржи, ня дяржи! Став сюды!» — освободила сухой островок, сама вся в стенку вжалась. Заботливо так и радостно на нас глядела, рот сухою ладошкою вытирая. С тех пор, стоило нам сказать где-то «Став сюды!», сразу же легче становилось. Вспомнила она! Размечтался я...

Ведь Нонне благодаря и на Невский мы переехали — чиновник, седой волчара, очаровался вдруг Нонной — наверное, как мы когда-то той подвальной старушкой — и квартиру эту, на которую кто только не точил зубы, нам дал!

Отец, шаркая, появился, с банкой жидкого золота в руках, сверкая ею на солнце. Когда еще Нонна в магазин ходила — всегда почему-то дожидался ее возвращения и ей навстречу, сияя банкою, выходил.

— Ну почему, почему он в другое время ее не может вылить? — шептала возмущенно она. Так постепенно накапливалась насада. И — срыв!

Как же все это размагнитить? Отец, похоже, не собирается поступать-ся принципами: раз Нонны нету — на меня с этой банкой пошел.

Его накал тоже можно понять. Вся жизнь в самом центре был бурной жизни: посевная, сортоиспытания, скрещивание, уборка — люди, машины, споры... теперь только так может страсти вокруг себя разбудить. Методом шока. Раньше методом шока растения менял — высеивал, например, озимую рожь весной, смотрел, что будет. Теперь смотрит на нас.

Сухо раскланялись, и он ушел в туалет. Даже мечтать опасно Нонну сюда возвращать. Все, что в больницу ее привело, очень быстро здесь по новой налипнет. Не только холодильник наш чистить надо, но и нас. И делать это мне придется — больше некому. Но как? Нормально — как же еще?

Нашел кусочек сыра, кончик батона, щепотку чая. С этого и начнем. И когда отец вышел с опустошенной банкой, к столу его торжественно пригласил. Батя растрогался — последнее время мы питались как-то отдельно, он рано встает, а тут вдруг — такая встреча! Заметался с банкой в руках, не зная прямо, куда и поставить эту драгоценность перед тем, как сесть за стол. Ласково отнял у него банку, поставил пока на сундук ее, усадил его. Ну... приступим! Подвинул бутерброды, чаю налил.

— Ты во сколько вчера пришел? — произнес он вдруг. Я чуть не подпрыгнул. Хороший разговор! Я к нему — с лаской, а он насадет на меня, родительское внимание проявляет, несколько запоздалое. В те годы, когда я больше в его руководстве нуждался — с двадцати моих лет до шестидесяти, — он больше блистал своим отсутствием, проживая в другой семье. Позднонато наверстывает. Сейчас уже скорей я должен его воспитывать! Сколькo мы говорили ему, чтобы банку с золотой своей жидкостью не обязательно бы демонстрировал нам, в другое время выливал — ранним утром, когда мы еще спим... он же, по агрономской своей привычке, рано встает. Бесполезно! Упрямо прется с банкой на нас, явно уже демонстративно. Всю жизнь на своем настаивал, и, наверное, правильно. Теперь-то должен он хоть на чем-то настоять? С нами борется. Одну уже поборол... но та совсем слабенькая была. Она и сама себя поборола.

А я с ним бороться не буду. Если мечтать о Нонне — надо хотя б попытаться тут мир установить.

— Да нормально пришел, не поздно, — ответил я. — Ты вчера вроде лег пораньше? — заботливо спросил.

В глазах его мелькнуло грозное веселье: что-то придумал наверняка. Сейчас выскажет. Не будем портить ему торжество — я заранее улыбнулся.

— Ясно, — произнес батя. — «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет»?

Когда-то шпарил наизусть главы «Онегина» — но и теперь цитатку неслабую подобрал. Гордясь своей проникательностью, намекает, что, сплавив жену в больницу, провожу время в кутежах. Ну что ж, если ему так нравится... да и памятью своей не грех ему погордиться. Сделаем, как ему нравится: я, лукаво потупясь, вздохнул. Тут уж он совсем распрямился, мохнатые свои брови взметнул, очи засверкали. Орел!

— Да-а! — Он оглядел наш скромный стол. — Пищу добывать нелегко! Я вздрогнул, но в руки себя взял. Понял, что он сейчас любимую свою лекцию начнет: «Культурные растения — основа питания человечества». Если бы спокойно прочел, а то будет нагнетать, постепенно распаяясь, и кончит надрывным криком, тем более если ему возражать! А я возражаю, не могу удержаться, уж слишком настырно он насилует очевидные факты в пользу своей теории. Удержаться не могу... характер бойцовский, отцовский. Как тут хрупкой Нонне жить? Она и не живет больше. Мы тут теперь бушуем. Готовясь к схватке, я воинственно стулом закрипел, поспоровистей усаживаясь. Ну давай... начинай! Но очи отца вдруг ласковыми, прелестными стали — это он умел.

— Слушай! — коснулся ладошкой колена моего. — У меня к тебе будет просьба.

Не «будет просьба», а, видимо, уже есть? Давай! Все давайте!..

— Слушаю тебя, — ласково произнес.

— В собес не сходишь со мной?

При чем, спрашивается, здесь частица «не»? «Не» сходишь? Чистая демагогия.

— Конечно схожу, батя. А в чем дело там?

Конечно — все выдюжим! А куда денешься? Наше место — в собесе.

— Да понимаешь ли... — Он мучительно сморщился. — ...Пенсию убавили мне. Почти в два раза.

Новое дело! Казалось, что хоть у него все прочно.

— Не может быть!

— Да вот представь себе! — заорал бешено. Помолчав, снова коснулся колена моего, набираясь, видимо, у меня сил. То есть — мои отнимая. Слегка успокоился. Продолжил скромно: — Раньше около трех платили — а теперь полторы.

Ну буквально все рушится. Не удержу. Но — удерживай!

— Не может быть, — тупо я повторил.

— Да что ты заладил! — снова он заорал. Да, огня еще много у него, даже завидно. Сгонял в комнату свою, с распластанной сберкнижкой явился, сунул мне в харю: — Гляди!

Да-а. Залюбуешься! Действительно, последняя строчка в книжке — тысяча пятьсот. Видимо, постановление такое вышло: «С целью улучшения... и дальнейшего углубления... населения временно уменьшить пенсию профессорам со стажем работы по профессии сорок лет и больше в полтора — два раза». Я-то здесь при чем? Последнее я вслух произнес, кажется, — он гневно вытаращился:

— Как это — при чем?

Мол, вы затевали перестройку! Теперь — отвечай.

— Вот, Надя мне все бумаги собрала, на селекстанцию ездила! — Папку приволок.

Аспирантка его, сама давно уже на пенсии. Умеет он нагрузить. Раньше — по полю за ним бегали, теперь — гоняет тут. И меня загоняет. Но спорить с ним? Нет. Я тут гармонию должен наладить, прежде чем о большем мечтать.

— Ну что же... поехали. — Я с хрустом поднялся. Своей пенсией бы надо заняться, не пойму, почему маленькая такая... опосля!

— Поехали! — азартно батя вскочил.

Небольшая увеселительная прогулка. Мне, конечно, уже в больницу бы надо — но вот это, видимо, будет повеселей.

Небольшая борьба уже в прихожей началась: батя норовил выскочить в летней курточке, я удержал его:

— Опомнись! Снег уже лежит!

— Нет никакого снега!

Пришлось скручивать его, вести к окошку. А это только начало пути.

— Это ж разве снег!

Его не переупрямишь. Хотя наст до подоконников первого этажа достает... «Нет снега!» Но в пальто таки вляпал его!

На круговой нашей лестнице он упрямо стирал рукавом пыль со стенки!

— Иди посередине — я тебе помогу! — ухватил его.

Вырвался! И это только начало пути!

Вышли во двор. Сощурились от сверкания и сияния. Но снега, «конечно, нет». Проложена по голубому насту глубокая белая дорожка. Но снега, «конечно, нет!» Как-то я с ним тоже завелся, настроился на спор, на борьбу. Характер бойцовский, отцовский. И тут же и начался бой. Поперек пешей дорожки шла «звериная тропа», глубокие круглые провалы... Конские следы? Или — следы кабана? Впрочем, видны были и кое-какие следы более весомые и неоспоримые — жирные, золотые «конские яблоки» с торчащими из них пушистыми травками. Мы четко, как я полагал, шли мимо — и вдруг батя рванулся туда: еле ухватил его за полу. Он такой — специально наступит, чтобы потом мрачно морщиться: «Черт знает что!» Но я грубо пресек эту попытку. Тем более — чувствовал свою вину за появление тут конского кала. Привел «на свою голову» лошадь. «До головы», впрочем, пока не дошло — но дойдет, если будет так развиваться. Батю утащил от соблазна, провел его, протащил под гулкой изогнутой аркой (снегу тут мало было — принесен лишь конскими и людскими ногами), на улицу выволок. Вообще, времени не так много у меня!

На улице он снова уперся: гулял всегда один, по глубоко продуманной научной системе. Выйдя из ворот, нюхал воздух, соображал, откуда сегодня дует ветер, и шел навстречу ему: то прямо — на Дворцовую площадь, то направо и назад — на Мойку. Сбить его было нельзя, он якобы выяснил в результате исследований, что в той стороне, откуда туда ветер, меньше газа машин — сдувает оттуда. Трудно сказать. Вряд ли его теория подтверждается практикой — но, ей-богу, некогда проверять. Пусть он сам один как хочет гуляет, подтверждает или опровергает свои теории — но сейчас-то не до гуляний. Почти силой до Невского его дотащил. Это я, наверное, должен упираться — мы ведь по его делу идем. Но его трудно переупрямить, раз что-то себе в голову вбил. Удивительно: крестьянский сын, из деревни, всю жизнь ходил агрономом по полям — и так прихотливо себя ведет, скрупулезно так о здоровье своем заботится. Странно, но факт. И факт, наверно, полезный — именно из-за тщательного «принюхивания к воздуху» так себя и сберег. У крестьянского сына такая «бережливость» себя — но мне, увы, не досталось этого шанса, мне часто как раз в нехорошую сторону надо идти. И не упирайся, батя, — двигаемся-то как раз по твоим делам, крестьянское свое сибаритство подальше засунь! Там, куда ты рвешься, с «наветренной стороны», нет, увы, собеса! Собес, увы, там, куда ветер все газы сгоняет, — нам, увы, туда. Через весь Невский, крепко загазованный, через площадь Восстания, где вокзал, и — на Старый Невский, в собес. Там тоже загазовано не слабо, но ты же сам надумал ехать туда.

Во дворе была тихая зимняя сказка, деревенская почти, с «конскими яблоками», — а тут скрип, треск, вой. Снег размазан в грязную кашу. Гуляй, батя, ты этого хотел! Маршрутку я резко остановил — точнее, она резко остановилась: не ожидал, что она встанет среди скопища машин. Сзади загудели, засигналили на все лады. Влезать надо быстро. Сдвинул многотонную дверцу, запихивал батю туда — но он неожиданно расперся ручками-ножками, как Жихарка, которого в печку суют, кидал на меня через плечо бешеные взгляды: да не туда! Пришлось насилie применять, отрывать от железа руки. Наконец запихнул. Он продолжил и в маршрутке протестовать, но я уже с ним не спорил, свисал с креслица, тяжело дышал. Это еще начало маршрута!

Не признавал он и собес, долго в парадном упирался. Слава богу, что такие рейды нечасто у нас.

Затащил его в темный коридор, усадил в кресло. «Вот тут сиди!» Пару раз вскакивал, буйно протестовал — я не вникал уже, тупо ждал, когда наша очередь подойдет в заветную дверцу. Тут многие себя буйно вели, то и дело кто-то пытался прорваться: активная жизнь у людей уже кончилась, а силы есть. Каждый, видно, считал, что он особенный, рассиживаться ему некогда — пусть старики тут сидят! И я пару раз порывался, но после — уселся... А ты-то кто? Не старик? Дыши ровно. Вот так.

Всегда какая-то радость нас ждет: инспекторша очень любезная оказалась, сразу в компьютере батю нашла.

— Чем же вы недовольны, Георгий Иванович? У вас самый высокий пенсионный коэффициент.

— Самый высокий? Зачем только вы сидите тут! — гневно поднялся. — Вот! — сберкнижечку свою распахнул.

— Что ж вы плохого в ней видите, Георгий Иванович?

— Как? — выкатил свои бешеные очи. — По-вашему — это ничего? Вдвое урезали пенсию! Это как?

— Где вы видите это, Георгий Иванович? — все так же любезно произнесла и даже головкой к его могучему «котлу» прильнула. — Внимательней надо смотреть!

— Что — смотреть? Вот — последняя строчка. Напечатано — тысяча пятьсот. А было — три тысячи! Это как?

— Но тут же есть и *предпоследняя* строчка. В ней тоже напечатано — тысяча пятьсот тридцать два.

— Так это за прошлый месяц!

— Да нет, Георгий Иванович, за этот. Смотрите — то же число. Видите? Просто пенсию вам через два разных банка переводят теперь. Так им удобнее — может быть, налог меньше. Но вас это никак не затрагивает. Поняли меня?

— Нет! — произнес яростно. Поражения своего не признает никогда.

Но я-то все понял уже: с дурью своей вломились, время отняли у очаровательной женщины!

— Пошли, батя! — потянул его за рукав.

Тут, кстати, и меня маленькая радость ждала. Красавица эта, сама любезность, — как ей сил хватает с такими вздорными людьми говорить? — без всяких просьб и меня на экране высветила.

— Валерий Георгиевич?

— Да ничего... ладно... мы пойдем! — тянул отца за рукав, тот упирался, хотя тоже все понял, но последнее победное слово должно быть непременно за ним.

— А вот к вам, Валерий Георгиевич, вопросы есть!

Интересно.

— Вы сейчас работаете — или уже уволились?

Неужели так выгляжу, что и работать уже не могу? Но она ж догадалась!

— В смысле — служу ли? — пробормотал.

— Вот именно, — улыбнулась она. — С киностудии вы уволились? Сколько вы проработали там?

Да! эксплуатировался. Было дело. Питались оскорблениями, пили вино обид. Выросли, с друзьями вместе, неплохими специалистами. Уволили год назад — видимо, убоявшись блеска, ссылаясь на пенсионный возраст.

— Уволили в прошлом году, — я признался.

— Вот видите, — она обрадовалась, — а указано, что вы еще работаете!

— И что?

— Неполная пенсия тому идет, кто еще работает. А теперь — полная будет!



Это я удачно зашел.

— Спасибо.

Признал свою ошибку. Полный пенсионер! Но батя свою ошибку ни-почем не признает!

— Надежда эта — веч-чно напутает, — с досадою бубнил.

— Это ты напутал, ты! А она, наоборот, все сделала для тебя — хоть и напрасно. Бумаги все для тебя собрала. Стой! Не выкидывай! — (Был сделан такой яростный жест.) — Все. Поехали.

Лютует батя.

— Куда?! — он вытаращился.

— А хотя бы в сберкассах! — я рывкнул. — Пенсию свою получи!

И мне, за труды мои напрасные, немножко дай — бедность уже взяла за горло!

«...воруют все, кому не лень», — бормотал он еще в коридоре, хотя, как культурный человек, мог бы уже признать, что не прав. Но не признает!

— И-и-и! Верно! Воруют! Делают что хотят! — охотно подхватила бабка, оказавшаяся рядом. Уходим отсюда, пока не поглотил нас недовольный народ, пока не сделались мы неотделимой его частицей. Прочь!

Обессилел я. Вышли на улицу. Хотел тут сказать я отцу, чтобы он повнимательней немножко сделался. Но — не стал. Только поругаемся. А все равно — мне же потом мириться. Все — на тебе. Держи моральный вес-то!

— Все отлично, батя! — потрепал его по плечу.

...Второй раз мчусь через это же самое место. Правда, сейчас без бати уже. Но особого облегчения не чувствую: в больницу, не в театр. Помню тот день, когда рулоны туалетной бумаги принес ей как особую единицу измерения. Шесть рулонов времени прошло! Дела — без особенных изменений: то вроде полегче ей, то — потяжелей.

Чем бы порадовать ее? Увеличением моей пенсии? Может и не понять. Как Стас, ее доктор, мне сообщил, она тридцать четыре года себе дает. Сколько же мне сейчас, интересно? Скоро, наверно, в детство впадем!.. Держи моральный вес-то!

На пересадке у Лавры, под памятником Александру Невскому, конные нищенки обступили меня, теснили грудью (своего коня), требовали «на сено», предлагали прокатить. Кругом, на тротуарах и мостовой, были груды экологически чистого навоза, но он мне уже несколько надоел. И потом — часто ездить верхом слишком экстравагантно. И, проскользнув между амазонками, я нырнул в ободранный подкидыш, вдохнул родной, волнующий запах бензина. Нормальная жизнь! На краю площади иллюминация кончилась, и мы въехали во тьму.

Почему же так шершаво жить без нее? Мы с отцом смотрим друг на друга, как в зеркало, и приходим в ярость. Лишь упрямото, нахрапистость! Я пытаюсь это как-то смягчать — а он даже не пытается!

Ругались три дня назад: вышел к ужину торжественно-мрачный: «Слышал, на Васильевском пожар, ТЭЦ сгорела, весь район без тепла и электричества!» — «Слушай! — не выдержав, заорал я. — Тебе мало наших семейных неприятностей — надо еще из телевизора тащить?» Он гордо выпрямился. Явно программировал такой ход событий. По резким эмоциям скучал, сильным событиям... но таким, которые желательно не касаются непосредственно его самого. «Я лишь констатирую факты!» — свою коронную фразу сказал. «Не те факты ты констатируешь! — устало произнес я. — Не все факты надо констатировать!» — «Не понимаю тебя!» — оскорбленный, вышел.

Сотрем друг друга в песок. Она как раз своими веселыми нелепостями смягчала нашу жизнь, на нее злоба вся изливалась — и тут же хотелось ее простить. После ругани она, расстроившись, удерживая слезки, надувала мячиком свои красненькие щечки, резко выдувала. «Ну ладно! Хватит!» —

сразу же хотелось по черепушке ее погладить. Помню, как однажды я решил, морально совершенствуясь, бюст Толстого из кладовки переставить на свой рабочий стол. Ходит все время пьяненькая — может, бюст великого моралиста ее устроит? Пачкая белым ладони, поднял этот бюст — и чуть не выронил: был он пустой изнутри, и в нем «маленькая» стояла! Вот тебе и «моральный авторитет» — я вдруг развеселился. «Маленькую» убрал, а бюст на место поставил. И потом, тихо улыбаясь, слушал, как ходит она по коридору, замедляя шаги у кладовки, потом, не решаясь, мимо проходит и снова возвращается. Затихли шаги. Дверца заскрипела. Буквально замер я в предвкушении... чего? Долго сопела своим носиком озабоченно, видно, тяжелый бюст приподнимая, — тоже трудится человек на своем фронте! Потом — довольно долгая тишина — я торжествуя хихикал. Потом — тяжелый стук опущенного бюста, не оправдавшего надежд. Пауза. «Умный, ч-черт!» — восхищенный шепот. Уже понимая, что я слушаю, ловко на мировую идет. «Умный, ч-черт!» — это у моей двери, чтобы слышал я. Комплимент этот, надеюсь, относится не к Толстому, а ко мне? И сейчас, в темной маршрутке, вспоминал, улыбаясь. Так вот и жили мы. Неплохо, как теперь вспоминается.

Кончилось все это плохо, конечно. Но ведь хороших «концов жизни» и не бывает, наверно? Но неужели это — конец? Третье дыхание? А ты что б хотел? Чтоб тебе несколько концов изготавливали: этот не нравится, давай другой? Нет уж. Такой, как заслужили. Гибнем от того же, чем жили. Нормальный ход. Обидно, наверно, ни за что погибать, а мы — как раз понятно за что! За прелести свои, теперь сгнившие. Так что, Пигмалион-реаниматор, кончен твой труд! Из воспоминаний кашу не сварить! Они только в головенке твоей остались — больше нигде. А она, интересно, помнит? А толку-то что? Как в самом начале мне Стас сказал: «Деменция. Разрушение личности». Из черепков горшок не лепишь, чтобы суп в нем можно было варить. Вот если бюст Толстого расколется, то, наверно, его можно слепить. А живое, веселое, бодрое существо — из черепков-то — навряд ли.

Неужто не выберется она сейчас? Всегда ж выкарабкивалась — из самых жутких ситуаций, которые, как сейчас, сама же и создавала. Именно на лихости, бесшабашности и выбиралась: «Нисяво-о!» И все действительно — обходилось. «Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга!» — это ж я при ней сочинил. И что же? Кончилась жизнь?

Помню, две недели прогуляла на режимнейшем предприятии, где работала после института. Бормотала с утра: «Я договорилась, договорилась! В библиотеку иду!» Выгонять, на мороз? И так — две недели. На режимнейшем предприятии, где вход и выход на табло отмечались, каждая минута рассматривалась отделом кадров! И — две недели, без объяснений. Влететь в такое только она могла. Ясно было, что обычным путем не спаслись. Да и какой путь тут — обычный? Путь несколько странный нашла — обычный разве что для нее. К своей подруге Лидке пошла, где за бутылкой они все проблемы решали, не минуя и мировых. А уж эту-то! «Тьфу!» — как Нонна небрежно отметила. Муж Лидки грузин был, художник, и у них там постоянно «князья» паслись, которые «все могут!» Ночью пришла. «Дунувшая», естественно. Но на это я уже сквозь пальцы смотрел. Главное — радостная. «Сде-вава!» — шутливо произнесла и голубой листок на стол шмякнула. Я поднял его, глянул — и помутилось в голове. Все буквы на нем — и напечатанные, и написанные от руки — были грузинские, этикие веселые извилистые червячки! А где же фамилия-то ее? Та-ак. Фамилия-то как раз по-русски, но явно на месте вытравленной, другой... Ювелирная работа! С таким бюллетенем надо прямо в тюрьму. «Ну, если посадят меня, Венечка... то, может, тебе тоже в ту тюрьму устроиться кем-нибудь?» — хихикнула, ладошкой губы пришлепнула, вытаращила веселые глазки. Неужто сажают и таких? «Нисяво-о-о!» — бодро утром сказала. Где

же — «нисяво»? Уставать я уже стал от ее бодрости: ночь не спал. Раньше и я был веселый, но всю веселость она себе забрала, мне только ужас оставила — вполне обоснованный, надо сказать. Вернулась — радостная. И опять же — поддавшая. Но тогда мы пили не просто так — победы отмечали.

«Ну что?» На работу придя, сразу же собрала в курилке за цехом совещание, своих подружек и корешей, таких же бездельников, как она, на их бурную поддержку надеясь... но и из них никто в восторг от ее бюллетеня не пришел. Наоборот, старались зловещий этот листок скорее другому передать — и быстро он опять в ручонках у нее оказался. И все ушли. И осталась она одна, с этим листочком в дрожащих руках. И тут, на беду свою, зашел в ту курилку у сборочного цеха молодой, перспективный парторг. Покурить с массаами, о проблемах узнать, потом смело их на собрание вынести! Время было — лихие шестидесятые. Но такого — не ожидал. Нонна, хабарик отбросив, к нему кинулась: «Что вы посоветуете? К вам одному могу обратиться!» — сунула бюллетень. Тот взял листок, посмотрел, покачнулся и, прошептав побелевшими губами: «Я этого не читал», — быстро вышел. Тогда она, на рабочее место не заходя, пошла в отдел кадров и отдала бюллетень. Через час примерно звонок: «Зайдите!» Дружки проводили ее, дали клюкнуть. Смело вошла! — этакая Жанна д'Арк. «Вот что, Нонночка, — всесильная Алла Авдеевна сказала, — больше не делай так. И никому, слышишь, не рассказывай!» — «Куда... идти?» — Нонна пролепетала. «На рабочее место», — Алла Авдеевна улыбнулась вдруг. И все к ней так относились — именно ей демонстрировали свою доброту, — мол, и мы тоже люди. Умело провоцировала она на то своей как бы слабостью и растерянностью — на грани нахальства, и это сочетание веселило всех. Парторг, встречая в столовой ее, лихо подмигивал: «Мы знаем с тобой одну вещь!» И ему приятно было — себя лихим ощущать. Время такое было. И вроде как с ее легкой руки парторг резко пошел в гору, стал смело везде выступать, «лихие шестидесятые» все выше его несли. В конце концов оказался в Москве, крупным деятелем шоу-бизнеса, но звонил и оттуда — Нонну своей «крестной матерью» считал. Очарован был. Парторг Очарованный. «Ну как вы там, все гуляете?» — по телефону кричал. И никаких других версий не принимал — только эту. И даже когда я в последние годы пытался робко говорить ему, что не все у нас так уж складно, хохотал: «Да вы везде свое возьмете!» Парторг верил в нас.

А я-то — верю, нет? Словами в основном наша жизнь держалась — событий радостных не было уже давно.

Приходя, заставлял ее пьяной, озлобленной. Душу мне рвала, ночи не спал. Но утром — успокаивал себя. Все равно разговор надо вести к примирению — так лучше сразу сделать мир, правильными словами.

— Ты чего это? — добродушно спрашивал. — Поддамши, что ли, вчера была?

Правильное, мне кажется, находил слово: «поддамши» — это гораздо лучше, чем «пьяна».

— Я?! Поддамши? — весело восклицала. — Никогда!

Чужая уже, что скандала не будет.

— Ну, не поддамши... Выпимши. Было такое?

— Я? Выпимши? — Она веселела все больше. — Да вы что, гражданин?

— Ну... клюкнувши-то была? — Я глядел на нее уже совсем влюбленно.

— Клюкнувши? — добродушно задумывалась, оттопырив губу. — Странно... — насмешливо глянула на себя в зеркало. — А мне казалось, я была так чист-та!

На словах и держались. На наших. На моих.

За темным окном маршрутки снег повалил. Сплошной — как тогда... когда я у Эрмитажа молился. Молитва и сейчас продолжается... молитва длиною в жизнь.

Шел от ограды через сад, и вдруг из тьмы в круглый свет фонаря выскользнула собачка. Вытянув усатую мордочку по земле, закатывая черные глазки, она смотрела на меня снизу вверх, но не подобострастно, а как-то лукаво. Хвостик ее мотался влево-вправо, почти как снегоочиститель. Ее, что ли, собачка? — вдруг осенило меня. Реализованный ее бред? Ну молодец, молодец, собачка! И она — молодец. Реализовала-таки свою собачку! А если ее на это хватило — то, может, восстановим и жизнь?

Смелое предположение! Ну а вдруг?

Я протянул пряничек, но она, вздохнув, покачала усатой головкой и перевернулась голым животиком вверх, требуя ласки. Прихотлива, как хозяйка ее! Если это и бред, то бред симпатичный.

Улыбаясь, я поднимался по лестнице. Навстречу мне кто-то бежал вниз. Я посторонился и узнал Настю. Увидел слезы на ее лице.

— Ну... что там? — произнес я бодро.

Настя лишь махнула рукой, сбежала вниз и хлопнула дверь.

Не может быть! Не может быть ничего плохого, раз я только хорошее вспоминал!

Заклинатель змей, смертельно ужаленный! Пигмалион-реаниматор!

Я рванул вверх по лестнице.

Ворвался в палату, в затхлый пенальчик... и, с наслаждением вдохнув сладковатый от лекарств воздух (третье дыхание!), опустился на стул. Слава тебе, господи! Все тихо! Вот, оказывается, где самое острое счастье-то бывает!

Нонна, распластанная, лежала. Откинута тонкая ручонка с синеватыми венами, от нее трубочка поднимается к стойке с баллоном. «Под капельницей».

— Венчик! — тем не менее она радостно произнесла, приподняв головку.

— Лежите! — молоденькая сестричка воскликнула. Улыбнулась мне: — И так у нее сосуды тонкие, трудно попасть.

«У меня руки тон-кия!» — помню, Нонна так говорила. Для больницы это, конечно, проблема.

— Спасибо вам! — сестричке сказал.

— Венчик! — Нонна, похоже, довольно бодро себя чувствовала, не смотря на иглу в руке. — У меня к тебе просьба. Убери тарелки, пожалуйста, что у меня тут... скопились. — Она виновато глянула на даму-соседку. Услышав такую речь, та любезно со мной раскланялась. Идут, вижу, дела!

— Сделаем! — стал составлять тарелки.

Вот уж не думал раньше, что счастье — за всю жизнь самое острое — в больничной палате меня ждет! Единственное уже место на земле, где именно я конкретно нужен! И даже — незаменим! В других уже всех местах — например, в вагоне с виагрой — кем угодно я заменим. А тут — единственный, кто сделает все... чем другие брезгают. Только я могу! И абсолютно, кстати, не брезгаю. Котлеты, кстати, делись куда-то с тарелок. Собачка? Лишь присохшие макароны остались — а это вообще ерунда!

Пошел. Побежал почти. С пирамидой тарелок — к туалетам. Тут мелькнула смешная мысль: может, с ее тарелками надо в женский? Да нет, все равно надо в мужской! — усмехнулся. Вот уж не чаял никогда, что возле больничных туалетов радоваться буду! Но не припомню, где в последнее время такое счастье испытал. На поправку идут дела! И какие люди тут чудесные — ту же молодую сестричку взять или соседку, интеллигентную даму. Понимает все, деликатно сочувствует. Тут же из туалета вышел старичок, увидел меня, радостно засуетился, дверь придерживал, пока я с тарелками входил. Чудесно — и он тоже свое место нашел, где в его годы полезен может быть и даже приятен! Больничный рай? Как переход к раю настоящему? Скинул крышку с ведра, стал туда с тарелок соскребать ложкой. Да, состав мусора тут разнообразный: прогорклые окурки, тампоны

окровавленные, чьи-то трусы обкаканные. Жадно вдохнул. Привыкай, не стесняйся. Третье дыхание твое, может быть, самое глубокое.

Сполоснул тарелки чуть теплой струей, составил горкой, по коридору понес. Встречая взгляды, почему-то лихо подмигивал: все о'кей!

В столовую внес, обклеенную веселыми аппликациями, тарелки на клеенку поставил: вот! Пожилая нянечка, что управляла тут, — седая, краснолицая — всплеснула ладошками:

— Это супруга ваша прислала? Ну молодец!

Обратно как на крыльях летел. И вдруг — Нонну увидал. Топают по-немножку своими крохотными ножками!

— Ве-еч! — радостно проговорила. — Что ли выписывают меня?

— Ну!.. А кто тебе сказал это?

— Сестричка! Ну... сказала она, что капельница эта последняя. Кончен курс. Ве-еч!

— Ну чаво тебе?

— Узнай, а? Ить интерес-на!

— Ну а что? Можно! Вместе пойдем?

— Не-е. Я боюсь. Я лучше тут тебя буду ждать. Вдруг ты выйдешь и скажешь, — она мечтательно сощурилась, — поехали домой!

— Жди!

Я сам похолодел от столь неожиданной возможности — как-то не подготовился. Думал... А что вообще-то я думал? Что вообще-то хотел?

Хорошо, что перед входом в кабинеты врачей был такой отросток-аппендикс, закрытый занавеской. Я хоть постоял там немного, приходя в себя. Нонну домой? Прекрасно. И ее бредовая собачка к нам перебежит, и прочие чудеса начнутся. Нет, надо сначала понять. Я вернулся к ней.

— Занято, — безмятежно улыбаясь, сказал я. — Счас. Посидим маленько.

Я собрался с духом.

— Да, кстати, — как бы вскользь, лишь бы протянуть время, сказал я, — тут Настю встретил на лестнице... чего плакала-то она?

Глазки Нонны, весело, оживленно бегающие, остановились, словно пойманные, нижняя челюсть выдвинулась вперед, крупно дрожала.

— А тебе что? — проговорила она совсем другим, глухим голосом.

— Да так просто, — беззаботно ответил я. — Ждем! — Я кивнул на занавеску: — ...Так чаво?

— Ты тоже пришел мучить меня?

— Нет... просто я спрашиваю, — начал злиться и я. Значит, только ей можно страдать, к остальным это право не относится?

Я смотрел на нее.

— Пристала ко мне... — Нонна, пытаясь успокоиться, надувала красные щеки мячиком, потом шумно выдыхала воздух, удерживая слезы. Но они все равно проступили на глазах, — ...почему я пью, — отрывисто проговорила она.

— Где?.. Здесь? — пролепетал я.

— Ну а где же еще?! — вдруг произнесла она хрипло и грубо, вовсе в другом обличье... но такое мы тоже видели.

— Так ты пьешь... здесь? — проговорил я.

— ...Нет, конечно! — с какой-то хамской ухмылкой сказала она. Так. И это она хочет выписываться?

— Ну и оставайся тогда тут всегда, если тебе так нравится! — тоже грубо произнес я. У меня тоже есть нервы!

— Вон-на что! — произнесла она нагло.

Я сидел раздавленный полностью. А только что ликовал! Идти к Стасу? Но с чем? Мы долго молча сидели. Вдруг — словно переключатель щелкнул — она засияла снова, улыбалась весело и слегка плутовато:

— Ве-еч! Ну сходи, а?

Не в силах сказать что-либо, я поднялся с трудом. Пошел. Зачем-то задвинул за собой занавеску. Постоял. Но что можно выстоять тут? Испариться бы лучше совсем, чтобы не решать, не думать! Два решения — и оба ужасны. Трудно какое-либо предпочесть. Глаза не разбегаются, а, наоборот, сбегаются к переносице, чтобы не видеть ничего. Назад хода нет: что я ей скажу? А вперед? С чем я оттуда выйду? С каким решением? Одно знаю — с ужасным. Приятных решений тут нет.

Что она сейчас там сияет, не исключает того, что час назад она обдала Настю ужасом. Наверняка то есть! И так, видимо, будет всегда, раз Стас решил ее выписать: ничего больше сделать нельзя. Остальное — мое. Третье дыхание. Самое большое счастье бывает, оказывается, между ужасами! Я постучал.

— Да, — донесся усталый голос.

Замотали его! Чуть приоткрыв дверь, я влез в щелку: может, так больше понравится ему? Дальше особого простора тоже не наблюдалось: узкий кабинет, заставленный столами, Стас — в дальнем углу.

— Садитесь, — произнес он.

Я втиснулся между двумя столами.

— Как раз хотел с вами поговорить, — сказал он без всякого энтузиазма. Начало не предвещало ничего хорошего — конец, думаю, будет совсем плох. Хочешь — ну так говори! Вместо этого он долго сосредоточенно играл в бирюльки — поднимал с магнитной черной тарелочки гирлянду скрепок, любовался ею, опускал и вытягивал снова. Совсем, видно, выдохся — рта не может открыть! Открыл-таки.

— Ну что... — Стас произнес.

— Ну что? — я повторил как эхо.

— Состояние, в общем-то, стабилизировалось.

Вопрос только — какое состояние?

— Острый алкогольный психоз, опасный для окружающих, удалось, к счастью, снять.

Я кивнул, соглашаясь.

— Могу вам сказать теперь — стоял вопрос о буйном отделении, и довольно остро. Один голос перевесил — чтобы лечить ее здесь.

Я всегда был за демократию.

— Ну а теперь... вы видите, — он гордо сказал.

Я кивнул. Одобряюще. Понимающе. И с оттенком признательности, я надеюсь?

— А до бесконечности мы ее держать не можем. У нас ведь здесь не клиника, а НИИ. Научные кафедры. Нас в первую очередь интересуют большие... подтверждающие, так сказать, наши теории! — Он улыбнулся.

— А она — не подтвердила? Никакой теории? — Я натянуто улыбнулся. Скоро кожа лопнет от этих улыбок! Уж не могла подтвердить какую-нибудь теорию! Даже в сумасшедшем доме оказалась глупее всех!

— Ну почему? Подтвердила, — продолжал улыбаться Стас. — Но старые. Давно известные.

Что дура душой и останется! — самая старая и самая верная теория.

— Вы хотите забрать ее? — Стас как-то опередил не только мои слова, но и мои мысли.

— Да, — быстро произнес я. А что мне оставалось.

— Но вы осознаете... — проговорил он.

Осознаю. А куда денешься?

— Но... от тяги к алкоголю... вы ведь избавили ее?

Помолчав, Стас покачал головой.

— Если вам кто-то скажет, что лечит алкоголизм, бегите от такого человека немедленно. Это шарлатан! — Он произнес это, видимо, гордясь своим глубоко научным... бессилием.

— Значит... — проговорил я.

— Значит, — подтвердил Стас. Мы молчали. — У вас есть на что опереться? Заставить ее сопереживать чему-то... за что-то почувствовать ответственность? Отвлечь ее, хотя бы чуть-чуть, от постоянных мыслей об алкоголе?

— Ну... всякие... семейные притчи, — улыбнулся я.

— Слова, слова, слова! — вздохнул Стас. — К сожалению, это не то!

Ну почему же? Словами как раз удавалось мне держать наш мир в гармонии. Такая работа.

— Мне кажется, у вас нет... морального веса, чтобы влиять на нее! — произнес Стас. Второй раз. — Другой вариант, — сказал он, поняв, что подавил меня полностью, — интернат.

— На сколько?

— Как правило, навсегда. Там они становятся... тихими. И никого уже не беспокоят.

Знаю. Теща, ее мать, была там. И теперь уже нас не беспокоит. Совсем.

— Нет. Спасибо, — сказал я. Хорошо, что не сказал «нет уж, спасибо!». Держи моральный вес-то!

— Ну что ж. Я уважаю ваше решение! — Стас поднялся, протянул руку. И я ее пожал. — Значит, оформим все. Выпишем лекарства. Желательно нам до комиссии успеть. Там люди пожилые как раз, старой советской закваски, — усмехнулся. — Странники изоляции хронических больных в интернатах.

Это на вольном Западе, я повидал, сумасшедшие по улицам ходят!

— Так что я вам позвоню, — сказал он.

— А когда... комиссия?

— В принципе, может быть хоть завтра. Когда освободится Евсюков.

Хоть бы он никогда не освобождался!

Мы смотрели со Стасом друг на друга. Похоже, одну его прогрессивную теорию я все же подтвердил — «о бесстойловом содержании нервных больных»! Что ты несешь? Опомнись. Человек сделал все, что мог.

Держи моральный вес-то.

— Ну, всего вам доброго! — раскланялся я.

— Всего! — Стас рукой помахал. Впервые со мной дружелюбно простился.

В предбаннике я постоял, «делая лицо». Хорошо, что он есть, этот предбанник. Может, вернуться, отыграть все назад?.. Не принято это... Ну — выходи, Дед Мороз!

Радостно вышел. Она, сияя, шагнула ко мне.

— Ну, все нормально, — сказал я. — Скоро тебя выпишут.

Она боднула меня лбом в грудь, обняла.

Ради этого момента можно все перетерпеть!

Она подняла мокрое лицо.

— Неужели я окажусь в моей квартирке? — мечтательно проговорила она. — ...Отец, конечно, со своей банкой меня встретит!

Это уже казалось ей счастьем!

— ...Пошли. — Она вдруг ухватила меня за ладонь.

— ...Куда?

— Пошли. — Она мотнула головкой.

Втянула меня в столовую. Там сидели последние обедающие. Седая краснолицая нянечка скребла половником по дну большой кастрюли.

— Дай ей денег. — Сияя, Нонна указала на нее. — Она хорошая...

— Чтоб этого не было! — рывкнула та. И добавила добродушно: — Уж садитесь — покормлю вас.

— Ешь, Веча, ешь! — приговаривала Нонна.

— ...Сладко на вас глядеть! — вздохнула нянечка.

На крыльце я стоптал снег, открыл парадное. На лестнице повстречал нашу соседку сверху, Лидию Дмитриевну.

— Как там Нонночка? Поправляется? Мы все так любим ее тут, ждем!

— Поправляется! — бодро сказал я. — Скоро появится... наше красное солнышко.

— Замечательно!

Лидия Дмитриевна прошла. Я поднялся... Придется так и сделать, как сказал... Тяжело с моральным весом-то!

## Глава 14

Об этом, вспомнил я, Нонна мечтает, но пока что отец встретил меня с банкой жидкого золота. Специально ждал? Да нет, думаю. Все рассыпалось. Раньше это как-то регулировалось ее приходом, теперь — ничем. Отец рассеянно брел, не замечая меня. Все рассыпалось. Вокруг страданий ее, пока они были здесь, все держалось. Но ничего. Скоро опять этот стержень появится. Нонна придет. Подготовились? Духом воспряли? Конечно! А как же еще?

Первый бастион, который одолеть надо, — холодильник. Открыл. Превжняя наша жизнь, дикий хаос, — в замороженном виде, чтоб сохранить навсегда. Помню, как она плакала однажды, что ее от КБ в колхоз посылают, картошку из-под снега убирать. «Вот, — открыла холодильник в слезах, — я уже и курочку в дорогу купила!» Я глянул, помню, захохотал: курочка — точно ее напоминала: такая же тощенькая, синенькая, с тонкими лапками! Умела она умиление вызвать и смех. А в колхоз, кстати, так и не поехала — проспала. Устроил ей скандал от лица всех колхозников. Вот еще — комочки счастья ее, мутные маленькие пакетики с тухлой капустой, с рынка принесенные доказательства любви к ней со стороны колхозниц — любви, впрочем, небескорыстной, оплаченной мной. Сил ее лишь на это и хватало, совала их вглубь и навсегда забывала — о щах, например, и речи не могло быть. Выкинуть? А чего ждать? Появится — новые принесет! Народная любовь не иссякнет, пока деньги не кончатся у меня. Выкину пакетики эти, отведу хоть душу, пока она не пришла. Дальше — один восторг нас ждет: «Смотри — и огурчик в пакетик кинула!» — «Не может быть!» Завидуешь? Тебя-то никто не любит так, даже корыстно.

Кстати, напротив в окне — затишье, тьма. Не вяжется там кино... хотя душа вложена. Часть души.

Из того, что конкретно можно съесть, — сардельки обледеневшие, боюсь даже вспоминать, из какой они эпохи обледенения. Не важно. Главное — качество. Кинул в кипяток. Батя, конечно, мог бы что-то получше купить, пока я по больницам шастаю. При его-то пенсии! Но считает кухонные дела недостойными своего интеллекта. Зато для меня они — в самый раз. И когда он явился, с вымытой, сияющей банкой в руках, — на ужин его пригласил, отведать что бог послал. Суровый у нас бог. А что делать?

— Сардельки жесткие у тебя! — покусал, отодвинул.

— Обледеневшие.

— Какие?

— Обледеневшие.

Мрачно усмехнулся, задвинул задрезбжающий стул под стол, удалился. Вот и ладно. Ужин удался.

Теперь к окну повернулся. Главное, что надо отрегулировать, — это «кино». Почему-то думал, что все теперь в моих руках. Как бы не ошибиться! Рядом с тем окном на стене намалевано черным спреем: «Анжелка. Саяна». Титры, можно сказать! Надеюсь, Нонне приятно будет увидеть, чего я тут достиг без нее! Ее бред на свой заменил. Саянку я, кстати, не прописывал. Сама прижилась. Мой бред тоже выходит из-под контроля? Управлюсь ли с ним? Скоро счастье встречи пройдет, и Нонна уставится в то окно. Что увидит она там? Снова — «мыльную оперу»? Или — мультик?



Что захочет, то и увидит. Нет уж — то, что я захочу! А что ты можешь-то? Может, последний вечер твой остался? С «моральным весом», я чувствую, у меня полный завал. Смотрел на темное окно напротив. Вот та черная дыра, куда провалится наша жизнь! И что делать?

О! И Анжелка появилась. Подошла вплотную к стеклу, увидела меня и пальчиком поманила. Б. Р. Бред реализованный. Впрочем, еще не совсем. Надо реализовывать? Лучше все-таки по-своему, чем втемную.

Вышел во двор без пальто. Чего тут одеваться: все близкое, родное, свое! Двор весь завален навозом. Дворничиха, красавица, как раз за этим окном жила. Теперь там живет наездница. Повторяется жизнь — но как-то с меньшим к ней интересом. По навозу пошел, как по шелковому ковру.

Скрипнул дверью. Прямо за ней лошадь стояла, с крутыми боками — еле протиснулся. Тут же, в подъезде, был мраморный холодный камин, в нем навалено сено, и она, опустив голову, грустно жевала. Потом, чуть подняв голову, тяжело вздохнула, из ноздрей две струйки пара пошли. Ты-то что вздыхаешь?

Поднялся по темной лестнице. Сердце колотилось. Уходишь в иную жизнь? А что? В прежней уже пожил, хватит. «Хва-н-тит!» — как Нонна говорит. На лестничном подоконнике мерцали темные аптечные пузырьки: аптека бомжей. На дверях — выцветшие таблички с фамилиями. Кнопка — как на баяне. Но двери все почему-то открыты. За ними — тьма. Где сейчас все эти люди? Может, все, кто входят сюда, исчезают? Управляй бредом-то! Подошел к главной двери, «бредовой». Постоял. Сердце — на всю лестницу — гулко стучало. Войти? А выйду? Я выбрал старинный звонок, с ручкой как рукоять шпаги, с круговой надписью: «Прошу повернуть». Такой как бы старинный, романтический выбрал вариант. Но зависит ли тут от тебя что-то? Из глубин квартиры донесся механический звон. И — ни голоса, ни шагов. Я толкнул дверь, она поехала. Вошел, пугаясь скрипа половиц. Волосы на голове шевелились. Ощущение — что увижу сейчас труп! Такого бреда у меня еще не было. Новый жанр.

— Открыто! — донесся наконец довольно грубый (огрубевший на ветру?) голос хозяйки. Знакомых с такими голосами еще не было у меня. Неприятна новая моя жизнь. Куда лезешь? Надеешься тут порядок навести? Напрасно. Но — не остановиться уже. В прихожей лежало седло, на гвозде мерцала уздечка. Вошел в темную комнату, освещенную луной. Сердце прыгало. Ведь именно тут, по версии жены, проходит моя настоящая жизнь. А может, она права? Я огляделся. На подоконнике мерцали все те же пузырьки. На полу круглились баллоны, в основном пластиковые, криво отражали мое окно. Оно меня почему-то взволновало сильнее всего. Страшнее всего, оказывается, на *свое* жилище смотреть — со стороны и как бы из небытия. Все на месте стоит, горит лампочка — но тебя там таинственно *нет*. Еще — нет? Или — уже нет? Прежняя жизнь вдруг страшно далекой отсюда и абсолютно недоступной показалась. Дрожь пошла. Да, влез ты куда-то!

Приоткрылась дверца, повалил пар, синеватый в свете луны. Встрепанная голова Анжелки высунулась оттуда. Смотрела на меня с некоторым недоумением — видимо, за стеклом я ей интересней казался. А также — в седле. Вышла все-таки. Укутана в полотенце. Но — только голова. Короткой своей пухленькой ножкой придвинула к стене вспоротый матрас, криво лежащий. Порядок любит. Потом только глянула в упор на меня. Показала на меня пальчиком... скорей на нижнюю часть.

— Мой! — властно произнесла.

Что это, интересно? Притяжательное местоимение — или глагол? Боюсь, что последнее. Вот тебе и «романтический вариант»!

— Ну? — подстегнула. Правильнее было бы, наверное, — «нно!». Посмотрел на нее... Сейчас бы просроченной виагры сюда! Впрочем... она и не нужна, кажется? Что эт-то? Вот это да. В мои-то годы! Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась?

— О-о-о! — уважительно произнесла Анжелка.

Вот тебе и «о»!

— Счас! — деловито произнес.

Пошел к ванной. Освежающий душ? Вошел внутрь, хотел было прикрыть дверь... Нет, мы немножко по-другому поступим. Вставил средний палец правой руки в светящуюся щель возле петли, на которой дверь держится. Левой рукой потянул дверь за ручку, сдвинул в щели палец. Сдвинул немножко. Что? Слабо?! Зажмурился посильнее, рванул левой рукой. А-а-а! Вот это по-нашему! Захрустело. Анжелка, надеюсь, вздрогнула от моего вопля? Гордо согнувшись от боли, вышел из ванной. Средний палец правой руки маячит вверх и не сгибается, несмотря на посылаемые сигналы. Анжелка, слегка лупоглазая, с изумлением смотрела на него, оттопырив губки. С таким, видно, еще не сталкивалась. Классику надо читать! «Отец Сергей» называется рассказ. Современная трактовка: я — и. о. отца Сергея. Я. Тот, правда, отрубил пальчик в аналогичной ситуации — но я уже не чувствую себя *настолько* грешным. Сделал, что мог.

— Извини, — гордо произнес, для наглядности палец подняв. — Должен тебя покинуть.

Помчался, подпрыгивая, в ночную травму, на Малую Конюшенную.

Маленький лысый хирург помял палец.

— Оборвана связка верхней фаланги. Сейчас наложу вам лубок. Недели через четыре, будем надеяться, срастется.

— Да-а?! — воскликнул я.

— Впервые вижу столь радостного клиента! — хирург сказал.

Примчался домой. Мимо кладовки проходя, гипсовому Толстому взде-тый пальчик показал. Тот аж побелел.

## Глава 15

С утра отец хмурый, насупленный был, бровями стол подметал. Немного Толстого напоминал, сосланного навеки в кладовку.

— Пошли завтракать, — ему сказал.

Думал крикнуть, как Нонна: все гэ!.. Но ее не заменишь.

— Мгм... — отец произнес, не отрываясь от рукописи. И потом долго еще не шел. Не мог оторваться, счастливчик? Наплевать ему на то, что все остывает, главное — его вечный научный шедевр!

...Видать, просто ты завидуешь, что он пишет, а ты нет. Но этим моим злым чувствам пора дать отпор... Может, Нонна вернется. И к тому времени должны быть тут мир и благодать.

Явился наконец. Мрачно кивнув, уселся. Раньше было принято говорить «Бодр-рое утр-ро!», и как-то это задавало тон на весь день, но теперь, когда нет Нонны, исчезло все. Невелика птичка, да звонкий голосок!

Отец увидел вдруг мой пальчик запеленутый, пострадавший.

— В носу, что ль, ковырял? — усмехнулся. Так подвиг мой оценил. Спасибо, отец, на добром слове.

Похлебал молча каши, маленько потеплел, подобрел.

— Ну, спасибо тебе, что не забыл! — усмехнулся он.

— Как можно!

— Ну, всяко бывает! — откинулся, улыбаясь. Чувствую — сейчас он настроился мудростью делиться. А потом — нельзя?! Хмурое его настроение гораздо меньше раздражает меня, нежели добродушное. Не чует этого?

— При царе еще было...

Начал издали. При царе Горохе, видимо.

— А, — произнес я холодно. Но его не собьешь.

— Да-а-а... — он произнес неторопливо.

Боюсь, что, пока доберемся мы с ним до сегодняшних дел, день закончится. Но хочешь не хочешь, любишь не любишь, а надо терпеть. Единственно когда общаемся с ним — за завтраком. Надо!

— А? — он вопросительно произнес, требуя, видимо, поддержки.

Я кивнул благожелательно: мол, давай, давай! Время терпит!

Но не в такой же степени! Минут пять после этого он молчал. Склонив брови, яростно растирал в чашке лимон с сахарным песком. Сколько сил еще в нем!

— Так что — при царе-то? — пришлось его немножко поторопить.

— А?! — снова произнес. Молодецки уже огляделся: мол, если так просите, так уж и быть, расскажу.

Просим, просим.

— Лет пять мне еще, что ли, было. Или шесть?

— Ну, не важно, — проговорил я.

Он усмехнулся, заранее и меня настраивая на веселый лад.

— Жили бедно мы с матерью. Отец в бегах...

Это знакомо мне. Веселое начало.

— А детей нас семеро. Я почти самый старший. Второй после Насти. Нина еще в люльке была. А я уже самостоятельный вроде.

Это какая-то сага!

— Ну, утром встаем... нас кормить чем-то надо. А нечем!

Если он намекает на плохой завтрак!.. пусть дальше готовит сам!

— Мне мать и говорит: ты к Андрюхиным пойди, вроде как бы по делу. Тут письмо от отца пришло — вот от него поклон им и передай! А Андрюхины, наши дальние какие-то родственники, богато жили! Был, помню, у них Тимка, мой ровесник. Дружили мы. Прибегаю к ним: «Здрасьте!» — «А-а! — хозяйка мне говорит, — явился. А мы уж хотели кошку в лапти обувать да за тобой посылать!» Намекая вроде, что я каждый день к ним хожу. Андрюхины, за столом сидя, смеются. Тоже большая была, дружная семья. «Ну, садись уж за стол, раз пришел!» — говорит хозяин. И я чувствую, что добрые они и любят вроде меня, но все равно — неловкость. Вспомнил — прям как сейчас! «Да ты раздевайся», — хозяйка предлагает. «Да я на минутку, прям так!» — сажусь в полушубке. Андрюхины смеются: «Ишь богатый какой! Шубой хвастает!» Понимаю, что любовно смеются, но неловко все равно. Главное — начинаю есть и потею, в полушубке-то. Но снять теперь — тоже неловко. Обливаясь потом, быстрее ем, чтоб с неловкой этой ситуацией покончить, а от спешки потею еще сильнее, пот капает в плоску! Но полушубок, с отчаянием понимаю, еще и потому нельзя снять, что рубаха рваная — совсем застыжусь!

Отец умолкает, уносясь чувствами туда. Да и я тоже. Он, наверное, единственный человек, который помнит то время. Понимаю — это ж колоссальное счастье для меня, что я это слышу.

— А что ели — не помнишь? — с надеждой спрашиваю я.

— Почему ж? Помню! — бодро отвечает он. — Кулагу ели.

— Что это?

— А? — снова, подняв брови, смотрит соколом, гордясь с полным основанием, что такое помнит. Может, он один только это уже и знает?

— Кулага? Ну, это... мука с солодом. Такая кашка. С фруктовыми какими-то добавками — яблоки, кажется! — не вникая уже в мелочи, чуть свысока произносит он.

Бежать записывать? А куда? Я-то уже не пишу.

Все же — к нашим дням надо вернуться.

— Отец! — решительно произношу я. — ...Скоро Нонна может вернуться.

— Нонна? — Он удивленно поднимает мохнатую бровь. Забыл, видишь? Кулагу помнит — а Нонну забыл? — И что? — спокойно интересуется он. Да. Особого энтузиазма не высказал. Хотя знаю, что дружат они за моей спиной, иногда нарушая мои заветы. Забыл? «И что?»

— Так вот...

Не хотел об этом говорить... Решил так: если он по дороге на завтрак уберет кальсоны свои с батареи в сундук, возникать не буду! Но он даже не глянул туда, прошествовал величественно! И так, видимо, будет. Втемяшить что-либо трудно уже ему. С огромным трудом втемяшил, чтоб старое свое белье после ванной клал на батарею, сушил, а то он раньше прямо мокрое клал в грязный сундук. Это — удача. Но дальше не пошло. Чтобы с батареи снести в сундук — это его уже не заставить. Так что, похоже, правильной мне — жалеть, что начал его воспитание. Так поздно.

— Отец! — все-таки говорю. — Сколько можно тебя просить, чтоб ты кальсоны свои убирал с батареи? Неприятно. Особенно женщине. Понимаешь?

— Они еще не высохли! — яростный взгляд.

— Да ты даже не прикоснулся к ним, когда шел!

— Нет, прикасался! Когда ты дрых еще без задних ног!

Пошла драка! Тут уж не до гармонии — только успевай!

— Ну если ты встаешь так рано... — нанес ему меткий удар, — то тогда будь любезен выливать банку с мочой, пока никто не видит этого!

— Не хочу вас будить! — ответил яростно. — Потом... и другие соображения есть, чисто физиологические!

— Тебе трудно лишний раз пройти до уборной?

Яростное молчание. И в этом наверняка у него есть какой-то свой метод, как в скрещивании растений, научно обоснованный... его вряд ли собьешь! А что мы при этом испытываем (слился уже чувствами с Нонной), ему наплевать! Главное для него — научное совершенство, «абсолют»! Не имеющий никакого отношения к жизни!.. во всяком случае — к сегодняшней!

В гордом молчании брякал ложкой. Потом, немножко оставив каши, отодвинул пиалу.

— Каша вся в комках! — произнес надменно.

Гурманом он исключительно здесь сделался, переехав к нам. Раньше, в сельской своей жизни, что попало ел. «Гвозди переваривал!» — как сам гордо говорил. Теперь гурманом заделался!

— Отец!.. — после восклицания этого я долго молчал. Что бы ему сказать такое, как бы уладить все? Безнадежно! — Отец! Скоро Нонна выходит. Она... не совсем в порядке еще. Прошу тебя: не придирайся ты к ней! Главное сейчас — не истина, как ты любишь, а спокойствие. Не спорь с ней — даже если она не права. Она этого не выдержит.

— А я — выдержу?! — Отец тоже уже задрожал. Очаровательный завтрак. Судя по нему — все готово к приходу Нонны. Вспомнил недавний их скандал. «Если он будет... баррикады в своей комнате делать, — Нонна дрожала, — я вообще из дома уйду!» — «Ты в стол мой лазаешь! Деньги берешь!» — «Я?!» — «Ты!» Трудно тут с гармонией! Но вроде немножко успокоили там ее?.. С другой стороны — только она и вспоминала вечером: «Пойдем к отцу твоему, поговорим. Ить скучаить». И мы шли.

— Ну, спасибо тебе за разговор. И завтрак! — Отец скорбно поднялся. — Как меду напилса!

Сутулясь, слегка склоняясь вперед, как пеший сокол, по коридору пошел. Зря я его! Это я сам жутко боюсь ее прихода — а вину, уже заранее, на батю валю. А он-то чем виноват? Выбрал свою линию — на возраст девяносто двух лет — и этой линии держится. И не уступает! И прав! Я от победителя-бати устаю, но каков будет он — побежденный? Вот когда горе начнется. Не приведи господь!

Отец строго из коридора выглянул, махнул своей огромной ладонью.

— Суда иди!

Что-то там изобрел. Побитым уходить с поля боя — не в его правилах. Взял в руки себя, что-то придумал.

— Это ты наворотил? — указал на рубашку мою, брошенную на сундук. — Так это и останется?

Молодец! По очкам — победа! Я кинул в сундук рубашку грязную, а заодно и кальсоны его, которые он протянул мне величественно, и гордо ушел. Молодец! Пока он побеждает — или пусть думает, что побеждает, — жить все же легче ему. И нам, стало быть, легче — когда в форме человек!

— Таблетки прими! — строго я ему крикнул. Но это ж разве реванш?

Он вернулся-таки — еще грозно, но уже весело из-под кустистых бровей поглядывая: победил, так весело на душе!

Взял фужер со стола, водой налитый, сморщившись, посмотрел туда, словно там гадость налита какая-нибудь. Есть такая привычка у него, не очень приятная. Я уже ему говорил!

— Водопроводная вода? — грубо спросил.

Сам бы мог решать такие проблемы!

— ...Да! Водопроводная! Но — не отравленная. Кипяченая, — сказал я.

Весело на меня уже поглядел. Выломал из пластинки таблетки, ссыпал в ладонь свою огромную, снова сморщился, скушал, запил водой.

Вот и хорошо.

— Побреюсь, пожалуй. — Отец задумчиво седую щетину поскреб.

Мне бы надо срочно побриться — мало ли что? Могут в больницу звывать. Ну ладно уж, хорошее настроение его, с трудом созданное, будем беречь.

Из ванной с моим тубиком высунулся:

— Мыло?

Довольно грубо звучит, а это, между прочим, международный шейвинг — крем «Пальмолив»! Молча кивнул — хотя столь потребительское отношение к моему крему покорило меня. Тубик тощ, а когда новый куплю — не знаю. Триста у. е., выданных Бобом, тают... как крем!

Сучья отняли навсегда — и больше нет у нас с ним *общих* доходов. Просроченная виагра уехала куда-то... Пенсия? На нее максимум неделю можно прожить. Кузя, мой высоконравственный друг, мудро вещает: «В наши дни, как и всегда, впрочем, в ногу с партией надо шагать!» — «С какой же партией, Кузя?» — «Ну, в наши дни, слава богу, есть из чего выбрать! Глаза буквально разбегаются!» Это у него. А у меня почему-то не разбегаются, а, наоборот, сбегаются в одну точку к переносице. Неохота смотреть. Хотя, судя по нашим делам, с альтернативным топливом связанным, мы больше к «зеленым» тяготеем. «Зеленым» и по философии, и в смысле цвета выплачиваемой валюты... надеюсь. Но сучья сгорели помимо нас... а какое еще альтернативное топливо, не знаю я. И Боб, этот «дар Валдая», делся куда-то. «Абонент находится за пределами досягаемости»!

О литературе вообще не говорю. Последние детективы мои — «Смеющийся бухгалтер» и «Смерть в тарелке» — канули во тьму. В издательство звоню, никакого голоса нет, только музыка в трубке звучит: Моцарт, Симфония номер сорок. Но не до конца.

Вспоминаю с тоской лучший свой промысел последних лет. Как крупный специалист по этике и эстетике крепко и уверенно вбивал клин между эротикой и порнографией, кассеты на две груди расчесывал: эротика — порнография! Больше не звонят. Решили, видимо, что в моем возрасте разницы уже не смогу отличить? Или вообще — исчезла она, эта разница? Жаль, кормила неплохо. Чем кормиться теперь? Это в молодости можно было болтаться, а теперь — надежный дом надо иметь.

Отец, из ванной в уборную переходя, выключатели перещелкнул и заодно на кухне вырубил свет, забыл, видимо, о моем существовании. А может, светло уже?

В окошко посмотрел. Привычно уже содрогнулся. Сейчас особенно четки черные буквы у того окна: «Ангела, Саяна»! Каббалистика какая-то! Но — ничего! Пострадавшим забинтованным пальцем перекрестился. Я — отец Сергей теперь! Не искушить меня. Стас насчет моего «морального веса» сомневался... есть теперь у меня «моральный вес»! Вот он! — на

пальчик глядел. А с темным окном этим, с этой «черной дырой», я, считай, расплатился полностью. Пальцем заплатил! И если Нонна снова увидит там меня с кем-то! Тогда... глазки ей выколю этим пальчиком! Вот к такому доброму, оптимистичному выводу я пришел.

С кухни пошел и рассеянно свет бате в уборной вырубил: обменялись любезностями. Батя заколотился там бешено, словно замуровали его! Вернул освещение.

Теперь как опытный, свободно плавающий гусь должен подумать, куда мне плыть.

В крематорий звал соученик мой из Института кинематографии — речевиком-затейником, речи произносить. Там и ночевать можно в освободившихся гробах. Но это уж напоследок.

Батя прошествовал по коридору, сообщил, на меня не глядя:

— Пойду пройдуся.

Правильно, батя. Пойди пройдися. Насладимся покоем. Но — не вышло. Зазвонил телефон. Трубку поднимал с натугой, как пудовую гантель.

— Алло.

— Так вот, — голос Стаса. — Миг настал! Евсюков из Москвы вернулся — и сразу же назначил комиссию. Я не в силах! Попробуем что-нибудь. Приезжайте к двенадцати!

Рядом с телефоном с кем-то заговорил, потом удалился — трубка осталась лежать. Но от пустой трубки, с эхом, мало толку. Я нажал на рычаг.

Снова звонок.

— Да!

— Тема есть, — неспешный голос Боба. А ты думал — он тебя отпустит? — Я тут в Думу хочу податься — побалакать бы надо.

Самый подходящий момент!

— Я тут... немножко спешу, — я сказал вежливо.

— Счас буду, — отключился, гудки.

Заманчиво, конечно, помочь будущему государственному деятелю, но... Есть более срочные задачи. Если я через сорок минут в Бехтеревку не домчусь — Нонну, глядишь, «упакуют», как мать ее упаковали там. Недолго мучилась старушка. Но у нее к тому времени муж умер уже. А я-то жив. К сожалению. Что ты такое говоришь?

Главное — ни хрена не готово, холодильник захламлен... как наша жизнь. Что я с ней тут делать буду — когда сам не знаю, что делать? Ну, видимо, с ее приходом и появится смысл — в том, чтобы из болота ее тянуть.

С батей бы посоветоваться!.. но он, как всегда, величественно удалился в нужный момент! Хотя бы как-то проинструктировать его! А! Все равно делать будет все по своим теориям! Хоть бы у себя пыль вытер — я провел пальцем по стеклу на полке! Но нет. Наверняка и тут в научную полемику вступит, а мне надо бежать. Ссыпался с лестницы.

Ч-черт! Тут-то и напоролся на батю. Не проскочить! С блаженной улыбкой стоит посреди двора, покрытого, как роскошным ковром, «конскими яблоками», и на руке держит сочный образец.

— Видал? — ко мне обратился. Спокойно разломил «яблоко», половинку мне протянул. Для науки нет преград! Объект, достойный изучения. Снаружи круглый, шелковистый, темный — на сломе более светлый, шерстистый, с ворсинками. Все? Я отвернулся от предмета, глянул на арку.

— Ценный, между прочим, продукт! — обидевшись на мое невнимание, назидательно батя произнес. Зря я брезгливостью продемонстрировал к натуральному хозяйству. Будет теперь воспитывать меня. — В любом крестьянском доме, — голос свой возвысил, — ценили его!

Ну, в нашем доме тоже хранят. Не убирают. И даже производят, с размахом. Теперь тут у нас наездницы проживают — так что с этим не будет проблем.

Тут это как раз и подтвердилось — Анжелка свою лошадь вывела под уздцы. Конюшенная улица, где были когда-то Царские Конюшни, чуть в стороне, а у нас тут свое, нажитое. Сможем изучать.

— Прокатимся? — Анжелка задорно мне крикнула.

Я ей пальчик забинтованный показал, торчащий. Боюсь, неправильно меня поняла. Сделала неприличный жест — и в седло взметнулась, прищипнула лошадь — но тут же осадилась. Из-под арки во двор, мягко, по навозной подстилке, знакомый джип въехал. Боб свинтил стекло, глядел на наездницу. Видно, напоминала «податливых валдаек» с хутора его.

Батя на Анжелку тоже благожелательно глядел, чуя, что перебоев с продуктом не будет тут.

— Между прочим, отличное топливо. — Отец бросил кругляк в снег с некоторым сожалением. — Кстати, экологически чистое! — усмехнувшись, добавил он. Вспомнил, видимо, мою историю про африканку, что жарила своему мальцу лепешки на верблюжьих какашках. Наше не хуже!

— Растаптывали в проулке, сушили, потом резали. Всю зиму печку топили, — поведал батя.

— Печку? — Боб даже вылез из тачки. — И тепло было?

— Жарко! — сверкнул взглядом отец.

Ну, надеюсь на их сотрудничество. А вот если я через полчаса в больнице не окажусь, будет действительно жарко! Я дернулся. Но батя — слишком опытный лектор, слушателя никогда не выпустит, пока не внушит свое.

— Кстати, — произнес он задумчиво, — из-за кизяков и род наш такой!

Уже почти на бегу я тормознул возмущенно. Опять гнет свою теорию о влиянии условий на наследственность! Сколько спорили с ним, чуть не дрались — свое гнет упрямо.

— Как? — произнес терпеливо я. Насчет истории рода хотелось бы узнать. Как конкретно повлияли условия на нашу семью? Грыжа — это гены. А что еще?

Хотя в обрзе времени, но это слишком важный вопрос.

— А?! — Хитрый батя, нагнетая обстановку, прикинулся глухим. Теперь еще надо уговаривать его. Не дождется! — Так из-за кизяков все! — Долгая пауза. Я пошел? — ..Дед твой, отец мой, носил кизяки в дом. Отец его, прадед твой, такое устройство вешал ему через шею — ящик спереди, ящик сзади. Ну и надорвался он.

Как, кстати, и я. У меня даже раньше грыжа вылезла, чем у отца. «Корень-то покрепче!» Год он насмеялся, куражился — потом выскочила и у него. Так что грыжей мы навек обеспечены прадеду благодаря.

— Ну, работать он не смог больше. Начал книжки читать.

Аналогично.

— Потом писарем стал. Я видал записи его: каллиграфический почерк! Отлично писал.

Я тоже стараюсь.

— Ну так с него все и пошли учиться и вот стали кем-то... — Он торжественно возложил руку мне на плечо. Мы постояли молча.

— Кизяки-то научишь делать? — с волнением произнес Боб. У него свой азарт: альтернативное топливо, международный фурор. Прихоть эксцентричного миллионера.

Но батю не так-то легко взять! Подержав еще свою руку на моем плече, он уронил ее и, полностью отключившись, пошел себе, даже не глянув на Боба. Да, родственница права: «Корень-то крепче будет!» В свою сторону его никто не согнет. Батя медленно удалялся под арку. Спокойно и даже величественно. Передал эстафету поколений мне. Продавил-таки свою навозную колею — через меня.

— Тебя надо куда? — Боб открыл дверцу. Надеется, что навоз прочно вошел в мою кровь. А куда денешься? Если он успеет меня домчать, готов дерьмо утаптывать всю мою жизнь.

— В больницу не подбросишь по-скорому? — произнес я. Он кивнул.

Всадница под гулкой аркой с гиканьем обогнала отца, но он никак не среагировал, не ускорил свой медленный ход: лошадей он не видал, что ли? Медленно, ссутулясь и раскорячась, он вышел на улицу, вдумчиво постоял, определяя, куда дует ветер. Строго против ветра всегда идет. Считает — одна из теорий его, — что в наветренной стороне меньше газов автомобилей. Личная его экология, которую он блюдет тщательно, поэтому так крепко и долго живет.

Наконец вправо свернул. И мы смогли вырлиться.

— Да-а, крепкий батя у тебя!

Мы выехали на Невский.

— Куда конкретно надо? — Боб спросил.

— Да надо тут подскочить в Бехтеревку.

Боб кивнул. Придется мне за батю отвечать. Осуществлять, так сказать, преемственность поколений. Дед, правда, начинал с кизяков, а я, похоже, ими закончу! Замкну собой круг.

У одной из амазонок, скачущих перед нами, лошадь подняла хвост и насыпала «продукта»! С этим не будет проблем. Боб на меня радостно глянул. Все как у него на валдайском хуторе. Теперь у нас тут хутор.

Кстати, если бы не любимая жена, я мог бы еще соскочить с этого дела. Но так, по дороге в Бехтеревку, не рыпнешься уже. Позаботилось мое семейство обо мне.

— Да, крепкий у тебя батя! — растроганно Боб произнес. — Чем-то деда моего напомнил!

— Чем?! — воскликнул я. Наше фамильное сходство теперь поддерживать надо.

— Кизяки тоже делал! — вздохнул Боб.

— Так ты умеешь, наверное?

— Нет. Мне не передал.

В мою сторону поглядел. «Передача», значит, может быть лишь через моего батю. Точнее, через меня. Таперича, благодаря бате и жене, я первый энтузиаст, умелец-говнодав. Спасибо. Приобщили к семейному ремеслу.

— Помню, — разнежился Боб, — чуть лето — сразу делает замес. Добавляет мякину, труху.

Значит, знает рецепт? Но перебивать сладкие его воспоминания я не стал.

— А сам уже на какую ни есть красотку поглядывает. — Боб подмигнул.

— А красотка-то тут при чем? — Я даже вздрогнул.

— Ну как? — разлыбился Боб. — Утопчет, высушит. Штабелями их сложит... Кизяки, я имею в виду. Потом — продаст кизяки по хатам, деньги в шапку и идет.

— ...К красотке?

— Ну а к старухе, что ли? — Боб захохотал.

Похоже, эту часть технологии он неплохо усвоил. Хоть сейчас в Париж! Но производство, видно, на мне. Усложнились отношения нынче: навряд ли у нас так же весело, как у его деда, дело пойдет!

Мы ехали мимо старого кладбища.

— ...А тут счас хоронят, интересно? — я спросил.

Пытался как-то отвлечь Боба, на более возвышенную тему беседу перевести, но он, похоже, это дело крепко застолбил. Занял экологическую нишу. Снова смысл жизни появился у него.

— Это ж теперь будет в мире «намбер ван»! — восклицал он восторженно, собираясь, видимо, на кизяках подняться, как наша семья, заняв место в элите... Но насчет «всего мира» я бы не спешил: отнимут, как сучья отняли. Погодим! Я уже чувствовал, что тоже переживаю.

— Эх! — Боб резко тормознул. Чуть не проехали. Лишь мечтали о «топливе будущего», а домчались в момент, словно мы в будущем уже!



Я с тоской глядел на больницу: у меня тут красotka своя, кизяки я для нее теперь делаю. А куда деться?

— Подожди тут... минуток дватцать! — уже уверенно, как соавтор, сказал Бобу.

Надеюсь, быстро не остынет его азарт в этом грустном пейзаже? Мы ж еще многое с ним должны обсудить!

Я прошел по тусклому коридору, постоял перед засаленной занавеской, заменяющей дверь, отпахнул ее.

— На комиссию ушла! — сказали соседки вместе и, как мне показалось, с волнением. Жалкая ее беспомощность, похоже, проняла и их, на всеобщей доброте, осязаемой особенно в больницах, и держится наша жизнь. Даже в самом конце. И как-то обыденно все происходит, без декорации и пафоса. И это, наверное, хорошо? Я вышел в закуток перед палатой: пыльное, с разводами грязи, огромное окно, пожелтевший, но с сильным запахом фикус. Вот тут примерно все и определится. Кончилась наша жизнь — или немножко еще осталось?

Походив в закутке, я, не удержавшись, пошел все же по коридору к кабинету главного врача. Вряд ли я понадобится комиссии, но — вдруг? В дальнем конце, у кабинетов начальства, царила роскошь: кресла из кожзаменителя, большой аквариум. Я с тоской вспомнил пахучий аквариум, который чистили у нас на глазах в баре на краю темного пустыря, холодную ее враждебность, когда мы сидели там. Изменилось ли что за месяц, стала ли она теплее?

Вдруг кто-то дернул меня сзади за пиджак. Я обернулся. Нонна стояла, смущенно сияя.

— Ве-еч! — проговорила она. — ...А сколько мне лет?

Это она готовится к комиссии? Или уже была?!

— Ну а ты думаешь — сколько? — опасно проговорил я.

Вот сейчас все и выяснится... где ей жить!

— ...Сорок? — пролепетала она.

Я в отчаянии швырнул шапку в стену! Все!.. Лишнее себе позволяете — самому же придется и поднимать.

— Шестьдесят тебе! Шесть-десят! Запомни!

Зачем ей, собственно, уже это запоминать?

— Ты... была уже на комиссии? — В последней надежде я устался на нее.

Не поднимая головы, своим костлявым подбородком виновато кивнула.

— Ну ничего! — бодро взял ее за плечо. — Там тебя и подлечат!

— Значит, я домой не поеду? — По щечкам ее в красных прожилках слезки побежали.

— Но что ж ты не могла сосредоточиться?! — простонал я.

Наверное, надо было туда ворваться! Отвечать за нее?

Стараясь успокоиться, она надула дряблые щеки мячиком, потом шумно выдохнула, и они сразу обвисли.

Распахнулась дверь, обитая кожей, и вышел Стас. Он шел мимо нас, не глядя. Замучили мы его! Он подошел к фигуристой медсестре, положил на ее стол бумажку. Она прочитала, изумленно глянула на Стаса, потом на нас.

— Оформляйте! — буркнул ей Стас.

Я выпустил руку Нонны. Ну все. Надо отвыкать!

— ...На выписку. — Это было сказано хоть и без души, но — в нашу сторону.

— Как? — воскликнул я. Мы с Нонной смотрели друг на друга.

— ...А вы зайдите ко мне, — по-прежнему на меня не глядя, произнес он, — ...один.

— Стой! — Я снова схватил Нонну за руку.

— Я стою, Веч! — Она радостно кивнула.

В кабинете Стас долго молчал.

— Как я уговорил их?! — воскликнул он наконец, разведя руками. — Боюсь, что я несколько преувеличил... ваши способности. Болезнь ее, похоже, сильнеей.

Я сам, боюсь, их преувеличил... Я этого не сказал — но он прочел это в моем взгляде.

— Комиссия, кстати, еще работает. — Он сделал движение к двери.

Пойти с ним? Но она ждет там, робко улыбаясь. По ней не пройду.

— Понял. — Стас снова сел. Помолчали. — Главное, — он шлепнул по столу ладонью, — дух противоречия в ней не удалось истребить. — Когда она говорила комиссии, что ей сорок лет, я заметил в ее глазах... веселые огоньки! Как вы думаете — это она нарочно могла говорить?

— Могла. Из-за любви к веселью она и здесь оказалась, — вздохнул я. ...Когда ее «воспитываешь», в глазах ее тоже веселые огоньки загораются.

«Ну как? Поняла, что я тебе говорил?» — «Нь-ня!» — весело восклицает она. Хочешь, чтобы другой она стала?... «Нь-ня!» Такой она мне и нужна.

— Сами разбирайтесь! — Стас ладонью махнул, потом подвинул бланки. — Ну что... сильные лекарства выписываем? Будет тихая, но...

Неузнаваемая. Другая.

«Нь-ня!»

— Слабые никакой гарантии вам не дадут... Да и не будет она их принимать! — сорвался Стас. Помолчал, успокаиваясь. — Значит, скоро снова пожелает к нам. Ну что ж... веселитесь. — Стас подал мне бланк, встал. — Я, кстати, тоже стою за сохранение личности, — грустно улыбнулся он.

Мы вышли. «Личность» нетерпеливо ждала нас у входа. Боюсь, что у меня на лице не было того восторга, как у нее. Утвердительно ей кивнул.

— Ур-ря! — она подпрыгнула.

— Ну что ж... пошли собираться, — вздохнул я, обнял костлявые ее плечи, и мы двинулись по коридору.

— Ну что... теперь будешь себя хорошо вести? — несколько запоздало, у самой палаты, попытался «воспитывать» ее. Она радостно на меня глянула.

— Нь-ня! — откинув остренькую челюсть, воскликнула она.

Мы спускались по лестнице. Сколько я мечтал об этом моменте! Но — «все бывает не так плохо — и не так хорошо, как мы ждем!». Хоть бы формально сказала: «Я, Венчик, буду слушаться тебя!» Вспорхнула, птичка. Ну ничего! Сейчас ее сдавят в троллейбусе... в метро!.. Обрато запросится! Только тут я вспомнил про Боба. Вряд ли он настолько загорелся идеей сушеного говна, что до сих пор не уехал?

Стоял!

С почтением я оглянулся на светящийся окнами бастион науки.

— Помаша дяденькам ручкой!

Стянув варежку, она помахала. Мы приблизились к джипу.

— Ой, Веча! Это наша машина?

— М-м-м-да.

Высоко влазить, как на самолет. Боб, как и положено уважающему себя водителю, сидел истуканом.

— Ой, здрасьте! — Она слегка удивилась. Серьезно думала — я сяду за руль? Серьезно вообще она никогда не думает!

Боб «мое сокровище» невысоко оценил. Оно верно — на любителя. Лишь в моей голове — и душе — живет еще знание: как она прелестна!.. А так-то вообще трудновато объяснить...

Нас закачало на выбоинах. Нонна не понимала пока, что кто-то может не разделять ее счастья, крутилась на тугом кожаном сиденье, сопя в тепле носиком, разглядывала салон, мигающую разноцветными лампочками приборную доску. Стянув шапочку, помотала головой, вольно раскидав по плечам жидкие грязенькие волосики.

— Вы — друг Валеры? — радостно спросила она. Боб кивнул мрачно. У людей его круга присказка есть: «Таких друзей — за ... и в музей!»

— Я рада! — просияла она.

Знала бы она, что нас связывает! Впрочем, она мало что знает! Ее счастье. И еще меньше хочет знать. Лишь то, что ее интересует. А интересует ее... В кулачонке у нее появилась вдруг сигаретка.

— Я закурю, да?! — явно собираясь нас этим осчастливить, проговорила она.

Боб, поборник здоровья и экологии, красноречиво молчал. Но я-то молчать не мог. По новой все начинается — сперва беспорядочное, по первому позыву, курение, потом...

— Остановись! — процедил я.

— Вай? — уже с задором и вызовом произнесла она английское «почему».

Я молча вывинтил из ее пальчиков сигарету, грубо сломав. Куда выкинуть теперь эту гадость? ...не всем нравится эта вонь.

Я вдруг почувствовал, что уже дрожу. Может, повернем обратно, потопились уезжать? Я, во всяком случае, там охотно останусь!

В глазах ее кратко блеснули слезы. Потом ушли.

— Ну ха-вашо, ха-вашо! — ласково проговорила она.

Но дома, конечно же, задымит! Мы с отцом только-только отвыкли жить в пепельнице. И задымит, главное, против того окна!.. в котором вскоре увидит меня! Курением, ясно дело, не ограничится! Ей, видите ли, хочется! А что будет с нашей жизнью — ей наплевать.

Похоже уже, твои нервы гораздо хуже, чем у нее. Но тебе же не кололи успокоители, а также витамины. Кроме виагры, ничего и не ел. Возбуждения, правда, не чувствую, только утомление.

Да и она больше ни о чем уже не может думать: держит в кулачке новую сигарету, тяжело вздыхает. Главное — надышаться этой дрянью. Да, прихотливый характер ее — неизлечим. Сочетать свои желания с реальностью никогда не могла. Да и не пыталась!

— Ладно, кури, — сказал Боб. Ему и десяти минут этих вздохов хватило, а мне их слушать всю жизнь. И скоро я окажусь во всем виноват!

Она стала торопливо чиркать зажигалкой — я вынул ее из трясущихся ручонек. Слезы засверкали. Может, обратно повернуть? Комиссия, думаю, еще не закончила свою работу. Извините, сказать, ошибка вышла. Она вовсе и не собирается по-человечески жить — в интернат ее! Лучше один раз оказаться жестоком, чем потом мучиться всю жизнь нам обоим.

Но тут мы как раз вывернули на Невский: шикарные витрины, красивая, веселая толпа. Сразу после больничных сумерек!

— Ой, как я рада, Веч!

Надо быть железным Феликсом, чтобы повернуть. Вот так жизнь и оплетает нас теплой паутиной, а потом, глядишь, — уже пальцем не шевельнуть. Кстати, насчет моего неподвижного пальчика не поинтересовалась она. Радость жизни ее захлестывает: мои тут страдания, муки отца Сергия, не интересны ей. Веселиться хочет! Глазки сияют, головка туда-сюда!

Но пока не мучайся. Насладись. Давно ты уже Невским не любовался, тем более из такой шикарной машины. Любимую жену вытащил из больницы! Повернулись друг к другу.

— Не сердись, Веч!

Мы поцеловались. Вот уже и дом наш, угловой, самый красивый на Невском. Жизнь удалась! Помню, как мы стояли на углу, и я отковыривал ее пальцы от поручня, и она кидала отчаянные взгляды на дом, прощаясь. Вернулись же!

— Ур-ря! — поглядев друг на друга, закричали мы.

И въехали в арку. А вот и навоз! Материал, из которого теперь будет строиться наша жизнь. Да, не терял я времени. Целый табун тут развел.

Автографы наездниц — Анжела, Саяна, — начертанные какой-то дьявольской копотью возле того окна. Саяна-то совсем ни при чем, ни разу даже в глаза ее не видел!.. Докажи. Посмотрел на свой забинтованный пальчик. Не подведи, родимый. В тебе вся моя сила. Моральный вес!

И я решил уже: если не оценит, как я мучился тут, снова в окошке том меня будет наблюдать — пальцем этим глазки выколю ей! Имею право.

Вылезли из машины.

— Ну, до связи, — сверху, со своего трона, изрек Боб. — ...На вот тебе, — хмуро протянул две сотельных баксов.

— Ладно. Только переобуюсь — и пойдем с тобой это дело топтать! — откликнулся я. — Дело срочное, понимаю!

Некоторые «конские яблоки» еще дымились.

— Я разве сказал что-то? — обиделся Боб и, раскатав несколько сочных кругляков, вырулил на улицу.

Он столько сделал мне, а я нападаю. Совсем, видно, ослаб! А кто же тут будет главным генератором счастья и тепла? Кроме тебя, некому! На Нонну поглядел. Счастливо сморщившись, двор озирала, в дверь не входила.

— Волнуюсь, Веч!

Мы подошли к железной двери.

— Как открывать? Я забыла, Веч!

Это забыла она! А вот то, что следовало бы забыть, скоро вспомнит!

Сдвинули железную дверь, стали подниматься по лестнице. Она, шевелия носиком, жадно вдыхала. Понимаю ее: хочется еще до того, как квартира откроется, что-то ухватить! Помню, как я тут бежал, возвращаясь из Африки. И, как ни странно, хоть положение тогда было отчаянней, больше чувствовал сил. Но знаю, что и сейчас сил ровно столько окажется у меня, сколько понадобится!

Отъехала дверь.

— Ну, входи!

Надула щечки в прожилках. Выдохнула. Шагнула через порог. Что бы потом ни было, вспомним: был такой счастливый момент!

— Вот наша вешалка. Узнаешь?

Кивнула. Не могла, видно, сразу говорить. Глядела на меня. И за этот взгляд, за этот миг я все готов вынести — и до, и после.

Батя, конечно, не подвел, вышел с трехлитровой банкой золотистой мочи — шел по коридору медленно, вдумчиво, не замечая нас. Борется за свои права, за свое расписание, не уступает. По-прежнему тверд. И порой мне кажется — уступит в этом, сломается и в остальном. Может, даже перестанет в восемь вставать и садиться за рукопись. Но ей, душевно раненой, как объяснишь?

Впрочем, вспомнил я, из больницы ей эта банка чуть не символом семейного счастья казалась, светлым воспоминанием. Точно!

— Привет! — подкравшись сбоку к отцу, сказала Нонна.

— А?! — Он озирался, почему-то не замечая ее.

Вот — увидел.

— Эх! — как-то лихо воскликнул. — Вот это да!

Заметался в узком проеме с банкой, ища, куда бы поставить ее. Нонна смеялась. Потом выхватила у него банку, звонко чмокнула ее, поставила на сундук.

— Ну, здравствуй, мила моя!

Обнялись. Отец мощной своей ладонью растроганно похлопывал ее по тощей спине. Не могли расстаться!

— Ну ладно! Иди. — Видимо, ревнуя, я взял с сундука банку, вручил ему. Он, снова погрузившись в глубины своего сознания, пошел медленно к туалету. Не много времени у него занял душевный порыв. Но больше не надо. Если еще и он начнет нервничать — совсем хана.

Шутливо впихнул Нонну в спальню.

— Садись! Будь как дома.

Изможденная, бледная улыбка.

«Как дома» — это как когда? Если — как перед больницей, то не дай бог.

Да нет! Не зря же ей витамины кололи. Должна же она что-то понять? Второй раз пройти через это не хватит сил. Второго раза не будет, с таким счастливым концом.

Сидела, радостно озираясь. Вся еще больничная, мятая, пахнувшая лекарствами. Грязные космы-висюльки для больницы годились, но у нас все-таки элегантный дом. Эту больничную пассивность надо бы выдавить из нее!.. Горячишься.

— Ну чего? В ванной помоешься?

— ... Подожди, Веч!

— Ну, я пока воду включу? — рванулся к ванной.

Та-ак. У нее уже слезы блеснули. Поехали! По ее расписанию будем жить. Привык за это время куда-то мчаться!.. теперь бережно надо двигаться.

— Ну, отдыхай.

Осторожно уложил невытую головку ее на подушечку, вышел, дверку прикрыл.

Сидел за столом, нетерпеливо скрипя стулом. Куда бежать? Некуда больше тебе бежать.

Скрипнула дверь. По коридору прошаркала. Неужто ванну запустит? — ухо наострил. Нет! Туалетный водопадик. Прошаркала назад.

Теперь ты — сиделка. Вот и сиди... Толстая пыль, абсолютно на всем, не волнует ее. Так же, как бату. Только тебя волнует. Вдыхай!

Не знаю, сколько так просидел, свесив на кулаки щеки. Вдруг со скрипом дверь отъехала. Нонна явилась, виновато вздыхая. В пальтишке своем мятом, в пыльных кроссовках. Надо ей все покупать: бомжиха уже! Совсем об этом не думала, как, впрочем, и ни о чем. Но — сияла.

— Веч! Я буду стараться! Я в магазин пойду. Да, — закивала головой. — Давай посмотрим — чего надо купить?

— Давай... конечно! — радостно заметался.

Оказались на кухне. Холодильник открыли.

— Я, Веч, на рынок пойду! — сообщила гордо.

Рынок, полный крынок. А деньги где? Наскребем. Главное, что желанья появились у нее. Причем — здоровые.

— Представляю, как капустаница меня ждет! — сказала она. Молодец. Вспомнила еще одну нашу семейную радость (кроме отцовской банки).

— Представляю, как она обрадуется! — Нонна говорила. — Замашет сразу: «Сюда иди!» Перед больницей говорила мне: «Не поддавайся, милая!»

Слезки блеснули. Как бабушка говорила моя — слезки на колесах. Понял вдруг, почему я *сейчас* так ее люблю: бабушку мне напоминает, такой, как я помню ее. Тоже радостная за продуктами шла, полная впечатлений приходила. А у этой — капустаницы любовь. Взаимная. Хоть и не бескорыстная. Возвращалась всегда счастливая от нее, смущенно улыбаясь, вытаскивала из мятой сумки своей очередной мутный пакетик с квашеной капустой.

— Вот... купи-ва! — говорила, потупясь. Правда, та ей от любви всегда подкидывала в пакет то маринованный чесночок, то перчик. Это уж не от корысти — от любви. Так что мешать этой страсти нельзя. Хоть дальше пакетиков дело не шло. Чтобы сварить, например, щи — этого не было. Складывался пакетик в холодильник, где их воняло штук уже, наверное, двадцать. Но это ее счастье квашеное трогать нельзя. Пусть хоть чему-то радуется, все равно.

— Ты, Нонна, гений гниений! — говорил я ей, пакетики перебирая: некоторые, кажется, за позапрошлый год.

— Ну ты, Веча, мне льстишь. — Пока была бодрая, отвечала весело.

Ничего! Некоторые жены, говорят, алмазы коллекционируют. Так что мне повезло.

— Ну и чего ты думаешь там купить окромя капусты? — поинтересовался я.

— Я забыла, Веч, что там продается. Капустницу только помню одну, — улыбалась. — Но я вспомню, Веч! Ты мне де-нюх дай — и я вспомню.

— Де-нюх? А давай лучше я напишу: «Выдать. Луначарский». Пойдет?

— Не-е, Веч! — засмеялась.

Валюту разменивать придется. Но за счастье такое — не жалко отдать. Правда, приглядывал я тут, возле дома, одну шинель. Но — уровня Акакия Акакиевича мне не достичь. Слабоват. Федот, да не тот, пальто, да не то, метод, да не этот! Пошли в обменник. Купюру разменял. Деньги в бумажник сунула. Кивнула: «Спасибо, Веч!»

Долго смотрел ей вслед. Пока не свернула на Кирпичный. Потом по Мойке пойдет. Там, наверное, ветер дует, воду рябит. Красота, после больницы-то! По Гороховой, забитой машинами, дойдет до Садовой, по ней — к Сенной. Любит она дорогу эту! Ликовал вместе с ней.

И дома улыбался еще. Телефон зазвонил. Говнодав меня требует? Ну и что? Это тебе не просроченная виагра: все свежее, натуральное! Да с чистой совестью, да по свежему воздуху. Красота! В Москву с товаром поедем, на международный рынок станем выходить!

— Слушаю! — крикнул в трубку.

После паузы:

— Алло.

Настя.

— Привет, дорогая!

— Ну как вы там?

— Нормально.

Какой-то тревогой из трубки повеяло.

— А мать как держится?

— ...Нормально. Ничего.

— Позови-ка мне ее.

— Она... в ванной сейчас.

Улыбка моя, отражаясь в зеркале, уже глупой казалась.

— ...В ванной? При ее-то водобоязни? — Она слегка напряженно хотнула. Долгая пауза. — Ты что — отпустил ее, отец?

Пауза еще более долгая.

— Ну а что? Пусть свободе порадуетесь! — ответил я. — Счастье — лучшее лекарство.

— Ты что?.. Рехнулся, отец? Стас разве не говорил тебе, что алкоголизм не излечивается?

— При чем тут алкоголизм? Человек радуется!

— Мы проходили уже ее «радости»! — Настя воскликнула.

Всегда я так: лечу счастливо — и мордой об столб!

— Да не волнуйся... придет она, — пробормотал я.

— Да она, может, и адрес уже не помнит!

— Так что же мне делать?

— Беги, отец! И по пути во все шалманы заглядывай.

— Да.

«Кролик, беги!» Был такой любимый роман нашей молодости. Бежал по Кирпичному, по Мойке, по Гороховой, Садовой, ко всем стеклам, витринам приликая. Прерывисто, тяжело дышал. Третье дыхание.

На рынок вбежал, полный крынок. Нет. По рядам квашения промчался. Которая тут ее капустница? Не пойму. Я, к сожалению, в такие нежные отношения с посторонними не вступаю, как она.

Заглянул в пивную на рынке, полную громко говорящих кавказцев, представил ее тут — как она просит прикурить вот у этого небритого кавказца, тянет к нему дрожащую ручонку с сигаретой... и это, наверное, счастье было бы — увидеть ее с ними, — радостно сел бы к ним и, может быть, выпил бы пива, расслабился наконец — сколько же можно за горло себя держать?

Но рай этот только представил — и нужно было уже бежать.

«Веч! — говорила она. — Если я пойму, что тебе мешаю, то уйду. Насовсем».

И я ее отпустил!

Потом я сидел на гранитном пеньке у нашей арки, сняв шапку и положив ее на колени. Прохожие вопросительно глядели на меня: подавать ли милостыню?.. Обождать!

— Ве-еч! Ты чего здесь? — вдруг послышался ее голосок.

Мерещится? Я поднял глаза. Она стояла передо мной — маленькая, тощенькая, с тяжелой, раздутой сумкой в руке. Как доволокла столько?

Я поднялся.

— Чего так долго ты?.. я уже извелся!

— На рынок ходила, Веч!

Не было тебя на рынке!.. Ну ничего. Главное, что вернулась.

Личико, правда, как клюквинка, набухло. И явственно доносится некоторый «аромат степу». Но предупреждал же меня Стас, что алкоголизм не лечится. Я же сам подписался на этот вариант.

— Ну, отлично. Пошли домой. Чего это ты приволокла? — потянулся к ее сумке.

— Тайна! — отвела руку мою. — Но вы довольны будете!

Даже облизала губки язычком, вкусно чмокнула.

Что бы это могло быть такое? Как-то я привык бояться ее тайн! Впрочем, привыкай по новой. Как бы с новыми силами. Давай считать, что за время ее отсутствия ты отлично отдохнул, поднабрался сил и спокойно перенесешь по крайней мере первые испытания. Улыбайся, генерируй счастье. Когда оно есть, то и легкие недостатки друг другу можно простить. Бутылка, кстати, там не прощупывается — несколько раз ненавязчиво коснулся сумки ногой. Может, продержимся... до чего-нибудь?

Мы вошли в квартиру — тепло здесь после уличной холодрыги.

— Ну? Помочь?

— Не ходи за мной! — улыбнулась таинственно, словно готовя мне радостный сюрприз. Боюсь я сюрпризов ее! Но — придется радоваться, иначе — слезы. А после слез, чтобы успокоиться, придется напиться... Ей. А может, и мне? Когда-то я любил это дело. Вовремя остановился. Может, время опять пришло? Отлично будем жить, с разбитыми мордами «после совместного распития спиртных напитков». Зато — без напряжения, делаем что хотим!.. Нет. Пару раз я пытался опускаться, оказалось — тяжело. Гораздо тяжелее, чем жить нормально. Сразу куча проблем и хлопот, нервы — на пределе!.. Погодим. Нормально попробуем — скучной мешчанской жизнью.

Впрочем, скучной — навряд ли. Уши — торчком. Пытаюсь по тихим шорохам учуять опасность, как известный таежный охотник Дерсу Узала. Это чем-то она брякает в холодильнике? Полочку, что ли, вытаскивает? Зачем? Что-то огромное, видно, туда запихивает. «Большое, как любовь!» Была когда-то у нас такая песня и танец: «Зе биг эз лав!» — «Большое, как любовь!». Кружком, взявшись за руки, отплясывали в ресторане «Крыша», с друзьями и подругами. А в центре круга — лихо куролесит она. Недавно! Мне — сорок лет. И обошлось безумство это, как сейчас помню, в сорок рублей. Славно было. А сейчас я — таежный охотник Дерсу Узала. И — опасные шорохи... Вот — в кладовке уже странное постукивание. Место

это отлично знаю. Там еще — Лев Толстой, и в полом бюсте его бутылку прятала. Ничего, блин, святого! Проверить пойти? Покончить с зыбким этим раем? Нет. Понадеемся еще!

Что-то очень долго там брякает... но там же вся посуда у нее! «Формально все нормально», как шутили мы с ней. Сколько словечек всяких было у нас — держались благодаря им, не падали духом. Мол, это лишь шутим мы и ничуть не страдаем.

После возвращения ее с покупками, помню, я выходил в прихожую, целовались, потом шумно принюхивались друг к другу: не пахнет ли чем? На этой шутке — держались: вовсе мы друг за другом не следим, а так, просто принюхиваемся, как собачки.

Еще, помню, шутка была. Когда она уже явно была навеселе, подносил свой кулак ей к носику, грозно произносил: «Чем пахнет?» Она, с упоением как бы, втягивала запах, сладко зажмурясь. Держались. Веселились, как могли. Продержимся? Может, пойти дать ей понюхать кулак? Если сладко вдохнет, зажмурясь, вспомнит нашу шутку — значит, все хорошо. И, может, еще долго продержимся? А?

Нерешительно приподнялся... Рискованно. Вдруг рухнет даже то, что еще есть? Сел снова. Вот так я теперь провожу время за рабочим столом! Впрочем, это и есть теперь моя работа. Пошел. Кулак в запасе держал, за спиной. Как увижу ее — определю сразу: способна ли еще воспринимать? Заметил вдруг, что передвигаюсь бесшумно... охотник, выслеживающий рысь! На кухню внезапно вошел. Она, сидя на корточках у холодильника, испуганно вздрогнула, быстро захлопнула дверку. Та-ак. Глянула снизу на меня, но почему-то не испуганным оком, а, я бы сказал, счастливо-таинственным. Сюрприз?

— Чего это там у тебя?

Снова глянула, еще более таинственно-радостно. Какой-то просто маленький праздник у нее.

— Показать?

— Ну.

Поглядела еще, как бы решаясь, потом — отпахнула дверцу... Арбуз! Тяжело, кособоко лежит, занимая холодильник.

— Хочется, Веч! — сказала она, сияя.

Что ж — и для меня тоже радость: арбуз, а не алкоголь. А просто так радоваться ты не можешь уже?

— Дай кусить! — проговорил жадно.

— ...После обеда, Веч!.. Ну хавашо, хавашо! Отрежу кусочек.

— Ну ладно уж! Потерплю!

Расцеловались, как бы довольные друг другом. И я пошел. Принюхиваться друг к другу не стали пока что. Можно хотя бы немножко в блаженстве побыть?

Побывал. Но не особенно долго. Снова тихое бряканье в кладовке раздалось. Второй арбуз у нее там? Ох, навряд ли! Скорее, что-нибудь менее официальное, увы. Продержимся ли до обеда? Кстати — какой обед? Ничего такого я там не заметил. Только арбуз! Арбуз на первое, на второе, арбуз на третье. Вряд ли сойдет. Батя лютует в таких случаях, а также в некоторых других. Пойти ей сказать? Не стоит, наверное. Рухнет наше хрупкое счастье, полное таинственных шорохов. Сделаем не так. Умный, хитрый охотник Дерсу Узала бесшумно сейчас пойдет и задушит курицу. Бесшумно ее принесет, и мы ее бодро сварим, не возбуждая обид, тревог, избежав вытекающих (и, возможно, втекающих) последствий. «Умный, ч-черт!» — как говорила Нонна, когда я находил очередную ее бутылочку. Приятно чувствовать себя «умным ч-чертом!». Вышел бесшумно.

Когда вернулся с курицей в когтях, Нонна по телефону громко разговаривала — с Настей, как понял я. Настя насадала, как всегда.



— Ну Настя! — Нонна отбивалась. — Ну хавашо! Ха-вашо! Куплю курицу, как ты велишь! Ладно! Уже бжжу, бжжу.

После этого — долгая пауза и совсем уже другой тон — надменный, холодный:

— ...В какой больнице, Настя? Что ты плетешь? Я нигде не была!

Разговор в неприятную стадию вступал — в том числе для меня. Забыла уже все! Быстро. «Аромат степу» уже все помещение властно заполнял. «Я маленькая, — Нонна поясняла, когда мы еще на эту тему могли шутить, — поэтому запах весь снаружи находится!» Есть такое.

Бесшумно, зажав курицу под мышкой, к кладовке пошел. Поглядев пристально в глаза Льву Толстому, приподнял его. Эх, Лев Николаич! «Маленькая» в тебе стоит! «Зачем люди одурманивают себя?» Нет окончательного ответа. Пойти с этой «маленькой» к ней? Подержав, опустил Толстого. Пусть хотя бы обед нормально пройдет. Хочется ведь немного счастья — или покоя, на худой конец.

Когда она на кухню пришла, я уже озабоченно куру вилкою тыкал в кипящей воде.

— Ч-черт! — с досадою произнес. — Никак не варится курица *твоя!* Мороженую, что ли, купила?

Смутилась чуть-чуть, лишь тень сомнения промелькнула... потом проговорила доверчиво:

— А других не было, Веч!

Легко ее обмануть! Потом — радостно уже — брякала, я весело на машинке писал историю курицы, отец с дребезжаньем двигал у себя в комнате стул, видимо, то отодвигая его от стола, то снова придвигая, садясь и продолжая свой неустанный труд.

Звонкий голосок Нонны с кухни донесся:

— Иди-ти! Все гэ!

Вот она, долгожданная идиллия! Заглянул к отцу, в его маленькую комнатку, с атмосферой тяжелого труда:

— Пойдем обедать.

Согнувшись над бумагами, мрачно кивнул, но больше движений не последовало. Ну, идиллию же надо поддержать, хлипкую! Неужели не понять?? Донеслось наконец дребезжание стула, когда я уже далеко ушел.

Он сел за стол, ни на кого не глядя. Лютует батя! Теперь, видно, настал его черед?

Сморщившись, смотрел на помидоры на тарелке — так, будто ему положили кусок говна. Неужели не понимает, что надо веселье поддержать! Потрогал вилкой:

— ...Помидоры квашеные, что ль?

— Какие? — Нонна поднялась. Торчащая вперед челюсть задрожала.

— Квашеные, говорю. Непонятно? — с мрачным напором повторил.

— Отец! — я вскричал.

Он мрачно отодвинул тарелку.

Конечно, помидоры эти Нонна из своих давних «загноений» достала, добольничных! Но неужели надо подчеркивать это, нельзя заглоти ради счастья семейного? «Объективная истина» — ею кичится? Главное — отношения между людьми. Без каких-либо установок заранее! Конкретно, как оно сложится каждый раз. Нет! Замшелые его принципы ему важней. «Не каждый факт надо констатировать!» — сколько раз ему говорил. Но его не сдвинешь. Курицу ковырял. Отодвинул.

— Что, отец? — произнес я.

— Жесткая, — холодно отвечал.

Ну и что, что жесткая? Трудно ему сгрызть? Вон зубов у него сколько еще — больше, чем у нас с Нонной вместях! Неужто не понимает, что это экспериментальный обед, *первый* после больницы! Не важно это?

— Спасибо, — чопорно поклонился, встал. Пошел из-за стола, холодно пукнув. Обычно с задушевной трелью выходил.

Нонна, блеснув слезою, глянула на меня. Я лихо ей подмигнул, сгреб помидоры со всех тарелок на свою (она, несмотря на всю ее душевную чуткость, тоже их не ела, боясь, видимо, отравиться). Ел только я, торопливо чавкая, весело ей подмигивая. Проглотим все! Сладостно закатив глазки, провел ладошкой по пищеводу. Красота! Нонна смеялась. Вот и хорошо! Теперь возьмемся за птеродактиля.

— Слушай! Ты ешь!

— Ай эм! — ответила бодро.

От помидор отрыжка, конечно. Но, надеюсь, не умру. А если и умру, то с чистой совестью. Совсем хорошо.

Улыбались друг другу. И тут отец свесил лучезарный свой кумпол на кухню. Смотрел, прикрыв ладонью глаза, как Илья Муромец. Высмотрел наконец!

— Нонна, — сипло произнес.

— Что? — произнесла она холодно. Но оттенки чувств не волнуют его.

— Хочу сегодня купаться!

Именно сегодня надо ему?!

— ...Хорошо. Я все приготовлю! — проговорила Нонна, дрожа.

— Послушайте! — через полчаса орал я. — Вы с Нонной составляете идеальную пару: она сует тебе рваные носки, ты кричишь, что их не наденешь. При этом оба даже не смотрите на носки целые, что я вам сую! Вам так больше нравится? А мне нет! У меня есть тоже... самолюбие. Я ухожу.

Недалеко ушел.

Нонна стояла у кровати в темноте. Окно напротив, наоборот, сияло. Экран пока что был пуст. Но — скоро наполнится, можно не сомневаться. Что пойдет нынче? Мультик? Или «мыльная опера» опять? Я, конечно, освежил там видеоряд. Но понравится ли?

Нонна неподвижно глядела туда. Что ей там сбрендится?

— ...Спать хочу! — прерывисто зевнув, вымолвила она.

Не успев опомниться, я заметил: дрожащими руками стелю ей постель! Вдруг что-то не то там увидит. Боюсь я за свой видеоряд.

— Конечно... я тоже лягу! — лепетал я.

Глубокий, освежающий сон! Лучший доктор. Времени, правда, полше-стого всего. Легли... Только вечный сон может нас успокоить!

Лежа, смотрел на то окно... скоро заработает? Я, правда, там приватизировал бред. Но будет ли лучше от этого? Сомневаюсь. Волнений, во всяком случае, больше. Впервые в сочинении своем не уверен... В соавторстве с нею не могу сочинять!

Чуть задремал и сразу увидел волшебный сон — когда ты так же лежишь и то же видишь, но в другом времени. И в другой жизни. То окно — чистое, отливающее небесной голубизной, обвитое гирляндой оранжевых колокольчиков. Сквозь сон почувствовал, как горячие счастливые слезы полились. Наполовину проснулся. Да-а. Были когда-то цветочки. Теперь — ягодки.

Вдруг резко телефон зазвонил. Я вскочил с колотящимся сердцем. Кто звонит среди ночи? Какая еще беда? Одной мало? На часы глянул — шесть часов. У людей — вечер. Это только у нас — ночь.

— Алло! — тем не менее бодро произнес. Голосом могу управлять. А по голосу, как по веревке, глядишь, выберемся.

— Привет, — Кузин голосок. — Ну что? Блаженствуете?

— В каком смысле?

— Ну — Нонка-то выписалась.

— А-а. Да.

Видно, немножко по-разному оцениваем мы с ним эту идиллию.

— Ну как... подлечили ее?

Не долечили. И — не долечат. Не до-ле-чивается она!

И тут же это и подтвердилось: Нонна, зевнув, вдруг вскинула свои тощие ножки, встала на них и, глянув на меня как на пустое место, по коридору пошла. Льва Толстого проведать? Заскучал, поди, старик. Есть в нем одна маленькая тайна — но, к сожалению, выпитая почти до дна. Слышал озабоченное ее пыхтение: гиганта мысли нелегко поднимать. Изумленная тишина, потом — стук. Поставила классика на место. Не оправдал классик ее надежд.

— Значит, все в порядке у вас? — Голос Кузи в трубке прорезался, мне померещилось, через тысячу лет. — Тогда не хочешь ли прокатиться опять?

Волна счастья окатила меня: улететь из этого ада! Да еще небось по важному делу — какой-то очередной проект спасения человечества! Но волна тут же схлынула, разделилась: половина души ликовала еще, а половина — торкалась в тесной кладовке: как там лахудра моя?

— Ты помнишь, наверное: мы шведам отдали лицензию на переработку сучьев.

Как не помнить! Душу порвали. Выходит — не до конца?

— Та-ак, — произнес выжидательно. Одно ухо было здесь, другое — в кладовке.

— Ну, они хотят что-то типа буклета выпустить. А у тебя, вспомнил я, какое-то эссе было о сучьях?

Было! «Сучья в больнице». «Больничные сучья». Кузя, друг!

— На Готланд приглашают они тебя!

Ну тут душа уже на три части разорвалась.

— А Боб? Участвует? — выговорил я.

— Твой Боб!.. — проговорил Кузя презрительно.

«Твой Боб!» Во-первых, Кузя сам мне его дал, просил в Африке «уравновесить» его. А во-вторых, как же так можно обращаться с людьми? Боб избрал все, наладил!.. А все презрительно упоминают о нем!

Тут душа моя окончательно лопнула. Надо с Кузей обаятельно говорить, а левое ухо тем временем слышало, как Нонна уже настойчиво в дверь скребет, дергает замок, пытается выйти. Походы мы знаем ее!

Сразу на двух фронтах невозможно страдать. Пострадаем на этом.

— Можно подумать чуток? — произнес я вальяжно. — Заманчиво, скажем... но я тут что-то пишу.

— Ну ты заелся, гляжу! — Кузя уважительно хохотнул. — Ну, думай! — перезвоню.

Да, я заелся. Говна.

— Ну, хоп! — бодро я произнес.

— Чао.

Не говори «хоп», пока не перескочишь! Да, я заелся! Метнулся к двери. Еле успел: она уже одолела замок, ветхое ее рубище сквозняком развело.

— Погоди. Ты куда это?

Глянула яростно: кто тут еще путается?

— Выйти надо, — проговорила отрывисто.

Поглядел на сумку ее: чем-то нагружена. Если в последний путь надумала, то многовато берет.

— Дай денег мне! — произнесла надменно.

— Для чего это?

— Ну... сигареты купить!

— «Ну сигареты» вот у тебя, — вытащил из кармана ее пальто почти полную пачку.

— Ну... еще кое-что! — нетерпеливо сказала она.

— Чтобы... Льва Толстого наполнить внутренним содержанием?! — зарорал. Бедный Толстой! Достается ему от нас после смерти. — Хватит уже!

Все! — Сорвал пальтишко с нее, бегал по коридору, в кладовку швырнул его. — Все! Хватит! Ты поняла? Хватит! Больше мучиться с тобой не могу я, второй раз мне Бехтеревку не поднять! Поняла?

Враждебно молчала. Ну, если оно так — закрыл дверь на большой ключ, сунул его себе в шальвары. Дубликат она вряд ли найдет.

— Все! — закрылся в уборной. Последнее место, где не достанут меня. Задвижка — лучшее изобретение человечества. Но! Только приготовился к блаженству — входная дверь жажнула. Открыла все-таки? Ну и пусть. Человек все сам выбирает. Я — тут остаюсь.

Но недолго длилось блаженство. Через секунду уже с ужасом глядел, как медленно, но властно повернулась ручка. И тут покоя мне нет. К сожалению, это не привидение. Привидение я бы расцеловал. Привидение, несомненно бы, оказалось самым милым членом нашей семьи. Но привидения, я понимаю, не пукают. А тут донеслась знакомая задушевная трель. Неужели же батя понять не хочет, что если за рабочим столом меня нет, спальню на ходу он видел, наверняка кухню тоже, — неужели нельзя вычислить, что я в уборной? Покоя дать мне? Такие мелочи не интересуют его. Что я есть, что меня нет — не так важно. Посмотрим, что запоят без меня. С этой величественной мыслью я открыл.

— Послушай, отец! Неужели ты не понимаешь, что я тут?

В уборной я! Навсегда!

— Откуда мне знать? — ответил величественно.

А по дороге не поинтересовался — где его сын?

— Заходи, — я махнул рукой, скорбно удалился.

Выгнали о. Сергия из его обители! Да и какой я отец Сергей? Где обитель мне взять, чтобы покой обрести? Нет обители. Да и отец Сергей, что поразило меня, когда я наконец удосужился до конца прочитать это произведение, и не герой вовсе, и не святой, а так. Толстой не так глуп оказался, чтобы позера этого ставить святым. Глубже оказался! Святая у него — бедная родственница отца Сергия, которая вовсе не удаляется из этого ада, а живет в нем, стараясь сделать хоть что-то. Часто уступает грехам, лжет. Высокие принципы только в пустыне хороши, а тут... тут повсякому приходится. Святая — она! А не о. Сергей. Не я. Впрочем, у меня еще есть шанс в бедную родственницу превратиться! Так что... сломанный пальчик свой, которым ты так гордился, засунь лучше... в ноздрю себе и никому не показывай. Надо Толстого лучше помнить, а не пальцы ломать. Молчи. И терпи. И делай, что можешь. Как бедная родственница.

А вот и Нонна уже! Надменно прошла, булька карманом, не глядя на меня, бедного родственника. Сумку, приметил я, забирала с собой, а та в объеме уменьшилась. Что-то сбыва? Неужели бюст нашего классика — главное прикрытие свое?

Когда шаги ее стихли — наконец заглянуть туда смог. Классик, слава богу, на месте. Стоит. Видимо, уже весь наполненный внутренним содержанием. На Толстого рука ее не поднялась. Пригляделся около... На меня рука ее поднялась! Книжки, за всю жизнь мной написанные, вымела с полки. Меня пропила!.. Интересное наблюдение: порой кажется, что страдание уже до предела дошло, некуда дальше!.. Ан есть. Увидел, глаза повыше подняв, что и Настины книги, переводы с английского, тоже продала! Настю ей не прошу! Сколько трудов это дочке стоило, сколько страданий! Пропила!

Кинулся к ней, затормошил. Что-то забормотала. По спальне привольно разлился «аромат степу».

— Что ты творишь, а? — тряс ее, тряс. Душу бы вытряс, если бы она в ней оставалась еще!

— Что надо? — наконец разлепился один глаз, холодный и властный.

— Душу твою хочу забрать! Душу! Вот только нет ее у тебя!

Заплакал. Сел на диван.

— В чем дело? — надменно поинтересовалась она.

— Что ж ты, сука?! — утираясь, плакал я. — Наши с Настей книжки пропила? Ты что же, не понимаешь — это последнее, что есть у нас!

Вместо раскаяния — улыбка зазмеилась:

— Ошибаешься, Венчик! Твое как раз не взяли они. Сказали — такого говна им не надо! Посмотри, — кивнула торжествующе.

Поднял сумку ее, валяющуюся в пыли. Точно! По тяжести уже чувствовал — не врет. Честная! Мое тут. Лишь Настины книги продала. Но радоваться ли этому? Нет. Злоба отчаянием сменилась. И это хорошо. Злоба неконструктивна. Помню, когда решил из больницы ее забрать, обнялись, счастливые, и сказал ты себе: ради этого момента можно все претерпеть!.. Претерпел?.. Но еще не все.

— Ну... убедился? — гордо произнесла.

Этого не претерпел.

— Что ты со мной сделала? — завопил. — Я ж для тебя жизнь свою сжег! — Заметил, что при этом тычу забинтованным пальчиком в дырку от зуба... Почетные раны мои. Но как я их получил конкретно, ей, думаю, не надо говорить. Моральный мой вес на нее не действует. Ей вообще ничего не надо говорить!

Наскреб денег по сусекам, рванул в «Букинист». Он уже закрывался, но я пролез. Выкупил Настины книги. Пришел. Кладовку открыл. Книги на полку расставил — Настины, а заодно и мои. На Толстого глянул. Вот так, Лев Николаич! Мы тоже что-то можем!.. Теперь надо идти мириться.

Но она не желает, видите ли! Презрением встретила меня. Чтоб как-то хоть успокоиться, хлебнул чаю, что перед нею в чашке стоял, — и задохнулся! «Чай!» Водка наполовину! В больничке этому научилась? Не зря я столько денег заплатил!

— Продала ты за водку нас! — прохрипел я. — Неужели ничего лучше водки нет?!

— Что может быть лучше водки? — усмехнулась. — ...Лучше водки может быть только смерть!

— Тогда пей! — Я выплеснул чашку ей в лицо.

Не отводя от меня ледяного взгляда, она медленно обтерла рукой щеки и потом звонко расцеловала каждый пальчик. Зазвонил телефон. Боб! Работодатель. Рабовладелец.

— Ну? Чего делаем?

Трудно как-то сформулировать. Я молчал.

— Бабки нужны тебе? — не дождавшись энтузиазма, он надавил.

Мне — нет!.. А ради этой суки я не собираюсь говно топтать!

— Нужны. Но ты же видел, Боб! Своего говна мне хватает! Не до тебя!

— Ну смотри, — с угрозой произнес, трубкой брякнул.

И под пулю она меня подведет, даже просто.

Звонок. Видимо, уточнение — когда киллера ждать.

— Ну? Надумал?

Кузя! Я рад.

— Еду! — сразу сказал.

— Пр-равильно! — Кузя воскликнул.

Хоть один есть у меня друг!

— Как я приеду? — Настя сказала. — У меня ж в компьютере все!

— Ну так тащи сюда компьютер!

— Нет!

— Ну как хотите! — трубку повесил.

Я тоже что-то могу хотеть — например, жизнь свою спасти.

...Досви — Швеция!

## Глава 16

С маленькой котомкой из дома ушел. Свобода! Стоял на ледяном углу, поджидая Кузю.

Кузя, друг! Все друзья мои, шестидесятилетние шестидесятники, ездят на ржавых тачках эпохи зрелого социализма, все были тогда кандидатами-лауреатами. За светлое будущее боролись. Напоролись!

Тормознув, Кузя скрипучую дверку открыл, и я нырнул в уютную вонь: аромат бензина, промасленной ветоши. Хоть боремся с ним за чистоту атмосферы, не жалея сил, добираться к высокой цели приходится, вдыхая бензин... Что, несомненно, усиливает нашу решимость покончить с этим злом.

— Этот губернатор *ваш*, — Кузя усмехнулся — весь город перекопал, к юбилею готовясь, ни пройти ни проехать!

Глянул на него. Эх ты, седая борода! Все нейметса? Дух у нас такой.

— Ничего, найдем на него управу! — он боевито сказал.

Я робко поехал. Круто берет! Сразу видать — свободного общества представитель. Глядишь, и я на свободу вырвусь через него!

Кузя, голован, среди нас самый успешный, международное сообщество консультирует — куда нас, грешных, девать.

И помогает! Куда б я без него сейчас делся? В запой? Но у нас в семье есть уже один пьющий член — этого достаточно. А я благодаря Кузе вхожу в мудрую международную жизнь.

Затряслись по набережной Фонтанки. Трехсотлетие города близится — а нормальных дорог нет! Это уже моя собственная смелая мысль.

А если уж я такой смелый, надо еще одну важную вещь сказать.

— Слышь, — Кузю просил, — а чего вы Боба-то совсем отбрили? Он, можно сказать, всю душу в эти сучья вложил!

— У твоего Боба, — Кузя со скрипом переводил рычаги, явно перенося свою дорожную злость на нашего друга, — со вкусом не все о'кей. И с репутацией — тоже.

— А что такое?

Человека вообще-то легко закопать!

— Ведь это ты, по-моему, его породил? В Африку сунул. Помнишь, еще просил меня «уравновесить» его? — я напомнил.

— Я его породил!.. — мы ухнули в яму, — ...я его и убью! — Мы кое-как вылезли из ямы на асфальт. — В Швеции советую тебе о нем не вспоминать. Скомпрометируешь идею.

Ни фиги себе! «Сучья» — это же его идея была. И теперь — он же ее компрометирует? Ловкий поворот! Вспомнил, как мы с Бобом бились в Москве. Правда, целую лестницу телами врагов я не усеял, как он, но зуба своего, помню, лишился — языком нащупал остренькую дыру. Мне таперича, выходит, платят, чтоб закопать Боба, моего друга, навсегда? Выйти, что ли? Проходняками тут до дома недалеко. Прийти, снова шею подставить: душейте меня? Ни вперед, ни назад. Уж вперед все-таки лучше. На шведском острове погощу, хоть простора немножко вдыхну. «Третье дыхание» уже пошло, прерывистое, — без кислорода нельзя.

— А чем Боб так уж отличился? — все же спросил.

— А ты не знаешь? В глазах международного сообщества он труп — и в политическом, и в этическом.

Сразу в двух смыслах труп — это даже для Боба много.

— Хорошо, что не в физическом! — вырвалось у меня.

— На что ты намекаешь? — Кузя вспылил. — Мы подобными делами не занимаемся!

Ну ясно. И других дел хватает. Мы уже вырулили на шоссе к аэропорту. Среди мелькающих придорожных реклам («шоколад»... «виски») вставал время от времени большой плакат с Кузиным портретом. Тревожно

взъерошенный, с растрепанной бородой, он стоял у сожженного леса и вопрошал всех: «Доколе?» Я опустил стыдливо глаза: словно и ко мне относится этот упрек. Ну ясно: в связи с выборами ему поручено природу охранять. А двоих на плакат не поместишь. Вдруг мы с Кузей вздрогнули: на одном плакате рядом с «Доколе?» было подписано: «До ... и больше». Кто-то, видимо, из машины вылезти не поленился! Да, трудно с таким электротом работать.

— Боб твой, если хочешь знать... — заворчал Кузя, словно Боб эту приписку сделал, — сам себя закопал, в этическом плане... Вагон просроченной виагры толкнул! В глазах международного сообщества это — смерть.

Я похолодел. Знает, что и я в этом деле замешан? Держит на крючке? Кто виагру-то сторожил — зная, что просроченная она? Я. И не возражишь. Тем более — он мои командировочные мне еще не выдал. Но я все же сказал:

— Так за полцены он виагру-то продал! Кто брал — тот, наверное, понимал?

Кузя пристально посмотрел на меня: мол, тоже хочешь стать этическим трупом? Это мы враз. Может, с виагрой инцидент еще не взволновал мировое сообщество — но может взволновать.

— Эту просроченную виагру нам в порядке гуманитарной помощи прислали. — Кузя почему-то даже голос понизил. — А Боб — толкнул ее! Так что о нем — забудь!

А то, как мы с Бобом его печку в Москву таранили, — и это забыть? Хотя бы печку его взяли! Он и то бы, наверное, доволен был!

Но... некогда, как всегда: въезжаем уже на пандус аэропорта. Вышли. Кузя дал мне маленько валюты, чтоб я там по возможности развязно себя держал. Остальное, говорит, шведы доплатят, если я как следует сучья воспою.

— В Стокгольме тебя встретит Элен! — Кузя с явной завистью произнес.

— Как я ее узнаю? — я небрежно спросил.

— Она тебя откуда-то знает, — Кузя проворчал.

Интересно, интересно. Ну что? Я уже представлял себе длинный салон международного авиалайнера скандинавской компании САС с нежно-желтыми, если верить рекламе, подголовниками на креслах и того же цвета жилетками на стройных стюардессах. Сажусь, потягиваюсь, скидываю ботинки, сладострастно шевелю пальцами в носках. Свобода!

Однако Кузя пихнул меня в узкую боковую дверь, мы выбрались на какой-то внутренний двор, заваленный техническим хламом, Кузя подмигнул мятому субъекту в кожаной летчицкой куртке. Впрочем, что за летчики летают сейчас в таких куртках? Какой у них может быть самолет?

— Ну... пошли. — Летчик как-то неодобрительно оглядел меня.

Я пошел за ним, потом оглянулся: с Кузей, наверное, надо как-то проститься? Кузя, привстав на цыпочки, посылал мне вслед крестные знамения... Хорошее напутствие!

Дальше, видимо, надо разбираться самому.

— Что за борт? — деловито спросил я у летчика.

Мы деловито пробирались через какие-то складские помещения.

— Чартер, — процедил он.

Ну ясно. По чартеру и примус полетит! Через маленькую дверку мы вылезли на поле. Огромные лайнеры, к ним подъезжают роскошные заправщики, тянут хоботы... Забудь. Это не для тебя. В углу — крохотный грязный самолетик, вместо нормального заправщика к нему тянет кишку какая-то ржавая бочка на колесах. Реакция летчика тоже меня удивила.

— Видал? — стянув летчицкий шлем, он кивнул туда. — Чем заправляют, суки! Вся нефтяная мафия мира против нас!

Но, наверное, надо как-то активней протестовать? Я огляделся. Перед кем? Ты спастись так хотел — но, оказывается, тут другим больше пахнет... Тоже хорошо. Летчик в кабину полез. Далеко ль улетим? Может, у него жизнь не сложилась — поэтому все это устраивает его? Ну а у кого больше жизнь не сложилась, чем у тебя? Полезай! Тебе красиво делают — а ты упираешься еще, как Жихарка перед печкой! Давай. Погибнешь героем. Кузя заботится о тебе: прошлый раз в Африку послал, в мусульманские страны, — вскоре после арабской диверсии в Нью-Йорке, теперь — против нефтяной мафии всего мира запустил. Поднимает тебя, над бытом, на недостижимую прежде высоту!

Салон весь завален промасленной ветошью. Впрочем, кто сказал тебе, что это салон?

Пилот, выглянув из кабины, обнадежил:

— Точно. Заправили говном.

Оно вроде бы топливо будущего — так мы с Бобом недавно мечтали. Но до будущего не долетим.

— Как волка загнали... — прохрипел летчик. Он тут, значит, тоже не просто так.

Помчались, подсакивая, потом подсакивания резко кончились: оторвались. Вот оно, счастье полета! Полный отрыв от земных бед!

Замирает душа: унылые дома окраин как белые куски рафинада стоят. Потом вдруг залив, сверкающий на солнце, встал на дыбы!

Куда ты забрался? Надоела, что ли, жизнь?.. Да! Надоела! Настолько, что совсем не страшно!

И вот — зазмеились фиорды. Чувствуется — не наши уже: у нас нету таких — тем более так много сразу! И тут пилот, выглянув, обрадовал:

— Сильный лобовой ветер — больше часа на месте стоим!

— И что?

— Ничего! — проорал он. — Топливо кончилось! Заправили, называется! На ветер ни капли не добавили. Падать будем — в смысле планировать. Держись!

И я держался, прижатый к креслу. Какие-то коробки по салону летали. Думаю, что как раз они, а не я — главный груз. Порой, все силы собрав, приподнимался... Все тот же фиорд! Во, мафия! Даже упасть не дает! Но мы добились своего: все же падали понемногу. В наклоне — земля. Полосатый «чулок» на мачте... О! Самолетики! Правильно падаем. Стукнулись. Покатились, подсакивая. Встали. Пилот из кабины выглянул, стянул шлем:

— ...Нет уж! Таких друзей — за ... и в музей!

Меня он имел в виду — или кого-то другого? Не знал. Тем не менее я гордость испытывал. «Нет добросовестней этого Попова!» — Марья Сергеевна еще в первом классе сказала. Прилетел!

Сполз с трапа. Какой-то стеклянный павильон, небольшой. И — ровное поле. А где же Стокгольм? Стены павильона разбегались. Вошел. Действительно — Швеция. Строго-приветливый персонал. Как я сразу смекнул — с ними нашими приключениями не надо делиться: не поймут. У них это ненормальным считается. Но все равно — я полу-Чкаловым себя чувствовал, вразвалку вышел к встречающим... А вот и Элен!

Какие-то рощи сплошные, редкие хутора. Элен через Швецию меня везла. Действительно — знал когда-то ее. Девочка из Бокситогорска приехала в Ленинград, с мечтой о Скандинавии. Учеба — тогда я ее и знал, — роман с преподавателем, неудачный брак. Развод. Работа в Интуристе. И вот — печальный итог. Баронесса.

Жилистый, загорелый девяностолетний барон в приспущенных грязных штанах бегал с корявым колом по участку, гоняя пугливых ланей,



объедающих саженцы. При этом он внятно ругался по-русски. (Неужто в мою честь?)

— Главные мои враги — это лани и бабы! — с легким акцентом сказал мне он, очевидно, не имея в виду присутствующую тут же супругу?

Потом мы с Элен плыли на пароме на остров.

И началась как бы новая жизнь.

Раннее утро. Велосипедный звонок. Выглядываю: большая русая голова Элен, ноги в клетчатых брюках на педалях. Велосипед, мне предназначенный, рядом сиял. И — во время долгих велопрогулок по острову Элен дополняла картину своей жизни. Главное место тут, конечно, занимал портрет барона.

Чудовищно скуп. За время их отношений *ни одной* вещи ей не купил: ходит она в том же, в чем познакомилась с ним.

Из баб (их, оказывается, все же признает) любит только своих скотниц. И — не только своих.

Начисто лишен баронской спеси. Обожает нажираться в деревенских кабаках. Роскошь презирает.

...что видно и по дому его: не менялся почти со времен прапрапрадеда, тоже презирающего роскошь.

Впрочем, у шведов это в крови. Помню, по пути из аэропорта, под проливным дождем, сотни шведов, дождя как бы не замечая, не покрывая голов, шпарили в скользкую гору на велосипедах... презирая роскошь! Дома их так столетия и стоят, поражая скромностью. В наших пригородах такие сносят. Кстати, и здесь, на Готланде, чем глубже домик из черных от времени бревен врос в землю — тем лучше. Уважаю! Хоть и понимаю Элен: жизнь до встречи с бароном она тоже в скромности прожила, но привыкла этим не гордиться.

Теперь еще баронесса у меня на руках!

Министерство энергетики, в котором она состоит переводчицей, перекинули из Стокгольма в маленький городок. Шведский социализм требует заботиться о маленьких городках. Правда, из него взяли в штат одну только уборщицу — остальные все крутят педали, выезжая из дома раньше на два часа. И — ни единого стога при этом!

Нет уж: всю Швецию я ей исправить не могу! Могу только выслушать... Но, увы, роман из жизни баронов не собираюсь писать! Но что-то в Швеции позаимствую, надеюсь: феноменальный их стоицизм — и, надеюсь, чудовищную скупость. Попробую все же, домой вернувшись, хоть какой-то выдать жизненный подъем. Иногда мы подъезжали с Элен к универсаму, но внутрь я не заходил. Запас из России ел: колбаска, быстрорастворимая лапша. На почту с ней заходил. Элен, купив таксофонную карту, барону звонила. Судя по ее мимике за стеклом, говорила только она. Барон, видимо, разговоры тоже роскошью считал. Я смотрел на витрину с телефонными картами: купить, что ли, горя крон на пятьдесят?.. Да нет. Не стоит. Скоро даром получу.

Иногда, затосковав в номере, выходил один. Бродил в узких улицах средневекового крохотного Висбю, столицы острова Готланд. Стены оставались чужими, не узнавали меня.

Наконец-то я нашел на земле место, где не нужен абсолютно никому!

Выходил за крепостную стену к морю. У стены, на скользком камне, всегда одна уточка стояла, на одной тоненькой лапке, другую лапку поджав. Чем-то она меня волновала!.. Вспомнил — чем! Однажды жена вернулась домой с работы, рыдая: посылали их институт убирать картошку под снегом, как это принято у нас. Заснула, отрыдав. Я заглянул в холодильник. Захотел. Уже и курочку в дорогу купила. Таковую же тошенькую, как она, с такими же жалкими лапками!.. Умела ими за душу взять!.. «Быстрокрылой зегзицею» прилетела сюда?

И в ресторан, и в кафе, и даже на общую нашу кухню, где хохот, смешение языков, трубочный дым, ходить стеснялся. В номере ел. Пишу в пакетике за окном держал, прижав рамой. Однажды ночью налетел шторм. Дом наш трясся от ветра! Утром глянул: пакетика на подоконнике нет! Оторвало. Унесло. Распахнул окно, выглянул наружу. И увидал — на газоне, прижатый штормовым мусором, мой пакетик лежал! Кинулся вниз, ухватил пакетик, стал жадно есть... И — застыл. Увидел, что сквозь широкое окно нашей кухни писатели всего мира с изумлением смотрят на меня: что это? Русский прозаик мусор ест? Я стал на пакет показывать, подняв его в левой руке, правой стучал себя по груди: мол, это все мое, нажитое! «Унесенные ветром» харчи.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... то... «меж людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Все! Хватит! Аполлон требует! Пошел в старинный магазин с деревянными прилавками, ручку купил. Принес ее в номер, к бумаге прижал... пошли буквы: «Ну что, сука? Не ожидала, что по-русски будешь писать?»

Заглянула Элен:

— Про сучья пишешь?

— А то!

Ручка наконец расписалась. А не хотела сперва!

...Сучья как следует я разглядел только в больнице, лежа у высокого сводчатого окна. Серые, с зеленым налетом тополиные ветки с острыми розовыми почками, набухшими, как женские соски, стучали в пыльные стекла. Жадно в них вглядывался: может, последний с воли привет? С тоской ждал операции грыжи, семейной нашей болезни, выведшей нас, по преданию, в интеллигенты (перестали таскать тяжести, стали грамоту знать). Отец часто это вспоминал. Операция повторная, сложная. Первый раз по слабоволию своему разрешил попрактиковаться студенту — и вот результат. Но мягкость, уступчивость — это, наверно, хорошо? Для интеллигента-то? Зато второй раз, говорят, будет резать профессор: хотя обычно они грыжу не режут, но у меня там сложности, спайки какие-то... Разберется профессор-то!

И на сучья смотрел. Какую-то надежду они вселяли в меня, распуская почки. Так взглядом впивался в них... что даже белые точки запомнил на коре, следы птичьих посиделок.

И только зазеленели ветки — пыльщики появились. Это слегка головокругительно было — люди за окном, на высоте четвертого этажа, оседлали ветки. И зажужжали пилы. Огромные сучья, падая, царапали стекла, словно пытаюсь удержаться за них. Соскальзывали — и исчезали. И вот остались лишь ровные обрезки внизу окна и серое небо. Все! Кончилась жизнь. Не за что больше держаться.

Я лежал на операционном столе. Перед лицом моим повесили белую занавесочку, чтоб я не видел, как там шуруют во мне, под местным наркозом. Только вбок можно было смотреть, в огромное окно. Но — совершенно пустое. Что-то там профессора удивило во мне. Тревожные переговоры. Окно расплывалось.

— Эй! Как вы там? — крикнул профессор за занавеской, но очень издали, как мне показалось.

— ...Эй, — тихо отозвался я, уплывая.

И вдруг я увидел, что по окну снизу вверх летит что-то белое. Померещилось? Но — сознание вернулось, я внимательно глядел в окно, ожидая от него хоть чего-нибудь, хоть какого-то знака. И — какие-то кружева поднимаются, все ошутимей, все уверенней, веселей! Дым! Кто-то жжет костер во дворе. Сигналит кому-то? Господи, обрадовался я. Да это же мои сучья, сгорая, шлют мне привет. Отчаянно дымят — чтобы я о них помнил, а потом рассказал!

— Эй! Что там у вас? — бодро крикнул я сквозь занавеску...

Дописав, стал стучаться к Элен.

— Что случилось? — испугалась она.

Оказалось, была глубокая ночь.

Утром прочла, сказала, что постарается перевести и передаст энергетикам — для включения в буклет, посвященный сучьям. Гонорар выдала — пятьсот крон! — и улетела к барону. Покинула меня местная муза!

Но дело-то сделано. Я бутылку купил и гордо уже на кухню явился, как равный. Чокнулись, со звонким шведским восклицанием: «Сколь!»

Литовский поэт, с могучей бородой, по-русски спросил — почему я раньше не приходил?

— Работал, — скромно ответил я.

Теперь ездил на велосипеде один. Передохнуть остановился на высокой горе. Море голубым куполом поднималось. И, вдыхая свежесть и простор, на самом краю в полотняном кресле старик сидел. Сзади дом его стоял — старый, но крепкий. Вот это — старость. Вот это — третье дыхание!

Осторожно вниз заглянул. В прозрачной, золотой от солнца воде лебеди плавали. Иногда опускали в воду головки, щипали травку на круглых камнях. Выпрямляли гордые шеи свои и казались рассерженными, поскольку возле клювов у них воинственные зеленые усики заворачивались.

Поглядел вдаль, на готический Висбю, с башенками, петушками-флюгерами. Вдохнул пространство. Зажмурясь, постоял. И почувствовал как бы кровью: все! Отдохнул! Можно возвращаться.

Уточку навестил. Она так же на камешке стояла, на тоненькой ножке одной, какая-то еще более тощенькая и растрепанная, чем всегда, — единственное близкое мне существо на всем острове. И увидел вдруг — или мне это почудилось — белое облачко возле головки поднялось. Что это в правой поднятой лапке у нее? Никак — курит? Разнервничалась небось после шторма, бедненькая моя? Ничего — покури, подумай: всегда ли ты правильно ведешь себя?

В аэропорту ждал я свой летающий гробик, и в это время мимо проществовал экипаж — ослепительные стюардессы в оранжевых жилетках, статные, элегантные летчики. С ними полететь? Билеты на этот рейс знаменитой компании SAS есть еще. Заработал я покоя себе чуть-чуть?

Не заработал!

Какой покой! На обратном пути, когда мы падали уже на родную страну, даже линолеум на полу вспучился от дикой вибрации. Какой покой?

Наконец грохнулись. Поскакали. Остановились. Прилетел!

## Глава 17

Выбрался через кордоны в зал прилета и увидел, что кто-то машет мне... Кузя! Друг!

Выехали на шоссе. Вот и вернулся я. С некоторой грустью смотрел вперед, вдоль строя облысевших деревьев... Унылая пора. Очей разочарованье.

Кроме всего еще одна неприятность встретила нас. Когда мы давеча ехали в аэропорт, перед очами то и дело плакаты Кузи мелькали, со встрепанной бородой и скорбным взглядом: «Доколе?» А теперь, когда ехали, на обратной стороне тех же щитов — плакаты Боба, Кузиного врага, — не только на предстоящих выборах, но и вообще. «Взрастил гада!» — это явно в Кузином взгляде читалось. Прилизанный Боб в расшитой косооротке стоял, за ним юные амазонки гарцевали верхом. Надпись: «Будущее России». Неужели — оно? И толково так сделано было: плакаты Кузи мелькали перед глазами тех, кто улетал. А если, мол, ты в Россию возвращаешься — значит, Боб.

— Всадницы Апокалипсиса! — стонал Кузя. — Твой Боб конно-спортивный центр им открыл. Весь город засрала уже!

— Но, говорят, — произнес я несколько отстраненно, — он вроде собирается из навоза клязкия делать. Печки топить... При повышении тарифов... для бедных людей...

— Из всего деньги делает! — Кузя сказал злобно.

Не помирить их. Хотя обоих люблю. Но меня сейчас другое глодало.

И наконец, не выдержав (мы уже среди каменных громад мчались), Кузю спросил:

— Ко мне ты не заходил случайно?

И замер.

Кузя не отвечал — видно, сердится на меня из-за Боба... но не могу я так — человека забыть!

— ...Заходил, — после долгой паузы Кузя буркнул.

— Ну... и как там? — вскользь поинтересовался я.

— Фифти-фифти, — сухо Кузя сказал. Потом вдруг заулыбался: — Она что у тебя — в бюсте Толстого шкалики прячет?

— Заметил?! — Я тоже обрадовался почему-то, хотя вроде особо нечему тут радоваться.

К дому подъехали.

— Ну... звони, — сказал Кузя миролюбиво.

«На ее почве» помирились. На что-то, оказывается, годится она.

Кузя умчался, а я тупо стоял. Вдохнул. Выдохнул. На витрину смотрел. «Мир кожи и меха». «Мир рожи и смеха»! Не зайти туда уже никогда? Нет нас уже на свете? Как молодежь говорит — «отстой»? На витрине шинель шикарная, в которую я все «войти» мечтал, как Акакий Акакиевич, — под руку с пышной дубленкой шла. Иногда я Нонне показывал: «Вот это мы с тобой идем!» — «В прошлом?» — усмехалась она. «Нет. В будущем!» — говорил я. Вошел! Валюту в кармане нащупал. Вот так. Все равно деньги Толстому достанутся. А так — с какой-то радостью к ней войду!

Вышел с дублом в пакете. Оглянулся на витрину. Шинель там осиротела моя... Ну ничего. Главное — как в жизни, а не как на витрине!

Поднялся по лестнице. Отпер дверь, жадно втянул запах... Как в пепельнице! Курит, значит?.. Но это, наверно, хорошо? Закрыл, брякнув, дверь. Тишина.

— Венчик! — вдруг раздался радостный крик.

Ставя ножки носками в стороны, прибежала, уточка моя! Боднула головкой в грудь. Обнялись. Потом подняла счастливые глазки.

— Венчик! Наконец-то! Где ж ты так долго был?

Я глядел на нее: плачет. И сияет. Вот оно, счастье, — не было такого ни после Парижа, ни после Африки! «Заслужил?» — мелькнуло робкое предположение. Впрочем, причина счастья скоро открылась: Настя вышла.

— Привет, отец!

— О! И ты здесь! — воскликнул я радостно.

Настя усмехнулась: а где же ей в такой ситуации еще быть?

— Дорогие вы мои! — обхватил их за плечи, стукнул шутливо лбами. Причем Настя, поскольку на голову выше была, торопливо пригнулась.

— К сожалению, я не сразу приехала, — выпрямляясь, сказала Настя. — По телефону она вроде нормально разговаривала.

— А... так? — спросил я.

Настя, вздохнув, махнула рукой.

— Что ты, Настя, несешь? Мы же договаривались! — Нонна, блеснув слезой, попыталась вырваться из-под моей руки.

— Ну все теперь нормально, нормально! — Я поволок их вместе на кухню, хотя каждая уже, злясь на другую, пыталась вырваться. Однако до волок. — Ну? Чайку?

Глядели в разные стороны. Чаек, боюсь, придется делать мне самому. Причем — из их слез: вон как обильно потекли у обеих. Хотя Настя, за-

кидывая голову, пытается их удержать. Видимо, отдала все силы матери, больше не осталось. Ну что же, пора приступать. Никакого чуда без тебя, ясное дело, не произошло. Чудо надо делать. Так что — считай себя отлично отдохнувшим и полным сил.

— О! Так у меня подарок для тебя! — Я встряхнул Нонну.

— Да? — шмыгнув носом, проговорила она. — А какой, Веч?

Я гордо внес дубленку в мешке.

— О! — сказал я и начал вынимать ее, вытащил только рукав, как Настя отчаянно замотала ладонью: нельзя!

Поглядев на нее, я медленно запихнул рукав обратно... Нельзя? Видимо, Настя имеет в виду, что в новой дубленке та сразу умчится, а потом ее не найдешь? А я-то хотел!.. Не подумал? Кинуть в сундук? Я так и сделал. И пускай! Нонна, кстати, между тем тоже мало проявила интереса к предмету: глянула на пакет вскользь и равнодушно отвернулась.

Всегда я так: лечу радостно — и мордой об столб!

Отряхнемся. И начнем веселье сначала.

— Ну что тут у нас? — лихо распахнул холодильник. Лучше бы я этого не делал. Пахнуло гнильцой. «Ты, Нонна, гений гниений!» — шутил я, когда мог еще об этом шутить. «Ну ты, Веча, мне льстишь!» — отвечала она весело, пока могла еще веселиться.

— Ну, так... Значит, в магазин мне идти, ждранькать готовить вам? — проговорила Нонна зловеще. Настя за ее спиной замахала рукой: ни в коем случае!

— Ну, давай я схожу! — произнес я оживленно.

— Нет уж, не надо одолжений таких! — злобно проговорила она и закрылась в уборной.

Мы с Настей переглянулись в отчаянии: неужто все наши усилия напрасны?

— Ты пойми, — губы у Насти дрожали, — одну я не могу оставить ее: дед никакого внимания не обращает. А с ней идти — убегает, потом лови ее!

— Спасибо тебе! — подержал ее за плечо.

В коридоре стало шарканье нарастать. Отец приближается. Вошел. Любой напряженный момент под его цепким взглядом из-за кустистых бровей в десять раз напряженной становится. Мог бы что-то сделать тут, пока не было меня, как-то посодействовать порядку! Никакого внимания! Весь в высоких мыслях погряз! В реальность с кислой миной выходит.

— Привет, отец! — произнес я бодро. Как-то он не прореагировал на мой приезд. Значимости этот факт не обрел.

Он посмотрел на пустой стол. Повернулся. Мол, нечего зря время терять!

— Погоди, отец, — положил ему на плечо ладошку. — Сейчас мы сварганим что-нибудь.

Кивнул криво. Глаз не поднимал. О господи. Неужели теперь его проблемы пойдут? Одни еще не решил — хватают другие? Ну а как? Так что лучше тебе считать отлично отдохнувшим себя, полным здоровья и сил. Так и условимся.

— Сейчас какой месяц? — наконец сипло он произнес.

— Ноябрь. А ты не помнишь, что ли? — я несколько раздраженно спросил. Боюсь, что сил и здоровья у меня не так много, как хотелось бы.

— Это какой месяц считается? Зимний? — произнес он.

Решил покуражиться? Всю жизнь высчитывал сроки сева с точностью до дня и не знает — какой зимний месяц, какой осенний?

— А что? — сдерживаясь, спросил: его долгие паузы невозможно терпеть!

— Да надо бы в сберкассе сходить, разобраться там, — произнес упрямо. — ...Вдвое пенсию урезали у меня!

Господи. Опять он за свое! Удачно вернулся я. Словно не уезжал.

— Ну мы же ездили с тобой в собес — разве не помнишь? Ты просто одну строчку в сберкнижке рассмотрел — а пенсия твоя в две строчки печатается почему-то. Суммируются они!

Не реагирует. Его не собьешь. Если упрется — хоть трактором тyani!

— ...помнишь, еще Надя, аспирантка твоя, по новой все бумаги твоя собирала. А оказалось — зря. Пенсия у тебя и так напечатана нормальная... только в две строки!

Мне бы такую пенсию.

Молчит!

— Эта Надя! — проговорил наконец. — Очки навесила, а не видит ничего!

— Это ты ничего не видишь! — я наконец сорвался. — Верней — и не хочешь видеть! Чтобы всем нервы пилить!

Он усмехнулся торжествующе.

— Книжку принеси! — я рухнул на табуретку. «Опять двадцать пять!»

Ушел. Долго не было его.

— Это он специально делает, чтобы брюзжать! — проговорила Нонна дрожющим голосом. Раздавит он нас?

Медленно шаркая, он возвратился.

— На! Гляди! — гневно свою сберкнижку передо мной распахнул.

— Ну вот — смотри, — произнес я почти спокойно (в гневе не разберемся). — Две строки. Но в один день записаны. В одной строке записано — тысяча пятьсот, а в другой — тысяча пятьсот тридцать два. Больше трех тысяч пенсия у тебя! Понял? Нет?

Долго глядел, потом молча, так ошибки и не признав, сунул книжку в карман рубахи — мол, раз так, нечего тут больше обсуждать. Пустяк. Но от пустяков этих можно с ума сойти!

— Надюшка эта... напутает вечно! — он упрямо пробормотал.

— Да ты ей спасибо должен сказать...

Ну ладно... Устал я. Напрасно надеялся на передышку. С какой стати? Передышка теперь только будет... известно где. Так что — дыши!

— Так, может, сходим тогда в кассу? — отец произнес.

Я снова взял у него книжку, пролистнул. Два года не берет деньги — с тех пор, как переехал сюда. «Непрактичный» якобы!

— Ну пошли.

А куда денешься? Это не просто повторяется все. Это я все утаптываю, постепенно.

— Только у меня, — он вдруг отчаянно сморщился, — просьба к тебе.

А в сберкассу сходить — это не просьба? Пустяк? Вторая, видно, покрепче будет?

— ...Ну говори же! Время идет.

С каким-то даже задором глянул на меня. Сюрприз?

— ...Давай лучше в мою комнату пойдём, — таинственно произнес.

Это обнадеживает.

— Ну... вы пока тут... — сделал неопределенный жест девушкам, побрел за отцом.

Сели в его комнате. Он стул придвинул. Шепнул, дыханием обдав:

— У меня дело к тебе.

— Слушаю. — Я отодвинулся слегка. В совсем интимные его тайны не хотелось бы входить... но куда денешься?

Снова придвинулся он с виноватой улыбкой:

— Понимаешь, не могу уже никак ногти на ногах постричь. И так и этак пытался.. Постриги, я прошу тебя... Сам понимаешь — кроме тебя, мне обратиться не к кому.

— ...Сделаем! — я бодро ответил. — Давай. Значит, так... — Я задумчиво прижал палец к носу. — Сейчас таз принесу.

— Зачем таз-то? — он мрачно удивился, густые брови взметнул. Ясное дело, есть у него своя теория и на то, как ногти на ногах стричь. Но теории его не всегда к практике подходят.

— Таз, — я сказал, — это для того... чтобы ногти твои разлетались не шибко.

Он хмуро кивнул. Мол, дожил! Даже ногти твои стригут не по твоей теории!

Я загремел в ванной тазом. Ножницы взял. Девочки дружно дымили на кухне, недоуменно глянули на меня. Я, держа таз в левой руке, как щит, ножницы к губам приложил: знать о предстоящем таинстве им ни к чему. Внес к нему таз, бросил звонко:

— Ну давай... Разувайся.

Это еще ничего. Это еще, может быть, только начало предстоящих нам испытаний! Главное — впереди. Вдохнув, он слегка стыдливо стянул носки. После чего, взяв себя в руки, в глаза мне, твердо смотрел. Мол, нам стыдиться нечего. Честная жизнь.

Это только я тут немножко вздрогнул. Вот это да! Вот это открытие! Грибок. Точно как у меня. Ногти белые, непрозрачные, крошатся, усыпая носки. И к тому ж — впиваются, врастают в мясо, не подобраться к краям. А я-то считал, что где-то подцепил, в аморальном общении. Надеялся — излечимое. А вон оно что! Поднял на него очи. Он невозмутимо глядел.

— Вот это да! — произнес я.

— Что именно? — поинтересовался он.

Отличный сюрприз он мне подготовил! Не зря я так рвался домой!

— Ну... грибок у тебя. Точно как у меня! А ты говоришь, что наследственность — не главное! Пишешь тут! — Я кивнул на стол его, заваленный бумагой.

— Наследственность ни при чем тут! — он упрямо проскрипел. — Оба заразились где-то!

Мол, отец за сына не ответчик! Сам тогда и стриги! Измучил меня своим упрямством! На нем и ехал всю жизнь. И если чего добился, то упрямством своим.

— Ну давай,— мстительно проговорил я, щелкнув ножницами. — Ноги в таз клади.

Огромные расхоженные лапы. Твердые. По земле находил, намозолил, набил.

— Вот так вот поверни! Та-ак!

Я хищно впился ножницами в крайний ноготь.

— Ой-ой-ой! — сморщившись, завопил он.

Что такое? Зачем расстраиваться так? Если это заболевание случайное — так скоро пройдет. Чего ж так расстраиваться-то?

На следующий ноготь наехал.

— Ой-ой-ой! — он еще громче завопил. Трогательная картина: отец отвечает за сына. Ну а куда ж нам деться друг от друга. Еще и грыжа у нас!

Та-ак. Под ногтями остриженными кровь пошла. Картина мне знакомая. Оказывается — и не только мне! Выдернул таз из-под ног его, подложил газету.

— Что ты делаешь?! — отец завопил.

Ничего. Придется по моей теории пока пожить — на долгие научные споры времени нет.

Пошел снова в ванную (девушек поприветствовав на ходу), в таз теплой воды набуровил, принес отцу.

— Клади ноги в воду.

— Нет!

Под пытками не ломается!

— Клади, говорю.

Нет! Пришлось мне каждую его ногу брать руками, класть в таз. Он обиженно в сторону смотрел — мол, бессилён, но не согласен!

Зазмеились кровавые ленточки. Омыл раны. Почти библейская сцена: омовение ног. Залепил раны пластырем. Пошел вылил в унитаз воды с кровью, спустил. Поставил таз на место... Теперь лишь такая у нас жизнь.

И только хотел я расслабиться чуток... Кряхтя и согнувшись, отец вошел.

— Пошли, — прохрипел батя.

— К-куда? — Я даже поперхнулся.

— В сберкассу! Ты ж предлагал! — он произнес почти гневно.

Я?.. Ну конечно! Только вот как Нонну оставить? Такая роскошная возможность ныне отпала. Взять с собой? Напоминает мне это все головоломку про волка, козу и капусту, которых надо через реку перевезти. Главное — Нонну не оставить с Львом Толстым тет-а-тет!

— У тебя какие планы? — вскользь у Нasti спросил.

— Жду звонка Вадика — и уезжаю! — бодро ответила она.

Козу, значит, надо брать с собой!

— Может, прогуляемся? — легкомысленно жене предложил.

Глянула уже враждебно. Мол, что ж это за каторга опять? А кто эту каторгу устроил? Я?

— Не пожалеешь! — лихо ей подмигнул. Боюсь, неправильно меня поняла. Но наедине с Толстым ее никак нельзя оставлять!

— Ну... — Насте сказал, — если уже не застанем тебя... Счастливо. Спасибо тебе.

Звонко расцеловались.

Более сложную прогулку трудно вообразить. Отец медленно идет, назидательно! С постриженными ногтями мог бы и быстрее идти. Нонна нетерпеливо убежала вперед, возвращалась, рассыпая искры от сигареты на ветру. Сейчас, нервничая, искра в рукав залетит, и сгорит ее ветхое пальтишко. Был такой случай в школе у меня, когда я курить учился, пытаюсь слиться с массами. Не научился. Зато она дымит за двоих. Так и летят искры. Не хватает еще ей обгорелой ходить. И так выглядит почти бомжихой... А «праздник дубленки» не скоро придет. Если вообще когда-то придет. По настроению — не похоже.

Подбежала, вся на нерве уже, щечки надувая, потом шумно выдыхая:

— Веч! Я пойду, а? Я больше так не могу, в таком темпе! Неужели мы тоже когда-то будем так же ходить?!

Обязательно. Если, конечно, доживем.

— Зачем тебе? — устало ее спросил.

— Мне надо срочно купить... кое-что.

— Что тебе надо купить?

— ...Сигареты!

— Сигарета у тебя в зубах.

Вынула, с некоторым удивлением осмотрела:

— Последняя, Веч! Я пойду? — рванулась.

— Нет!

Забегала кругами. Отец медленно шел, основательно, весело поглядывая из-под кустистых бровей.

— Здесь давай пойдем. — Я свел его с тротуара на проезжую часть.

Каменные плиты тротуара перестилаются уже третий раз. Деньги, выделенные на трехсотлетие Петербурга, «осваивают»! А люди по мостовой прутся. Нормально. Главное — история. Для истории и людей не жалко. Батя обычно на эту тему ворчал: «Наворотили ч-черт-те что! Вся Дворцовая площадь раскопана!» — «А зачем ты прешься туда?» Но в этот раз глаза его почему-то весело поблескивали: видно, очередное открытие сделал, сейчас обнаружит. Прямо не дождусь!



Часть дороги была отделена для прохожих какими-то плоскими металлическими баллонами вроде батарей отопления. «Специально, что ли, где-то выломали?» — подумал я. Отец медленно подошел к одному, покачал могучей своей лапищей, удовлетворенно кивнул. Нонна отчаянный взгляд на меня кинула: так мы никогда не дойдем!

— Что, отец? — спросил я заботливо.

— Запасные топливные баки от трактора, — он уверенно произнес.

— Какие тут тракторные баки, отец? — сказал я с отчаянием. — Это Невский проспект!

Он кивал своим мыслям, не слыша меня. С его «открытиями» мы точно никогда не дойдем! Не оторвать его теперь от этого. Если только опровергнуть! Я кинулся к тому баллону... Действительно — сверху какая-то отвинчивающаяся крышка. Победа! — отец торжествующе глянул на меня. Счастлив? И ладно! Пусть хоть повсюду будут его «боевые друзья трактора»!

Усмехаясь, отец медленно двинулся дальше. Нонна металась туда-сюда, как «раскидай» на резиночке. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Да и трактор еще. Но для меня это — запросто!

— Я пойду, Веч?

— погоди. Сейчас мы деньги получим! — подмигнул ей. Но вряд ли «мы» — это она.

В сберкассу вошли — под башней Думы, недавно обгоревшей от восстановительных лесов.

Отец входил медленно, раскорячась, тяжело вздыхая. «Изображает немощь, — думал я злобно, — чтоб у меня больше было проблем!»

Войдя, он огляделся, дико сморщась, словно я его на помойку привел! А между тем — вокруг мрамор, кожаные диваны, никелированные рамы окошек. Разве такие раньше сберкассы были? Да и народ уже весь аккуратный, нормально одетый. Меняется жизнь! Подвел за оттопыренный локоть к окошку его.

— Вот сюда тебе, — взял листок. — Сколько выписать?

Поглядел на меня, еще больше сморщась:

— Я сам!

Растопырясь, всех отодвигая от окошка, долго писал, от нас спиной прикрывая тайну вклада своего. Жалуется, что видит плохо, — но это, видимо, на второй план отошло.

Другая проблема у меня теперь на первый план вышла. Нонна, по залу мечась, нервно закурила новую сигарету. К ней величественный охранник подошел, вежливо попросил удалиться. Что она — минуты без сигареты не может?!

— Ладно... выйдем, — взял за локоть теперь ее, вывел на воздух.

Постоим тут: пусть отец тайной своего вклада неторопливо насладится.

— Я не могу так, Веч, — на цепи жить, — вся дрожала.

— Но пойми: я тоже разорваться не могу: лучше за вас вместе волноваться, чем в отдельности.

— А ты не волнуйся, Веча!

— Как?

— Я немножко побегаю — и приду.

— Какая ты придешь?

Блеснули слезы.

Молча стояли с ней. Вдруг крупный снег повалил. Под таким же снегом, я вспомнил, молился я. На колени вставал. Счастлив? Что я тогда просил? Глупо просить нереального — как-то неловко перед Ним, в двадцать первое веко-то. Просил я возможного: чтобы она вернулась, была со мной. Счастлив? А чтобы жить без забот — это глупо просить. С тобой то, что ты вымолил. На фоне серого неба — светлые снежинки, сцепляются на лету, еще крупнее становятся.

Вышел отец, дико озираясь. Руку, раз за разом, за пазуху совал. Сейчас мимо кармана вложит свои сбережения! Кинулся к нему. Направил его руку с бумажником в карман: опаньки!

Оглянулся. Нонна, слава богу, не сбегла. Двинулись обратно. Отец, вперед склонившись, как пеший сокол, еле уже брел: видно, последние свои силы на сохранение тайны вклада истратил.

Остановились у перехода Казанской улицы — батя испуганно вцепился в мой локоть перед потоком машин.

— Я пойду, Веч? — Нонна произнесла. — Я обещаю, Веч!

А что Настя мне дома скажет? Все ее усилия — долой? У нее тоже нервы на пределе.

— Н-нет, — выдавил я.

Нонна быстро закинула голову — чтобы слезы удержать. Снежинки на лицо ее падали, таяли и текли.

Тут зажегся зеленый, и я ее за локоть схватил. И так, распятый между ними, через улицу их поволок.

И лишь когда прошли уже под аркой — выпустил их. Доберутся. Мне тоже надо набраться сил на этом коротком пространстве — от арки до дверей. И только подошли к железной двери (за железной дверью спокойней уже), как оттуда вдруг соседка вышла, из верхней квартиры, — подружка ее, бывшая актриса.

— Ой, Нонночка! — расцеловались, защebetали.

Пошли дальше с отцом — душить их счастье я не хотел... Сбежит?

Сейчас Настя мне врежет. Решил сам напасть на нее:

— Что, не звонил еще твой Вадим? Что он думает вообще?

Настя только открыла рот, чтобы рывкнуть: «Где мать?» — возмущенно поперхнулась. Характер бойцовский, отцовский. Но тут, к счастью, со двора донесся звонкий хохоток нашей общей любимицы.

— Иди посмотри, — Настя все же скомандовала. Тем более, что голосок Нонны оборвался вдруг. Убежала? Но тут — бывают же сладостные звуки — ключ зашкрябал в замке! Вошла веселая, разругавшаяся.

И что б потом ни случилось... Был такой счастливый момент! Правда, измотала она всех ближних, но это уже пустяк.

— О, Настя! — сказала она радостно. — Ты приехала? Как я рада-то!

Батя сокрушенно головой покачал. Сочувствует? Сделал бы что-то!

Настя сурово на меня глянула: ты понял, отец? Ничего не помнит. Ни в коем случае нельзя ее отпускать!.. Характер бойцовский, отцовский: непременно ее воля соблюдаться должна!

Я подмигнул ей лихо: мол, все о'кей. Но такое легкомысленное пренебрежение разъярило ее — в глазу засветился мстительный, торжествующий огонек:

— Да, *кстати*, отец: тебе снова звонил *твой* Боб! Ты что, денег должен ему?

— Да, кажется. Никто больше не звонил? — Я пытался увести разговор в сторону. Опять рухнет хрупкое счастье!

— Спрашивал, — продолжила Настя упрямо. — Что, у вас окна из пуленепробиваемого стекла?

Тишина повисла. И общий ужас. А ведь только что счастье было! Неужели нельзя было его поддержать? Я один должен стараться?

— Кто это — Боб? — проговорила Нонна надменно. Королева контролирует своего дворецкого!

— Это твой скорее Боб! — ответил я в ярости. — Из-за тебя он возник — деньги на твоё лечение нужны были! Пора отдавать!

— Но я же не знала, Веч! — проговорила Нонна испуганно.

Моей ярости испугалась — или Боба? Хотелось бы, чтобы моей ярости.

— Теперь пулю жду из-за этого!

— И что ж делать, Веч?

Спохватилась!

— Работать на него заставляет! Дерьмо воспевать.

— Тебя?! — воскликнула Нонна.

— Да, представь себе. Меня. Бывшего певца тонких материй! Заставляют теперь воспевать дерьмо... Материал, наиболее трудный для воспевания. Вот так!

— Ну нет уж! — Нонна твердо губы сомкнула. Засверкали глаза. Можно подумать — на баррикады пойдет! Или по крайней мере — на работу. Или — последняя надежда — в кладовку не пойдет.

Ничего! И это утопчем!

...Аппарат зазвонил. Настя раньше меня трубку схватила. Молодость, азарт!

— ...Ясно, — сказала. — Иду!

Поцеловала нас, умчалась. Есть в жизни счастье!

Телефон вскоре опять зазвонил. Это уже счастье мое — Боб, брателло, к ответу требует — за то, что я его сучьями торгую на стороне. Ну что же, по всем делам — выстрел в упор из сицилийской двуствольной «луппары» положен мне. Но — бывают же радости!

— Страф-стфуй, Фалерий!

Кайза, финская подруга моя. Обычно она каждым летом на месяц квартиру снимала у нас, набирала тут материал для научной книги о стрессах. Но этим летом — не приехала. У нее у самой случился стресс: ее квартира сгорела. Однако звонит.

— Слу-ушай меня! Тут в Петерпург е-едет отин профессор... ты не знаешь его. Я хочу тень-ги с ним перета-ать, за арен-ту твоей кфартирь!

Вот это кстати. Обрадовался:

— Это... за будущий год?

— Я еще не знаю про пу-утушный кот. За проше-етший!

— Какой прошедший, Кайза! Ты же не жила?

— Но тем не менее я ан-ка-широ-вала ее! Ты никому ее не става-ал!

— ...Нет, Кайза! Нет.

— Ну спасипо, Фалерий!

— Целуем тебя!

Трубку повесил. И вдруг — счастье почувствовал. Оказывается, я что-то еще могу! На Нонну поглядел.

— Правильно, Венчик! — она произнесла.

Раз живы души у нас — не погибнем!.. Стала сладко зевать Нонна.

Увел ее. Глубокий, освежающий сон!

Получился, впрочем, не очень глубокий... Лежал вспоминал. Голоса слушал в нашем дворе. Какие-то странные... Может, из прошлого? Или, напротив, — из будущего? Задремал.

Снова скрип какой-то с кухни донесся. Пошел. Та-ак! Заняла позицию. Против того окошка стоит! Это она вспомнила! Нет бы хорошее, реальное вспомнить что-нибудь. Или хотя бы придумать что-то толковое. Нет! Дымок поднимается над ее головой. Что-то есть в ее голове, кроме дыма?

Подошел. Погладил ее по темечку. Обернулась.

— Ну чего смотришь? — я сказал. — Нет там ничего! Пусто. Тьма.

Виновато улыбнулась:

— Так это еще страшнее, Веч!

Чем-нибудь, конечно, наполним... Чем?

Слышал во сне — опять половицы заскрипели. Туда? Открыл глаза — койка пуста. На посту стоит. Смотрит. Нет — не спасемся мы!

О! Вот и Анжелка появилась, рыбка моя! Голенькая, но бедра полотенцем повязаны.

Да-а. Мой бред не лучше прежнего оказался. Б. У. Бред Улучшенный? Наоборот! Бред Ухудшенный! Разучился бредить.

Анжелка пальчиком поманила.

Это конец. Интересно — что это я сочинил? Мультик? Боевик? Мелодраму? Сам не пойму. «Мыльную оперу», в ста шестнадцати сериях? Столько не потянуть!

— Тебя, кажется, там зовут? — поворачиваясь ко мне, Нонна проговорила.

— Меня? — я произнес удивленно. — А может — тебя?

— Иди! — закричала она. Дрожащей рукой стала срывать с гвоздя декоративный узбекский нож в ножнах. Как я любил его! Долго вешал, место искал. Погибну за свой дизайн! Когда ждал ее, трусливо петельку ножен к гвоздику веревочкой привязал. Совсем убирать — не хотел. Красиво! Вот и получи. Зря только пальчик ломал. С целым бы лучше смотрелся в гробу. Анжела машет. Но хоть погибну за свой сюжет. «В связи с профессиональной деятельностью» — лучшая смерть. Но ей ее «деятельность» дорого встанет — если зарежет меня. И тут о ней должен заботиться?

— Уйди! — дрожала она. — Очень тебя прошу! Не доводи до греха. Тебе там лучше. Иди!

Мне там замечательно. Но тянуть без конца эту «мыльную оперу» не намерен. Силы уже не те. И пальцев не напасусь. На мой грязный бинт не глянула даже! Тщетны усилия. Вытащил нож, протянул ей:

— Бей!

Отличная развязка. И «моральный вес» сохраню. Нож в тонкой ее ручонке заходил ходуном. И хочется вдарить — и что-то удерживает ее. Надо было к маменьке ее отправить!.. Но поздно уже.

— Ой!.. А кто это? — она вдруг произнесла.

А мне и самому интересно: Вторая голова! Задвигалась в том окошке, как поплавок... О! Вот он-то все и устроит! Боб.

За то, что я предал его, — пуля положена мне. Вот и ладушки! И Нонна на свободе. Некстати возликовал. А может, воспеть все-таки кизяки? Что мне стоит? Стал махать ему ручонкой: мол, погоди. Все же мой бред лучше, чем ее. Выбор есть.

— Так это ж Боб! — сказал я небрежно. — Что из больницы нас вез.

— Который убить тебя хочет? — еще сильнее затряслась.

— Ну что ж... я, пожалуй, пойду.

Хоть стекла он не разобьет — целы на зиму будут. Останется обо мне такая хрупкая память. Даже курточку не надел. Минута осталась мне? И одеваться не стоит... Момент!

— Вен-чик! — донесся отчаянный крик. Поняла?! Да поздно!

Боевик, выходит, сложился. Новый для меня жанр. Перебежал двор. Поднялся по лестнице. Предстал.

— Не понял! — развалившись в роскошном кресле, Боб произнес. — Ты как вообще ситуацию расцениваешь? Соскок?

Я молчал.

— ...Брезгуешь, значит?

Ну разве чуть-чуть. Боб за барсеткой на столе потянулся.

— Я вообще-то не против, — уныло я произнес.

Анжелка, сонно глядя в стекло, губки подкрашивала, словно все происходящее не касалось ее. Какие-то квелые отношения у них. Зато у нас в семье отношения отличные!

— Не смей, Венчик! — раздался крик, и Нонна явилась. Мою высокую репутацию лишь она, выходит, хранит?

— Отвали ты! — Боб маленькой своей ладошкой взмахнул.

— ...Я?! — проговорила она.

И не успели мы ахнуть, как ее маленький синенький кулачок в рыхлый нос Боба вlepился. Кровь хлынула на его свитер. Это знакомо мне!

— Ты что? Новая вещь-то! — Боб забормотал. Забегал по комнате, голову закинув, пытаясь нащупать что-то... соль, например. Анжелка краситься продолжала. Нонна бегала повсюду за ним, выставив челюсть и кулачки, и еще бы вlepила, если б голова не была закинута его. Еле скрутил

ее, оттащил. С «новым русским» разобрались. Его кровью смыл свой позор. Их напор пресловутый против нашего бешенства — ноль.

— Извини! — я Бобу сказал. Он стоял, голову закинув, удерживая кровь. Для бегства лучший момент. Вытащил Нонну — сначала на лестницу, через двор — и домой.

— Ве-еч! Я правильно сделала? — поинтересовалась она.

— Правильно, правильно. Но, — перехватил ее руку, — свет лучше не зажигать!.. И давай ляжем-ка...

Чтоб площадь обстрела уменьшить.

— Я понимаю, Веч!

Полночи я думал, что это мы от страха дрожим. В половину четвертого усомнился в этом. К батарее подполз. Так точно! Побулькали — и отключили. Сейчас бы печь с кизяками! Размечтался. Нонна этому положила конец. Будем гордо дрожать! Впрочем... по-пластунски до кладовки дополз и, толкая перед собой электропечку, как щит, обратно вернулся. Включил. Дорого! Но как быть? Услышал, что батя за спиной тоже дырки в розетке вилкой нашаривает. Согревшись, уснули.

## Глава 18

Проснулся — и сразу зажмурился: солнце свесило во двор грязную ногу. Осенью не часто выпадает такой день. Заслужил?

Встал во весь рост. А как надо? В детективе не очень уверенно чувствовал себя. Не мой жанр. Может, и не примет он меня? — спасительная мыслишка.

В ванную пошел. Отец выставил на лазурном глянце новую серию удачных плевков. Но я знал уже, как с ними бороться: наиболее цепкие ногтем подковырнул. Нормально день начинается! Так бы и шел!

На забинтованный свой пальчик, впитавший грязь разных стран, кровь ног отца, смотрел. Кровь носа моего друга, к счастью, не впитал. Доктор сказал — если оживет через месяц, значит, оживет. Моральный фактор членовредительства в борьбе с соблазном как-то поблек. Такие подвиги не нужны. Нужны пальцы. Как бедной родственнице отца Сергия. Вот та действительно святая была: ни о какой святости не помышляла, а просто — мучилась вместе со своей семьей.

Так что кого тынет к святому членовредительству — тому советую сначала Льва Толстого внимательно прочитать.

Дверь в ванную распахнулась. Нонна. Помню, ветхую ее рубашку из-под подушки брал, целовал. А теперь она сама стоит в этой рубашке!

— Ой! Ты уже здесь, Веч!

Я уже здесь! Стою, об-нов-лен-ный!

— А помнишь, Нонна, поэт-песенник Резник, ныне миллионер, стихи тебе написал: «Нонна, Нонна — ты мадонна!»

— Помню! — кивнула она.

Завтрак вместе готовили. «Все было приносим-о и съедаем-о» — любимая наша фраза из «Старосветских помещиков».

— А помнишь, Веч, — она на меня вдруг лукаво глянула, — у нас на лестнице была надпись: «Я тебе разрешаю все»?

— Ну... когда это было! — отвечал я. — До ремонта. Лет двадцать назад! Да и не я это писал.

— Точ-чно? — смотрит на меня она.

— Точ-чно! — отвечаю я. Чую легкое беспокойство. — Но теперь, я надеюсь, будешь прилежно себя вести? Годы все же.

— Нь-ня! — весело отвечает она.

О такой и мечтал?

— Ну все. — Она оглядывает стол, сдувает прилипшие волосы со лба. — Зови!

— А давай — лучше ты позови! Как раньше!

Об этом, можно сказать, мечтал долгими осенними вечерами.

— Да не услышит он!

— Это — услышит.

— Точно! — смеется она. Набирает в грудь воздух и тоненько вопит: — Идти-и! Все гэ!

Тишина. Не слышит? Я иду к нему. Пишет, почти упав на стол.

— Ну! Ты идешь? — спрашиваю я.

Приподнимается, смотрит.

— Ка-ныш-на! — весело произносит он.

Появляется наконец. Весело поглядывает. Но это — не из-за пищи. Наверняка придумал что-то.

— Бодр-р-рое утр-ро! — произнес. Неплохая шутка. Усаживается. — Помню, при царе еще... — начинает неторопливо... Снова — «про кошку в лаптях»! Но сейчас, надеюсь, чуть в другой трактовке? Да и Нонна это не слышала — ей полезно услышать.

— ...Ну, спасибо, Нонна, тебе! — Плотно позавтракав, он встает от стола.

— На здоровье! — радостно Нонна отвечает.

Рай?

— Ну... теперь прими таблетушки — и порядок! — говорю.

Она послушно кивает, роняет голову на грудь. Бормоча над списком, выламывает из пластин таблетки, сыпает в горсть и, лихо размахнувшись, закидывает в пасть. Таращит глаза якобы в ужасе... потом губы ее расплываются в умильной улыбке. Довольная, поглаживает по животу.

Моет посуду. И после нее я нахожу все таблетки в раковине.

— Ну, я пойду, Веч?

— ...Погоди! Я с тобой... Хочу дубленку на тебе посмотреть.

— Какую, Веч?

Может, хотя бы дубленка нас спасет?

О! — я достал пакет. Чуть его вывернул — дубленка сама, упруго, как львица, выпрыгнула и пышно разлеглась на тахте.

— Это мне, Веч?

— Тебе, тебе! Надевай.

— Ой, а я ж гряз-няя! Не мылся еще!

— Ну так прими душ.

Тяжко вздохнула. Малейшее усилие может ее к отчаянию, а то и к ярости привести.

— Ну что? Убираем? — Я поднял дубло.

— Ну ладно, Веч. Я тебя слушаю.

Скрылась в ванной. Долго не было ее.

— Ну? Скоро ты?! — рявкнул я из прихожей, где уже полчаса, наверное, завязывал шнурки.

Шеколда шелкнула.

— Бяжу, бяжу!

На улице я забегал то спереди, то сбоку:

— Ну ровно купчиха идет!

— Я так давно не гуляла, Веч!

Приближались к местной пивной в переулке под названием «Лицей». Какие-то неприятные воспоминания корежили меня.

Швейцар с длинными фалдами (и с высшим образованием, помнится?) угодливо дверь распахнул:

— Заходите. Есть раки-с!

Вспомнил я смутно: однажды темной ночью он пьяную старуху отсюда гнал. Померещилось?

— Ой, Веч! Как здорово! Зайдем?

Молодец. Зла абсолютно не помнит. Особенно — своего.

— М-м-м... Пожалуй, нет. Несolidное заведение! — строго произнес я. Вышли на Мойку. Зажмурились. По зеркальной воде плыли тонкие льдинки. На одной стояла пестрая уточка. Проплывая мимо нас, почесала лапкой в затылке. Мы подошли к Красному мосту, ставшему от времени Розовым. Уточка вплыла в тень моста. Исчезла под ним.

Подъем был скользкий, покрытый льдом.

— Веч! Ну пусти меня. Я не могу на цепи. Я обещаю, Веч!

— ...Ну иди.

Мы поцеловались. Она — радостно, я — со вздохом. Перейдя реку, она остановилась, задумавшись. Ну что? Дубленка диктует иной маршрут? Уточка выплыла из-под моста.

Толстой хмуро меня встретил. Что я натворил! Видела бы Настя! Сколько она старалась! А я? Все зря? За что боролись мы долгими зимними вечерами? Бюст за уши взял, приподнял слегка. Опустил в отчаянии: шкалик, с жидкостью чуть на доньшке, стоит в нем! Вздохнув, взял Толстого, на мой рабочий стол перенес. Пусть тут нам в душу глядит.

Вдруг батя порадовал, выглянув из комнаты:

— Тебе мужик один звонил. Боб. В рабстве, что ль, у него?

Ключ зашаркал в замке — я весь превратился в большое ухо. Вкрадчиво зашаркала дверь... легкие шаги. Спешит к Толстому припасть? Я тихо захихикал. Оттуда тоже донесся неуверенный смешок.

Потом — робко открыла мою дверь. Толстого увидела.

— ...Умный, ч-черт! — восхищенно прошептала.

Надеюсь, это относится частично и ко мне?

Вошла решительно:

— Ну ладно, Веч! Давай по-честному.

— Ну давай.

— Я же обещала. Вот, — торжественно вытащила из кошелки бутылку. — Пиво. Одно. Можно, Веч?

Я поднял бюст:

— Став сюды.

— Вы, Нонна, красавица и чудовище в одном лице.

— Я все сделаю, Веч!

— Что ты сделаешь?

— Все!

Глядели друг на друга.

— Ты... хотя бы под моим столом вымела. А то — упали очки за стол... и вот — даже не разбились, такая пыль!

— ...Но это же хорошо, Веч?

— Ну что ты наделала?

— Что?!

— Что это?

— Это? Котлеты!

— Это мурло какое-то! Все разваливается!

Слезами блеснув, метнулась с кухни. Счастье-то строй!

— Стой! — за руку ее ухватил. — Давай... будем с тобой считать... что это макароны по-флотски. С фаршем.

В слезах ее усмешка блеснула:

— Но без макарон!

— Точно! — я сказал. Засмеялись.

— Только вот, — снова помрачнела, — как твой отец к этому отнесется?

— Ничего! Бывают макароны по-флотски не только без макарон... но даже без флота!

Засмеялись. На сколько еще хватит слов?

Вечером квартира озарилась снова — но отраженным солнцем от стекол напротив.

— Да в шестьдесят я Волгу переплывал! — кричал батя.

Я тоже что-нибудь переплыву. А пока мы показали нашу совместную мощь — уничтожили макароны по-флотски без макарон.

— ...Чай? — сдержанно Нонна произнесла.

Ну отец! Видит же, что Нонна в полном изнеможении... во всяком случае — изображает его. И тем не менее он твердо произносит:

— Да.

Потом я сидел за рабочим столом, наблюдая, как гаснут стекла, и заодно слушал стенания Нонны, доносящиеся из спальни. Но это она уже так — демонстрирует невыносимость своего бытия, при этом конкретно не делая ни хрена! А ты из этого строки гонишь? А из чего их еще гнать? Третье дыхание. Потом Нонна, устав стонать, приходит ко мне, берет меня за руку, виновато улыбаясь:

— А давай к отцу твоему сходим?.. Скучаешь ить!

Ночью я думал: хороший был день!.. Но выдержу ли еще такой?

Выдержу! Завтракая, на то окно жадно поглядывал: где ж Боб? Хотелось бы с ним схлестнуться, набить карманы деньгами. Уже сценарий рисовался: фекальное шествие! Чумой мелкого предпринимательства я, видать, крепко схвачен. Где же Боб? Среди ложных ценностей тоже попадаются очень неплохие. Дело-то наверняка международное, может, уже получено валютное «да»? Но где же он? Видимо, я представляю для него бóльшую опасность, чем он для меня? Звонок. Вот и он, долгожданный!

— Хелло! — сиплый его голосок.

— Хелло. Ты, кажется, интересовался, Боб, пуленепробиваемые ли у нас стекла? Так вот — простые они! — Поначалу на жалость решил надавить.

— А что — стекла тебе? — прохрипел Боб. — Вы и так мне всю морду раскрасовили — от визажиста звоню. Как там кошка твоя? Мне бы такую!

Ну, это погорячился он.

— Ну что с кизяками? — я на более мягкую тему перевел. — Есть идеи.

— Во-во! — Боб обрадовался. — Честно скажу — я уж и двигатель на кизяках кумекаю.

— Пердолет?

— Умеешь ты сформулировать! — Боб захохотал. — Ценю!

Во сколько, интересно? Но если надо, воспою — хотя предмет это непростой для воспевания.

— Сняли кирасирский манеж, — Боб поведал. — Знаешь это где? Тонну набрали уже. Чистим город. Месим, топчем. Ими и отапливаемся уже... Так бабки нужны тебе?

— Да есть маленько пока.

— Так не придешь, значит, коли с бабками-то?

— ...Ну почему же? Приду.

— Но ты — с душой? Честно? — разволновался он.

— Конечно! — воскликнул я.

Я все делаю с душой. Тем более — дело родное. Семья наша с кизяков начинала свое восхождение. Правда, дед мой начинал с них, а я ими закончу. Замкну круг собой.

Отец разговор мой внимательно слушал, усмехаясь из-под бровей.

— В рабстве, что ль, у него? — снова поинтересовался.

— Конечно да, — я ответил.

Он кивнул. Ушел, удовлетворенный. Через некоторое время снова пришел — чем-то еще более довольный.

— Я тут «Иосифа и его братьев» читаю. Как он из рабства выходил. Чего надо-то от тебя, чтоб освободили?



— Видимо, мою жизнь, — я ответил.

Отец пренебрежительно рукою махнул (мол, это что ж за богатство?), вытащил свой заштопанный кошель, усмехаясь, вынул купюру:

— На вот тебе.

Красная цена!

— Спасибо, батя. Но не надо пока, — отвел его дар.

— А то бери. Помнишь, как в «Фаусте»? Маргарита отдала все драгоценности, полученные от Фауста, монахам — и те были очень довольны. Без ехидства не может он!

Снова звонок. Уточнения какие?

— Хелло... О, здарсьте, здарсьте! — прикрыл ладонью трубку, отцу шепнул: — Это Надя, аспирантка твоя.

Он сразу азартно дернулся:

— Дай!

Все сразу ему «дай»! Отвел его руку, шепотом заговорил:

— Спасибо скажи ей.

— Это за что ж это?! — воскликнул. — Она все напутала только! — Снова к трубке рванулся.

— Да постой ты! — Как мог, я удерживал его, целое сражение у нас возле трубки развернулось. — Ты одну только строчку в сберкнижке разглядел вместо двух, а она все твои пенсионные бумаги по новой сделала! Понял, нет? — Я прижал его к стенке: — Поблаговари ее.

— ...Понял, — неохотно он произнес. Я отпустил его, протянул ему трубку. — ...Алло! — просипел он. — ...Надя? Ну здравствуй, мила моя! Спасибо тебе! Как хорошо-то ты все сделала — пенсия у меня почти вдвое возросла! Ну спасибо тебе! Пока.

Мы посидели с ним молча, потом он поднялся, потрепал мне плечо и ушел к себе.

Снова звонок! Кузя. Не забывают друзья!

— Слышал? — сразу взял быка за рога. — Возле Испании танкер развалился с нашим мазутом. Однокорпусный — тонкий, как яйцо. Такие же, кстати, и по Неве ходят и скоро в Приморск будут заходить.

Я мягко эту тему отвел:

— Сочувствую. Но, Кузя, извини, своего хватает.

— А ты, что ли, думаешь, я слепой? — вдруг и Кузя разволновался. — ...Хочешь знать, я с того только и начал тебя воспринимать, когда увидел, как ты к отцу и Нонке относишься!

Без этого я пустышка, выходит?

— Поэтому и помогаем, как можем. И посылаем, когда получается.

— Спасибо тебе.

Пора со двора. К Нонне в спальню зашел:

— Все! Вставай и убирайся.

— Из дома?

Вспомнила нашу старую шутку!

— Нет. В доме!

Пошел. Отец с золотой банкой меня провожал.

Через наш угол пробегая, на витрину посмотрел. Шинель моя там одна скаучает. А могла ведь мои плечи утеплять. Впрочем, в витрине она благородней глядится.

Подошел к ней поближе — и обомлел. Уценка на пятьдесят процентов! Уценили подвиг мой. Впрочем, он больше и не стоит.

Потом я топтал в манеже навоз — не испытывая, кстати, никаких мучений. Все равно все утопчу — в золото. В крайнем случае — в медь.

---

---

ГРИГОРИЙ КОРИН

\*

ИЗ ОСКОЛКОВ ДНЕЙ

\* \*  
\*

Все, что выветрила память  
И, казалось, не вернет,  
Дом и двор, ночную заметь  
И стремительный восход,  
Все, от юности военной  
И до старости моей,  
Исчезает неизменно,  
Как в пустыне сытый змей.  
Не понять мне, что случилось,  
Расходилось все вокруг,  
Не похоже все на милость  
Или старости недуг.  
Все, что вспомнить и не грезил,  
Обнаружу где-нибудь,  
Двигаюсь почти на срезе,  
И не страшно мне ничуть.  
И ни боль, ни удивленья  
Я не чувствую ни в чем,  
Словно я на представленье —  
И тоскливо мне на нем.  
Может, что-то тронет душу,  
Но, как странно, гибнут дни,  
Прибавляя равнодушьем  
Лесенку для западни.  
Да и жизнь совсем другая  
Эта — вовсе не моя,  
Все глядит в глаза, пугая,  
Чем, не понимаю я.  
Все прошел и горы смерти  
Повидал я на веку.  
Только голос милосердья  
Различить я не могу.

---

Корин Григорий Александрович родился в городе Радомышле (на Житомирщине) в 1926 году. Фронтовик. Автор нескольких лирических сборников. Живет в Москве. «Его стихи — одна пронзительная и очень беспощадная исповедь» (Б. Окуджава).

\* \*  
\*

Птичек покормлю,  
Птичек покормлю.  
В храмовой сосне  
Вспомнят обо мне,  
Пусть они помолятся.  
За меня помолятся.

Рано поутру  
В крошево сотру  
Хлебушек ржаной, —  
Пусть они помолятся,  
За меня помолятся,  
Встретятся со мной.

Сяду глух и нем.  
Корму хватит всем.  
На окне моем  
Не убудет днем,  
Пусть они помолятся,  
За меня помолятся.

\* \*  
\*

Раньше шло все как по маслу,  
Словно бы предрешено,  
А теперь слова погаснут,  
И в глазах темным-темно.  
Раньше больше было смысла  
И рискованность была,  
И качалось коромысло  
На плечах добра и зла.  
Освещенный день был ясен,  
Ночь беззвездная ясна,  
И ломился в окна ясен,  
Накаленный докрасна.  
Набиралось равновесье  
Из осколков дней и лет,  
И хранило поднебесье  
Каждый новый мой секрет.  
Ничего теперь такого  
Мне на старость не дано,  
И любое ныне слово  
От меня ограждено,  
Словно под замком тюремным,  
И не знаю, как спасти,  
Чтобы не сгубить подземным  
Начертанием пути, —  
Вынести, не ранить в смуте,  
Божий смысл не утерять,  
Легкости его и сути  
Дать дыханье, волю дать.

\* \*  
\*

Что убудет, вновь прибудет,  
Не ленивица земля,  
Все меняются — и люди,  
Змеи, овцы, тополя.

Нет бессмертья, даже камень  
В трещинах, себя разнес,  
Кто же держит нас веками,  
Нас, одну из многих звезд?

Даль раскинулась над нами,  
Утром свет, а к ночи тьма  
Гладит вечными руками  
Наши хрупкие дома.

\* \*  
\*

Что людям ни приснится!  
Мне снятся лагеря.  
Из проволоки граница  
И тусклость фонаря.  
Ко мне отец приходит,  
Ко мне приходит мать.  
Велят конвой и ходики  
Свидание кончать.  
Я требую начальника,  
Конвойному грожу  
И плачу от отчаянья,  
Что ни за что сижу.  
Но если повториться  
Жизнь хоть во сне вольна,  
Война должна мне сниться.  
Не снится мне война.

### Поэт

Поэт всегда пророк —  
И с первых дней творенья  
Строка его зарок  
Его Богослуженья.

Для красного словца  
Найдутся и другие,  
Поэт слуга Творца,  
А не психиатрии.

И не сведут с ума —  
Ни холод и ни голод,  
Ни тощая сума,  
Ни погребальный молот, —

Он и такой — пророк,  
И вся его тревога  
За грех постыдных строк  
У Божьего порога.

\* \*  
\*

Что-то легковесное, чужое  
Горным облаком обволокло,  
Слепо время сдвинулось земное,  
Рухнуло последнее число,  
Отзвенели все его минуты,  
И секунды быстрый путь прошли,  
И прорвался я из тяжкой смуты  
И по краю двинулся земли.  
Я не знал, как тяжело время весит,  
Тяжелее гор, земли ночной,  
И уносит грады все и веси,  
И тебя, и весь твой путь земной.



---

---

МАРИНА ПАЛЕЙ



## ВОДА И ПЛАМЕНЬ

*Рассказ*

**В** яркий день, когда витрины уже завалены хорошо загорелыми пасхальными зайцами, глаз примагничивает оживленное столпотворение возле кирхи. Храм вздымается на невысоком холме — величественный, несомерно крупный для этого городка, попавший в него словно по ошибке, — словно рассчитанный изначально совсем на другой, величественный город. Площадка перед кирхой обычно пустынна: лишь две бронзовые фигурки — Христос у колодца и самаритянка — своим постоянным присутствием (особенно это чувствуешь ночью) привносят в открытую небу плоскость уют когда-то горевшего очага. Да, площадка перед кирхой обычно безлюдна, поэтому, уловив праздничное возбуждение, зрачок невольно берется искать пышное облачко девственной белизны, особенно белое на непроницаемом фоне темно-синих мундиров. Воздух апреля так приятно прохладен, так нежен для кожи, но втягивать его приходится по чуть-чуть (досадуя, что в ноздрах от природы нет дополнительных фильтров): едкий, всепроникающий запах свиного навоза насквозь разит беззащитный мозг. Ветер дует с полей, редкостное зловоние накрывает городишко, как муху, — но, даже если бы местная роза ветров, сжалившись, изменила свои очертания, это несколько не изменило бы существующего положения дел, потому что — кроме этих свежеунавоженных полей — вокруг городка, на много километров вокруг, ровным счетом ничего нет. Мундиры, словно под напором, все прибывая из дверей кирхи, заполнили уже значительную часть площадки, а пышное белое облачко с цветами в руках так и не появляется. Наверное, нелегко проникаться возвышенностью момента, венчаясь под фундаментальный смрад свиных экскрементов...

Невесты, стало быть, нет, и глаз уже ищет кого-то другого — того, из-за кого под открытым небом роятся сейчас наглухо зашитые в мундир люди. Возможно, это знаменитый преступник-рецидивист, который довольно находчиво прятался, пока его только что не накрыли, за трехсотлетним алтарем. Возможно, сейчас я как раз вижу полицейских специального подразделения, которые прибыли для поимки этого крупномасштабного террориста, тактически верно избравшего своим убежищем кирху Святого Бриктиуса. Полицейских собралось гораздо больше, чем это необходимо, — многие явились просто так, за компанию, потому что такое событие — громадная честь для городка в семь тысяч тел, затерянного среди вестфальских полей...

Поднимаюсь по широкой каменной лестнице, к самой кирхе, и вижу, теперь вблизи, тех же казенных людей в по-прежнему загадочной форме.

---

Палей Марина Анатольевна родилась в Ленинграде. В 1978 году закончила Ленинградский медицинский институт, работала врачом. В 1991 году закончила Литературный институт. Прозаик, переводчик, критик. Автор книг «Отделение пропащих» (М., 1991), «Месторождение ветра» (СПб., 1998), «Long Distance, или Славянский акцент» (М., 2000), «Ланч» (СПб., 2000). Постоянный автор «Нового мира». С 1995 года живет в Нидерландах.

Они возбужденно расхаживают по мокрому, свежеполитому гравию, с громким хрустом шуршащему под их грузными башмаками, как сырая гречневая крупа. Какое-то одно мероприятие закончилось, другое еще не началось... Отлично выбритые, довольно упитанные мужчины несут на себе эти новехонькие парадные мундиры с нескрываемым физиологическим удовольствием. Я подхожу к двум блеклым девицам — на фоне этой мужской военизированной роскоши синего с золотом в своих синтетических куртках они выглядят бесполо и постно... Простите, вы говорите по-английски? — Немножко. (Более обстоятельная показывает меру этого «немножко»: четверть мизинца.) — О'кей. Вы не скажете, что здесь сейчас происходит? — Они смущенно переглядываются... — Свадьба или похороны? — Та же реакция. — Ну, свадьба... — Как назло, немецкое слово вылетело из головы... — Свадьба — это когда... — Хочу сделать жест, но... каким жестом изобразишь свадьбу?

Девыцы поглядывают на меня уже с опаской: в моем поведении, что называется, *sehr viel* чувства. — Или похороны? — не отступаю я. (Здесь можно нахмуриться, согнуть ладошку сиротским ковшиком и показать поштучное складывание в нее драгоценных капель... но это кажется мне неуместным...) — Штербен!!! — радостно восклицаю я (вспомнив, конечно, Чехова).

Йа, йа, оживленно кивают девыцы... — Филяйт, этот ман был хо-о-ойен рангес? (Тяну руку вверх, приподнимаюсь на цыпочках...) — Найн, найн, говорят девыцы, ниht хойен рангес... просто это был уже альтер ман... зеер альтер ман... долго был кранк... — Аллес кляр, говорю я, но позвольте еще вопрос? — Девыцы кивают. — Альтер ман относился именно к тому ведомству? (Выделяю «к тому» и киваю в сторону мундиров.) — Униформ? (Делаю пару выразительных щипков на своем платье и затем показываю на кирху: внутри ее, видимо, еще стоит гроб.) — Йа, йа, подтверждают девыцы... — Тот альтер ман тоже носил именно такой униформ. — Чей же это униформ? — с ударением на «чей» спрашиваю я (брови «домиком», голову в плечи, руки шире плеч...) — Девыцы не понимают английского «чей». — Какой департамент? — прежняя реакция... — Какой афдейлинг? — вставляю родное голландское словцо. — Абтайлунг! — вдруг вспоминаю по-немецки. — Какой это абтайлунг?.. — Это фойервер... — отчетливо и с тихим почтением отвечают девыцы. — А!.. Вот сейчас все действительно более-менее «кляр».

Смотрю на раскормленных гладколицых пожарных (все они, как один, в глубоком, сродни наркотическому, верноподданническом блаженстве — смакуют сейчас каждую пуговичку своего мундира) — и прихожу к выводу, что пожары в этом городке происходят, слава Богу, не часто. Мне делается понятным и то, что я вижу теперь: из церкви выходят несколько высоких мужчин, в той же униформе, но не в фуражках, а в касках с огромными колышущимися перьями... Это почетный караул: словно застоявшиеся жеребцы, убранные к празднику дорогим плюмажем... Каждый, не успев шагнуть наружу, молниеносно срывает с себя тяжелое сооружение, с наслаждением подставляя вспотевшую голову апрельскому ветерку...

Я, собственно говоря, иду в бассейн. Он расположен в пяти минутах от кирхи — как раз между Старым и Новым кладбищем. Эта комбинация выглядит так, будто покойники Старого кладбища только и ждут звука трубы, чтобы по ее команде вынырнуть из могил, сигануть в бассейн, там вдумчиво поплескаться, укрепив в соревновательном порядке останки брэнной плоти, затем подвергнуть ее основательной помывке (то есть санобработке в сияющем уже инобытийной белизной душе) — и все это лишь для того, чтобы указанные останки, омоложенные и очищенные, разместить наконец в новых могилах Нового кладбища. (Но как проверить, вопрошал классик, правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон?..) Так или иначе, этот демонстративно диалектический трехчлен, двойное мemento мори, меня всякий раз очень смешит, и

мне странно, что администрация бассейна не прозревает в остроумном фортеле городской планировки никакой антирекламы своему оздоровительному заведению — она не замечает даже зловещей кладбищенской тени на его чистой, соответствующей нормам питьевой воды репутации. Случись мне быть в администрации бассейна, я, правильно используя ситуацию, непременно бы выпустила рекламный буклет: «Воскрешаем из мертвых». Вот потому-то я и не в администрации бассейна...

А с репутацией заведения все в порядке: оздоровительными мероприятиями пренебрегают только избалованные, выдавшие разные виды приезжие, да и то не из-за сомнительного соседства, дважды ослабляющего веру в чудодейственность водных процедур, а потому что вода в этом бассейне всегда очень теплая — чуть более теплая, чем приятно телу. (Отговаривая туда ходить, мои привередливые знакомые заверяли, что там можно запросто яйца варить, и независимо от того, что именно за этим стояло — обычная скабрзность или хозяйская сметка, — это не облегчало положения.) Что же касается местных жителей, они почти всю неделю могут черпать в бассейне скромную свою отраду: с 14 до 21 час. (ежедневно) — Algemeinesbaden; кроме того, с 14 до 15 час. (в понедельник и четверг) — Seniorenschwimmen; с 14 до 17 час. (в субботу) — Allgemeinesbaden; с 8 до 12 час. (в воскресенье) — Allgemeinesbaden; вторник — выходной.

В пятницу вечером, как сегодня, приходят купаться фермеры. Эти плавают мало — обычно, достигнув глубокой части бассейна, они тут же хватаются за бортик, чтобы, в группе из трех-четырёх человек, зависая над основательно продезинфицированной четырехметровой бездной, обсудить какие-то общие дела. В мелкой части бассейна, отгороженной от глубокой мохнатым и толстым красным жгутом, к определенному часу накапливаются дамы в возрасте между бальзаковским — и тем, когда бальзаковский кажется робким пробуждением весны. Бодрая кёрперкультурфюрерин, стоящая на краю бассейна, показывает им, как быстро и с получением максимального удовольствия исправить фигуру, которую те целенаправленно портили на протяжении от сорока до семидесяти лет. С завидной сосредоточенностью, подошедшей бы и для посещения кирхи, дамы честно стараются следовать ее указаниям: болтая ногами, вздымают легкомысленные фонтанчики, в затылок друг другу ретиво шагают по кругу, а также — по команде — делают руки вверх, в стороны, вниз. Играет старомодная музыка, поющая о любви, о любви, только о ней, и являясь важным стимулом для — айн, цвай, драй! — согласованного движения всех конечностей. А в стеклянном кубе, сверкающем в самом центре левого края, на высоком винтовом кресле сидит, разумеется, Манфред.

Я встретила его в предрождественские дни, которые здесь начались с первых чисел декабря. Возле здания, назначением которого является проведение культурных мероприятий, происходило, условно говоря, народное гулянье. То же самое разыгралось и внутри здания. Разница заключалась в том, что снаружи здания, под деревянными навесами, устроенными в расположении громадных, нарядных от снега рождественских елей, продавалась довольно брутальная пищевая продукция: исходившие соком, паром и ароматом сосиски-колбаски (трехзначный порядок наименований), бессчетные сорта пива (причем торговлей занимались переодетые в добрых снеговиков члены городской администрации), — и на специально оборудованной площадке неспешно крутилась, оседланная чинными ребятишками, музыкальная карусель, а внутри здания карусель, естественно, не обнаруживалась, но был жаркий — битва тигра и жертвы — камин с выложенными над ним в чугуне цифрами 1829, была ель поменьше, наряженная, как фея, и дети там рисовали кисточками на бумаге, на полу, на стенах, друг у друга на лицах, — и еще там продавались груды лакомств — в частности, замысловатые виды-подвиды парадно напудренных кондитерских изделий. Вот изделиями-то и заведовал Манфред.



Публика, дисциплинированно начавшая празднества с утра (то есть в то время, когда я, если повезет, засыпаю), уже расходилась. Манфред стоял возле подносов, предлагавших атакующий — но уже распавшийся и понесший серьезные потери — строй кексов, пирожных и кренделей, — итак, он стоял по стойке «вольно» возле серебристых подносов, устланных льняными красно-зелеными рождественскими салфетками в рюшах и кисточках по краям.

Я спросила его, почему пирожное. Айне марк, сказал он. И вдруг деловито, почти строго, сделал приглашающий жест в помещение за его спиной (полвека назад оно служило, вероятно, обеденной комнатой для многочисленной семьи крепких фермеров). Мы вошли туда, он сказал: вы можете бесплатно взять пять, каких захотите, изделий. Пять. Понимаете? Пять, бесплатно. (Для вящей убедительности он растопырил крупную пятерню.)

Приятно прохладное помещение по случаю праздника было забито разнокалиберной кондитерской продукцией, которая (если расчленить рябь в глазах на отдельные элементы) утопала в сложносоставной пестроте — кремов, тертого шоколада, белоснежной ванили, винного джема, орешков, цукатов, марципанов, взбитых сливок, алых и пурпурных ягод, влажного янтаря тропических фруктов...

Означенная продукция, вдоль двух стен аккуратно складированная на подносы, простиралась, таким образом, чуть не до самого потолка. Все это сильно напоминало бутафорский цех для классических голливудских гэгов. Думаю, единиц продукции там было как раз 5005 (пять тысяч пять); для ровного счета Манфред решил эту цифру слегка округлить. Мне стало неуютно оттого, что солидный, немолодой уже человек ради меня идет на явное должностное преступление. Поэтому, сказав «надо подумать», я вышла, села возле камина (где приятели угостили меня красным вином) и, наконец-таки поймав изображение в фокус, разглядела, собственно говоря, следующее.

Это был шестидесятилетний житель данного населенного пункта — житель, в котором угадывался если не мастер, то уж всяко кандидат в мастера спорта — крепкий, костистый, с граблевидными ручищами, с плутоватой длинноносой физиономией, который, живи он южнее и восточней и еще чуть южнее и восточней, а главное, чуть раньше, крепко любил бы (имея при этом в полном достатке): горилку, галушки, сало, яишню со шкварками, огневой борщ с хорошо наперченными и начесоченными пампушками, голубцы, вареники с творогом и сметаной, вареники с вишнею, дыню, черносмородиновую наливку — возможно, он самозабвенно плясал бы гопак (что там еще в наборе?), горланил бы («утирая пушистым усом слезу») «Ой, за гаем, за Дунаем» — он был бы хлебосольный сват своим сватьям, щирый кум кумовьям, а еще, разумеется, кохал бы породную, большегрудую свою супругу, гарнесеньких детишек, а еще — и оно, может быть, самое главное — не обделял бы мотной мужской ласкою многочисленных одарок, парасок, марьянок, христинок, оксанок, ганусек... И все это в лугах, в лесах, в полях, на сеновалах — ну, в общем, где подвернется. Уф!.. я поняла, что уже вполне созрела для выбора кондитерских изделий... Приятели потянулись за мной.

...Иншульдиген зи битте, фрау, мой инглиш из зеер шлехт. Я былъ в Ленинград... в один девять семь два... шейне штат... В Петербург, йа? ха-ха-ха-ха... шейн... Достоеффский... шейн... Эрмитаж... зеер шейн... Футбол!!! Матч!!! «Синид», найн?.. О йа, «Зенит». Иншульдиген зи битте... О! Зеер, зеер гут!!!

У камина я разделила пять тщательно выбранных кондитерских изделий со своими приятелями. Они-то и рассказали мне, что это человек, которого зовут Манфред, служит в бассейне, и ядовито добавили про варку яиц. А еще через полчаса народное гулянье завершилось, и оставшимися пятью тысячами единиц кондитерской продукции были угощены местные

сельскохозяйственные животные, с незапамятных времен одомашненные человеком.

В середине марта я решила сходить в бассейн. Куда еще податься заезжуму гостю, какой и вообще без особой охоты выходит из дома? В банк, в супермаркет. К ювелиру, то бишь гольдшмиту. На почту, в аптеку. Ну да, в кирху. К дантисту, в пиццерию, в лавчонку сувениров и открыток. К шумахеру. К шнайдеру. В кафе. Снова на почту, в кондитерскую, в цветочный магазин...

По дороге в бассейн, в двух шагах от Нового кладбища, мне попался местный маскарад. Мероприятие происходило возле павильона (где продавалось пиво и т. д.), украшенного бумажными гирляндами и гроздьями воздушных шаров. То и другое приятно шуршало на ветерке, уже по-весеннему разившем свиным навозом... Я легко узнала ювелира, хотя загримирован он был зверски, а кроме того, наряжен в мохнатые рыжие брюки с пришитым к ним хвостом лисы, в лакированный черный цилиндр и белое с черными звездами шелковое жабо. Банковский клерк внешне оставался собой, но бойко раздавал визитные карточки кондитера (где было написано его, банковского клерка, имя: Dr. Johannes Roosmann). В объёвлении значилось, что маскарад продлится два часа. Был вечер пятницы.

Зайдя в бассейн, я сразу увидела Манфреда. Это был единственный человек, сидевший в стеклянном кубе, и стеклянный куб был тоже один. Перед кубом, двумя метрами ниже, простиралась голубая, в розовых пятнах тел, толща воды; везде стоял специфический шум и запах бассейна. Я не сразу сообразила, как взять билет в автомате. Манфред, сидевший спиной, уловил мое замешательство по телеустройству. Он встал в своем кубе, толкнул что-то в стене, там открылась дверца... Кайн проблем. Он набрал код, поднес к щели мою купюру — автомат жадно выхватил деньги из его рук, в то время как из моих выплевывал. Кайн проблем, ха-ха-ха-ха. Когда дело было улажено, а именно когда автомат выдал звонко подскакивающую мелочь и металлический чип (то есть когда была почти завершена деловая часть), Манфред, краем глаза, посмотрел на меня несколько озадаченно. Судя по всему, он понимал, что где-то уже меня встречал, но совершенно ничего не мог восстановить из тех обстоятельств. Его память, ежедневно сглаживаемая водой, вероятно, совсем не имела свойственной некоторым профессиям цепкости — видно было, что он очень хочет сказать мне что-то приятное, но, не помня даже в самых общих чертах первоначального знакомства, как-то не решается. Я ему подсказала. А, йа, йа, натурлих, резво вскинулся Манфред — и продолжил на своем удобно минимализированном английском: я быть в Ленинград!.. в один девять семь два... Достоевский... (См. выше.) В длинных белых шортах и синей футболке, всей своей крепкой старческой фигурой он напоминал (да простит мне Всевышний эту несурзность) знаменитого ловца бабочек, экривайна, любителя тенниса...

У себя на службе Манфред вел себя много уверенней. Поэтому за те пять шагов, что мы прошли к турникету, он, включив мощную мимику, успел выказать свое восхищение моим нарядом, моими туфлями и, разумеется, мной самой в том и другом. Возле турникета деловая часть продолжилась: явно ощущая военно-стратегическую важность миссии, Манфред объяснил мне, что сейчас я могу пройти свободно, чип опускать в прорезь не надо: турникет в ту сторону открывается сам, видите? Чип понадобится именно для того, чтобы выйти обратно. Поэтому тот человек, кто не имеет чип, тот уже не сумеет выйти из бассейн никогда! Ха-ха-ха-ха. Никогда в жизни такой человек уже не смочь выйти из бассейн! А тот, кто имеет чип, как вы, шёйне фрау, тот может использовать его также и для камеры хранения.

Ну что, поплаваем? А как тут теперь поплаваешь с таким знакомым? Словно выставляя напоказ жилистую свою фигуру, он так и вертится в

толстостенном, словно пуленепробиваемом, кубе: то сядет, то встанет, то выскочит наружу, мелькнет за стеклянной стеной буфета, то выйдет в свои непосредственные владения. Тут Манфред полновластный хозяин: собирает по берегу разноцветные мячи и бросает в воду — или, наоборот, просит кого-нибудь из мужчин подать ему надувное колесо, чтобы вытащить из кармана связку ключей и деловито запереть его в темной кладовке.

Подходит к детской площадке для прыжков в воду. Делает какое-то неожиданное назидание худенькому, как муравей, мальчику. Тот смотрит на него с удивлением. Подходит по краю бассейна к тому месту, где я лениво блаженствую в глубокой, отменно выполняющей положенные ей физические законы, обеззараженной жидкости. По-моему, он с самого начала именно сюда и шел... Ну и какой впечатление от мой вассер?! Ха-ха-ха-ха. Я энергично соединяю пальцы в колечко и покачиваю кистью: о'кей. Этот жест невольно вызывает в памяти своего двойника: такое же колечко из пальцев я делала моему маленькому сыну, но тогда это значило не о'кей, а просто зайчик... Ду бист айнес шейнес метхен! айнес шейнес метхен!.. — доносится до меня Бог знает откуда... Ага, ясно. Уже на «ты». Правда, я младше его, думаю, лет всего на пятнадцать. Маленькая собачка до старости щенок. Катящийся камень не обрастает мохом.

Снова делаю колечко и улыбаюсь очень широким форматом, что сейчас означает вежливое «хватит». Конец связи. Прием.

Я, суверенный индивид, нахожусь здесь для укрепления своего здоровья. Туда и назад. Туда и назад. Туда и назад, туда. Туда и назад, туда и назад, туда, назад и туда, назад, туда, назад, туда, назад и туда, назад...

Стрелки настенных часов показывают без пяти девять. Манфред снова энергично выходит из куба, останавливается на краю бассейна и, полн каких-то дум, обозревает пустынные воды. Пустынные, если не считать меня. Неловко получается: я, наверно, его задерживаю. Вопросительно поднимаю палец: можно еще одну дорожку? Он рьяно машет длинными своими руками: да ради Бога! Да сколько хочешь! Потом показывает на часы: еще законных пять минут. Ду хаст генук цайт! Кайн проблем!..

Нет, вот именно одну дорожку — и как-нибудь незаметно смыться. Не тут-то было. Манфред стоит у двери и, более чем одобрительно оглядывая мое брненное тело, еще издали показывает мне «зайчика». Понятно, вот человек, который мог бы, скажем, питаться одними маслинами, притом только черными. Дай ему волю, он бы поглощал черные маслины лопатами. Беда в том, что живет он в местности, где это не принято. Иными словами, я представляю для этого бедолаги «его физический тип». Моя заколка, видимо, утонула, и теперь длинные волосы, размотавшись и разматавшись, медузообразно облепляют, как называют это дерматологи, «открытые участки кожи». Ни и как вассер? Ха-ха-ха-ха. Гут? — Зеер гут, говорю я, переступая ногами в лужице и понимая, что сейчас — разумеется, в рамках политкорректности — должен пройти какой-то натуральный обмен: у него вассер, а что у меня? И обмен происходит: шейнес, шейнес метхен! — с чувством говорит он и, явно не сумев более сдерживать граблевидные свои руки, слегка хлопает меня по предплечью. Я улыбаюсь во весь широкий формат. Слегка кивнув, направляюсь к кабинкам. Бис морген! Бис морген! Ауфвидерзейн! Чу-ус!..

...Снаружи, несмотря на луну, после яркого холла кажется темно — с непривычки я теряю направление. Приходится вернуться к освещенному зданию. В это время из дверей бассейна выходит Манфред. Скрытая тенью дерева, я вдруг отчетливо вижу, что у него усталая, осевшая, какая-то уже полностью и безоговорочно капитулировавшая фигура. Я вхожу в пятно лунного света, Манфред видит меня.

Девять тридцать вечера. Городок абсолютно пуст. Возле большого платана горит фонарь, освещая подновленный к весне указатель: «Zum Neuen Friedhof». Узнав меня, Манфред как-то теряется. Вся его фигура выражает

то, что век назад называли смущением. Ничего, думаю я, сейчас юркнет в авто, как страус под крыло, и ни мне, ни ему, к обоюдному облегчению, не придется насиловать мимическую мускулатуру, равно как и голосовые связки. Но нет... Он медленно направляется к Новому кладбищу — туда, собственно говоря, куда надо и мне, — при этом продолжая поглядывать на меня вполоборота, словно придерживая дверь...

Присоединяюсь.

...Я живу не так очень далеко. Мой дом через пять минут медленная прогулка на ногах. Я сейчас буду дома эссен мой ужин. Потом я буду айне час смотреть телевизор. Потом я буду спать. Майн инглиш из зеер шлехт. Я быть айн маль в Канада. Зеер гут. Я любить велосипед и рыбалка. Битте? Йа, унд аух фиш эссен. Ха-ха-ха-ха. Генау.

Мне видно, что он совершенно потерял, потому что лунный вечер, и узость улицы, и мой энергичный шаг, и, главное, видимо, катастрофическая близость дома — все это вместе представляет собой неожиданный для него перебор: на такие-то уж форс-мажорные обстоятельства его скромный кураж явно не был рассчитан. Я вижу, что рядом семенит совершенно растерявшийся старик и, хотя он знает, где я живу (именно там, где он потчевал меня внебюджетными пирожными), то есть понимает, что мне действительно по пути, — все-таки мои длинные влажные волосы, концы которых зловещий ветерок то и дело запихивает мне в рот, и полная луна, и тесное соседство кладбища, вдоль каменной ограды которого мы сейчас идем, — все это, видимо, придает мне в его глазах нечто вампирическое, потому что внезапно, безо всякой связи с предыдущими пассажирами о рыбалке и рыбе, он как-то жалобно произносит: цвай яре назад майне фрау иметь айнен гроссен херцинфаркт...

Ну да, ясно. Он, видимо, вообразил, что сейчас, для начала, я его обгоню, затем решительно ворвусь в его маленькую гемюглихе кюхе, затем — о, майн Готт! — водружу чресла свои на его большой табурет, схвачу его большую ложку, подвину к себе его большую миску и, бестрепетно глядя на его белую, как полотно, жену, съем всю его кашу; затем невозмутимо столкну (с табурета средних размеров) эту злосчастную инфарктницу жену (экипированную пепельным паричком и фальшивой челюстью), водружу на ее табурет свои чресла, возьму ее ложку (поменьше), подвину к себе ее миску (поменьше) и съем всю ее кашу; ну а там доберусь и до кошки: встану на четвереньки, подскочу к самой маленькой (голубой) мисочке и, жадно урча, вылакаю все до последней капли. Классная анимация!..

Бис морген, говорю я, сворачивая направо, к кирхе, и слышу, уже в спину, облегченным выдохом: гуте нахт!..

...Смрад свиного навоза неотвязен, всепроникающ, вездесущ, разящ — даже плотно законопатясь в комнате, даже герметично задраив свою капсулу, ты уже не можешь изгнать его из сознания — запах входит в кровь, всасывается в лимфу, въедается в мясо, накапливается в костях, в волосах, в позвоночнике, в печени, мелкими язвочками разъедает глаза, ноздри, язык, зев, мозг. Включая распад, растлевает безвольную память. По окончании процесса ты становишься частью пейзажа.

Я прихожу в бассейн только через неделю. Почему? Чем больше свободного времени, тем его меньше в целом. Что касается меня, то абсолютно все мое время свободно. У меня нет ни забот, ни занятий, ни обязательств. (Предмет здоровой, неиссякаемой, очень человеческой зависти ближнего и дальнего окружения.) Да: я свободна от земных уз, поэтому времени у меня нет ни на что. Парадоксально: когда ты ничем не занят, время несется так, словно его необратимо запускают в какой-то иной, уже

потусторонний режим. Это очень специальная, очень изошренная и, несмотря на катастрофическое исчезновение времени (в том-то иезуитская суть пытки), как раз очень *затяжная* казнь — вполне, впрочем, заслуженная для праздношатающихся. Приговор приводится в исполнение аккуратными клерками рока, с планомерностью живодеров истребляющими бездомных собак.

Итак, попадаю в бассейн снова в пятницу, снова под вечер.

...Гутен абент, как мой вассер? — Зеер гут. — Гут! Айнес шёйнес метхен! — О найн, найн. — О йа, йа! — О, данке шёйн...

Слава Богу, удаляется в свой стеклянный куб. Теперь надо что-нибудь деловито изобразить стилем брасс, полностью игнорируя его любезные, словно входящие в утвержденный прейскурант, глуповатые ослабленности. Потому что если дать послабление, если хоть разок, из гуманных соображений, ему подмигнуть, то потом, проплывая мимо стеклянного куба, придется подмигивать уже всякий раз. А если какой раз не подмигнешь (опрометчиво настроя его именно на регулярные подмигивания), то это будет как бы беспричинное, то есть неприличное, охлаждение. Ежели же подмигивать всякий раз, то можно запросто схлопотать мигательный тик. Пошел ты к черту. Туда и назад. Туда и назад. Туда и назад, туда, туда и назад, туда и назад, туда, назад и туда, назад, туда, назад и туда, назад... Без пяти девять. Ду хаст генук цайт! Кайн проблем!..

...Я живу не так очень далеко. Мой дом через пять минут медленная прогулка на ногах. Я сейчас буду дома эссен мой ужин. Потом я буду айне час смотреть телевизор. Потом я буду спать. Майн инглиш из зеер шлехт. Я быть айн маль в Канада. Зеер гут. Я любить велосипед и рыбалка. Битте? Йа, унд аух фиш эссен. Ха-ха-ха-ха. Генау. Бис морген! Бис морген! Ауфвидерзейн! Чу-ус!..

Нет уж, в следующий раз точно приду днем! И уйду днем. Вот прямо завтра.

В следующий раз прихожу снова через неделю.

Правда, действительно днем. Как раз после кирхи Святого Бриктиуса с навеки угасшим пожарным. Синий день. Детски ясноглазый апрель. Всепроникающий, ядовитый, как фосген, запах свиного навоза...

...Гутен таг! Ты хотеть чай? Я угощать тебя чай. Здесь, в этот буфет, есть зеер гут чай. Или кофе? Или, филияхт, вайн? Какое вайн ты хотеть — вайссен одер ротен? Айне бокал фом ротен. Гут.

И мы оба входим в стеклянный куб.

Садимся за служебный стол.

Мой бокал, полный до самых краев, пылает в центре служебного стола, в служебное время, между лицом, исполняющим служебные обязанности, и грессбухом учета дезинфицирующих средств — он скандально краснеет на весь оздоровительный комплекс, как добрачная кровь эпохи викторианства.

Фермеры резко прерывают дискуссию и замолкают, уставясь в мою сторону так, словно узрели по меньшей мере тучу саранчи, норвящей вот-вот затмить солнце. Дамы, занятые совершенствованием своих форм, неподконтрольно поворачивают головы — и резко застывают, распластанные на воде, с недоразведенными до положения «драй» ногами. Бедный Манфред! Он, конечно, полагал, что я попрошу чай. Сок. В крайнем случае кофе. Теперь надо как можно скорей убрать эту компрометирующую жидкость из поля зрения общественности. Куда? Ну не выплескивать же на пол. Прозит! — говорю я Манфреду, и весь компромат вмиг исчезает там, где ему положено.

И за краткое время от этого резкого старта до блаженного мига, когда финиш становится, собственно говоря, не важен, я очень трезво успеваю

отметить, что Манфреду сейчас много неуютней, чем даже на узкой улочке, под неуместно оголенной луной.

Ладно.

Начнем митейнандер цу веркерен.

То бишь общаться.

Это ваша постоянная работа? — Да, это мой постоянный работа. — У вас есть дети? — Да, у меня есть дети. — Дочки или сыновья? — Кайн сыновья. Я иметь цвай тэхтер. — Они тоже живут в этом городке? — Найн. Одна тохтер жить фюнф километр отсюда, в другой маленький город. Вторая тохтер жить ахт километр отсюда, в еще один маленький город. — А внуки у вас есть? — Битте? — Дети детей? — Нихт ферштейн. — О'кей, смотрите: у вас есть дети. А у ваших детей есть свои собственные дети? — Йа, натурлих. Одна тохтер иметь цвай киндер. Другая тохтер не иметь киндер.

Генук. Физические упражнения закончены. Пора переходить к водным процедурам.

Манфред видит, что я хочу уйти, и, видимо, сочтя, что опасность моего утопления после одного бокала вина достаточно высока, а может, просто не желая меня отпускать, смотрит мне в глаза растерянно и даже обиженно (как дама, на ночь глядя сказавшая избраннику своего сердца: возьми самое дорогое, что у меня есть, — избраннику, немедленно взявшему ее велосипед и укатившему навсегда). Найн, битте шёйн, наконец говорит он — и судорожно добавляет: смотри! смотри! смотри, что тут у меня есть! (Так отвлекают капризничавшего младенца — заведомой ерундой, первым, что подвернется: собственным пальцем, колечком, фантиком...) Я смотрю, куда он показывает: на столе, рядом с гроссбухом учета дезинфицирующих средств, придавленная ножкой моего пустого бокала, лежит купюра в пять ойро. После работа я угощать в буфете — тебя, муж буфетчица и цвай ее киндер! — Он показывает руками, глазами, губами: нет проблем!! в сущности, нигде, никогда, ни у кого, ни при каких обстоятельствах нет проблем!!! — ты не надо, совсем не надо торопиться!..

Ну и как теперь выбраться из этого куба?..

Ладно.

Следующий раздел интервью.

А у вас было так, чтобы кто-нибудь тонул? — Битте? — Ну, бывало так, чтобы кто-нибудь... (Вскакиваю, проделываю пантомиму.) — Йа, абер зеер селтен. Айн маль... — Один раз? — Йа... — Ну а вы спасли? (Показываю.) — Оживляется: Йа, йа!.. Их... (Ответная пантомима.)

Смеемся.

Перехожу к заключительному разделу.

Вы родились здесь? — Йа, здесь. — Я имею в виду: именно в этом городке? — Йа, дас из вар. Я родиться в этом городе. — И никуда не уезжали? — Битте? — Я говорю: вы всегда учились и работали именно в этом городке? — Йа, натурлих... (Пауза.) Но я иметь мои каникулы... — Он вскакивает, что-то снимает со стены — и вот уже раскладывает на столе фотографии. — Каждый год я иметь четыре неделя каникулы! Это Канада. Ву-у-ундебар. Это Аляска. Это Аризона. Ву-у-ундебар, только жарко. Это Франция. Зеер шёйн. — А что вы делали в Канаде? — В Канаде я ловить рыба. Очень много вода. Рыбалка из зеер гут. — А не надоедает вода? — Битте? — Я говорю: вода не надоедает? еще и в отпуске? — А, зо! Йа, дас из вар: в Канаде очень-очень чистый вода! рыбалка очень-очень хороший. Рыба тоже хороший и вкусный.

Значит, сидит так изо дня в день, с тоской глядя на проплывающих мимо розоватых баб. Снующих под самым носом, как златоперые рыбки. Да уж, «рыбки»! Кондовые жены местных фермеров — приплатил бы, чтоб не видеть. Известна каждая бородавка, каждая складка жира. А приезжие, да еще такие, чтоб заглянули в бассейн, здесь так же не часты, как

директор банка, взявшийся, к примеру, декламировать перед клиентом стихотворение Гёте.

Почему-то в голове возникает пожарный, по случаю кончины которого сейчас, видимо, вовсю идет поминальный обед. Что подделывал он во время очередного отпуска? Завороженно-безотрывно глядел в пламя каминна? А может, напротив, испытывал такое отвращение к огню, что даже никогда не курил, дабы не видеть кошачьего язычка зажигалки?

...Я бы, натурлих, ездить на мой велосипед... Я бы смотреть телевизор... Я бы... — О чем вы, Манфред? — Я говорю: если бы не надо было арбайтен, я бы... о! если бы не надо было арбайтен! Абер... абер... — Он выразительно стучит указательным пальцем по купюре в пять ойро, затем, максимально приблизив к моему носу свою крупную кисть, очень энергично трет друг о друга этот назидательный указательный — и батрацкий большой... Сакральный, общепонятный код... На лице Манфреда — видимо, чтоб до меня дошло еще лучше — написаны одновременно гадливость и подневольность, словно его прямой служебной обязанностью является именно вот так, пальцами, безо всякого перерыва, растирать свинячий навоз... Аллес кляр.

Аллес кляр... А что, какая разница, на чем именно гнить. Я вспоминаю одного своего знакомого из восточноевропейских пределов, человека гуманитарных занятий, чья нищета так же заскоружла, как и «духовность», — я буквально вижу его сейчас: занудливо, но, как водится у этих ребят, веле-речиво, со всевозможными философскими фиоритурами он подводит «теоретическую базу» под свое отприродное занудонство, дряблость души, вялость желаний, гнусность голозадного быта, отсутствие достоинства, инерцию, трусость — как много там, Боже мой, затейливо аргументированной логики, «высокого смысла», «горнего духа» и, разумеется, чисто филологического словоблудия, — а я смотрю на него и думаю: ты просто старый, дружок... просто старый...

Сколько времени вы тут работаете? — рассеянно спрашиваю я, лишь бы что-нибудь сказать. (Вот так и бывает: идешь по улице ровным шагом, сияющий день, «ничто, абсолютно ничто не предвещает...» — и вдруг растягиваешься на совершенно ровном месте, а поднимают тебя соответственно уже с переломом руки, ноги и нижней челюсти.) — Восемь часов в день, говорит Манфред. — Нет, я имею в виду не часы... — Фюнф дней недели. Раньше — зекс дней недели. — Нет, я имею в виду: сколько всего лет вы в этом бассейне работаете? — Тридцать, говорит Манфред. — Тринадцать? — машинально переспрашиваю я, чертя на брошюрке бассейна один, три. — Найн, тридцать, говорит Манфред и чертит на брошюрке три, ноль.

Хмель сходит с меня в секунду. Он трансформируется в холодный пот. Потихоньку, чтобы Манфред не видел, я беру со стола микрокалькулятор и пытаюсь на коленях произвести некоторые арифметические операции... Сколько всего часов, если брать по восемь часов в день минус выходные, минус отпуск, минус религиозные праздники... Получается что-то такое страшное, особенно по отношению к суммированным часам жизни в целом, что я думаю, не нажала ли я чего лишнего... Впрочем, «жизнь, как она есть», не перекошмаришь, сколь ни ошибись в арифметике... В голову лезут какие-то мифологические, вызывающие ужас срока... Иосиф, проданный в Египет... Мало. Иаков, вкалывавший по уговору семь лет... будучи обманут, вкалывал еще семь... всего четырнадцать, маловато... Десять лет лагерей... Мало. Сорок лет скитаний в пустыне... Да, вот это как-то соразмеримо. Но жаловаться на однообразность времяпровождения тем скитальцам было бы грех... Кто-то там оказался еще прикован к скале... Кто-то был проглочен, Господи Боже мой, неким чудовищем... Кто-то наполнял водой какие-то бракованные бочки, притом, кажется, всю жизнь... Кто-то днем вязал, ночью распускал... довольно долго... лет двадцать... По-

годи, кто-то лежал на печке тридцать лет и три года, а потом взялся такие подвиги отчебучивать!.. Такие подвиги!..

Я искоса поглядываю на Манфреда: А на пенсии что думаете делать? — Их нихт ферштейн. — Ну, когда работа закончится, что думаете делать? — Я ехать в отпуск, в Канада. — Нет, я имею в виду: когда вы перестанете работать... — Я иди домой, потом я эссен мой ужин и смотреть телевизор. Потом я буду спать. — Нет, Манфред, через пять лет! Когда работа капут! Совсем капут, понимаете? Чем вы тогда будете заниматься? — Теперь он понимает на все сто, потому что смотрит на меня взглядом, излучающим райское блаженство: О, я буду ловить рыба. Буду кататься на мой велосипед... Буду плавать... Иа, биштимт, буду много, очень много плавать... — Поглаживая купюру в пять ойро, он состраиивает физиономию, долженствующую изобразить принципиальную твердость духа. — Только, натурлих, не в этот, не в этот бассейн!!

...Туда и назад. Туда и назад. Туда и назад, туда. Туда и назад, туда и назад, туда, назад и туда, назад, туда, назад, туда, назад и туда, назад...

Мы сидим в буфете. Манфред — напротив меня, по бокам от него — большеглазые дети буфетчицы: детсадовская дочурка и сын, младший школьник. Сбоку от меня — ее муж. Сама буфетчица в нашей оргии не участвует: имитируя одобрительную улыбку в адрес нашей компании, она шваркает белой длинношерстой шваброй по ножкам столов. Перед каждым из трех вышеозначенных взрослых стоит бокал красного вина. Дети синхронно сосут фруктовое мороженое. Брикеты абрикосового цвета постепенно утоньшаются на глазах. Дети смотрят на меня с тем обезоруживающе простодушным расположением, которое, да и то не всегда, могут излучать только незрелые существа... Я чувствую стыд. Знали бы детки, каким именно тайным интенциям сидящего между ними дяди обязаны они скромным своим угощением!..

Манфред, по мере сил в своем «зеер шлехт инглиш», рассказывает о посещении Аризоны. Красная нить повествования, конечно же, — дураки американцы. Пытается даже передразнивать их акцент. Рассказывает про какой-то бифштекс, который в захолустном аризонском ресторане рекламировался то ли как «единственно подлинный бифштекс из Аризоны», то ли «лучший американский бифштекс года» — что-то в таком духе. Это был большущий-пребольшущий бифштекс. Показывает руками, как рыбак — рыбу. Очень громко смеется.

Теперь рассказываю я: о своих путешествиях по Италии (дураки итальянцы), по Франции (дураки французы) и Швейцарии (дураки швейцарцы). Все положения выдумываю, разумеется, на ходу. Муж буфетчицы, который понимает английский лучше Манфреда, смеется естественней. Но Манфред все равно смеется громче — ему нравится, что я заставляю хохотать мужа буфетчицы. Дети синхронно сосут мороженое.

Быстро, через запятую, сочиняя эти байки с кульбитами (и одновременно, конечно, стопроцентно отсутствуя как в означенной ситуации, так и в ситуациях сочиняемых), я нахожусь во множестве самых различных, совсем других, мест и периодов времени. При этом некий безымянный механизм, несмотря на вино, а также на создаваемый мной громкий звуковой фон, как всегда, производит неукоснительно четкие формулировки, которые я предпочла бы не слышать, но они, с аккуратностью китайской пыточной капли, пробивающей темя, так или иначе подчиняют себе мозг, и я, даже плотно зажми себе уши, даже раздери глотку собственным криком, не смогу заглушить голос, который с методичностью автомата приносит: а ты? тебе удалось сменить множество занятий, людей, увлечений, работ, типов образования, мировоззрений, языков, привычек, городов, стран, стилей, ролей, подданств, внешних и внутренних лиц, пристрастий,



приоритетов, целей — тебе удалось делать в этой жизни только то, что ты хочешь, абсолютно все, что ты хочешь, ты до сих пор сохранила способность разворачивать свою жизнь в любой день на сто восемьдесят градусов — и все это для того, чтобы ежедневно, проснувшись в какой бы то ни было точке пространства, всякий раз мучительно пытаться по крохам заново нащупать (или, грубо обманывая себя, вновь, как вчера, и позавчера, и завтра, и послезавтра, наспех изобрести) так называемые логические аргументы в пользу следующего мероприятия: как прожить этот день, еще один, совершенно не нужный.

Я встаю, сказав, что должна помыть руки. Выхожу в холл. Сначала мне кажется, что чип потерялся, и вот мне уже никогда не выйти из этой белой, беззвучной, облицованной блестящим кафелем духоты... Но, слава Богу, нет — вот он, у меня в кармане, в пальцах, в щели турникета...

...А разве это не величайшее для человека счастье — не чувствовать себя пойманным? Будучи пойманным, просто не чувствовать себя пойманным, и все?

Я бегу по темной дороге — быстро, что есть сил, будто за мной уже пустились в погоню, и вдруг вижу, что бегу я не в том направлении. Мне нужно к Новому кладбищу, а это, судя по всему, Старое. Но не все ли равно? Мне важен сам бег — и этот чистый, бесценный воздух, который я хватаю полной грудью, летя теперь уже по еле различимой тропке среди пустынных полей. Да, воздух чист и прозрачен, как черный топаз, запах навоза куда-то ушел — возможно, он впитался глубоко в почву, возможно, сам холод весенней ночи пригасил его. Почему я так люблю ночь? Может быть, потому, что она чиста, как никогда не бывает чист день. Только ночью так легко дышится, только ночью чувствуешь блаженство и щедрость инобытийной свободы: ночью большинство людей, к величайшему счастью, спит, то есть хоть какое-то время не засоряет эфир отходами своей умственной деятельности. Я скоро уеду отсюда.

День был мгновенный, но имел хорошо прорисованный рельеф. Что там происходило возле кирхи? Что-то саднящее память... Как они, в колышущихся перьях, выходили из двери? Нет, что-то еще. Как с облегчением снимали каски, подставляя вспотевшее темя апрельскому ветерку? Что-то еще... Может быть, то, что в глазах каждого было написано: ты умер, а я жив, какое счастье? Это, конечно, это само собой, но там читалось и что-то еще — пожалуй, самое главное. Что же?.. что?.. Может быть, это:

...Фу-ты, как там было жарко... Сейчас бы пивка попить... Нет, сначала пописать... Сначала пописать, а попить потом... Хорошо, черт возьми, сидят брюки... Хотя самую чуточку поджимают в паху... Скоро поминальный обед... Расстегнуть пуговичку на брюках... Интересно, будут ли там белые свиные сосиски? баварские сосиски... покойный был родом оттуда... или не оттуда? или оттуда? Нет, все-таки мне дьявольски идет мундир! Мундир мне дьявольски идет! Мундир мне идет дьявольски! А вечером часок посмотреть телевизор. Даже полтора часа посмотреть телевизор, потому что завтра выходной и можно будет на полчаса дольше поспать. Удачно он как-то умер, в четверг, а сегодня уже и... вот жизнь... И погода хорошая. А если бы он в понедельник умер? Нет, повезло. И ботинки не жмут, хотя ноги в кирхе немного распарились... А здесь ветерок, прохладно... Нет, все-таки хорошо! как хорошо, Господи! И сколько еще удовольствий ждет нас до сна? Жизнь предоставляет каждому большие, большие возможности.

---

---

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

\*

## ЦИКАДА В ГОРСТИ

\* \*  
\*

Если нам и дано успокоиться —  
сами знаете, где и когда.  
«Перемелется». «Хочется-колется».  
«Постарайся». «Не стоит труда».  
В измерении, где одинакова  
речь борца и бездомного, где  
стынет время хромого Иакова,  
растворяясь в небесной воде,  
еще плещется зыбкая истина,  
только приступ сердечный настиг  
чайку в небе... La bella и triste. На  
океан, на цикаду в горсти  
месяц льет беспилотный, опаловый  
свет, такой же густой, как вчера.  
Сколько этот орех ни раскалывай —  
не отыщешь, не схватишь ядра...  
И шумят под луною развалины,  
пахнет маслом сандаловым, в дар  
принесенным. «Как ты опечалена». —  
«А чего ты еще ожидал?» —  
«Ничего». Мне и впрямь одиноко,  
как бывает в бесплодном труде  
не пророку — потомку пророка,  
не планете — замерзшей звезде...

\* \*  
\*

Прижми чужую хризантему  
к груди, укутай в шарф, взгляни  
в метель. Младенческому телу  
небес так холодно. Одни  
прохожие с рыбацкой сетью  
в руках рыдают на ходу,  
иные буйствуют, а третьи,  
скользнув по облачному льду,  
уже ушли в края иные,

---

Кенжеев Бахыт родился в 1950 году. Окончил МГУ. Автор восьми сборников лирики и пяти романов, выходящих в США, России и Казахстане. Живет в Москве и Монреале.

в детдом, готовящийся нам,  
 где тускло светятся дверные  
 проемы, где по временам  
 минувшим тосковать не принято —  
 и высмеют, и в ПТУ  
 не пустят. Что ты, милый. И не то  
 еще случается. Ау,  
 мой соотечественник вьюжный.  
 Как хрупок стебель у цветка  
 единственного. День недужный  
 сворачивается — а пока  
 ступай — никто тебя не тронет,  
 лишь бесы юные поют, —  
 должно быть, Господа хоронят,  
 Адама в рабство отдают...

\* \*  
 \*

Видишь ли, даже на дикой яблоне отмирает садовый привой.  
 Постепенно становится взгляд изменника медленней и блудливей.  
 Сократи (и без того скудную) речь до пределов дыхания полевой  
 мыши, навзничь лежащей в заиндевелевшей дачной крапиве,  
 и подбей итоги, поскуливая, и вышли (только не имейлом, но авиа-  
 почтой, в длинном конверте с полосатым бордюром, надписанным  
 от руки)  
 безнадежно просроченный налог Всевышнему, равный, как  
 в Скандинавии,  
 ста процентам прибыли, и подумай, сколь необязательны и легки  
 январские облака, честно несущие в девственном чреве  
 жаркий снежок забвения, утоленья похмельной жажды, мягкого сна  
 от полудня и до полуночи, а после — отправь весточку Еве  
 (впрочем, лучше — Лилит или Юдифи), попросив об ответе на  
 адрес сырой лужайки, бедного словаря, творительного  
 падежа — выложи душу, только не в рифму и уж тем более не  
 говорком забытых Богом степных городков, где твердая тень его  
 давно уже не показывалась — ни в церкви, ни на вокзале, ни во сне  
 местной юродивой. И не оправдывайся, принеся лживую клятву перед  
 кормилом  
 Одиссея, — не тебя одного с повязкою на глазах в родниковую ночь увели,  
 где, пузырясь, еще пульсирует время по утомленным могилам  
 спекшейся и непрозрачной, немилостивой земли.

\* \*  
 \*

Когда кажется слишком жесткой кровать, и будильник сломался, или  
 вдруг наручные начали отставать (а раньше всегда спешили),  
 и не в силах помочь ни новый завод, ни замена батареек,  
 а на дне кармана внезапно блеснет монеткою в три копейки  
 (встрепенись, нумизмат, конопатый пострел!) жалкое прошлое —  
 бей тревогу.  
 Все это значит, что ты постарел, что, выражаясь строго,  
 виноват (и не в силах уснуть) перед Богом — Бог с ним, но и перед  
 самим собой, — и пора навестряться в путь, в который никто не верит.

Все это значит, что мир обогнал тебя, что в озябшей сухой ладони не аммонал, а веронал, что вряд ли улыбчивый ангел тронет тебя за плечо в мартовской тишине ночной, чтобы в восторге беспричинном взглянуть за окно, где привкус лимонной корки в морозном небе, арабская вязь и планеты бессонные, сторожевые проповедуют липам и тополям, смеясь, искусство жизни впервые. А еще это значит, что циферблат — не лицо, а лишь круг —  
ну о чем ты подумал? — ада.

И, на стрелки уставаясь, переводя их назад, ни о чем его не проси. Не надо.

\* \*  
\*

Черно-белое, сизое, алое,  
незаконное, злое, загробное,  
нелюбимое и небывалое,  
неживое, но жизнеподобное —  
вероятней всего, не последнее,  
не мужское, не женское — среднее,  
не блаженство — но вряд ли несчастье,  
и коварное, и восхитительное  
прилагательное (не причастие  
и тем более не существительное) —  
приближается, буйствует, кается,  
держит кости в кармане горелые,  
и когда не поет — заикается,  
подбирая слова устарелые, —  
а навстречу ему безвозмездное,  
исчезающее, непреложное,  
пусть беззвездное — но повсеместное,  
и безденежное, и безнадежное.  
Что, монашек, глядишь с недоверием?  
Видно, заживо, намертво, начисто  
надышался ворованным гелием —  
вот и кашляешь вместо акафиста,  
ждишься золота с голодом,  
долота, волнореза железного —  
не знаком с астероидным холодом  
или вспышкой костра бесполезного.

\* \*  
\*

То нахмурившись свысока, то ненароком всхлипывая, предчувствуя  
землю эту,  
я — чего лукавить! — хотел бы еще пожить, пошуметь, погулять по свету,  
потому-то дождливыми вечерами, настоя зверобоя приняв, как водится,  
с неиссякающей жадной надеждою к утомленной просьбами Богородице  
обращаюсь прискорбно — виноват, дескать, прости-помилуй, и все такое.  
Подари мне, заюшка, сколько можешь воли, а захлебнусь — немножко  
покоя.

Хорошо перед сном, смеясь, полистать Чернышевского или Шишкова, разогнать облака, обнажить небосвод, переосмыслить лик его окаянный. Распустивши светлые волосы, поднимись, пречистая дева, со дна морского, чтобы грешника отпить небогатой смесью пустырника с валерьяной. Хороша дотошная наша жизнь, средоточие виноватой любви, непокорности и позора, лишь бы только не шил мне мокрого дела беспощадный начальник хора.

\* \*  
\*

Состязаться ли дуньке с Европой,  
даже если не гонят взащей?  
Запасной сарафанчик заштопай,  
молодые карманы зашей.  
Слышишь — бедную Галлию губят,  
неподкупному карлику льстят,  
благородные головы рубят —  
обоженные щепки летят  
и теряются в автомобильных  
пробках, в ловчих колодцах очей  
голубиных. До луврских ткачей  
и до их гобеленов обильных —  
что им, звездам Прованса, холмам  
обнаженным, где римский роман  
завершается? И — не свобода ли  
есть первейшая ценность? О да!  
Но ее одурманили, продали.  
В коммунальном стакане вода  
подземельная пузырится.  
Дождь — каштановый, устричный — льет  
в Фонтенбло. Обнищавшая птица  
(скажем, сыч) воровато клюет  
беспризорные зерна. Пшеничные?  
Нет, ячменные. Видимо, личная  
не сложилась, да и подобрать ли  
рифму к милостыне? Черное платье  
тоже вымокло, солнцу назло.  
Нелегко. И тепло. И светло.

\* \*  
\*

От картин современных горчит в глазах, а от музыки клонит в сон,  
а перед сном, братом известно чего, под окном опавшие листья  
(рябины? клена?)  
в лубяной собирают короб. Всяк виноват перед всяким, особенно если он  
не способен любить или быть любимым. Стакан граненый, орех каленый,  
у постели больного бородатый, важный шаман в белотканой ризе,  
с выдолбленным хрустальным посохом, полным незамерзающей ртутью,  
на одном из трех надгробных камней читает протяжное: «Кажется,  
это кризис» —  
доброму молодцу на кривом жеребце, застывшему на перепутье.

Как заметил один растлитель, с прибаутками приобретая путевку в ад,  
любая хворь приближает к предбаннику вечности (там на крюках  
окалина,  
там мелкие капли напрасного дихлофоса на мокрицах и пауках, там спят  
впвалку и не видят даже ночных кошмаров). Надо ковать железо,  
пока оно

светится и не ржавеет, пока наковальня крепка — но молот, пожалуй, стал  
неподъемен. Даже гвоздя завалящего не выходит, даже ножа, не говоря о,  
скажем, добротной подкове или узком копье. Остывающий мой металл,  
мой беспомощный коновал, для чего мы так судорожно и упрямо

то распеваем псалмы, поворотясь кровоточащей спиной к нехитрым  
глазам врага,  
то на песке синайском вечнозеленой веткой кресты и свастики чертим —  
неужели затем, чтобы на лобном месте чужие дети кричали: «Ага!  
Афанасий Дементьевич, что ж получается? Значит, ты тоже смертен?»

\* \*  
\*

Когда с сомнением и стыдом  
ты воротись в отчий дом,  
сдаваясь нехотя на милость  
минувшего, мой бранный друг, —  
очнешься, осознавши вдруг,  
что все не просто изменилось,

а — навсегда. И сам нальешь  
за первый снег, за первый дождь  
поникших зим, погибших весен,  
истлевших осеней. Они  
не повторятся, извини,  
лосинам не воскреснуть в лося.

Младенец учится ходить —  
и падает, и плачет. Сыть  
собачья, травяной мешок ли —  
а что хохочем за столом  
и песни старые поем —  
пройдет и это. Как промокли

шатающиеся у окна,  
как незабвенна и страшна  
весна, как сумерки лиловы!  
Прошедшего, к несчастью, нет —  
оно лишь привидение, бред,  
придумка Юрия Петухова.

И все-таки — вдвоем, втроем  
вступить в зацветший водоем,  
где заливается соловьем  
неповторимый Паваротти —  
и мы, как на поминках, пьем  
за то, как мир бесповоротен.

\* \*  
\*

Каждое солнце — атом, но и каждое сердце — стон.  
И поэтому чернораморным вечером, на излете хмеля,  
наступает время — вздрагивая, холодея — размышлять о том,  
что происходит на самом деле  
после дня рождения (развеялся и погас  
звон стаканов). Царь творенья, кряхтя, на четвереньках ловит  
настырную крысу. То есть время фантомных зачатий, час  
то незваных мучений совести, то ускользнувшей в небытие любви.  
Тихо. Только полено сосновое в печке взрывается и трещит.  
Хорошо говорить с огнем — вероятно, честнее этого друга  
не бывает. Что с тобою, провидец? Зачем твой сырмятный щит  
с головой Горгоны отброшен в паучий угол?  
Наступает время сбора камней, из которых я каждый взвешу,  
время замеса глины для табличек, каждая из которых могла бы  
рассказать, как Энкиду, прикасаясь к руке Гильгамеша,  
рыдал: «Не рубил я горного кедра, не умертвлял я Хумбабу»,  
время вступать в неосвященный храм, где — недостойны, случайны —  
сумерки жизни плещут неявным пламенем (а шторы давно закрыты),  
исполненным нечитаемой и заиндеветшей тайны,  
как грошовый брелок для ключей из письменного гранита.

\* \*  
\*

Когда зима, что мирносица,  
над потемневшею рекою  
склонясь, очки на переносице  
поправит мертвую рукою,

и зашатается, как пьяница  
заблудший по дороге к дому,  
и улыбнется, и приглянется  
самоубийце молодому —

оглядываясь на заколоченный  
очаг, на чаек взлет отчаянный,  
чем ты живешь, мой друг отсроченный,  
что шепчешь женщине печальной?

То восклицаешь: «Что я делаю!»,  
то чушь восторженную мелешь —  
и вдруг целуешь землю белую,  
и вздрагиваешь, и немеешь,

припомнив время обреченное,  
несущееся по спирали,  
когда носили вдовы черное  
и к небу руки простирали.

\* \*  
\*

Так вездесущая моль расплодилась, что и вентилятор не нужен.  
Так беспокойная жизнь затянулась, что и ее говорок усталый  
стал неразборчив, сбивчив, словно ссора меж незадачливым мужем  
и удрученной женою. Разрастаются в небесах кристаллы

окаменевшей и океанской. К концу десятого месяца  
римского года, когда католики празднуют Рождество  
Искупителя, где-то в Заволжье по степным дорогам носится, бесится  
бесприютная вьюга, и за восемь шагов не различишь ничего

и ничего нехватишь, не увезешь с собою, кроме замерзших болотных  
огоньков, кроме льда, без зазоров покрывающего бесплотные своды  
воображаемой тверди, кроме хрупкой любви. Всякое слово — отдых  
и отдушина. Где-то в метели трудится, то есть молчит, белобородый

Санта-Клаус, детский, незлой человек, для порядка похлестывая  
северного оленя, только не знаю, звенит ли под расписной дугой  
серебряный колокольчик, потому что он разбудил бы зимующих ящериц  
и земноводных да и утомленных елкою сорванцов баптистов. Другой

бы на его месте... «Прочитай молитву». «В царство степного волка  
и безрассудной метели возьми меня». Вмерз ли ночной паром  
в береговой припай? Снежная моль за окном ищет шерсти и шелка,  
перед тем, как растаять, просверкав под уличным фонарем.





---

---

ВИКТОР ПАНОВ

\*

## И ТАМ ЖИЛИ

Рассказы

*Виктор Алексеевич Панов родился в 1909 году в крестьянской семье на Южном Урале. После окончания семилетки учился в Землеустроительном техникуме, потом в Омском ветеринарном институте, откуда был исключен за «кулацкое происхождение». Стал рабочим. По вечерам посещал литературное объединение при омской газете «Рабочий путь», где впервые, в 1929 году, напечатали его стихи. В 1934 году был принят в Союз писателей.*

*С 1941 по 1951 год находился в заключении по 58-й статье. Освободившись, работал в Казахстане нормировщиком и кладовщиком на заводах, потом корреспондентом газеты «Павлодарская правда». Автор романов «Река» (1936), «Други верные» (1959), «Весна и осень» (1979), «Горячие стены» (1976). В 60-е годы неоднократно публиковал в «Новом мире» очерки.*

*Умер в Москве в 1995 году.*

## БУГОР

**Н**а окраине Омска в узкий болотистый залив с реки заплывали бревна, они со стуком грудились, мордастые с концов, облепленные водорослями, похожие на живых чудовищ. Их легче бы лошадью вытягивать на берег, но лошадь и веревки нам не давали — приходилось мокрых великанов тащить на себе.

Семеро заключенных с трудом громоздили на костлявые плечи сосну или суковатую ель, прожившую в бору годов сто двадцать. Гнулись под бревном, чтобы поровнее ложилась на нас тяжесть.

Бригадир Беседин, по-лагерному бугор, размахивая палкой, орал басом:

— А ну, поживее! Не гнись, Москва! Чего у тебя ноги скользят? Эй, ты! Ярославец? Смелее шаг!

Иной раз он и сам на минуты брался за работу, чтобы показать, как молодецкато справляется с ней, но только на минуты. Мог толкнуть работу, ударить палкой.

Набрасывался на высокого Иванова:

— Не хитри... Поддерживай бревно! Руки отсохли? Эй, Москва паршивая! В грязь не ступай. Ослеп?

Беседин обвинял москвичей во всех бедах.

— Откуда пошли неурядицы? — рассуждал он. — Аресты, колхозы, лагерь — во всем виновата Москва. Будь бы столицей Саратов или Вятка — другой разговор. Москвич жидковат. Брат мой около Тихвина устанавливал кабель с Волховской станции к Ленинграду, по дну Ладожского озера, и москвич первым провалился под лед.

— Мог и рязанец провалиться, — сказал я.

— Другие — редко. Выплывут, которые с Волги, с Камы, а ваш брат — дохлятина. Кто здесь раньше всех мрет? Кто доходяга? Москвич! Во что метил со своей революцией, в то и угодил...

Иванов, сбрасывая липкую грязь с мокрых брюк, проворчал:

— Здесь бы поставить лошадь таскать бревна, а мы бы ей помогли... Во много раз увеличится скорость. И нам не маяться...

— Ишь чего захотел! Еще бы лебедку с мотором. А ты — руки в брюки. Живо, живо! Дружнее толстое берем!

Холодный ветер с широкой реки, скользкая глина под ногами — не жить бы на свете!

Беседин объявлял перекур, мы садились на бревна. Табачок был не у многих, а чуть ли не каждому хотелось хоть раз затянуться самокруткой, и она передавалась из рук в руки; окурок обжигал губы.

Иванов сказал, что на этом же правом берегу на перекатке бревен работал Достоевский.

— Мало ли нашего брата, — отозвался бугор. — У меня в бригаде Достоевского не было. Достигаев был. Загнулся.

Хмурый Илья откликнулся:

— А у нас на лесоповале был учетчик Достигаев. Из бытовиков. Отбыл срок и освободился. Умело закрывал наряды — давали до килограмма на душу. Берег человека...

— И я не собака, — обиделся Беседин. — Не худший из бригадиров.

Помолчали. Солнышко спряталось в тучу. Иванов напомнил: годов сто тому назад писатель Достоевский здесь баржу ломал вместе с другими. Каторжники в цепях? Кандалы? Неужели не слыхивали? Железные кольца с цепями надевали на руки и ноги. Вес?

— Не знаю, братцы, вес.

Оживленно прикинули вес цепей и колец на человеке, поспорили, посердились и решили, что кандалы весили килограмма четыре, если в них можно работать на той же вытаске бревен.

— А крестьянин тот Достоевский или из городских? — спросил Беседин.

— Из дворян, — ответил Иванов, — окончил какое-то инженерное училище. Тогда отбывали срок только виноватые.

— А кормили как? Если уж ты все знаешь? — спросил Илья.

— Досыта. А Достоевский с рынка брал, за свой счет питался.

Иванов сказал, что Достоевский покупал на день фунт говядины — четыреста граммов! Летом в Омске фунт говядины стоил копейки, а зимой — гроши. Федор Михайлович пил чай, не особо скупился на сахар, а при такой выволочке бревен, как здесь, наверняка откупался от работы...

— Не ври. Один врал, другой не разобрал. Ха-ха-ха... Привыкли при советской власти — божиться не надо. — Илья, потирая тыльные стороны ладоней, оглянулся на Беседина. — Что скажешь, бугор?

Бригадир не ответил, а Иванов тихо сказал мне:

— Во многих колхозах голоднее, чем жилось на той каторге во времена Достоевского. С чего бы он стал врать в своих записках?

— Оставить тему, — скомандовал Беседин.

Все-таки кто-то произнес:

— Теперь на каждого цепи надеты...

Вытянули из грязи в штабель сто бревен, а бугор в наряд записывал сто пятьдесят, пронесли бревно на плечах тридцать метров, он отмечал — сорок: надо же заработать в день по девятьсот граммов хлеба на человека.

Иванов говорил мне:

— Приписка — страшные документы для истории. Если мы фактически вырубил миллиард столетних сосен и елей, то в документах их два... Да перетаскивали на плечах, по записям, на сотни тысяч километров... Зато

в речушках при диком сплаве дно устлало тяжелыми бревнами по отчетам вдвое меньше, чем на самом деле, чтобы скрыть под водой преступную бесхозяйственность. Бумага терпит...

Девятьсот граммов ржаного хлеба в день работяге при плохом приварке — это немного. Голодными спать ложились, мечтая утром получить пропеченную горбушку да еще с приколкой кусочка хлеба — дескать, в пайке вес точный.

Пайки из хлеборезки приносили рано утром в широком ящике, раздавал их сам бригадир. Одни толпились у ящика, жадно посматривая на хлеб, а другие с деланным равнодушием оставались вдалеке и, медленно подходя, небрежно брали пайку.

Илья несмело пожаловался: нет ему горбушки и во вторую очередь, опять досталась водянистая середка...

Бригадир, как всегда, огрызнулся:

— Не я режу хлеб! Родить, что ли, горбушки?

Иванов крикнул:

— Да они по блату идут! Не маленькие мы. Знаем...

— Знаешь — наводи ревизию!

— А что? И навел бы! Как минимум дай семь горбушек на пятьдесят паек. И хоть бы раз в месяц проверить вес — застать хлебореза на месте преступления...

Многие были согласны с Ивановым. Бригадир отмолчался.

На выколке бревен из тонкого льда Иванов отказался ступить в опасное место. Бригадир ударил его палкой. Иванов оттолкнул Беседина. Завязалась драка. Вечером за бригадира заступился нарядчик. Иванов попал в карцер. Вернулся ли он из карцера в бригаду — я не узнал, потому что меня положили в больницу — истощен до крайности: кожа и кости. Пеллагра, дистрофия... На тыльной стороне кистей рук, на шее, лице, на плечах — красные пятна. Губы казались подкрашенными. Расстроился желудок.

Большим давались горошинки витаминов. Заметно помогли жидкие дрожжи, внешне похожие на мучной раствор, — их готовили бочками и давали пол-литровыми банками, иногда дважды в день. У каждого больного была своя банка.

В нашей палате было человек двадцать да в трех соседних по столько же.

Нигде так не мечтают, как в лагерях. Говорили: скорее бы война закончилась, больных отпустят домой. Постоянно рождались слухи: там-то сактировали стариков, освободили не только по бытовым статьям, но и болтунов по пятьдесят восьмой.

— Политических? Не верьте! Свист! Параша... Не отпустят изменников, гитлеровских старост...

— Нет, не параша... Письмо получил один. Не свист.

— А ты его видел?

Разгорался спор, больные ссорились.

Февраль. Сугробы за окошками, но в солнечные часы падали капли с крыш. Темнели тропинки, уплотнялся снег. Наконец-то стали разрешать нам в халатах ненадолго выходить на крыльцо погреться на солнышке.

Побольше давали теперь никотиновой кислоты, аскорбинки, дрожжей, и я повеселел, мечтал заняться чем-нибудь. Дневничок бы вести... Иные игрушки мастерят, распускают на нитки свою старую одежду и что-то шьют, а то и вышивают, если найдут разноцветные нитки. Придумать бы для дохода самый легкий труд, хотя бы часа на два в день.

На крыльцо больницы в выходной пришел Иванов.

— Баржу ремонтируем, — рассказывал он. — У Достоевского в записках — ломали баржу. Здоровые, сытые, любили на урок брать работу. Цепи звенели на людях, а работа кипела, а мы на урок не берем, нам бы

день кое-как скоротать. Этот бугор помягче Беседина, отвернется от нас, как будто и не видит, а мы бездельничаем. Взял в бригаду трех картежников, те связаны с вольняшками, заботятся о процентах, а сами вовсе не рабоботают. Девятисотка выписывается пока...

Иванов принес мне карандаш, старую книжку с мелким бледным шрифтом и посоветовал на ее страницах писать. А что удивительного? Достоевский записки свои о каторжниках начал в госпитале острога, первые главы долго хранились у госпитального фельдшера.

Я записывал кое-что из прошлого, задумывался, поглядывая в окно на кучевые облака, на редко пролетавших ворон, хлопотливо заботившихся о гнездах. Появились проталины в зоне, грачи похаживали по земле, разыскивая зернышки прошлогодних трав.

На воле я не приглядывался к птицам, а в лагере завидовал им, улетающим за колючую проволоку. Оказаться бы на опушке леса у дороги, размытой дождями, увидеть бабочек, услышать лягушек, болотных и озерных птиц...

Сосед по кровати вспоминал дубовую рощу, великанов с корой, покрытой глубокими трещинами. Триста лет красуется дуб на просторе! Из древесины умел он делать бочки, паркет, откармливал желудями свиней. Желуди наполовину с картошкой — жирели чушки. Копейки стоило свиною откормить. Ожил бы на свининке теперь...

— А у нас черноземы, — рассказывал другой, — и удобрять не надо. До пашни верст пять-шесть, а навоз со двора вывозили только за село. Жгли весной. Сибирь.

— Неужели жгли? А на Калужской земле навоз продается недешево.

— Россия большая — по-разному...

— Нищие вы, Калуга... Теленок у двора пасется на привязи. А вот в Сибири...

— Слушай, брось хвастаться. Ел ты в Сибири яблоки? Ты их не видел. А помидоры? — Калужанин поднялся с кровати. — У нас помидоров в колхозе по гектару сажали. Пospели — гектар красный, как знамя! Успей убрать.

Больные жили воспоминаниями о воле, преувеличивая прелести ее. Один на койке повторял:

— Порыбачить бы в нашей речушке. Я перегораживал ее плетенкой из прутьев, была сеть маленькая. На сковородке карась со сметаной...

— Иван, не терзай. Молчи. Опять довели до голодовок! Крестьянина бьют по рукам.

— Ты бы молчал. Нарвешься на стукача...

— Сколько молчать? Сто лет? Революция — молчи, колхозы — молчи, в тюрьму загоняют — молчи, войска отступили — не смей сказать. Мне умирать скоро, а я стукачей боюсь. Засели в Москве — народ ненавидят, а народ не догадывается...

— Здесь, мужик, твои разговоры не помогут. Намалевал картину — и успокойся на больничной койке.

С позволения врача я зашел в медицинскую дежурку спросить, многих ли спишут актами как безнадежно больных. Врач, тоже заключенный, пожал плечами, усмехнулся.

Я оглянулся на шкафы, ящики и вслух прочитал на них крупные надписи по-латыни.

— Минутку, минутку, — остановил меня врач, — откуда у вас латынь?

— Окончил два курса медицинского института...

— Господи, да вы же доктор без пяти минут! Кроме шуток. И такой капитал утаили!

Я растаеялся, далеко от меня до медицины! Какие зачеты сдал? Нормальная анатомия, гистология... Сказал врачу, как по-латыни называются растворы, отвары, настойки, мазь и даже щегольнул крылатой фразой.

— Фразу эту здесь некоторые знают, — ответил врач, — в гимназии учились, помнят французский, немецкий, но вы с латынью встретились в медицинском институте. Сегодня вечером пойдете с фельдшером раздавать лекарства. Гриша вас подучит. Наденете белый халат.

С волнением ждал я вечера. Справлюсь ли? Придется помогать молодому грубоватому фельдшеру Грише. Он отбывал срок за хулиганство. Говорил, что никогда не потеряет охоту к выпивке и гульбе. Имел в женской зоне любовницу. Перед встречей с ним в больничном корпусе она надевала белый халат, который приносила с собой, будучи помощницей медицинской сестры в женской зоне. И Гриша бывал в той зоне будто бы по фельдшерским надобностям. Знали многие, а вернее — догадывались о его любовных делах, но не пойман — не наказан.

Фельдшер встретил меня недружелюбно — всех отбывавших срок по пятьдесят восьмой статье считал фашистами, хотя и приходилось ему подчиняться врачу с этой статьей.

— Григорий, — сказал врач фельдшеру, — возьми молодца практиковаться на раздаче лекарств.

Я понес корзину с лекарствами: бутылки растворов, пузырьки настоек на спирту, порошки, таблетки. Гриша называл фамилию больного, а я легко находил нужное снадобье, свободно справляясь с латынью.

Через неделю я уже один раздавал лекарства, а Григорий делал внутривенные вливания. Скоро научился я ставить банки на бока, спину, растирать простуженные суставы, закапывать капли в глаза. И улыбался, снисходительный ко всяческому капризам больных.

Положили к нам Иванова. Последнее время исхудалый, по врачебной комиссовке отнесенный к людям с третьей категорией индивидуального труда, он похаживал по зоне с метлой, собирая мусор.

Как и в бригаде Беседина, он пересказывал истории, вычитанные из книги Достоевского «Записки из Мертвого дома». Водку приносили каторжникам! Каким образом? Больные подымали головы с подушек, садились на кроватях послушать Иванова. Разве не было на вахте обыска? Во-первых, на вахте дежуряки всякие случались, в том числе и будущие кандидаты в острог, а во-вторых, захваченные с водкой рассчитывались за проступок своим последним капиталом.

— А что за капитал у каторжника?

— Спина. Спиной и рассчитывались... Палки. Розги.

Водку приносили в бычьих кишках, хорошо промытых. Человек обматывал себя этими кишками и при обыске умел обмануть конвойных, караульных или при необходимости давал копеек двадцать ефрейтору. Зато в остроге брали за водку раз в десять дороже, чем она стоила на самом деле на воле.

Иванов вспоминал описание госпиталя каторжников. Порции там были разные, распределенные по болезням лежавших. Лучшей была цинготная. Теперь бы она любому полагалась — говядина с луком, с хреном и с прочим. При цинге больному иногда, для возбуждения аппетита, давали немного водки.

— Врал бы поменьше! Скажешь, пировали... Ха-ха-ха...

— Не вру! Жалко, нет книжки под руками. Любимое блюдо — манная каша, а в наших лагерях ее и в глаза не видывали. Пили квас, пиво... Цинготникам пиво госпитальное готовили.

— Брось трепаться! — горячился старик с морщинистым, утомленным лицом. — Охладись. Дрожжи могли называть пивом...

— Ты охладись! Порции перепродавались, и обжора с деньжатами съедал по две. А выздоравливающих кормили, как нам и не снилось.

— Охладись! Тогда малые сотни каторжников в богатой стране, а теперь их в нищей миллионы...

Иванов ходил по палате, убажывая слушателей. Увидев бригадира Беседина у нашего порога, попросил меня:

— Положите его в другую палату.

— К нам кладут. Не имею права.

— Ну, подальше от меня на койку. Умирать пришел, зверюга. Обзавелся в бригаде жульем, а у тех на вахте при обыске нашли нож, много денег. Бугор попал на общие, доплыл...

Беседин поднял руку поприветствовать бывшего работягу из своей бригады, но Иванов едва ответил коротким кивком.

У Беседина костлявая грудь, ребра обтянуты шершавой кожей. Он, как солдат, вытянулся перед врачом, покорно делая глубокие вдохи, закладывал руки за шею, приседал. Надел рубашку.

— Ну что, доктор? Как я?

— Отдыхайте. Будем жить.

В нижнем белье, стриженный, в тапочках, он мало отличался от любого в палате. Лежал, бродил, на крыльце тянулся к солнечным лучам, хотя врач не советовал ему перегреваться.

Растирал а простуженные колени Беседина едкой настойкой, давал капли ландыша с валерьяной, с верхом наполнял банку жидкими дрожжами.

— Спасибо, спасибо. Прости, покрикивал на тебя — бревна были мокрые, скользкие. Уплывали в море, жалко...

Дед на соседней кровати обозлился:

— Бревна жалко? А людей — нет? Гибнут в лагерях, на войне, в тылу, а ты — о бревнах. Лес вырастет через сотню лет, а человек не воскреснет. Победителями не выйдем, побежденные с первых дней...

Беседин исподлобья глянул на соседа, повернулся лицом к стене, а потом сел на постели и спросил его:

— Мы, что ли, по-твоему, войну проиграем?

— А мы с первых дней начали проигрывать. Бежали от немцев. Убитых миллионы. — Он вздохнул. — А уж потом добавились танки, самолеты и пошли на Запад страны освобождать: мы вам протянем руку помощи, а ноги вы сами протянете. — Старик облизнул алые губы доходяги. — А им не надо нашей свободы, им немцы понятнее. — Он поглаживал тонкие сухие пальцы. — Бывал я в тех странах, знаю, что думают о нас поляки, чехи, венгры. Придем в Берлин, но какая там победа... Молчали бы.

— Вам бы еще добавить десятку за такие разговоры...

— А мне и одной хватило. Тяжелые работы. Голод. Сын убит, был отличником в средней школе... Постучите на меня.

— Я этим не занимаюсь и другим не советую.

Врач назначил Беседину внутривенно хлористый кальций. Прошло дня три. Фельдшер Гриша либо забывал о нем, либо не торопился выполнить назначение доктора. Я услышал от Гриши:

— Нужен твоему бугру хлористый кальций как мертвому припарки.

Назначение выполнять полагалось, и я это сделал, рассчитывая на похвалу Гриши, а он бранью ответил:

— Не знаешь броду, не лезь в воду!

— А в чем дело? Больной ждал неделю... Я ввел десять граммов хлористого кальция, как и положено, в стерильных условиях.

— А ты знаешь, что такое хлористый кальций? Чуточку попал мимо вены — омертвление, погубленная ткань, гниль.

— Но я не попал мимо вены! Я видел, как вводишь ты...

— Твое счастье — не вены у мужика, а веревки! А была бы незаметная...

Врач согласился с Гришей, а мне сказал:

— Не торопитесь вливать... Только с нашего разрешения. Раздобуду учебник фельдшера. Вызубрите его. Собираемся открыть курсы для помощников. Много врачей, время есть, и каждому охота поработать на курсах.

На следующий день Беседин сказал врачу:

— За вливание — спасибо. Сразу стало дышать легче. Пусть он, — кивнул на меня, — вливает. Ловко получилось. Сперва от лекарства жжение пошло в ноги, в руки, я испугался, а потом полегчало...

Днями позже Беседин рассказывал мне:

— Ответили из дому. Получил, выходит, право переписки. Держится дом на снохе. А жена моя изробилась. Болеет. Внук пяти годочков читать начал, а другой, семи, на колхозную лошадь верхом сел. Я думаю, толковые ребята вырастут. Посылку жду. Найдется сухая малина, клюква, маленько сала. Подыдемся. Неохота умирать в неволе. Родные по-человечески похоронили бы...

Григория перевели в соседний больничный барак — там до крайности требовался фельдшер, а я занял его место. Впервые за многие годы заключения у меня появились стол и стул. Я по-своему расположил на столе бумаги, банки с термометрами. Усердно занимался на медицинских курсах. Смелее работал шприцем, делая в день до пятнадцати вливаний.

Многие больные перед смертью не могли есть, порции их доставались санитарам, мне тоже перепадало пшенной каши.

Беседин помногу раз в день спрашивал, не освобождают ли стариков истощенных. Шептал:

— Умереть бы дома, хоть бы простышкой накрыли. И соседи поплачут... Столько бревен в Сибири, столько затонуло, а досок нет на гробы.

Я рассказал об этом Иванову.

— Зверь был, но бугор другим и не может быть, — ответил он.

Вечером Беседин, растягивая алые губы пеллагрика, спросил меня:

— Извиняюсь, ваш день закончен?

— Что у вас?

— Не потеряйте адрес моей дочери. Любил ее маленькую зимой на салазках... Любил всю семью. Опять вспоминали их. — Слезы катились по его дряблым щекам. — В бригадирах был груб, работа требовала. Каюсь, но негрубых здесь не держат в буграх... Любил своих — напишите об этом дочери. Перед государством ни в чем не виноват, а оно похоронит меня как собаку...

— Оставьте мрачные мысли. Вы из крепкой крестьянской породы, одна треть срока до конца... Пойдут посылки...

— На посылки надеюсь. — Он оживился. — Лук бы прислали, окорок...

Беседин умер ночью, легко скончался.

В одном из ящиков стола, доставшегося мне от фельдшера Гриши, лежали картонки величиной с картежную карту, с фамилиями будущих мертвецов. Заготовлена была картонка и на меня, тоже с веревочкой, чтобы к ноге привязать. Не сомневался Гриша в моей скорой смерти, как и в кончине других пеллагриков. Стер я свою фамилию с картона, заменив ее фамилией грозного бугра. Имя и отчество наши совпадали.

Врач, заканчивая историю болезни Беседина, сказал:

— Надо бы его на вскрытие, интересуется поджелудочная...

— Доктор, в морге тесновато, на сегодня места нет.

— Не будем, — согласился он. — Не имеет значения...

## БОЧКА

**Д**октор Лореш в белом халате погуливал у больницы, заложив руки за спину, щурился на солнце. Недавно в тюрьме мы сидели рядом несколько месяцев, сдружились. Я пожаловался:

— При комиссовке вольные доктора поставили мне вторую категорию труда — иди в бригаду на общие или в зоне уборные чистить.

— Сурово. — Лореш скрестил руки. — Поговорю со своим начальством о вас. Категория труда — в руках у медиков.

Очередная комиссовка. Врачи поставили в мой формуляр третью категорию труда. Я мог заниматься легким делом. Относил мертвых в морг, помогал при вскрытии трупов, рылся в кишках, тонких, как бумага, только не понимал, зачем что-то разыскивать в утробе мертвеца, когда ясно — умер от голода.

Жилось мне лучше многих. Утром не срывался с постели в минуты подъема, как все, не шел на работу в строю, не запрягался в тачку, а в зоне мог посидеть на крыльце, с кем-то побеседовать, встретить у тропинки ромашку, колокольчики небесно-голубые, клевер, мог зайти к разговорчивому культурнику, заглянуть в газеты.

Жил я все еще в бараке пекарей и поваров. В барак прокрадывались женщины из соседней зоны, отгороженной колючей проволокой. На воротцах между зонами стоял дежурняк из нашего брата, часто падкий на крупную взятку. Он пропускал женщину для встречи с поваром или пекарем, а я выходил из барака последить, чтобы не зашел к нам дежурняк из вольняшек. Разумеется, за подобные обязанности мне приплачивали хлебом. Каких только сожителейниц не было у пекарей и поваров! Смелые, трусливые, отчаянные, хохотуны, умеющие быстро скрыться под нарами от зорких глаз дежурных. Некая Нина говорила пекарю: «Петя, чёрнага ни хачу от буханки, белага хачу! Атдельна испяки мне булочки, пахрустывала бы корачка с маслом. Павлушка Маньки испек булочки...» Мечтали забеременеть, чтобы избавиться от ненавистных работ, сократить срок пребывания в лагере.

Однажды Нину чуть не застали в бараке, но успела она улечься в постель, высунуть из-под одеяла ноги в мужских сапогах и накрыть голову фуражкой, чтобы дежурняк принял ее за уснувшего мужика.

— Не боюсь вертухаев, — уверяла она хвастливо.

Нарядчик увидел меня.

— Чисти уборные. Санчасть приказала. Или — в оглобли на тачку.

— У меня третий труд. Формуляр возьми.

— Видел твой формуляр. Второй поставят. Гринберг из санчасти рас-свирепела. Твое дежурство у склада не забывают.

— А ей-то что?

— Не вдаюсь в подробности. Выполняй.

От поваров и пекарей пришлось немедля выселиться.

— И порог не переступай к нам, — сказал дневальный Павел Мещеряков, мой дружок. — Вынесу тебе покушать. Сам понимаешь...

Жили чистильщики уборных в маленькой пристроечке к бараку. В комнату в рабочей обуви не входили. Жилье прибрано: кровати заправлены, на полке аккуратно расставлены книги. Пахло дегтем и карболкой.

Сосед по топчану — латыш Вольдемар. Высок, плечист, лицо широкое, мало исхудалое, молодое, хотя на висках густая проседь. На тумбочке его — фиалки, что встречаются по травянистым склонам и полянам. Я склонился над цветами.

— Зона большая, — сказал Вольдемар, — прежде тут была усадьба пригородного совхоза, сорняков много, растут быстро, только в предзоннике около проволоки черная земля. Слежу за порядком в хибарке. Люблю чистоту, проветриваю жильё... А как вы насчет запахов?

— В камере терзала параша. В мертвецкой едва терпел... И здесь не обрадовался, хотя не очень пахнет в уборных.

— А почему не очень? Едим обезжиренное. Конские запахи...

С детства умел я работать метлой и лопатой, а разбрызгивать растворы карболки, хлорной извести скоро научился у Вольдемара.



— Не спеши, — советовал он. — Не пачкайся. Аккуратнее.

Велик наш поселок. Семь уборных, из них в четырех по десять мест, в остальных — поменьше, есть и по одному, например в нужнике для вольняшек.

Отхожие расположены подальше от барачков, поближе к предзонникам и хорошо просматривались часовыми со сторожевых вышек. Параши в бараке на ночь не ставились, отчего и с малой нуждой приходилось быть под зорким глазом.

Утром, с первых минут подъема, работы было много, но часам к десяти мы почти управлялись. Оставалось вывезти за зону несколько бочек с фекалиями, но тут мы уже не спешили — ведь пустая бочка возвращалась с полей часа через полтора. В это время лежи, читай, прогуливайся. Вольдемар похвастался:

— Всю библиотеку перечитал, а многие книги — по два раза.

— Не сердится библиотекарь, не пахнут?

— А я их перед сдачей легонько раствором извести или карболкой. Живем. Терпим. Многие отдают концы после общих работ...

В Первую мировую войну с Германией Вольдемар служил в латышском полку. В конце 1916 года из восьми полков образовали латышскую дивизию. Латыши не столько дрались с немцами, сколько мечтали о самостоятельной Латвии, о своем государстве. В семнадцатом в декабре охраняли Смольный, занятый правительством. Оберегали переселение власти из Петрограда в Москву, спасали Советы во время эсеровского мятежа...

— Если бы не мы — крышка большевикам бы, — этими словами Вольдемар обычно заканчивал свои рассказы о годах революции.

— За что же вам — десятку?

— За латышских стрелков. Похваливал. Другие получили вышки...

Кроме Вольдемара я подружился с Леоновым. Он отвозил бочки фекалий из лагеря. Ласково поглаживал бархатистые губы лошади, запряженной в телегу с бочкой, поправлял сбрую. В бараке скидывал кепку с широкой розовой лысины, долго мыл руки, не скупясь на черное дегтярное мыло, которое давалось нам от санитарной службы. Перед едой мелко крестился, ел медленно, не ронял и мельчайшей крошки хлеба. Книжек не читал. Любил вспоминать свою деревню — около речки и дубовой роши. Помимо работ на колхозных гектарах он выращивал полоску гречихи на приусадебном участке. Своей крупы хватало семье на год. От пяти-шести домиков пчел бывала постоянная взятка меда.

— Мой участок давал урожай раза в три выше колхозного, но гречиха — барыня капризная: не терпит заморозков, засух. Сеять бы гречиху по всей стране — наедались бы каши и меда! — рассказывал он. — Яблони свои тоже не сравнишь с колхозными... Радостей мало. Сынок пишет редко с фронта. Был парень в госпитале, снова попал на передовые. На Харьковском направлении наши войска продвигались. Захватили орудия, танки, сбили сорок самолетов. — Леонов показывал фотографии сына.

— Леонов, признайся, за что сидишь?

— А ни за что жиманули. Совести нет. Брала и другие, а я один в ответе. С председателем нелады. А на пересылке поставили первую категорию труда и загнали в дальний этап. Всю жизнь не везет с колхозных дней...

Он — бесконвойник и, видимо, срок отбывал за мелкое воровство. Сперва его послали за зону кормить собак. Леонов отказался от ухода за ними, хотя и мог вместе с животными сносно питаться. Ездил он от наших уборных куда-то далеко вату за зону, к месту сливания нечистот.

Утомляла унижительная переключка. Сотни нас вечером выводили из барачков на поверку. Дежурник выкрикивал фамилии. Заключенный, услышав свою фамилию, должен был громко назвать имя, отчество, статью. Почти все отбывали срок без суда, по литеру, и слышалось:

— Кры! КРД! — что обозначало — «контрреволюционер», «контрреволюционная деятельность». Был свой литер у буржуазных националистов. Часто слышалось: АСА — антисоветская агитация. Какой-нибудь весельчак добавлял к нему нечто вроде кавказского восклицания при танце: «Ас-са! Ас-са!» — и легонько бил в ладоши и притоптывал, потешая соседей. Редко звучал литер — Пшэ! Подозрение в шпионаже.

Сельские жители иногда озорновато откликались на страшную статью:

— Иван Иванович, колхозный представитель, семь! восемь! тридцать два, десять и пять по рогам!

Это означало, что голодный крестьянин по указу от седьмого августа тридцать второго года получил срок десять лет и пять лет поражения в правах. Или мужики отвечали двумя словами: за колоски!

Жесточайшее это наказание получали те, кто либо до уборки хлеба срезал колоски, либо собирал их на стерне после уборки. Стоило только обнаружить у человека сумку с колосками, и он уже объявлялся злейшим врагом.

— За колоски — удивляюсь, — говорил Вольдемар. — У нас в Латвии колоски не собирали. Голодных не было, да и колоски не валялись. Разучились теперь хлеб убирать. Позор! И другие ваши статьи — позор. Дождь накрапывает, а малограмотные, бестолковые вертухай сосчитать людей не могут. То человека не хватает, то лишний оказался. Не сходятся подсчеты. Смех и горе. А когда-то мы тоже были России вольные сыны, но тогда — меньше дураков.

Мы аккуратно заполняли черпаками на длинных ручках пузатую большую бочку, поставленную на низкие дроги — под ними висело грязное ведро в подтеках, когда подошел к нам невысокий зека, пригляделся к работе и сказал:

— Вряд ли кто вам позавидует...

— Завидуют, — ответил Вольдемар. — Девятисотку в зоне только нам дают, да еще и по пирожку достается, если санинспектор похлопочет. Ручка у черпака длинная, рукавицы плотные, на извесь и карболку начальство не скупится, за спиной бригадира нет. Ветер в затылок. Завидуют, браток.

Невысокий зека с печалью в крупных глазах чуть навывкате спросил Леонова, далеко ли тот отвозит нечистоты из лагеря, а мне сказал, когда он уехал:

— Знаю то место. Овраг за свалкой. Льете золото в прорву. По дороге слева — четыре дома, подальше — два. От деревни остались... Народ пробивной там.

— А где нет пробивных, — ответил я. — Одним война, а другим нажива.

Как на воле, он подал мне мягкую, нежную руку:

— Наум Абрамович, в прошлом инженер.

Живет он в бараке пересыльных, прибыл к нам недавно. Двойные нары. Теснота. Он говорил негромко, четко, словно бы выделяя каждый звук, хотя плохо произносил «р».

— Имею две новые простыни. — Инженер отступил от грязи. — Жена позаботилась. Не поможете ли продать? Боюсь ходить по баракам.

— Простыни? — Я подумал. — В больнице они есть. В бараках их не бывает. И едва ли кому нужны простыни.

— А рубашка новая? Ткань дорогая.

— Рубашку придурок возьмет за пайку. Шестисотку дадут.

— Мало! А нельзя ли вашему помощнику простыни и рубашку вывезти за зону и продать? Каким образом? — Он усмехнулся. — А очень просто. В тех домишках наверняка торговли живут... Под городом оборотистые. И вам перепадет.

Я призадумался. Заманчивое предложение. Но придется искать покупателя. А донос? Леонова законвоируют. Я попаду в карцер. Сказал Науму Абрамовичу:

— Риск большой, а выгода чепуховая.

— Никакого! Слушайте Наума. На вахте не будут с пристрастием обыскивать вонючую бочку. Я уже издалека видел — вахтер торопит его проехать в распахнутые ворота. Положит простыни под свою подстилку, сядет, привалится спиной к бочке. А рубашку надеть. За милую душу проедет.

— А обратно как? С маслом или хлебом?

— Хлеб на ломти, за пояс, масло в сапоги, за голенища. Под рубахи не заглядывают. Без торговли мир никогда не жил.

Леонов молча выслушал меня и отказался взять простыни. Я сказал об этом Науму Абрамовичу.

— Жаль. — Он приподнял плечи. — Подождем. Авось образумится. Как говорится, смелый там найдет, где робкий потеряет. Только бы не украли у меня простыни.

Дня через три Леонов в каморке сказал мне:

— Находится покупательница на простыни и рубашку. Легко вывезу, а вот обратно с продуктами... Ну, не сразу взять? А? — Он рассмеялся. — Попробуем.

Я видел издалека — на вахте дежурный живо распахнул ворота, проводил лошадей с бочкой, значит, простыни и рубашка Наума запросто перебрались за ворота. Оставалось ждать возвращения Леонова.

Латыш Вольдемар, деловито орудуя метлой и лопатой, вспоминал, по обыкновению, свою Латвию. Не знали горя двести двадцать годочков под властью России, а каких-то два годочка тому назад попали в кабалу — петля на шее. На прежнюю Россию не сердится он, жена из русских, и себя считает русским латышом. В шестнадцатом году на войне с Германией за смелость и мужество получил орден Святого Георгия, хотя позже и был защитником революции. Сто первый раз повторил: если бы не латышские стрелки — большевикам в Москве не удержаться у власти при схватке с эсерами.

— Поживали бы теперь и добра наживали. Без уравниловки и царства лентяев. У одних плохо лежит, а у других брюхо болит, и хочется сожрать чужое. Революцию брюхо сделало. Покорились нужде.

Появился хозяин простынь и рубашки.

— Не волнуйтесь, Наум Абрамович, — сказал я ему, — не обманем в случае успеха. Пройдите подальше за барак, а я с дороги понаблюдаю за проездом бочки через вахту.

Распахнулись ворота. Вахтер на ходу заглянул в пустую бочку. Леонов медленно проехал к уборной в глуховатом углу зоны, поставил телегу с бочкой, где полагалось, и достал из-за пояса плоские ломти белой булки, а из сапог вытянул масло, завернутое в лоскутья клеенки.

— Хлеб согрелся малость, а масло чуть не растаяло. Завтра тетка добавит хлеба и масла. — Он подтянул голенища сапог. — Добрая тетка. Спрашивает, как живем, не сильно ли голодаем. Дала еще головку чеснока лично мне. А чего тут зубоскалить? В домишко не звала. Да и открытое место, рискованно останавливаться. Ничего она. Не старуха. На фронте сын. Хоть бы маломальский лесок — спрятаться.

Наум Абрамович сиял.

— Еще у меня простыня, да у соседа новенькая, да рубашки... Осторожность, разумеется, необходима. — Он рассмеялся, сощурился глазами. — Вахтер едва заглянул в пустую бочку: проезжай скорее, значит.

Отправили за зону вторую простыню, нам в обмен дали картошку. А как ее завезти в зону? Леонов, подумав, сказал:

— В ведре — под бочкой. Еще случая не бывало, чтобы в то ведро заглянули, да туда и не склониться.

Сырая картошка — сильное средство против цинги. Она творит чудеса. Человек пухнет, кровоточат десна, но ему раза три-четыре поест немного сырой картошки — и спала опухоль. Человек оживает!

— Добудь, добудь картошку! — просил меня бригадир портных. — Погрызем. Чесноку бы маленько...

Отправляли за зону новое белье, простыни из больничного хозяйства, наволочки... Портные за головки чеснока отдали новый пиджак, взяли сшить куртку и брюки по заказу Леонова.

— Не кончится добром, — предупреждал меня Вольдемар. — Найдется стукач. Первым тебя посадят в карцер, Леонова законвоируют. Могут и меня прихватить...

— Остановиться не могу, — признавался я Вольдемару. — Повара и пекаря чеснок просят, лук зеленый. Сапожники не дают покоя...

— Пиджак и брюки отправить легко, — сказал мне Леонов, — а вот не знаю, как быть с обувью... Пока тапочки в карман засунул. Проехали, а о сапогах — не беруся.

В глубоком ведре с пятнами подтеков, привязанном к дрогам, Леонов трижды провез картошку и в нем же осмелился переправить новые башмаки.

Портные в мастерской сшили узкий, короткий мешок из брезента, и Леонов провозил в нем бутылки молока, сметану, простоквашу, свежую мелкую морковь, огурчики. Мешок, заполненный провизией, он опускал в ведро или в дальний конец пустой бочки — это было не опасно, дежурный на вахте бегло заглядывал в бочку, ведром не интересовался. Брезент был плотен, и дурной запах через его ткань не проникал в бутылки. Портные получали яства, которые много лет им только снились.

— Согласен посидеть в карцере, — говорил мне исхудалый бригадир портных, — после того, как недельку сметанки поем, молочко попью, огурчики попробую. Сошьем, что закажут, лишь бы переправить...

Сапожники готовили туфли, тапочки, хотя Леонов не всегда соглашался перевозить их товар, говоря мне:

— Бедой кончим. Алчность одолела. Грешники мы, спаси царь небесный. Вам-то что с большим сроком, а меня законвоируют, в карцере насижусь...

— Не будь трусом, в крайнем случае дадут суток пять, но не законвоируют. Хлопотное дело...

— Да так-то оно так. Питаюсь лучше, чем на воле. Часом живем. А все-таки...

Мы с бочкой появлялись и в женской зоне — подъезжали к уборной.

— Красотка, задержись, — крикнул я.

— Черпай, черпай, вонюха... И убирайся! Ищи дуру.

А другая задержалась около нас. Приглядная, одетая чисто. Ждала, что скажем.

— Подойди ближе, — сказал я. — Не кусаемся. Не волки.

— Отчего вас называют золотарями?

— Золотые мы. Богачи.

Она молчала. Мы торопились заполнить бочку. Вдруг сказала:

— Забегай в гости. Чё лыбишься?

«Боязно к бабьему сердцу прилипнуть», — подумал я.

Синеглазая, пухленькая подошла ко мне ближе.

— Зойка. Забегай.

Только мне и Вольдемару разрешали бывать с бочкой у женщин. Вольдемар не знакомился с молодимицами, а я загляделся на синеглазую Зою. Она была старшей дневальной и, понятно, на день оставалась в пустом бараке.

Однажды я принес Зое сливочное масло. Она рассмеялась:

— Люблю богатых женихов...

Скидывала с меня одежду, а я боялся задерживаться в ее бараке.

— Чудак! — Она смеялась. — Полежим здесь, как на воле... Я послала свою помощницу охранять нас. Появится дежурняк в зоне — она прибе-

жит. Успеешь смыться. Редко случается с мужиком полежать. То начальника боишься, то уголочка нет. За чеснок и за масло благодарим. Нинку не помнишь? К повару бегала. Светленькая. Белоруска. Ватрушки он ей пек. Дважды в карцере отсидела. А недавно ее на сельхоз отвезли. Мечтает мальчонку родить. Досрочно освободят. Добилась. И мне бы давно рожать...

Вольдемар, покачивая головой, предостерег меня:

— Баба — главное зло.

— Молчал бы, если затвердело сердце. Без бабы народ бы вымер.

— Но только не здесь путаться... Жена — закон!

— Не хочется быть пугливым зайцем. Авось гром и не грянет.

— Жаль тебя, бабника. С дешевкой связался. Сгоришь! Загонят на общике, а оттуда прямая дорожка в деревянный бушлат...

— А я вас поняла, — сказала Зоя. — Отправим новенькое женское белье, запустим лапу в каптерку. Как это мы раньше не догадывались?

Леонов поотказывался, но все-таки сумел выгодно обменять юбки и чулки на продукты. Однако был недоволен:

— С бабьем лучше не связываться. Молчать не умеют.

Днем вдруг неожиданный обыск у нас в хибарке. Двое вольняшек старались. Беду навлек, я думаю, один наш работяга: не угостили его, лодырем называл Вольдемар. Не ворвались бы с обыском, если бы не донос.

В моей тумбочке — масло, сахар, чеснок; под кроватью — картошка. Дежурный по режиму, казалось, схватит меня за горло, он хрипло орал, дубасил кулаком по столу:

— Воруешь с кухни, со склада! Фашист! Вражина! Бабахнуть бы по морде...

— Гражданин начальник... — Я стоял по-солдатски навтыжку. — Моей вины нету. Картошка на складе летом у нас полугнилая, с ростками, дряблая, а моя одна к одной! А масло? И сравнивать не приходится. Да и сколько его там? Пол-литровая банка. У меня есть друзья. Попросили хранить. Обворуют их в бараке.

Дежурный вызвал старшего повара, тот сказал:

— Не наша картошка и не лежала с нашей. И масло не то...

— Но у него нет передач! Откуда он мог взять ее? И масло?

Я заранее условился с одним, будто бы он и другие хранили у меня передачи с воли. Тот подтвердил мои слова. Не попал я в карцер.

— Бог миловал. — Вольдемар улыбнулся. — Соврал ты ловко. Подготовился. Убедил. Но будем осторожнее...

Леонов с неделю ничего не вывозил за зону, хотя сапожники и портные предлагали всяческие мелкие изделия в обмен на молоко, на чеснок.

Меня вызвали к нарядчику. В чем дело? Я забеспокоился. Давно бы полагалось угощать нарядчика молоком. Загонят в бригаду на тяжелые работы? Я робко переступил порог его комнаты.

Вертлявый нарядчик с морщинистым лицом, с волосатыми руками кричал на бригадира, перебирая на столе формуляры. Я подумал: «На воле — вор, а здесь — царь и Бог. Ну и дурак я — забыл умаслить стервеца». Он сказал мне:

— Стой у двери. Фамилия? А-а... Это писатель? — Тон помягче. — Докторам понравилась твоя работа. Ставят помощником санитарного врача. Вызывает Гринберг, начальница санчасти. Пойдешь утром. Те же уборные да плюс помойки, чистота в бараках, вши, клопы... Ты — фигура! Гроза! Ходи в чистеньком. Должны тебя побаиваться. Всё. — Он сел к столу. — Кто там еще?

Засучил рукава, будто готовился к драке.

## СТАРИЧКИ

**З**алман Савельевич Ривкус, неторопливый, очкастый, отбыл немалый срок заключения на Колыме и переселился в Находку, поблизости от Владивостока, на важную должность начальника врачебной службы городской пересылки.

В мужской зоне пересылки в ожидании пароходов скапливалось до ста тысяч бывших солдат, а рядом, в женской, — до трех тысяч женщин.

В женскую зону в два больших барака привезли с Колымы старичков, списанных актами как негодных и к маломальскому труду. Отгородили дедушек от женщин колючей проволокой в один ряд, и на воротцах поставили самоохранника с палкой.

Старичкам требовался фельдшер. В мужской зоне пересылки фельдшеров бывало до двадцати. Залман Савельевич к дедам выбрал меня.

— Думаю, вы спокойнее других поведете себя поблизости от женщин, неприятностей не случится?

— Гражданин начальник, ценю ваше доверие.

— Я на это и рассчитываю. А если вас застанут с дамой, — он малость улыбнулся, — попадете в первый же этап куда-нибудь на край земли. Певек, Анадырь...

Женщины в зоне томились от безделья, ожидая корабль, и, конечно, с любопытством встретили колымчан, с которыми можно запросто поговорить через колючую проволоку. Молоденькая, приблизившись к проволоке, не стесняясь меня, сказала старику:

— Беременных не увозят за море сдохнуть. Удержаться бы на материке. Я ночью подкопаюсь под изгородь, как собака. Встретимся. Можешь?

— Ты мне в правнучки годна. Постыдилась бы.

— Найди мужика покрепче. Пайку отдам.

— Отступи, сучка, — вмешался самоохранник в их разговор. — Вдарю меж рог. Покоя нет дряхлым.

В дальнем конце тесно заселенного барака отгородили лечебную комнату с лекарствами, с моей постелью на нарах. Из маленького окошка падал слабый свет; касался стекла серо-войлочный стебель горькой полыни, милый мне, давнему жителю голых зон с вытоптанной землей.

Я был доволен комнатухой. Оставалось подыскать толкового санитаря.

Некоторые из старичков могли помогать при раздаче лекарств, сказать по-латыни что-нибудь из Горация, упомянуть вручение консульской власти Цицерону, ведь с Колымы возвращались ученые, инженеры старой закладки, теперь списанные актами как изношенные вещи. Мой санитар до заключения был профессором в киевском институте.

Заглянул к нам Залман Савельевич, побеседовал со мной, с киевлянином, пожелал успехов.

— Дружнее работайте.

Лекарств имелось в достатке, и старички охотно пили их, выстраиваясь в очередь к санитару. Главным снадобьем был стланик, густой, как мед, темный, коричневатый. Готовился он из хвои низкого кедровника, зарослями покрывавшего сопки, смолой пах, лесом — сильное, горькое средство против цинги. Санитар черпал стланик из бочки, как мед.

— Неполную ложку дал мне! Добавь! — жаловался престарелый дед.

— Начальник добавит! Иди! Очередь не задерживай.

Некоторые, выпив свои порции из подставляемых посудынок, снова становились в очередь.

— Ты уже взял! На три дня бочки не хватает. Тянешься с кружкой, совести нет, — сердился бывший профессор.

— Дай ты ему по морде! — кричали из очереди. — Другим не хватит! Глотают лекарство, шакалы! Куда смотришь?

— Доктор, смени санитаря! Приятелей завел. Хохлюга.

— Нет у меня приятелей у бочки, — отвечал профессор. — Всем даю одинаковую порцию. Сплетники — от нечего делать.

Киевский профессор и мне мало нравился. Он плохо мыл пол, не всюду стирал пыль влажной тряпкой и уж, конечно, не порывался заправлять мою постель, хотя другой санитар заправил бы фельдшерскую постель, ведь я был у стариков единственным начальником. Любой из четырехсот сактированных, стесненных в двух бараках, охотно согласился бы помогать мне, чтобы в уголке у фельдшера избавиться от сутолоки, а главное — съесть добавочные ложки баланды, каши.

Санитар был мягковат в обращении со всеми, а со мной даже ласков, но мог вдруг задремать, заторопиться что-то сделать, часто пустяковое.

В бараках находилось немало так называемых буржуазных националистов Украины, Армении, Грузии, Прибалтики. Мой помощник говорил о Тарасе Шевченко, Иване Франко, о гетманах, пускался в историю Украины. Раз приятно послушать бывшего профессора, два, три, но не постоянно. Не сумел он подружиться и с поварами, жидковатую баланду приносил, мало каши...

— Дают порцию. Женщинами не интересуюсь, — оправдывался он. — Повариха что-то рассердилась...

— Но вы бы как-то повежливее там...

— Да ну их, знаете... Сходили бы сами туда. Молоденькие. Шутят.

Пришлось нам расстаться. Профессора заменил маленький армянин, ловко работавший на раздаче лекарств, он мог отлично помыть пол, не гнушался заправить мою постель.

— Считаю за свое удовольствие. Одеяльце на воздухе похлопаю. Не беспокойтесь. Нужна форточка.

Обходителен он был и с заключенными.

— Пейте, милые! — торопливо раздавал стланик. — Бочками подвозят. Живем как в сосновом бору. Пейте в юности, как писал Есенин, все равно любимая отцветет черемухой. Не велят Маше за речку ходить... А ты, слушай, борода, — в третий раз. Отличная у меня память на лица. Второй — простим, но зачем же третий? Вчера дважды просил кодеин. От кашля термопсис, он из безобидной травки, она — по всей Руси, в горах, у нас в Армении, но зачем привыкать к опию?

Подружился он и с поварами на кухне.

— Я их анекдотами потешаю. Не скупятся на лишнее в котелки. С уборщицей мы по-французски, ее оторвали от научной работы. Бьют и по кандидатам наук. История не оправдывает господ строителей социализма.

Любил санитар поразмышлять вслух. Что делают старички весь день да и вечером? Меняют хлеб на табак, табак на сахар — спичечной коробкой меряют. Торгуют бойко.

— Личности потеряны! — восклицал он. — Владивосток рядом, могли бы заключенные что-нибудь пороть, шить, вязать для городских жителей. Копейку бы добывали. На казенном деле человек хмур, угрюм, а на личном расцветет, смастерит сапожки, пиджак сошьет. Или стланик, например! — воодушевлялся он. — На всю страну могли бы зеки готовить из его хвои кедровый медок, он горьковат, не мил, но можно бы и сахарку добавлять в порции, скажем, для ребятишек. А у нас тысячи после тяжелых работ по больницам и баракам томятся от безделья.

— Вам бы управлять государством, — сказал я своему помощнику.

— А что? Проще простого! Отменить дикую теорию о классовой борьбе, не загонять народ в тюрьмы, дать крестьянам полную свободу на земле, а сам наслаждайся бездельем, плюй в потолок. Не заседать! Что вы

смеетесь? Если бы вдоволь зерна, молока и мяса — приласкали бы Европу. И заседать не потребовалось бы. Да и войны не случилось бы.

Армянин был влюблен в поэзию Брюсова, называл его на редкость культурным среди русских литераторов. Больше, чем Брюсов, никто не перевел армянских поэтов на русский язык. С юношеским увлечением читал на память армянские стихи в переводах Брюсова.

— Армения навечно благодарна Валерию Яковлевичу, — повторял он. — Ах, дева! Твой стан — что озерный тростник, а груди — что плод, а плечи — что сад! Я бы все целовал румяный твой лик... Поделим давай нашу жизнь пополам! Это перевел Брюсов из народной поэзии... Я вырезал слово «Армения» на руке. — Показал ниже локтя татуировку. — Жуликам доверился.

Осмелился он строчки из Брюсова продекламировать самому Залману Савельевичу Ривкусу, заглянувшему к нам. И врач не забыл поэта. Помощник мой, чувствуя к себе расположение важного начальства, пожаловался на неравномерные удары сердца. Аритмией страдали многие старички. Другому, пожалуй, Ривкус не ответил бы, только на меня кивнул: обращайтесь, дескать, к своему медику, но тут он достал трубку из кармана и послушал сердце любителя поэзии.

Через несколько дней армянина перевели в центральную зону под наблюдение врачей. Расставаясь, он сказал мне о Ривкусе:

— Чуткая душа. Я думаю, он боится уехать. Остался здесь вольнягой. Зацепился за Находку. Есть такие — после срока остаются на должностях и по возможности добро делают зекам. У нас на прииске инженер отбыл в десятниках, остался начальником, приехала к нему жена.

Мы дружески проводили моего бывшего санитаря в большую зону.

— Ловкач, — говорили о нем старики. — Пройдоха. И на Колыме спасался в придурках.

Некоторым старичкам разрешили переписку с родными — чрезвычайное событие! Человек, потерянный навечно, вдруг получал письмо от жены, от детей. Появились и посылки. В бараке запахло колбасой, чесноком.

Ривкус посоветовал оставлять посылки у меня под столом, под нарами, поскорее для них сколотить узкий шкаф и отрезать счастливым небольшие порции спасительных продуктов, в особенности в тех случаях, если у них — слабый желудок. У нас уже были внезапные смерти: хозяин посылки наедался, вернее сказать, объедался и, маясь животом, умирал.

Старики и сами просили:

— Пожалуйста, доктор, поберегите. Не угостить в бараке — украдут, и угостишь — блатные все равно украдут.

В помощники я взял не очень старого инженера. У него строгое лицо, нависшие брови, стальной блеск в глазах, сильный голос. Он привык крикивать на работяг в сопках. Назойливых выталкивал из комнатки для приема больных.

— А ну отступи, не торчи здесь, а грейся на солнышке за порогом, — гудел бывший инженер. — С ума спятили от безделья!

— Добавь! — тянулись дедушки к бочке. — Ложку!

— Прокурор добавит!

— Не бей по рукам! Зверюга!

— А ты сиди в своем углу! Клянчить привык...

Я не впервые предупредил его:

— Много жалоб... Рукам волю даете.

— А я и сам собирался уходить из санитаров, кстати, вот и моя посылка из Ярославля. Прошу ее подержать... Разрешили иметь иголки и ножницы — займусь шитьем тапочек... Либо нас домой отпустят как сактированных, ни к чему не пригодных, либо перевезут к теплу на сельхоз, а тут мы временные. Так же думает и нарядчик, а он встречается с вольнягами.



Я приблизил к себе москвича, строителя первой линии метро. Он получил не одну посылку от сына и поправился. Ночью прорыл яму под проволокой, прополз к женщине, поджидавшей его. Оба попали в карцер.

Без помощника я и часа не мог обходиться. Пригляделся к обрусевшему немцу, родом из Поволжья. Федор Федорович рыжеват, крылышки носа выморожены — такие носы называли колымскими. На левой руке нет двух пальцев — то ли отморожены, то ли с отчаяния отрублены, чтобы навсегда избавиться от каторжных работ. Наверное, и пальцы на ногах были с изъяном, потому что ходил он медленно и вразвалку, как старый гусь. А в общем-то Федор Федорович был довольно молод и улыбку имел подкупающую.

Он так вымыл пол, мои нары, подоконник, протер стены, оконные стекла, как никто этого не делал. Стланик раздавал вежливо. Подружился с поварихой на женской кухне и приносил достаточно густую баланду, вдоволь каши.

— Без бабы мужику не прожить. — Он выговаривал «б» почти как «п». — Хоть и давал ты клятву Ривкусу, но баба — начало всех начал. Она не карась, а щука — любого проглотит. Тут баб три тысячи, есть приличные дамочки. Тобой давно интересуются.

— Погоришь, и я погорю.

— А мне гореть уже некуда. Актом списан в мертвецы, хотя мне всего-то сорок пять. На колымский рудник не повезут обратно. С тридцать седьмого немцев садят, а началась война — безжалостное переселение, строительные батальоны не легче иных лагерей. Чем ты меня испугаешь после Колымы? А вам — так и так ехать за море, а там бабу не увидишь. Я девять лет голоса женского не слышал... А у поварихи не голос. А колокольчик. Руки нежные, мягкие. Закуток нашла — спрятаться на минутки. Дает добавочные порции.

Я промолчал, хотя о женщинах подумывал. Боялся. А чего бояться? Поймают — долгий путь в гиблое место, и не поймают — заползть в трюм в щель, похожую на лунку в сотах для пчел.

— Какая она? Повариха? — спросил я. — Тонкая? Из высоких?

— Нормальная. С ума сходит от любви. Вот вам блинчики, пирожок. Мечтает задержаться на пересылке. Бытовая. Родить надеется. В крайнем случае притормозится в бухте у Магадана или на двадцать третьем километре в больничном городке. Влюбился, честное слово. Родных растерял. Написать некуда. Разогнали немцев по стройбатам, по тюрьмам...

— Освободитесь... Найдется милая, — утешал я.

— Ждать надоело. Ждать и догонять — хуже некуда. Побывайте у бабочек. Не пожалееете...

Сходить в амбулаторию женской зоны я мог запросто через обычные воротца, на которых стоял самоохранник, строгий, правда, но я мог сослаться на крайнюю необходимость побывать там.

— Идите, доктор, — сказал он мне. — Но не больше полчаса. Пять минут на дорогу туда и обратно и пятнадцать там. Без неприятностей для меня.

Я взял десятка два порошков кодеина у пожилой медицинской сестры, пообещал прислать ей кое-что из наших лекарств и пошел обратно.

На пути меня встретила группа молодых женщин, они шумно повторяли:

— Доктор, или со всеми живи, или ни с одной не живи!

— У меня и мыслей нет таких — жить с кем-то! Да еще со всеми. — Я смеялся.

— Мы знаем вашего брата. — Красотка мешала мне идти. — Вам только добратся.

Поблизости от ворот застенчивая девушка, плохо говорившая по-русски, попросила у меня воды.

— Когда ваш дневальный будет нести два ведра — немножко мне в котелок. Нам ее дают умываться только-только, а женщине без воды нельзя.

— Вы откуда? По акценту?

— Я из Эстонии. Лайма зовут меня.

Зеленоватые глаза, темные ресницы, а в общем-то лицо утомленное. Мог бы дать ей хлеба, что-нибудь из посылок, хранившихся под моими нарами, конечно, самую малость. Будущее Лаймы, колымское, казалось мне страшным. Не попала бы она в руки блатарям!

На следующий день Федор дал эстонке немножко воды.

— Выучилась на артистку, — рассказывал он. — Мать успела сбежать в Швецию, а Лайма застряла. Дали десятку. Не пропадет. Артистам на Колыме живется почти как на воле.

Я послал ей пайку, велел Федору давать побольше воды. Сколько? Не пол-литра, а литр.

— Многовато — литр, товарищ доктор, их в ведре всего десять, а пол-литра можно, постараемся. Придет она к вам ночью в шинели, в буденовке. Да вы не отказывайтесь — на меня свалим грех. Ну, посижу в карцере и вернусь в этот же барак. Ривкус не узнает о вашей встрече. На меня свалим.

— Откуда ты взял — придет Лайма?

— Да я на эту Лайму три литра воды израсходовал. За литр и за пайку любая красавица прокрадется в полночь. Ну, пусть поломается, подумает. Но куда ей деться? Передала спасибо тебе.

Что делать? Похаживал я поблизости от самоохранника. На коротких стебельках подорожник поднялся: большие в жилках листья в прикорневой розетке. Лиловые тычинки. Тонкое благоухание. Вспомнилось Подмосковье, луга, склоны, тропинки. Волей дохнуло, жить захотелось...

Случилась в женской зоне вторая, минутная встреча с Лаймой, после чего я сказал Федору:

— Буду ждать ее. Кажется, она согласна...

— А чего ей терять? Ручаюсь — не захватят. Ну уж в крайнем случае прошмыгнет на мою постель, если не успеем скрыть ее под нарами. Я вину возьму на себя. Под нарами? А очень просто. Под вашей постелью две широкие доски, чтобы Лайму спрятать, а там ящики с посылками, колбасой пахнет. — Он рассмеялся. — Немец трепаться не любит.

— А если она не согласна — под нары?

— Не согласится — на мою постель. Не дура. Был разговор. При всех возможностях я выступаю виноватым.

Умер мой первый дневальный, в прошлом киевский профессор, добытчик золота на Колыме. Вечером угощал меня украинским печеньем из посылки, а ночью тихо скончался. Не постучал ко мне в фанерную перегородку. Сердце! «Скачущий» пульс.

Все старички ждали волю, почти не было смертей в бараках, и вдруг она случилась. Погоревали, постояли тихо у ног страдальца. Федор сказал о профессоре:

— Скоро бы домой приехал... На Колыме выжил, а здесь...

Унесли труп, убрали постель. Самое страшное — умереть в тюрьме, в лагере: не обмоют, не обрядят в чистое.

Я взялся отправить в Киев незаконченное письмо старика к дочери и внукам, оно было нежное, с подробностями из детства дочери. Я запечатлился — каково-то будет родным профессора?

— Наревутся, — ответил Федор.

С волнением ждал условленную встречу с Лаймой. Долго тянулся день. Под вечер пошел теплый дождик. Федор, вернувшийся с кухни, сказал, что Лайма собирается. Солнце медленно закатывалось, еще медленнее темнело.

В назначенное время немец сел у дверей моей комнатки, поглядывал в длинный полутемный барак, ожидая Лайму. Старички покашливали. Многие страдали бессонницей, да и днем высыпались.

— Невозможный народ, — злился Федор. — Днем дрыхнет, а ночью ворочается с боку на бок. Дед, ну что ты прешься к нам в полночь? Какой порошок? Совесть отморозил на прииске. Блох здесь нет. А вы прилягте, доктор.

— Шагает! Шагает в шинели, в буденовке. Бодро идет наша птичка. Старье принимает ее за мужика.

Сердце мое колотилось. Федор потушил свет, ушел на свою кровать в бараке поблизости от моей двери.

Примерно через полчаса Лайма спросила:

— А спрятаться здесь негде? Как говорится, на всякий случай?

— Есть где. Сдвинем доски из-под моего матраса и спустим тебя под нары. Надежно. Или за дверью спрячешься на постели Федора. Шинель и шлем — он придумал. Ты в самом деле из актрис?

— Да. Закончила консерваторию. И мама актриса. Она успела в Швецию, а у меня был жених в Ленинграде, он вызывает...

— За что тебя? Да еще — десятку?

— За маму, а второе — покойник дед из богачей, а отец офицером погиб в первую германскую. Если бы суд, но берут без суда...

Начались наши свидания, обычно в час ночи, в зависимости от дежурства охранника, мною подкупленного, который стоял у ворот между зонами.

Прошел месяц моего счастья.

— День, да наш, — говорил Федор. — Недаром держится старая поговорка заключенных: ты умри сегодня, а я — завтра... А мы с поварихой побиваемся комендантши не из вольняшек, а из наших. Наша вреднее. Злющая, завистница, рылом не вышла, морда кирпича просит. Подкармливает ее моя повариха...

Заглянул к нам Залман Савельевич:

— Слабых нет? Ходят?

— Передвигаются. Мечтают о переезде в сельхоз. Лежачих не заметил, — отвечал я. — В запасе две бочки стланика. Гражданин начальник, извините за вопрос, в итоге стариков отвезут в глубь материка?

— Не знаю. Честно — не знаю.

Ушел он, а мы с Федором призадумались над его вопросом: нет ли слабых? Не собираются ли стариков отправить куда-то? Не сочтены ли дни моего счастья?

— Доктор, у нас не дни, а минуты. Это же чудо, что вы с Лаймой встретились. Возьмет ее на Колыме богатый...

— А если она попадет санитаркой в больницу, а я фельдшером?

— Ну, размечтались...

В полночь, едва Лайма начала раздеваться, Федор заглянул к нам и шепотом предупредил:

— Идут комендантша и дежурняк. Шинель накинь и скорее ложись в бараке на мою постель. Живо! Или спускайся под нары. Подходят.

Я сдвинул под матрасом широкие доски, спустил под нары перепуганную эстонку, лег на постель и прикинулся спящим.

— Доктор, — комендантша тронула меня за ногу, — не притворяйся. Где спрятал бабу?

— У меня и в мыслях подобного нет...

— К тебе прошла. Не к старикам, я думаю. Посмотрим под нарами. Всяко бывает...

— Под нарами — посылки...

Комендантша фонариком посветила вниз:

— Что-то белеет. Не посылка. Поднимитесь с места, доктор, уберите матрас.

Я повиновался. Дежурный поднял доску и нащупал мою пленницу.

— Вылезай, красавица. Вылезай, вылезай, а то потяну за волосы.

Лайма неловко поднялась из-под нар. Была она испугана, смущена.

— Сучка, — сказала комендантша. — Привыкла таскаться на воле. Овечкой прикидывалась.

— Перестаньте! — возмутился я.

Дежурный старался не смотреть на полуголую девушку:

— Одевайся, одевайся, красавица, пойдем.

Я просил дежурного не садить Лайму в карцер.

— И тебя посадим. Проворнее собирайся, милашка.

— Моя баба, — настаивал Федор. — Я привел ее и спрятал под нары.

— Не ври, косолапый хитрюга, — злилась комендантша, — нужен ты ей, развалюха.

— Федя, не спасай. Виноват я.

— Доктор! Зачем же? Отсиджу. Не увезут на Колыму. Я сманил.

Громкие разговоры в моей комнатухе одних старичков разбудили, а другие и уснуть не успели, удивленные появлением у них голосистой комендантши, дежурного, которые вместе с Лаймой шумно прошли по бараку. Ясно все. Укладывайся спать, ведь и раньше ночью кто-то замечал появление в бараке женщины, но помалкивал, как и полагалось.

Мысленно я видел Лайму уже в карцере, на маленькой пайке, голодной. Сколько дадут ей суток?

— Не больше пяти, — сказал Федор. — Бабы выносливее мужиков. А вот вас как бы не отправили на первом же брюхатом великане — один гудит в бухте.

Уснуть я не мог, только задремалось маленько — виделись копыта, пьяные мужики в деревне, буйные, крикливые, а потом — Колыма, камни, крупинки золота.

Разбудил меня Федор, помог умыться.

— Наедайтесь каши на всякий случай. Лайма укажет на меня. Договорились.

Зашел к нам вольняга дежурный, тот, что был ночью, строго посмотрел на Федора. Дневальный мой удалился. Дежурняк присел на скрипучий стул.

— Вымыла полы на вахте, и я отпустил ее в зону. Если бы не привела к тебе стерва комендантша, ябедница, другие бы разговоры.

— Сколько мне дадут?

— Санитару твоему дадут три дня. Он в документах. У вас есть в порошках кодеин или героин? На Колыме их легче достать, там аптеки богаче и проще договориться с медиком. А Находка — дыра, когда-то городишко будет, порт подходящий вырастет...

Я дал дежурному порошков десять кодеина и героина. Он поблагодарил меня и попросил поставить ему банки.

— Доктором прописаны, — сказал он, — но я все не соберусь сходить к вольным, а к вашим — не разрешают. Нельзя.

Я поставил дежурному банки на бока. Подумал: «Стало быть, от карцера избавился. Что-то будет с Лаймой? Где она?»

Федор, после трех дней отсидки, вернулся ко мне заметно осунувшийся, поел вдоволь.

— Завтра я ей водички дам. Начнем снова. Нам терять нечего. Всяко жить приходится.

На следующий день он сказал о Лайме:

— Не увидел ее на своей дороге. С комендантшей не поздоровался. Нет ничего хуже начальничков из наших — выслуживаются. У вольняшек

злости к нам особой не замечал — служба, выполняют устав, а наши как вырвутся к власти — сожрать готовы своего брата.

В бухте редко, но грозно гудел пароход, ожидая нас в грузовой трюм с широким днищем. О трюме, о ячейке в нем я думал как о скорой смерти.

— Не падайте духом, на Колыме доктору терпимо живется, — старался успокоить меня Федор, — но баба там только снится. Чем ты сытнее, тем чаще о бабе думки.

Узнал я от дежурного, приходившего за порошками: Лайма взята в культбригаду.

— Привет вам передавала. Довольная.

У артистов свое общежитие, легкий распорядок дня без подъемов рано утром и отбоев в десять вечера; они выступали в соседних клубах, в порту, ждали их и мы.

— Ей житуха, — рассуждал Федор. — На крылышки поднялась птаха. Дорожки навечно разошлись. А теперь блондинка просится. Узенькая. Дал водички пол-литра.

— Да ты что, слушай!

— А что я? Человек в тюрьме. Да еще с Колымы человек...

— Нет и нет.

Увидеть бы Лайму, словечком перемолвиться, пожать ей руку. Правда ли — привет передавала? Вдруг бы освободили всех ни в чем не виноватых, и мы бы с Лаймой уехали в Москву.

Готовились встречать артистов. Инженер, что раньше был у меня санитаром, прикидывал, сколько места в бараке займет сцена.

— В женской зоне они вольготнее выступят под открытым небом, — рассуждал он, — а мы прижаты к предзоннику. Нема неба. Усядутся на столы, расшатают, затопчут не только полы, а и нары...

— Не ной! — перебил Федор инженера. — Нельзя жить без праздников! Нахлебались будней. Вымоем, проветрим! Не звери в норах...

Артисты на грузовике подъехали к нашей зоне, сопровождаемые конвоем. Пять женщин и более десятка мужчин. Не сразу отличил я Лайму. Она заметила меня, смутилась.

Артисты, привыкшие к разбегам, быстро натянули занавес — плотную ткань, закрывавшую сцену от зрителей. Занавес слегка колыхался — видимо, задевали его, расставляя на сцене мой столик, стулья, свое что-то.

К нам собрались жители соседнего барака, кое-кто из бесконвойных — они заняли длинные дощатые столы, толпились в проходе.

Староста просил:

— Осторожнее, мужики. Трещит и ломается.

Концерт начался с песен: «Прощай, любимый город...», «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной...».

Азартно хлопал Федор, даже вечно сердитый инженер кричал: «Бис!», кричал и бывший партийный работник — старичок, на следствии ожидавший расстрел, а на приске спасавшийся в должности учетчика.

Потом была пьеса Чехова «Медведь». Лайма всем понравилась в роли вдовушки. Немедленно требовал с нее помещик тысячу девести рублей, которые задолжал ему по вексялям ее покойный муж. Помещику необходимо завтра платить проценты в земельный банк. Не заплатит — опишут имение, он «вылетит в трубу вверх ногами». Артист в запальчивости ронял стулья, орал, а Лайма была скромна, тиха; заплатит она долги мужа, но приказчик ее только послезавтра съездит в банк за деньгами.

В бараке — тишина. Чем дело кончится, половина зрителей — бывшие мужики — не знали, а вторая половина — инженеры, ученые, так называемые буржуазные националисты — не все читали Чехова.

Герои поспорили, обменялись грубостями. «Не дам я вам денег!» — «Нет-с, дадите!» Она его выгоняет, он не уходит. В бараке посмеялись. Инженер выругался, дневальный покачал головой.

Стреляться! Дуэль. В бараке смех. После мужа остались пистолеты, и вдовушка приносит их. Она стрелять не умеет, нужно показать ей. Он учит, как держать револьвер, целясь в противника, и любит ее. Пропал, погиб, попал в мышеловку. Она и выгоняет его, и просит остаться. Влюбился! Завтра проценты платить, сенокос начался, а он влюбился.

Представление кончилось продолжительным поцелуем вдовушки и помещика. Я был подавлен. Значит, с Лаймой целуются? Сегодня целует ее один артист, завтра — другой. Я потерял ее навсегда.

Артисты забрали занавес, костюмы, сложенные в мешки, картонки, и уехали, пересчитанные конвоем у ворот вахты.

Федор принес наши стулья.

— Улетела птица, — сказал он, — хоть бы оглянулась. Стул расшатал помещик. Говорят, артисту полагалось три стула расшатать. На воле был известный...

Я не ответил, думая о Лайме. А Федор ворчал:

— Нары проломили в двух местах, стол чинить придется. Дряхлого вынесли на свежий воздух. А чего же вы не подошли к Лайме у вахты? Прическа новая, пышные волосы, губки подкрашены, брови подбрены. Водички ей теперь хватает...

Ко мне вдруг пришел Залман Савельевич, осмотрел аптеку, поинтересовался колымскими старичками: сколько больных, на что жалуются. Я спросил, отправят ли их внутрь страны, где более легкие условия жизни?

— Не знаю, — снова сказал он. — Что же вы? А? Выбирал в эту зону одного из самых воспитанных, выдержанных, а что получилось?

— Гражданин начальник! — Я стоял навтыжку. — Как говорили философы, ничто человеческое не чуждо нам. Отдохнул, поправился и в свои цветущие годы начал думать о женщине. Даже находят и старички, из тех, которых родственники поддерживают посылками и которые не прочь познакомиться... Природа!

— Понятно. — Залман Савельевич улыбнулся. — А хороша она, эта актриса из молоденьких. Видел на сцене.

— Не потаскуха. Воспитанная.

— Она будет сносно жить в Магадане или где-нибудь в поселке, а вас отправят по этапу в Певек, в Анадырь.

— Такова наша судьба. — Я упомянул древнее латинское изречение о судьбе.

Он спросил:

— Писателя Зозулю не знали? Ровесник мой.

— Ну как же! Убит Ефим Давидович. Бомба попала в домик фронтальной редакции. Пятьдесят два ему было. При мне напросился в ополчение. Он с молодыми работал при журнале «Огонек». Я бывал в его группе. Фадеев отговаривал от ополчения — по возрасту...

— Не знаю, что с вами делать. — Залман Савельевич склонил голову.

Днем позже, после обеда, приказали старикам немедля собираться в этап. Сейчас же? Куда? Без бани?

Помощник нарядчика пробежал по баракам:

— Постели оставить! А остальное, на ком что числится — с собой!

— А не свобода ли сактированным? Живые мертвецы. Списанных бытовиков отпускают.

— Держи карман шире, — сказал Федор. — Зубами держатся за констрика. Перевезут куда-то. — А мне признался: — Жаль расставаться кое с кем. На кухне — слезы, но, кажется, потомство ожидаем. Сынок бы! От Колымы она отвернется — или здесь станет на якорь, или на сельхоз вывезут. У нее домишко свой где-то около Тулы. Запомню адрес намертво.

Заклученные связывали вещи в узлы, шумели, переключаясь друг с другом, до крайности возбужденные новостью; пытались от меня что-то услышать, но я ничего не знал о внезапном событии. Появился нарядчик, еще раз проверил наличие всех по фамилиям и по статьям.

Наконец старики ушли, Федор простился со мной, инженер пожелал удачи на Колыме.

Пусто в бараке, голые матрасы, тряпки, ненужная обувь. Меня переведут в большую зону, отправят в жуткие края. Годами не услышишь голос женщины...

Прибежал нарядчик.

— А ты чего тут застрял? — Он размахивал бумагами перед моим лицом. — Я же называл тебя. Беги! Народ еще у зоны... Живо!

— Куда бежать? Я подотчетное лицо — за лекарства, за инструменты! Должен отчитаться...

— Манатки в охапку — и бегом к вахте! Скандал! Не хватает человека!

Меня посадили в пассажирский вагон вместе со стариками и увезли в приморский сельхоз. Как это случилось?

— А очень просто, — объяснял Федор. — Формуляр ваш попал к нам, по спискам вы давно числились с нами, а главное у лагерного начальства — не человек, а фамилия на бумаге. Или Ривкус вам вроде бы удружил, не потребовал формуляр, или нарядчик позабыл вынуть ваш формуляр от живых мертвецов, или не полагалось отправить старье без своего фельдшера — шут его знает. А умница и ловкач армянин в этом случае промахнулся. Застрял в зоне пересыльных солдат, а им путь на Колыму. Небось рвет и мечет. Не соваться бы ему со стихами к Ривкусу, не искать блат, поехал бы с нами к уборке сои, к свежей картошке. Сельхоз в мягком климате — это почти свобода.

...Легко жилось мне в приморском сельхозе. Много здесь было женщин, однако не мог я забыть Лайму. Федор отгадывал мои мечты и смеялся: зачем тосковать о том, что промелькнуло как далекая звездочка и навсегда потеряно?..

## МАМКИ

**Д**ети умирали от поражения головного и спинного мозга. И у Филиппа были признаки этого заболевания. Врач сделала поясничный прокол. Спинальная жидкость с желтовато-красным оттенком наполнила шприц. Лабораторное исследование показало в осадке высокое содержание белка.

Смерть от менингита наступала обычно через двадцать — двадцать пять дней с начала заболевания, и матери, приводимые к нам конвоем для кормления их младенцев, вспоминали эти тяжелые дни — высокая температура, рвота, параличи, судороги.

Обеспокоенная родительница говорила врачу Наталье Максимовне:

— Сперва на щеках появился пузырьковый лишай. На него и внимания-то не обратили, но вдруг у Филиппа — жар, теряет сознание... Сегодня шестой день.

— Не считайте, — ответила Наталья Максимовна, — многие дети одолевают эту болезнь, хотя она и опасная. Малый упитан.

Я готовил очередной список на женщин, дети которых лежали в больнице, и позвал в дежурку мать Филиппа.

— Не Лиза, — едва слышно ответила она, наклоняясь ко мне, — бабы Лизой окрестили, а я Луиза, и не Кремнева, не Кремчук, а Кремер. Прошу называть Лизой.

Как и другим малышам, грудному сыну Луизы через каждые четыре часа по графику шприцем вливались лекарства.

Всех детей жаль, ко всем я был одинаково внимателен, и все-таки этот мальчик сразу запомнился. И при высокой температуре он в кроватке улыбался, тянул ко мне растопыренные пальчики. Носик пряменький, голубые глазки. Редко плакал. Может быть, еще и потому приглядывался я к мальчугану, что ждала его горькая судьба: как только исполнится ему три года, навсегда разлучат с мамой. Она мне сказала:

— Его запрячут в детдом для детей врагов народа, а меня из сельхоза отправят в лагерь со строгим режимом. Навечно расставайся со своим дитем. Разрешили бы трехлетних отдавать ближайшим родственникам, хотя бы и в ссылку. Спит получше теперь, если верить няне, снизилась температура. Гремит игрушкой. — Мать улыбнулась. — Двадцать два дня...

— Вашему хлопцу жить до девяноста лет.

— Зачем нам столько? Печали много. — Прижимала руки малютки к своему лицу. — Нам хоть прибавили бы здесь полчаса на свидания.

Держался настойчивый слух: эпидемия менингита закончится в конце весны. А скоро ли — конец весны? Снег лежал долго, как будто назло, однако теплый дождь его быстро уничтожил. За колючей проволокой серая ворона строила гнездо на голом дереве, роняя ветви; на красной вербе появились барашки; бабочки пролетали у нашего крыльца. Потянуло холодком, значит, где-то вскрылась речка или подтаивал лед на озере. Весна была на исходе, а смертельная детская болезнь не утихала.

Нетерпеливая белесая ворчунья, мать смуглого таджика с тонкими ножками, в любую минуту из-за пустяка с кем угодно готовая ругаться, повторяла:

— Мой поправлялся, когда первые бабочки летали. Стало ему хуже, когда зацвела мать-и-мачеха. Исколоты иголками руки и ноги, температура не падает, а уж в тельце сил нет.

— Не хори раньше времени, — успокаивала белесую няня Шура.

— Тебе передачи носят, а дальним какво? Каждую убаюкиваешь...

Я как-то в разговоре с няней удивился: белесая из вологодских, а родила от таджика. Няня рукой махнула: у той ранее был ребенок от чуваша. Блудливой бабенке где-то на пересылке удалась мимолетная встреча с азиатом, после которой при «легкой», бытовой, статье она рассчитывала досрочно освободиться как будущая мать, но замедлилась перевозка беременной из одного лагеря в другой, запоздала врачебная комиссия. Недоноском родился смугленький и сразу начал прихварывать. А у матери грудного молока не хватало. Луиза подкармливала его, а ворчунья злилась:

— Другим больше даешь, а моему пустые титьки...

Няня Шура мне рассказала:

— Вместе с вертихвосткой на сельхозе были. Она не столько работала, сколько в горячей золе пекла картошку. Оцепление общее, конвой где-то за лесочком, да и не его дело следить за тем, кто как работает, это бригадирский досмотр. Бросалась на меня там: живешь на передачах! На Лизавету: во всем виноваты фашисты! А Лизавета своим молоком и здесь кормит ее младенца. Там за чужие спины пряталась, и тут в мастерской плохая работница.

Умер маленький таджик. Черненький, кожа да кости. Мать как слепая бросилась на Луизу:

— Сперва твоей должен бы сдохнуть! Чё прячешь глаза? Стерва! Подстилка гитлеровская.

Няня Шура кинулась на белесую:

— Как тебе не стыдно? Лиза твоему ребенку грудь давала. И нам жаль малыша.



Обезумевшая женщина и меня обозвала фашистом. Я промолчал.

Потерять ребенка — это еще и потерять право на досрочное освобождение. Через неделю врачебная комиссия сактировала трех матерей, осужденных по бытовым статьям. Только неделю пожить бы исхудалому малютке!

Я работал в центральной больнице, куда отправляли тяжелобольных детей из сельхозколонии, с бесконечной дороги на Дальний Восток, чтобы сделать им лабораторные исследования, рентген. Дети-менингитчики занимали у нас маленький домик близко от колючей проволоки. Тихо, зелено. Высокая трава, как и всюду в зоне, запрещалась, но низкая, нетоптанная, окружала маленький домик, недаром край обширного двора в шутку назывался «дачным».

Жили да и работали матери больных детей рядом — в обширном бараке они чинили одежду, мешки, что-то шили, с нетерпением ожидая, когда им четырежды в день разрешат явиться под конвоем повидать своих малюток, покормить их грудью.

Встречал мамок обычно я: еще в коридорчике просил их надевать наши тапочки, не вносить узелки, мыть руки, а они наперебой спрашивали, как дети ели, спали, какая у них температура, дается ли сполна детское питание, привозимое с городской кухни. Луиза Кремер появлялась в своих тапочках, в чистом синеватом халате, повязанная белой косынкой; кормила грудью Филиппа и еще двоих.

В палате мамки пытались хозяйничать — передвигали кровати, чтоб не дуло из окошка на их ребенка или чтобы не было ему душно. Ссорились, толкали друг друга, выкрикивали слова, недопустимые в печати, ведь большинство из них были в прошлом воровки, проститутки, наркоманки, блатные разных мастей.

— Отодвинь кровать! Мой щенок, что ли? Стерва ты беззубая! Мой от законного, а твой выbleядок!

— Сроду законного у тебя не было! Хайло заткни. Грязнуха!

— Был законный! Век мне свободы не видать, если его не было. Фершал, останови ее, суку.

— Сама ты сука! Не размахивай лапами! Чучело!

Я просил женщин утихомириться, успокаивал их, шутил. Они, горластые, постепенно затихали около своих детей. Конечно, недовольны были тем, что дежурняк уводил их из нашего домика в строго установленное время.

— Не задерживаться! — командовал он. — Живее, живее! Не спорить. Стройся!

Утром, в девять, появлялась вольнонаемный врач Наталья Максимовна, брала из рук няни выглаженный халат и усаживалась на свое место, с виду спокойная. Я подносил ей на стол ребенка, она выслушивала его легкие, сердце, заглядывала в рот, писала в истории болезни. Затем я делал уколы — вводил чуть подогретую глюкозу. На руках венки с трудом нащупывались, легче было попадать в них иглой на висках, когда малыш плакал и они вздувались.

При врачах мамки не ссорились, не кричали на молчаливую няню, но и перед врачом старались показать, что они всегда сумеют постоять за своего ребенка; вникали в каждое слово, сказанное доктором.

Наталья Максимовна подбадривала их:

— Аптека наша лекарствами богаче городской, молочную смесь подвозят хорошую, консультации под руками, заботимся об освобождении вас. Тишина, воздух чистый, делается все возможное...

Врач рано заканчивала прием и уезжала домой, а мне приходилось оставаться с детьми, даже поздно вечером из большой зоны приходилось к ним делать вливания, уколы, давать порошки, чтобы не нарушить график.

Днем Луиза, выкраивая время, помогала няне Шуре подмывать сенки, пол у кроваток, особенно в дождливые дни, когда на половицах оставалась грязь. У Луизы была постоянная потребность добиваться порядка, чистоты: то советовала немного переставить кровати, то снять с окон занавески, постирать их, то у крыльца домика, под окошками, бралась за метлу. Призвалась мне:

— Глаза мои не глядели бы на беспорядок. Такая уродилась.

Присели мы на крыльцо. Дежурняк немного запаздывал. Вспомнили жизнь в других лагерях. Возник задушевный разговор под ласковым солнцем.

Птички подлетали к крыльцу, разыскивая корм, садились на гладкую полосу черного предзонника, тянувшегося вдоль колючей проволоки, отделявшей нас от «вольных» жителей.

— Быть бы мне птичкой, а сыну орленком. — Луиза рассмеялась.

— Я тоже иногда завидую птицам. Извините за любопытство, где отец Филиппа?

— Остановились у нас немецкие солдаты... — Поднялась со ступенек. — Охранник подходит. Завтра поговорим.

Через день, покормив детей грудью, Луиза на тех же ступеньках крыльца поведала мне:

— Думала-думала и все-таки решила пооткровенничать с вами. Семья наша — русские немцы. Далекий предок из Германии вывез на юг России большую ораву свою к вольготной жизни на черноземах. Жили, как говорится, не тужили. Ну, были неприятности в Первую мировую, а тут и Вторая нагрянула... Тяжкие дни. Утром вой моторов, треск мотоциклов. Стрельба. Крики. Папа был член партии, успел спрятаться, убежать к своим, а мы с мамой и маленькой сестрой остались дома... — Она смахнула мусор с шероховатой ступеньки.

— Сами сшили? — Я кивнул на добротные тапочки.

— Да. Научилась. Здесь многому научишься. Портниха. Доярка. Телятница. Полушубки пороли, и я из выброшенных овчинок смастерила меховую безрукавку — подготовка к морозам на Колыме... Как встретились? На пороге — офицер. Он показывает на свое горло — просит воды. Я отвечаю по-немецки — была учительницей немецкого языка в школе. И мама, она же немка! Боже мой! Он улыбается. Мягко поправил мамино произношение. Завязывается знакомство. А что делать? Расхваливал щи с кислой капустой. Немцы задержались у нас... Книжка со стихами при офицере. Скорее всего, он и сам писал стихи. Я, к стыду своему, современных немецких поэтов не знала, а он не знал наших. Ну, что еще? Обо всем не расскажешь. Простудился под холодным душем. Мама лечила его. Привыкаешь и к плохому человеку, а этого нельзя похаять. Любовь не знает границ, не подчиняется законам. Не будем вдаваться в подробности. — Дрогнули ее ресницы. — Если сын родится, велел назвать Филипп фон Цезен, был такой поэт где-то в семнадцатом веке, боролся за чистоту языка, писал романы, и отец моего сыночка тоже Цезен и тоже с особой любовью к родному слову. Трудно расставались. Зашемил мое сердце...

— Случай нередкий, — я задержал взгляд на притихшей Луизе, — но скоро и просто как-то...

— Он жил у нас три недели, занимался в комендатуре. В тех условиях это немалый срок. Язык! Стихи. Если я его не найду... Жутко подумать. Донос! Ребенок начал шевелиться во мне, когда орал следовательно на допросах. Суд? Какой там суд. За что судить? Особое совещание дало десятку. Вывезли на сельхоз, там родила. Многие матерей домой отпускали с детьми, если статья легкая. Встречала в лагере женщин — от врагов родили. А в Германии попозже немки рожали от русских.

— Он оставил вам свой адрес?

— Оставлял, но при обыске забрали его. Бумажка. На сельхозе мой Филипп заболевает — короткая, обычная история. Я уж вам только. Между нами.

— Не беспокойтесь.

Поправлялся маленький Филипп фон Цезен, сидел в кровати. Редко, но брал я его на руки.

Как-то, оставшись вдвоем с Луизой, я спросил, хочется ли ей уехать на сельхоз.

— Не очень. Да и Филипп не окреп еще. Переезд, передрыги.

Я задержал выписку мальчика.

Луиза, влажной тряпкой стирая пыль в процедурной с бутылочек, осиливала легко надписи по-латыни.

— Охота читать, а возможности нет. Я любила свой предмет в школе.

Осень подходила. Улетали птицы, побуждая мою тоску о воле. Луиза призналась:

— И я сильно печалюсь во время отлета.

— Как там в портняжной мастерской у вас?

— Шьем, порем. Начали готовить ватные брюки, телогрейки. Вологодская, у которой умер малыш, ходит на кухню с бачками и где-то сумела подцепить мужика... Освободится скоро как будущая мамка. Напеваает.

Матери под детские матрасы подстилали ворованные кофточки, юбки, мешки. Наталья Максимовна заметила это и велела немедленно выкинуть.

— Выбрасывайте на улицу! Гнездо заразы! Перестали бороться за чистоту, за порядок. В грязной обуви врываются в палату. Скоро здесь устроят конюшню! Скажу начальству, и за барахлом пришлют охранника. — Хлопнула дверью.

Няня Шура сказала мне:

— Сегодня она что-то не в духах. Ей тоже несладко живется. Мужа убили, похоронка была. Мальчику второй год. Доктор, а к ворожейке ходила в наш дом — живым показывался. Семья большая, бедновато живут. Она с нашей улицы. Может, знает меня, да признаться не хочет.

Мы с няней выкидывали из-под матрасов тряпье за порог. Пришел охранник, сложил вещи в большой мешок и унес за вахту.

Разозленные женщины ворвались в больницу.

— Фершал, зачем роешься в чужом добре? Выброшены юбки, кофты. Не за свое дело взялся! А Шурке космы выдерем. Загнездилась тут... Наши деньги взяты.

— Нам доктор велела. Приказ! — ответила няня. — Явился охранник с вахты и все забрал. А деньги он отдаст.

— А он не имел права входить в палату. Растревожили детей! Дунька, ударь ее по харе!

Шура ладонями успела прикрыть лицо.

— Бейте фершала. Он в постелях деньги искал! Где мои сто рублей?

— А мои двести из матраса взяли. Фершал ворует. Давно заметили. Тут не бывает обысков... Он шарит. Наел ряшку. Его место на тачке, в лесу!

Толкали меня в грудь, тянулись к горлу. Я отмахивался, хватал их за руки, отталкивал от себя.

Луиза помогала мне отбиваться; вцепились в ее волосы.

— Спала с фашистами. Потаскуха...

— Я не была потаскухой. Озверели! Ни в чем не виноват фельдшер! Ему велено очистить постели. И доктор ко всем внимательна... Не тянись к моему лицу. Зараза!

Били няню за плохой присмотр за детьми, за сожительство будто бы со мной. Она схватила из процедурной резиновый прут и начала стегать всех, как стегают кнутом.

С меня сорвали халат. Я смывал с лица кровь. Вдруг шум и крики сменились тишиной — в палате умер младенец. Мать прижимала к себе мертвеного.

— Господи, Господи, — повторяла она, — за что ты наказал меня?

Это была тихая женщина, мастерица шить одежду. Посадили ее, беременную, за какие-то провинности в колхозе. Ждала досрочное освобождение с ребенком. И вот малыш умер. Думала, спит младенец, а он уже остывал. Убитая горем, она спрашивала меня:

— Как же так? Ты где был? Вовремя укол сделал бы. Ты виноват!

Она из домика вышла с мертвецом на руках и кинулась к границе лагеря, к черному предзоннику. С вышки раздался выстрел. Мать хваталась за колючую проволоку. Еще выстрел. Луиза бросилась в предзонник и оттянула от коллочек потерявшую рассудок.

— Убьют тебя! — кричала Луиза.

Она отняла мертвеного у матери и вытолкала ее из предзонника, возвращаясь к нам. Шура потянула несчастную к домику. Конвоир участливо посмотрел на меня, покачал головой и скомандовал мамкам:

— Построиться! Разговорчики отставить! Кому я сказал? Взять ее под руку. Мертвого здесь оставить!

Я кое-как закончил рабочий день и явился в мужскую зону к своей постели, но не успел укрыться от любопытных. Что случилось? В бинтах лицо, шея, руки? Жалели меня, смеялись, шутили, советовали идти уборные чистить по старой привычке. «Липовый придурок! От бабенок не мог отбиться!» Грозный бригадир сказал, что он в бараний рог согнул бы шалашовок, они бы тихими стали. Ну, а посадят меня в штрафной изолятор или не посадят? А за что? А если свидетельницы найдутся: ударил кого-то из баб фельдшер. Не миновать карцера, общих работ. Вмешается оперуполномоченный, и запросто срок добавят...

— Да бросьте вы! — не согласился дневальный. — На общие пошлют — как пить дать, но срок не добавят. С бабами прощайся, в тачку запрягут.

Спал я тревожно. Не хотелось утром являться в детскую больницу, но дневальный советовал идти. Да и вызвали.

Наталья Максимовна встретила дружеской улыбкой.

— Не горюйте. Я уже говорила с главным врачом. Придет начальство — разберемся. Сменю вам повязку. — Мягкие женские руки прикасались к моему лицу, наматывая бинт.

Луиза внесла мальчика в процедурную, положила на маленькие весы посередине стола. Малыш немножко затемпературил.

— Бывает. — Наталья Максимовна скуповато улыбнулась Луизе, послушала дыхание малютки. — В легких чисто.

Луиза, чувствуя себя виноватой, сказала:

— Передвинули кровать поближе к окну, к свежему воздуху, сквозняка там нет, но еле заметно — прохлада.

Приехала начальница из лагерного управления по здравоохранению. В гимнастерке, в офицерских сапогах. Прошла в процедурную к Наталье Максимовне. Вскоре туда вызвали меня, няню Шуру и притихших мамок. Начальница выслушала жалобы матерей и сердито сказала:

— Фельдшер останется работать. — Оглянулась на меня. — Проситесь от вас, но пока заменить его некем. У Натальи Максимовны день короткий, а фельдшеру приходится задерживаться. Здесь он добросовестно выполняет свои обязанности. А тех, которые затеяли драку, придется успокоить в карцере. Порядок нужен.

Установилась гнетущая тишина. Мамки переглядывались; рыжеволосая крикнула:

— Мы тоже люди! Одна сидит за измену родине, а другая за два кило пшеничной муки. Ее ребенка фершал на руках носит, а на моего и косо не смотрит. Моему лекарство не то дает! Деньги украл. Жрет детское.

— Неправда! — ответила Шура. — Что доктором прописано, то и дает он. Деньги нашли под матрасами, отдали дежурному. В бараках бывают обыски, а у нас — нет, вы и прячете здесь деньги в постелях. Давно известно. Не ври. Фершал не пьет молочную смесь с городской кухни. Не придумывай!

— Ну хватит, хватит. — Начальница поднялась с табуретки. — Под матрасами прятать ничего не полагается. Слышали? До свидания.

— Отзвонил пономарь — и с колокольни долой, — сказала ей вслед рыжеволосая. — Прогулялась к нам по свежему воздуху. — Повернулась к окну. — А вон и дежурняк торопится за нашей гвардией.

Меня давила тоска, тревога. Уходить в бригаду, сказать правду, не хотелось, да и надо бы дождаться выздоровления малюток, привык я к ним, многих брал на руки — погулять. Но мысленно вспоминались крики разъяренных мамок, руки, тянувшиеся к моему лицу...

У Филиппа опять высокая температура. Мальчик дышал тяжело, раздувая ноздри. Я и к полуночи приходил делать ему уколы, чтобы строго соблюдать график.

Луиза едва сдерживала слезы.

— Боюсь я вашего пенициллина, лекарство новое, — сомневалась она.

Трое скандалисток, затеявших драку, отбывали пятидневное наказание в карцере. Дежурный приводил их к нам покормить детей; у одной молока была самая малость, и Луиза ее ребенку давала свою грудь.

— Поправится, — говорила она притихшей мамке. — Не злись. Тоже голубоглазый. А моему не легче, кризис пережил бы. Не высасывает и половины моего молока. Сегодня хоть припал к груди, а вчера и не потянулся. Сердце то часто бьется, то совсем затихает...

Через два дня Луиза пришла ко мне в процедурную и тихо сказала:

— Улыбнулся мой Филипп фон Цезен. Высосал молоко. Заснул. Попросили бы доктора отменить новое лекарство или дозы пенициллина поубавить. Боюсь отравы.

— Оно проверено. Подыметя парень.

Минутами позже я спросил: разве не могла Луиза уехать в Германию? К родным офицера, там бы и родила мальчика.

Заупрямилась ее мама. Да и наши войска вернулись внезапно в село. Цезен торопил Луизу уходить, но в хате оставались мама и сестра. На улице перестрелка. Дождь. Лучше не вспоминать... Успел он выбежать в сенцы, в сад под яблони, а на пороге был уже русский с автоматом. Она видела в тот день в селе всех убитых немцев. Цезен мог уйти раненый. Попасть бы ей на работы в Германию! Сперва не верилось в жестокость тех и других. Она не считала себя в чем-то виноватой. Ну родила от немца. Ну и что? Могла на допросе сослаться, что отец ребенка из русских — поди докажи! Родился парень — и слава Богу. Но чей-то донос...

Филиппу отменили уколы, оставив редкие вливания глюкозы небольшими порциями, что я с удовольствием и делал. Малый размахивал игрушками, цеплялся за мои руки.

Луиза взяла у меня сына.

— Думаю, снова на сельхозе поставят меня в доярки или в телятницы. — Она помолчала. — Раздобыть бы книжку стихов на немецком. Филиппа учить бы немецкому. Исполнится три года — отнимут хлопца... — Она пожалела, что на его теле нет родимого пятнышка — разыскала бы сынка по родинке на воле.

Увезли Луизу на тот же сельхоз, где она была ранее. По рассказам вольняшек, она снова доила коров, и, конечно, удавалось ей тайно понемножку поить коровьим молоком своего Филиппа.

Со стола из дежурки я унес очередного ребенка в палату, уложил в постель, недовольный тем, что няня отлучилась куда-то.

Наталья Максимовна заполняла историю болезни, поскрипывая пером. Мы были в комнате одни. Врач давно мне нравилась как женщина, но я знал, что за связь с зеком могли ее уволить или по какой-то статье осудить на три года.

Вдруг Наталья Максимовна встала, не дописав, подошла ко мне и сама нежно склонилась к себе мою голову, поцеловала меня...

Вскоре утром, перед разводом на работу, в барак явился нарядчик и велел мне вместе с двумя зеками, в чем-то провинившимися, идти на сопку могилы выдалбливать.

— Ошибка! — ответил я. — Фамилия перепутана.

Нарядчик повторил свое требование, а дневальный сказал:

— Путался с бабами, погорел, а прикидываешься дурачком.

Мрачная сопка с грубым низким кустарником. Стужа, ветер с моря, низкие облака, мокрый снег. Лопаты да и кирка скоро тупились о каменистый грунт, высекая искры. Даже конвоиру, сытому, в добротной шинели, тяжело было торчать здесь, а про нас и говорить не приходится.

Уставал, хотелось вернуться к детям.

Со временем меня снова взяли в большой корпус больницы дежурить по сменам, когда там была крайняя нужда в медицинских сестрах.

Редко видел я Наталью Максимовну и всегда при народе — словечком не перекинешься, но как-то встретились в безлюдном проходе между корпусами. Она сказала:

— Оправдалась я и вас оправдала... Няня Шура освободилась. — Поправила платок. — Закончился менингит, нет смертей... Вам сколько до конца срока?

— Много еще дюжить, как скрипучему дереву на ветру...

Поспешили расстаться, чтобы кто не заметил нас. Надо было бы спросить, нет ли известий о ее муже. Народ искал без вести пропавших на фронте, угнанных в Германию, спрятанных в тюрьмы, в лагеря, высланных на окраины отечества. Где-то мог затеряться и муж Натальи Максимовны.

Я вспомнил, как мы, зеки, работали на одной из станций Западной Сибири и видели в тупиках десятки скотских вагонов, заполненных людьми. Уходил один состав, его место занимал другой на запасном пути. Тут же, на местном кладбище, и хоронили несчастных немцев, крымских татар, ингушей, чеченцев, не вынесших тяжелую дорогу...

О жизни в стране мы знали из писем родственников — ведь не всегда контролеры вымарывали недопустимый для нас текст; знали из рассказов только что осужденных. Наконец, многое читали в газетах, как говорится, между строк; оттого и встреча моя с волей в конце срока, давно желанная, не была переселением в царство без печалей. «Вольным» намаялся тоже.

Прошли годы. Я был оправдан «за отсутствием состава преступления», восстановлен в Союзе писателей.

Однажды, вернувшись из командировки, отстукивал на машинке очерк. Телефонный звонок.

— Вы ошиблись, — ответил я в трубку. — Что? Да. Какая Луиза?

Сел к машинке. Снова звонок.

— Луиза Кремер? Дети? Как же не помнить! Вы — откуда?

Она звонила мне из отдела кадров Союза писателей. Нахлынуло прошлое. Больница, врач Наталья Максимовна, няня Шура, горластые мамки, конвой и большие младенцы...

В прихожей Луиза заменила ботинки тапочками, вынутыми из своей сумки, и следом за мной прошла на кухню.

— Чайку попьем, — сказал я, — там этого удовольствия не бывало.

— Сперва не хотели давать ваш телефон, а потом все-таки уговорила.

Она села за стол лицом к окну. Заметна седина в густой шапке волос. Исхудалые щеки. Два металлических зуба. Глаза грустные.

Помешивая сахар ложечкой в стакане с крепкой заваркой, Луиза, не торопясь, рассказывала о том, как освободилась и ей в захудалом городишке не давали паспорт. Живи в деревне. А как жить? В лагере утром получишь хлеб, три раза в день горячее. Постель. Последний год была медицинской сестрой при враче. Даже и в режимном женском лагере терпимо жилось, а освободилась...

— Коров пасла. Едва доверили.

Мне припомнился маленький Филипп фон Цезен, однако сразу не решился заговорить о нем.

— Приезжаю в село на родную улицу, — вспоминала она. — Домик наш занят. У соседей отцовское письмо. Разыскивает маму, детей. Я — самолетом к отцу. Его из армии отправили в трудовой лагерь, из лагеря — на поселение в Сибирь. Богатый колхоз. Отец восстановлен в партии, начальство в деревне. Не женился, но и нельзя назвать холостым. Домик. Сад, огород. Хозяйка вежливая, бухгалтер. Немка из высланных. Отдохнула бы я там на отличном питании, да что-то не пожилось. А маму и сестру я нашла просто. Попадает на глаза моей сестре статья в «Комсомольской правде» — похвалили за высокие урожаи Якова Кремера. Не отец ли? На письмо фатер телеграммой откликнулся. Он — Алтай, а мама — Омская область. Привез маме денег, продуктов мешок. Как они там неделю прожили — не знаю. Только не позвал отец маму в свой колхоз.

— Ну а Филипп? — спросил я наконец.

— С Филиппом я расставалась тяжело. К трем годам окреп на сельхозе. Куда его девать, если мать отбывает срок за измену родине? Он был единственной радостью моей. — Луиза нахмурилась, платком коснулась глаз. — Нашлись два Филиппа в детских домах. Черноглазые! Я бы своего — светло-голубые глаза — из сотни узнала. Ему пошел четырнадцатый. Лагерные детские дома — тайна, а в обычных документы слабо хранят. Продолжаю разыскивать, приехала справки раздобыть.

— А отец его?

— Писала и в Берлин, и в Лейпциг, это теперь Демократическая Республика... Или в другой стране он, или, как у нас говорится, пропал без вести.

## ЖАРИЛКА

**С**анитарный врач пригласил меня работать в бане, а вернее сказать, в дезинфекционной камере при ней.

— Житье отдельное. Угол свой. Нужен мне в жарилке человек.

В лагере часто бывала проверка заключенных на вшивость. По воскресеньям людей не беспокоили, но в будни, когда в бараке оставалось с десятков освобожденных от работы и двое или трое дневальных, вдруг являлся к ним помощник санитарного врача, а то и сам врач. Если находили у кого-нибудь вошь или гнид в рубцах рубахи, то всех немедленно отправляли мыться. Зеки возмущались — из-за одного завшивленного в баню вели весь барак, человек сто пятьдесят. Виновника ненавидели, матерно ругали. Дело доходило до драки, потому что во время мытья в бараке, как правило, производился тщательный обыск — «шмон», и перед этим надо было куда-то спрятать ножики, лезвия бритв, стакан со сливочным маслом, если ты сумел его раздобыть, даже веревочки — предполагалось, что заключенный может удавиться. Проверяющие перевертывали и нередко вспарывали матрасы, подушки, одеяла и, естественно, оставляли все в беспорядке.

Главное заключалось не в мытье (была теснота, не хватало воды, мочалок, крошечные кусочки мыла), а в прожарке одежды заключенных в дезинфекционной камере. Одежда попадала в раскаленный воздух и минут двадцать выдерживалась при температуре до 120 градусов Цельсия.

Дезокамера — сруб размером пять метров на четыре, поставленный в землю, внутри обмазан толстым слоем глины, с крышей, поросшей лебедой, польнюю, цветущей ромашкой. Два входа в камеру с двух торцов ее. Десять ступенек в землю. В яме — печки, а от них протянуты широкие трубы — накаливать воздух. В одни двери вносили одежду, надетую на обручи. Тут висели рубашки, кальсоны, брюки, фуражки, а зимой — бушлаты, ватные штаны. Нельзя было только прокаливать меховые и кожаные вещи.

Обруч подвешивался на протянутые ряды проволоки так, чтобы одежда не касалась раскаленных докрасна труб, тянувшихся вдоль стен камеры. Закрывали плотно двери, сухие полешки подкидывались в печки — топки их были в коридорчиках. Сильный жар шел в трубы камеры.

В стене за стеклом находился градусник, вделанный в камеру. После загрузки одеждой температура поднималась там до 40 — 50 градусов. Трубы нагревались, и через несколько минут прожарки температура достигала 70 — 80 градусов, а затем доходила до 110 — 115 градусов. У меня были песочные часы, и по ним я устанавливал, сколько минут — обычно двадцать — полагалось держать вещи, чтобы избавить их от насекомых.

Едва начинало пахнуть паленым, мы с напарником открывали двери камеры с обеих сторон. Теперь самая трудная работа была у него. Я-то ведь заносил в камеру холодную одежду, а напарник мой, обливаясь потом, в толстых рукавицах выбрасывал ее наружу, на свежий воздух, боясь обжечься о горячие кольца. Иногда, если бригада давным-давно помылась и спешила одеваться, я помогал ему.

Работа в жарилке была не из легких. Каждый день напили дров, выгребли золу из печек, слегка подмети в камере, проверь укрепленную проволоку, на которую мы навешивали обручи.

Кстати сказать, сухой накаленный воздух оказался целебным. Через какой-то месяц я вылечился от болей в суставах, исчезла простуда.

Напарник часто злился на меня — я был слабее, вяло тянул пилу, не мог легко расколоть суковатые полешки. Не скрывая, он презирал меня, но не смел сказать об этом, потому что в мою каморку заходили санитарный врач, зав. баней, а к нему не заглядывали. Я по-дружески настраивался к сильному напарнику, со вниманием слушал его рассказы о казачьем житье-бытье, о войнах.

— С восьми лет в седле, боронил, пахал, но тянька не подымал меня рано — поспи при восходе солнышка... Умылся студеной, помолился... Да, брат, была Расея, но много с тех пор воды утекло, — говорил он. — Был я с одним в бригаде, из ученых он... Винил во всем евреев — власти добивались, а после сами же себя и опозорили... Москва истребила казака и крестьянина...

Первое время я жил на пайке 550 граммов и на обычной баланде. Пожаловался всесильному нарядчику: пот ручьями, воды пью много. Хотелось покушать. Пайку бы увеличить! А тот назвал меня «придурком».

— Да что вы! Обыкновенный работяга. Придурки не ходят на кухню с котелком.

— Куда там работяга! Обыска тут не бывает. Живешь под защитой санитарного врача. Хозяин жарилки. Свой уголок. Раскинь мозгами, растяпа. И напарник дурак, хотя и не глупее тебя.

— Не понимаю что-то...

— Да ну тебя! Шибко грамотный! Не мое дело учить. Дворец занимаешь!



Дворец? Какие же выгоды от дезокамеры и от печки? Шарить по карманам? Но в карманах ничего не найдется, кроме щепотки табака, да и не засуну я руку в чужой карман. В чем же мои выгоды?

Около кухни из раздаточной бывший грузинский нарком Лева вдруг дал мне два черпака баланды, сохраняя при этом строгое лицо, да еще сказал, чтобы слышали стоявшие за мной в очереди:

— На двоих даю. С напарником. — А меня тихо спросил: — Дарагой, ты в дезокамере работаешь? Я зайду к тебе.

В этот же день Лева спустился ко мне в маленькую пристроечку, устроенную поблизости от печки, присел на топчан.

— Как существуем, дарагой?

— Понемножку, — ответил я и подумал: «Чего это он вдруг явился?»

— Что читаем? — Взял книгу с моего столика, полистал. — Тургенев. Проходили в школе. — Откинул книгу, наклонил голову, облокотился. — Дело вот в чем, дарагуша. Послезавтра моются женские бригады. Одежду на прожарку будет носить красивая девушка — черные брови, алые губки. Я хотел бы с этой девушкой встретиться в твоей землянке.

— С женщиной? В жарилке? Я этим не занимаюсь.

— Ты, извини, кушать не хочешь? Рыцарь?

— Лева! — Я рассмеялся. — Там сто градусов.

— Сто нам не нужно, но спешить придется. Как только выгрузите все вещи, сколько там бывает?

— Сорок — пятьдесят, на полу, может, и поменьше.

— Это нас устроит, дарагой. А если пустить сквознячок? Нам бы градусов двадцать. — Он подкрутил усы.

— Видишь ли, трубы не остывают скоро, да и нельзя остужать камеру перед загрузками. Заметят, придется объяснять.

— Пусти сквознячок, дарагой. Оставь мне на земляном полу градусов тридцать.

— Погорим, слушай.

— Попробуем согрешить, дарагой. — Он улыбнулся.

Пятьдесят женщин мылись в бревенчатой бане — говор, стук шаек, плеск воды, пар под потолком; да пятьдесят в предбаннике толпились голые, недовольные парикмахерами.

— Становись ближе! — требовали мастера, держа бритву наготове. — Лицо склони. Руки поднимай. Под мышками! Лобок! А пора и голову остричь. Да мне-то что, но привяжутся к твоим космам. — И уже стрекотала машинка, оставляя на голове светлые полосы.

Распахнулись двери. Вошел заведующий баней Федор Иванович Шишкарёв, предупредил, что брать можно только по две шайки воды.

— А если волосы длинные?

— Если уж слишком лохматая — две с половиной шайки. Мыло нарезано — всем хватит.

— Поторапливайтесь! — кричал я пожилым, исхудалым теткам, подносящим одежду. — Тепло падает. Часто распахиваю двери.

— Раздетых сразу две бригады! — оправдывались они. — Колец не хватает. У тебя дрова сырые. Жару мало. Тянешь резину.

— Плотно закрыл дверь! Всё! Камера заполнена.

— Эй, ты! — крикнули мне. — Смотри не пережарь. Подвешивай подальше от труб. Мы не вшивые.

Я обеспокоенно думал: «Не придет она, наверное. Хотя и есть способы отлучиться: одна заключенная попросилась у самоохранников в больницу — сто шагов до хирурга! — другой потребовалось встретиться с нарядчиком, третьей взять газеты в культчасти... Сорвутся мои добавки с кухни. А может, Лева занят. Чистит поди картошку».

— Еще два узла! — Ко мне спустилась по ступенькам чернобровая де-вушка лет двадцати пяти. — Последние! — Передавая одежду на кольце, она улыбнулась: — С тобой говорили? О камере?

Я кивнул.

Подкинул в топку сухие дрова, увеличилось пламя, стало быть, в зем-лянку сильный жар хлынул, и я посмотрел на градусник, видневшийся из камеры через узкое стеклышко. Ртуть подымалась по столбику. Восемьде-сят градусов, девяносто, сто, снова восемьдесят.

Вышел из полуямы по ступенькам и с другой стороны крикнул на-парнику:

— Сухих подбрось! Огня мало!

— Успеем! Не торопись. Осиновые кругляки попались. Отдохни. А мы при чем тут? Начальство о сухих не позаботилось!

На градуснике — сто, сто десять. По песочным часам прошло пять ми-нут. Трубы, разумеется, накалены, горячий воздух добирается до рубашек, висящих на кольцах, проник в рукава телогреек. «Не пережарить бы, не сжечь чего-нибудь». До меня одного старательного зека сняли здесь с ра-боты — сгубил узел одежды, близко подвешенный к раскаленной трубе.

Красавица явилась, когда мы выгружали одежду из камеры — было градусов семьдесят на термометре, а следом за ней вошел бывший грузин-ский нарком Лева, нырнул в мой полуподвальчик и закрыл двери. Я подумал: «Сгорят» — и поубавил жар в печке. Боялся дежурняка, считал мину-ты, выскакивал по ступенькам наверх — оглядеться. Опасное занятие, но как без него, если не хочешь голодать? Отказать Лева — это поссориться со всеми поварами, а они добьются — потеряю дезокамеру. Придурки крепко спаяны между собой...

Появился заведующий баней Шишкарев Федор Иванович. С порога громко спросил:

— Дела идут? Держишь температуру?

— Держу. Дрова сухие.

— Будь молодцом. — Он спустился по ступенькам ко мне, заглянул на термометр за стеклышком в камере. — Бабенку потеряли. Ускользнула. Могут к тебе сунуться.

— У меня не бывают бабенки.

— Да я так, на всякий случай. — Он поднялся по ступенькам и что-то кому-то сказал.

Красавица высунулась из жарилки мокрехонькая, но я спятил ее и за-хлопнул дверь, выпустил, только когда убедился в том, что Федор Ивано-вич ушел.

— Господи! — сказала она. — Пот градом. Дайте глотнуть воздуха! Жа-рища. Умереть можно. А что, наших еще прожаривают? Обалдела. Пекло!

— Сматывайся живо. Схватят — платок потерял, скажи. За платком прибежала.

Выбрался из камеры и Лева со своим пиджаком в руке, с мокрым ли-цом, похожим на сталинское.

— Успела она убежать? Обливаюсь! Просил сквозняк. Сколько на гра-дуснике?

— Пятьдесят пять. А у вас на полу было примерно тридцать.

— Там еще кто-то пыхтит. До жути темно.

Появился дежурник из вольняшек. Я обомлел, ноги подкосились. «Ну, влип. Конец».

— А ты чего здесь, Лева? — спросил он.

— Лечебные ванны. По совету доктора накаленным воздухом ревма-тизм изгоняю из суставов. Очень помогает.

— Знаем. Но ты принимал бы суховоздушные ванны, когда мужики моются, а не бабье. Слушай, банщик. — Дежурник обратился ко мне. —

Потеряли шалашовку. Хитрая сучка. Черненькая, курносенькая. Носила вещи. Как сквозь землю провалилась. А ты, Лева, уходи от греха подальше.

— Виноват. Исчезаю. Болели суставы. Ночь не спал. Дай обсохнуть маленько.

Дежурняк погрел колени у топки и ушел, а Лева сказал мне:

— Так и объясняй всем насчет меня. И самому зав. баней... Утром зайди на кухню пораньше.

Был лишь только подъем по лагерю, к раздаточным окошкам еще не успели подойти за баландой, а я уже появился здесь. Лева дал мне густую баланду и два маленьких пирожка, которые по одному давались на общих работах только тем, кто выполнял норму на 120 процентов.

Конечно, женщины не часто мылись, и Лева скучал о своей красавице. Порой случалось ей вырваться из женской зоны, и она спускалась в мой полуподвал, а я отправлялся на кухню за Левой, а потом дежурил у дверей дезокамеры, и при виде вольняшки охранника немедленно предупреждал их словом: «Атанда!», означавшим приближение опасности.

— Только не впутывать меня, — отнекивался напарник. — Ты запустил, ты и выпускай. Отгораживаюсь.

— Но и ты не безгрешен.

— О себе заботься.

Кроме пирожков у меня неожиданно появился еще прибыток. Заключение из местных получали в передачах сырую картошку, а сварить ее было негде. А у меня — печка, дрова.

Однажды несмело заглянул мужичок с котелком.

— Свари, будь другом, возьмешь пару крупных. В бараке не разрешают, да и всех не угостишь. На маленьком огоньке. Не заметят.

— Только не торчи тут.

Я разжигал мелкие дровишки в печке, и мне доставалось две вареные картофелины.

Вскоре я стал хранить под своим топчаном и передачи некоторых зеков.

В мою половину дезокамеры медленно по ступенькам спустился заведующий баней Федор Иванович Шишкарев, выбритый, в отглаженной курточке, при галстукке, в начищенных ботинках. Галстук на зека я здесь только у него и видел за много лет неволи. Немалое произошло Федору Ивановичу, может быть, потому, что к нашей бане он «прирубил» завидное отделение для вольняшек — «дворянское», как мы его называли. И банщик для вольных содержался особый — бровастый Алиев, мастер попарить венником важного начальника, помять его вялые мышцы.

— У вас всё в порядке? — спросил Шишкарев меня. — Трубы, дрова? Не забудь мыть баб. В своей бы им зоне баньку поставить. Придурки нагрянут, попрягут блядушек. Увели ее, укрыли, а я при чем тут? Я не охранник, мое дело — вымыть горячей, прожарить. Надоело. Устал. Новостей давно нет. Должны бы нас освободить после войны. Ты как думаешь? Смеешься?

Я угостил заведующего баней вареной картошкой, сказал, что отдохнул здесь после общих изнурительных работ.

Мы разговорились. Он донской казак, бывший белый офицер, уверял, будто бы поблизости от Кяхты или в Наушках с 1937 года строил железную дорогу в Монголию и в одной бригаде с ним был шолоховский Григорий Мелихов.

— Он выдуман, — сказал я.

— Как же так выдуман, когда он был со мной? Чернявый, с большим носом, гонял тачку с землей. А в другой бригаде где-то, слышал я, вкалывал Давыдов из его романа, но в этом не уверен.

Я заметил, что зеки часто рассказывали, будто видели они где-то в лагерях знаменитых писателей, ученых, врачей, взятых по «делу Горького».

— Брали за происхождение, — убеждал Шишкарев. — Чуть не сплошь донское казачество посадили, а уж тех, которые были в белой армии... — Он махнул рукой. — Мелихов у красных командиром не был — это придумал Шолохов. Писателя зажали в клещи, но в то же время и приласкали, и он от страшной правды о казаках оставил в книгах рожки да ножки. Как было? Сперва распорядились уничтожить казачество. поголовно расстреливали. Потом кто-то объяснил доморощенным и приезжим палачам, что казаки — это те же крестьяне — Дон, Кубань, Терек, Урал, Сибирь до Китая. В казаках были и башкиры, татары, даже раскольники. Что делать? — Федор Иванович подтянул узелок галстука. — Садить в тюрьмы? А при царе тюрем построили мало. Погнали в лагеря под открытое небо, за колючую проволоку.

Шишкарев помолчал, обвел глазами тесноту коридорчика и вдруг спросил:

— А как жили казаки? Свобода! Станичный сбор большинством голов решал всякие дела. Атаман за порядком наблюдал. Уйма хлеба, скотины — и дед и отец. Своя лошадь, свое обмундирование, а винтовка и сабля — от казны. Во многих станицах грамотность являлась обязательной. Теперь если подряд неурожай два лета — неизбежная голодовка, а тогда запасы зерна в станичных амбарах...

— Бывали запасы, — согласился я, — а как не стало их, в селе у нас из такого амбара клуб устроили — веселиться бросились.

Шишкарев опять вернулся к разговору о шолоховском герое. Будто бы он в лагере с настоящим Гришей Мелиховым в одной бригаде шпалы укладывал на Монголию.

— Ветер. Стужа, — рассказывал он. — Холодный дождь. Гоняем тачки с землей, а над нами висит лозунг — по красному кумачу белые буквы: «На трассе дождя нет!» А он идет... Косточки казачьи остались там. Выжили кто? Сапожники, портные, парикмахеры, пекаря, повара, а не работяги...

— Помню, обнаружили сыпняк. А дезокамеры нет. Мелихов предложил бочку, как было в войну.

Большой котел вмазали в печку, над котлом — пузатая бочка. В нижнем дне ее просверлено с десяток отверстий. Вода в котле закипела, и пар через эти отверстия попадает в бочку, а в ней развешана одежда. Верх бочки наглухо закрывают крышкой. Через несколько минут паразиты погибают в горячем пару.

— Просто, — сказал я. — Могло быть и за тысячи лет до нас.

— А сколько можно в бочку повесить одежды? Тридцать рубах? — Он поднял брови. — А заключенных, начиная с двадцать девятого года, — миллионы... Засиделся я тут. А чего это к тебе Лева забегал? Бывший нарком Грузии? Проныра.

— Просил куртку прожарить.

— Врешь. Я-то знаю Леву насквозь. Ищет место с бабой встречаться. Она жила с хлеборезом, тот попал в сельхозколонию. Гулящая была на воле. Братя на войне, а она водкой спекулировала. Придумает же — куртку прожарить.

— А мне долго ли прокалить ее...

— Для кухни часто уютжат куртки. Зачем врешь ты? Он выкрутится, а тебе — тачка, лом. В прошлом году его на кухне с девкой захватили. За мешками с крупой. Отсидел в изоляторе...

Я подумал: «И сам ты грешнее грешных. Отгородился в каморке, влез в доверие к начальству — сквозь пальцы смотрят, что твоя под боком в медсестрах...»

Шишкарев, словно бы угадывая мои мысли, сказал:

— Был тут у нас историк, держал я его в банщиках из жалости, любил он повторять о людском неравенстве: что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Юпитер — бог какой-то в древности. Ему, понимаешь, многое было позволено, как начальникам нашим, а быку — ничего. Скотинка в упряжке мы. Историк неважно мыл пол в бане, силенки не хватало дрова пилить, но подкармливал я его. Он родом из казачества, а у меня в штате половина — донские и кубанские...

— Кладовку не устраивай при жарилке. — Федор Иванович поднялся с топчана. — Оба пострадаем. В прошлую осень взял я из доходяг донского казака к этой печке, а он тут приятелями обзавелся. Кладовка продуктовая, поблядушки забегают. Бардачок у Петра Платоныча. Загремел старый казак. Не попади в изолятор, на общие... Живи с оглядкой. — Он ушел.

Ночью к нам привезли заключенных, которых поселили в старый приземистый барак с решетками на окнах.

Утром разнесся слух:

— Изменники Родины! Сидят в буре.

Буром назывался барак усиленного режима, где некоторое время находились эстонцы, латыши, литовцы перед отправкой их в дальние этапы. Заключенные в нем после работы не имели права выходить в общую зону, на спинах у них имелись крупные номера, заменявшие фамилии.

Я, как и другие, поверил, что привезли действительно каких-то изменников, похожих на зверей. И пошел посмотреть в окошко бура.

— Ну что ты уставился? — спросил меня молодой человек. — Живешь тут как на курорте. Небось и бабенку имеешь. А мы побывали на передовых, в окружении, едва к своим вырвались. У тебя какой пункт?

— Десятый.

— Болтун. А у нас самый трудный пункт — измена Родине. Москвич? А я из Тулы. Земляки. Принеси маленько хлеба.

— Как я тебе его передам?

— Найдем способ.

Я принес бывшему солдату полпайки хлеба и поговорил с ним.

«Буровцев» мыли в бане. В раскаленной камере прожаривали гимнастерки, солдатские брюки, фуражки.

— Продай мне сапоги, — предложил я своему знакомому. — Все равно с тебя их снимут. С меня в свое время сняли отличные ботинки.

— Пожалуй, — согласился он.

Сапоги у него были с блестящими голенищами, покрытыми лаком, — в них можно было смотреться, как в зеркало.

— Откуда?

— С немецкого офицера.

— Как это случилось?

— Проще простого. Он попал в мои руки, лепетал что-то. Вежливый. Я снял с него сапоги и отдал ему кирзовые ботинки.

Мы начали торговаться. Я предложил ему три пайки по 550 граммов, из них две — пропеченные горбушки.

— Тебя все равно обдерут как липку. Я уже испытал это после того, как в московской одежде попал в лагерь. Если что-то хочешь сохранить, приноси ко мне. Что можно, то засунем в мой матрас или подушку.

Он подал мне сапоги и надел мои рабочие ботинки, которых у меня имелось две пары.

За неделю он получил от меня три пайки, а я упрятал в матрас его заграничные рубашки и френчик. Мы стали друзьями. Я заходил к нему в барак, потому что встретил там москвичей, засиживался у земляков, вовсе не похожих на изменников Родины.

Однажды в мое отсутствие — я ушел навестить своего приятеля — Леву с его красавицей застали в холодной дезокамере. Виновником их укрытия посчитали моего напарника — при обыске нашли у него немалый запас махорки, лука, картошки; он клялся, что добро это выменял на хлеб, что не знаком ни слевой, ни с его чернобровой, но блюстители порядка тут же увели в карцер моего напарника и Леву, а девушку выдворили в женскую зону отбывать наказание.

Дежурный сгоряча посадил и меня в изолятор на десять суток, но через два дня освободил. Оказывается, меня выручил санитарный врач из вольнонаемных, с которым я ранее поработал в зоне: кому-то из начальства сказал обо мне...

Федор Иванович при встрече улыбнулся:

— Доктору скажи спасибо. Не имей сто рублей, а имей поддержку из вольнонаемного начальства. Не могут придурки жить без баб. Конечно, страшного не случилось, но все-таки передрыга. Окно разбито, дует в коридорчике. Напарник твой пострадал напрасно. Поставлю его после карцера на прежнее место. Работяга отменный. Доктор согласился.

Леве пришлось отсидеть в карцере десять дней, расстаться с кухней, но друзья взяли его дневальным в маленький барак придурков, и он был сыт, много спал и даже находил возможность встречаться со своей красавицей. Раза два они благополучно заглянули ко мне в камеру.

— Хитрая, живучая нация. Накручивает усы, — завидовали Леве заключенные. — Редко увидишь в оглоблях грузина, бакинца, узбека, если он раньше начальником был.

Федору Ивановичу родные переслали письмо сына, полученное с фронта. Шишкарев показал мне его и хмуро взглянул на газету — в ней рассказывалось о сильных боях. Дрогнули плечи его, глаза набухли. Я сказал:

— Ваш на другом фронте.

— Похоронки присылают со всех фронтов. Бывал и я в зубах у смерти. Молился. В молодости сомневался, как это так Бог с крыльями сидит на облаках, или Христос воскреснет и будет жить вечно, если у него такое же людское тело, как и у нас. Распят, гвоздями прибит ко кресту — и вдруг ожил, вознесся в Царство Небесное. С товарищем сомневались, его в бою прикончили красные, а я живу. Молюсь в мыслях. Христа признаю. Сын единственный, спаси, Господи, его.

— И у меня брат на фронте, — сказал я. — Куда денешься от беды?

Из дневальных Лева вернулся к ремеслу парикмахера, приобретенному еще в первые годы заключения. В банные дни он теперь стриг и брил работяг, бранился с ними, а в иное время в комнатке-парикмахерской, пристроенной к бане, в его кресло садились настоятельные придурки: нарядчик, помощник нарядчика, повара, пекаря и сами вольняшки, даже начальник лагеря. Разумеется, у Левы всегда были лучшие одеколоны, добытые в городе через расконвоированных.

Придуркам стоило недешево побриться у Левы, но с вольняшек он не брал — расплачивался лишь санитарный врач: подсовывал деньги под широкое дно мыльницы. Вольные блюстители режима, часто брившиеся у Левы, делали вид, что не знают о его встречах с красавицей, прощали ему длинные волосы, роскошные усы. Могли даже сказать: «Здравствуй, Лева!» или «До свидания, Лева!», а другого из нас и не замечали, если не нарушал он режима.

Прошел слух: готовится этап в дальнюю дорогу. Конечно, Леве нечего было беспокоиться, ведь он не молод, имеет по врачебной комиссовке легкий индивидуальный труд, но отправляли в этап сотни две женщин, и сре-

ди них оказалась его возлюбленная. Об этом Лева узнал от главного нарядчика, сидевшего в его парикмахерском кресле.

— Лева, друг, ничего не могу сделать. — Нарядчик, довольный своим лицом, смотрел в зеркало, поглаживая выбритый подбородок. — Я бы вычеркнул, но этот список во многих экземплярах у начальства. У бабы первая категория труда, молодость, большой срок, да еще не раз нарушала режим. Сам попробуй спасти.

Лева ночей не спал. Улучил минутку переброситься словом с возлюбленной. Что делать? Напиться зелья, лечь в больницу? Отрубить пальцы на левой руке?

— Да что ты, милая, — уговаривал он. — Я вырвусь туда, где ты будешь. Я до последней минуты жизни не забуду тебя.

Парикмахер поговорил с врачом, тот развел руками, а другие посоветовали красавице лечь в больницу с опасным расстройством желудка.

— Угроишь ты ее. Останется калекой, с язвой. — Федор Иванович прерывал тяжелое молчание Левы. — Да какой она цветок? Найдутся еще... — Он сказал непечатное слово. — Без баб скука, я понимаю, но мужику терять рассудок...

Лева решил на крайнюю меру: поговорить с начальником лагеря или даже управления, который с десятков раз брился у него, не расплачиваясь. Заикаясь, он попросил начальника лагеря освободить от этапа такую-то. Начальник слегка улыбнулся, не сказав ни слова. То ли поможет, то ли нет — Лева растерялся.

...Дня за три до отправки этапа красавицу положили в больницу с расстроенным желудком. «Дело надежное!» — Лева сиял.

В назначенное время этап не состоялся. Вероятно, высокое начальство, недовольное малым числом этапников, еще потребовало людей из нашего лагеря.

Нас осматривали на площади. За столом, покрытым красным сукном, сидели трое врачей в халатах и важный начальник лагеря, сдвинувший картуз на затылок; тут же суетился угодливый нарядчик с бумагами, которые пошевеливал ветерок. Заключение толпилось несколько сот. Каждый вызванный подходил к столу, обнажал грудь, врач бегло выслушивал легкие, а затем нужно было повернуться спиной и спустить штаны, чтобы они убедились в том, что у тебя мягкие ягодицы, а не «верблюжий» или «коровий» зад, как еще говорили мы. У Левы оказался отличный зад, по округлости почти женский. Я спустил штаны поблизости от начальника, и он тросточкой прикоснулся к моей заднице, похвалил ее, но врач, знакомый мне, сказал:

— У него слабые легкие.

Слова врача и спасли меня от этапа.

— ...Велели, — при мне оправдывался нарядчик перед Федором Ивановичем. — Она остается в списке. Возьмут из больницы. Мало нашлось подходящих баб. В женской зоне всего человек десять добавилось будто бы. Самим нужны работяги, едва управляемся с планом.

Наконец подготовленных к этапу, строго стоявших в четверках, вывели за зону. Сперва — мужчин, а потом — и женщин. Мы с Левой стояли рядом, он с замиранием сердца провожал женщин. В предпоследней колонне была его любовь.

Не позволялось нам перекликнуться со знакомыми, жест не допускался. Федор Иванович сказал мне:

— Молодых собрали. Колыма ждет. Лева совсем загоревал, седые брови лохматятся, потерял разум. Здесь жгучая любовь! А у меня большая радость. Считали сына погибшим — долго весточки не было. А сегодня писулька из дому: жив! Лишь бы жив, а костыли дело десятое. Домой ждут. А твой брат в пехоте?

— Нет известий...

— Тсс. Начальник подходит с помощниками. Не бит. Хмурится. Вчера закончились последние свидания, и многие придурки загрустили. Нигде на свете нет такой горячей любви, как в лагере. Последний кусок хлеба разделит бригадир со своей зазновой. Совьют уголок. Уют ищут. Вдвоем в горе жить веселее. По вечерам хлебают из одной чашки за плотной занавеской. Каждую минуту жди беду, если не стерегут тебя шестерки или дежурняк не ходит по баракам в доску свой.

Отряд женщин был уже у ворот, конвоиры заняли свои места, нервничали собаки перед неблизкой дорогой.

Вдруг мы увидели, как Лева подошел к вахте и стал о чем-то умолять начальника лагеря.

— Можно! — громко ответил начальник, подозвал нарядчика и сказал ему, чтобы женщину, о которой просит парикмахер, вернули в зону, а парикмахера отправили в этап.

— Гражданин начальник, но парикмахер не подготовлен, у меня нет его дела.

— А его готовить не нужно, он чистенький, дело его вы принесете, я думаю, минут через десять.

Смертельная бледность покрыла смугловатое лицо Левы, он зашатался, едва устоял на ногах. Принесли дело, и Лева, спотыкаясь, вышел за зону, примкнул к последней четверке.

«Боже мой! — подумал я. — Ему пятьдесят два, какой же он работяга? Восемь лет из своих десяти он уже отмотал. Ну, допустим, довезут до бухты Нагаево, рядом с Магаданом, но куда же его отправлять на золотые прииски? Самое большее, он на двадцать третьем километре трассы попадет в больницу, а затем либо снова вывезут на материк, либо он там с биркой на ноге закончит свои бедствия, хорошо, если в деревянном бушлате, а не в общей могиле».

Остается добавить, что красавица вскоре начала встречаться с помощником главного повара, и он сразу заказал ей туфли у сапожника и жакетку у портного.





КИРИЛЛ ЯКИМЕЦ

\*

## ОКНО В АМЕРИКУ

**П**равь, Британия! Между глобализацией и американизацией сегодня модно ставить знак равенства, однако Америка — лишь эпизод, пусть и значительный, в жизни сложившегося глобального Pax Britannica, как Византия явилась лишь одним из эпизодов существования Pax Macedonica.

Империя Александра Македонского, как ни парадоксально это звучит, просуществовала дольше всех европейских империй. Просуществовала, правда, не в качестве формального образования, но в качестве «культурно-исторического типа». Менялась доминирующая вера, менялся доминирующий народ, но империя жила — вплоть до того момента, когда ей положили конец англичане. Англичане создали империю почти столь же недолговечную в формальном смысле — и столь же вечную по сути.

Чтобы понять причину этой вечности (и этой недолговечности), следует сразу указать на неточность термина Данилевского «культурно-исторический тип». Здесь правильнее, вспомнив о шпенглеровском различении культуры и цивилизации, говорить о «цивилизационно-историческом типе» или даже о «техничко-историческом типе»: культурное своеобразие Македонии (и Англии) сложнее поддавалось экспорту, нежели методики имперского управления, — хотя бы потому, что методики эти «достраивались сверху» к управленческим системам покоренных народов. Образовавшийся в результате скелет спокойно перенес приход (и уход) византийского православия, равно как замену греков римлянами, арабами и турками. Англия выстроила подобный же управленческий скелет: английский язык сегодня стал языком международного общения, причем общения в первую очередь *делового* (как в свое время и по сходной причине языком международного делового общения стала латынь); английский («европейский») стиль государственного устройства принят в большинстве стран — включая те страны, которые пытаются противостоять глобализации. Разница между монархией и республикой, между диктатурой и демократией, даже между членством в международных организациях и непризнанием этих организаций — все эти нюансы меркнут на фоне прогрессирующей глобальной унификации социальных технологий.

Да и не только социальных. Технологии по самой своей природе, «объективно», стремятся к унификации.

**Почему британский мир стал американским?** Искусственная среда, выстраиваемая человеком, требует единых стандартов, и доминирующим в этой среде становится общество, наиболее склонное к стандартизации всего и вся. Америка, сочетающая индивидуализм и конформизм, как нельзя лучше подходит на роль такой доминанты, тем более что Америка — прямое порождение Pax Britannica, не обремененное британской культурной спецификой.

Тут следует остановиться на невозможном, казалось бы, соединении индивидуализма и конформизма. Ничего невозможного в этом нет. Конформизм —

---

Кирилл Игоревич Якимец — журналист, политтехнолог. Родился в 1964 году. Окончил Московский энергетический институт и философский факультет Московского университета. Редактор отдела политики интернет-издания «Русский Журнал».

это единообразие установок, опирающееся на некие универсальные принципы. Без наполнения субъективной прагматикой универсальные принципы оказываются пусты: любой универсализм неизбежно приводит человека к культуре собственной личности (поскольку в пустыне абстрактного универсализма просто не на что больше опереться). И если изначально «философский эгоизм» противостоит универсализму, то «в быту» они смыкаются. На профанном уровне парадоксальность такой смычки сглажена — и вот уже ницшеанец Киплинг предстает в обличи христианского либерала (христианство, само будучи универсалистской системой, породило современный европейский «светский» универсализм), а сами христианские либералы с удовольствием твердят о правах личности. Хотя, если быть последовательным «философским эгоистом» (то есть ницшеанцем), то придется согласиться: культ собственной личности несовместим с идеей равноправия личностей: «Что принадлежит всем, то не принадлежит никому».

Однако эти «неувязочки», повторяю, на профанном уровне видны слабо — как и в целом внутренняя противоречивость любого универсализма.

**За что мы не любим Америку? Нытье культур и война цивилизаций.** Лет двадцать пять назад в советском прокате демонстрировался замечательный испанский фильм «Новые испанцы». Умер Франко, в Испании началась «перестройка», и простая мадридская страховая компания перешла в руки новых хозяев — американцев. Компания эта, надо сказать, мало чем отличалась от обычных советских контор: никто не работает, зарплаты низкие, все рассуждают об Америке как о «стране безграничных возможностей».

И вот являются реальные американцы, воплощение этих самых возможностей. Американцы прогоняют служащих компании через систему тестов — физических, психологических и интеллектуальных. Служащие проваливают практически все тесты... Кроме теста на интеллект, который вызывает у них недоумение: разве же это вопросы? А ответьте-ка вы, господа американцы, на наши вопросы. И суровая американская стерва, проводящая тестирование, не может ответить!

Представление об Америке как о «стране дураков», по идиотскому капризу судьбы ставшей главной мировой силой, как видите, имеет вовсе не российское происхождение. Но случайность — это всего лишь неосознанная необходимость: видимо, есть в американцах нечто, позволяющее им доминировать в мире. Помимо указанных «стандартных» качеств следует учесть и качества субъективные, тем более что выражение «американские качества» звучит столь же сомнительно, как «средняя температура по больнице». Помимо Америки «профанной» существует и Америка «элитарная» — о чем забывают многие «бытовые антиамериканисты». Виртуализация американской демократии произошла значительно раньше, чем виртуализация управления в нашей стране: с шестидесятых годов, когда своей доли в принятии политических решений стали требовать многочисленные общественные организации (часто — весьма нелепые), в США набирает обороты политический консалтинг. Хиллари Клинтон выразилась вполне откровенно — и здраво: «Любую политическую кампанию следует проводить точно так же, как предвыборную». Общественным организациям и обществу в целом «пудрят мозги» при помощи «гуманитарных технологий», реальные же решения принимаются «столпами общества» на основании экспертных разработок. А до расцвета «культуры сутяжничества» управление в США вообще не претендовало на особую открытость и прозрачность. Это значит, что своим положением Америка обязана не только объективным причинам, но и качествам *управляющей элиты* — как прежней, так и нынешней. «Страной дураков», таким образом, управляют отнюдь не дураки!

При этом повсеместный протест против американского доминирования коренится вовсе не в естественном сопротивлении любой страны превращению в чью-то имперскую провинцию. Протест этот скорее культурный. Можно сколько угодно говорить о достоинствах американского менеджмента; мож-

но восхищаться (с критическими нотками в голосе) или, наоборот, возмущаться (про себя восхищаясь) «вашингтонским мирком», цитаделью мирового господства; можно признавать, что Америка в качестве «мирового жандарма» — это все-таки лучше, чем Китай или Россия в той же роли (по крайней мере для тех, над кем осуществляются «жандармские операции»). Но все эти соображения меркнут перед страхом американизации мира. Не американизации управления, не американизации экономики или политики, а именно — мира, повседневности. Политику и экономику американизирует «вашингтонский мирок», повседневность же американизируется Голливудом, создающим экспортный вариант «простого американца». Этого-то простого американца и боятся по большей части противники глобальной американизации. Мир чуть ли не с большей охотой готов стать китайским, немецким или русским.

Вторая составляющая протеста относится к сфере управления и на самом деле не связана с Америкой как таковой. Никто не хочет «складывать все яйца в одну штанину». Глобализация под американским началом ставит мировую стабильность в зависимость от стабильности внутриамериканской. А стабильность эта далеко не абсолютна. Америка стареет (как и любое благополучное общество), в 2030 году средний возраст американца достигнет тридцати девяти лет — и на этом его рост не остановится. Через пару десятков лет Америка будет тратить на своих пенсионеров две трети бюджета, а значит — для сохранения экономической стабильности вынуждена будет поднять налоги самое меньшее на 15 процентов. Но тогда, очевидно, нарушится стабильность социальная. Можно повысить квоты на иммиграцию, искусственно сдержав старение, но в таком случае «простые американцы» завопят о засилье приезжих. Понятно, что вопли толпы можно регулировать при помощи «гуманитарных технологий», однако...

Хотим ли мы вообще вникать в подобные занудные проблемы — будь они хоть американскими, хоть немецкими, хоть китайскими? Глобализация заставляет нас вникать в то, что, по идее, вовсе не должно нас волновать. Но волнует — по необходимости. Чисто американские проблемы аукаются в любой части земного шара. Перспективы американских пенсионеров, приток нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, дискуссии вокруг абортот, политкорректности, образовательного уровня «цветных» и морального облика адвокатов — все это для нас не менее чуждо, чем проблемы китайских монголов или непальских монархов. Политическая реальность беззастенчиво вталкивает американские «коммунальные склоки» в культурный обиход России, Европы и прочих регионов, входящих в сферу имперского интереса США. Как видите, мы снова пришли к проблеме бытовой американизации. Две составляющих мирового антиамериканизма, таким образом, неотделимы друг от друга — как и две составляющих самой Америки. Многим бы хотелось иметь дело лишь с «вашингтонским мирком», избежав контакта со «страной дураков» («рэднеков» — «красношеих», если пользоваться американской терминологией), но «дураки» всегда следуют за элитой, как мародеры — за победоносной армией.

И это относится не только к Америке. Если бы центром глобализации оказался Китай, мы бы сейчас обсуждали «нелепые позы у-шу», ругали конфуцианство, нормы деторождения и жестокость китайских полицейских, мечтательно вздыхая о ковбоях, блюзе, Уорхоле, шеголяя в узких кругах лихими оборотами «америкэн инглиш» и ведя «крамольные разговоры» о рыночной экономике, демократии и правах человека. Китай, однако, не сможет стать центром глобализации, поскольку так вышло, что формальный — цивилизационный, социально-технологический — каркас Китая является одновременно основной китайской культурной ценностью. Япония может гордиться «духом

---

<sup>1</sup> Сергей Кургинян заявил, что в Ираке идет война не между Америкой и Ираком, а также не между Америкой и Европой (вариант: не между Америкой и Россией), но между *двумя Америками* — между, условно говоря, «Америкой Киссинджера» и «Америкой Бжезинского».

Микадо», давно утерев его; Россия может гордиться «широтой натуры» и серебряным веком, от которых остались одни воспоминания; Европа может гордиться позитивизмом... Китай, однако, не может гордиться своей «конфуцианской» государственной системой, утерев ее: сам субъект гордости (Китай) в этом случае просто исчезнет.

Поэтому не следует (к сожалению?) опасаться «китайской угрозы»: история показала, что положение Китая в качестве «центра Поднебесной» быстро превратилось в пустую дипломатическую формальность. Распространение же по всему миру цивилизационного каркаса *Abendland*'а, на который в качестве невинной развлекухи нанизаны те или иные культурные ценности, является неизбежной реальностью.

Но в точности по той же причине не следует опасаться и «американской угрозы»! «Нытье культур» имеет слабое отношение к войне цивилизаций. Безусловно, навязывание нового управленческого стандарта сказывается и на прочих областях жизни, однако сказывается все не так грубо, как представляют себе «голливудофобы». Ведь Голливуд (как и прочие реалии массовой культуры) — вовсе не культурное явление. Массовая культура — это способ управления населением. Безусловно, способ этот приходится принимать — вместе с прочими социальными технологиями — тем, кто входит в глобальный мир. Что же до той культуры, которая мила «культурным людям», она едва ли пострадает, если «некультурные люди» начнут смотреть не те сериалы.

**Проиграть — чтобы победить!** «Русская культура», таким образом, вовсе не поставлена на карту в войне цивилизаций. Россия может достойно проиграть эту войну, самостоятельно освоив американско-европейские (то есть британские) цивилизационные технологии и сохранив свою «русскость» в качестве некой изюминки (вспомним, что сама Европа достаточно нарядно изукрашена подобными изюминками — от шведского короля до сицилийской мафии). А можно и попытаться выиграть — но для этого западной цивилизации мы должны противопоставить не «русскую идею», а русскую *технологию*, некий отличный от западного пакет решений всех — глобальных и мелких бытовых — проблем. Любые «идеи» все равно остаются изюминкой, развлечением, однако мрачная удовлетворенность от победы, пусть и пирровой, тоже чего-то стоит. Вопрос приходится ставить не о том, на что мы молимся, а о том, что мы умеем. В таком виде, правда, вопрос этот выглядит неразрешимым. С одной стороны, мы умеем все — совершать подвиги, изобретать паровозы, писать стихи, взламывать программные продукты... С другой же стороны, в целом (по результату) создается впечатление, что мы не умеем ничего. Впечатление, конечно, обманчивое: мы все еще существуем, а значит, на что-то способны. На что? Для получения ответа необходимо поставить вопрос о цели, причем цель здесь имеется в виду вовсе не «высокая», а техническая: что делает россиянин, совершая любые действия?

Житель Запада обставляет свою жизнь удобствами. Житель мира ислама стремится к могуществу. Представитель дальневосточной цивилизации служит. К приведенным грубым определениям можно добавить столь же грубое определение цели русского человека. Русский человек явно не стремится к элементарным удобствам, наше пренебрежение которыми становится очевидным, если зайти (простите за такой пример) в любую русскую общественную уборную. «Исламско-нищенские» ориентиры нам также не особо близки, что проявляется, например, в нашей недостаточной мстительности (иногда это списывают на русское эфемерное «добродушие», «отходчивость», иногда — на столь же эфемерную «русскую лень»). Наконец, мазохизм служения не входит в число русских ориентиров — что проявляется в отношении к России со стороны успешных русских эмигрантов, имеющих обыкновение обзывать Россию «Рашкой» (для сравнения — поговорите с любым китайским эмигрантом о его Великой Родине).

В отличие от жителей Запада, Юга или Востока, русский человек *выживает*. Чтобы выжить, мы можем сократить свои потребности до минимума. Мы

умеет приспособить любой предмет для выполнения любых — самых неожиданных — функций: при отсутствии пробки в гостиничной ванне спокойно затыкаем сток пяткой; разбираем утюг, чтобы починить телевизор; легко — в зависимости от конъюнктуры — переходим от честности к коварству; где бы мы ни оказались, пытаемся образить связями. Экзальтированное стремление к религиозному «спасению» можно присовокупить к данному списку.

И чтобы выжить, нам прежде всего необходимо присоединиться к Pax Americana, забыв сказки о «Третьем Риме» и «Китеж-граде», смирившись с очевидной «тупостью» основной американской идеологической триады — «права человека — рыночная экономика — демократия». Американцы, кстати, столь верны этой триаде, что даже острая критика американизации, например, ведется с указанных — клишированных — позиций. Наилучший пример — У. Макбрайд, предложивший провести «ось зла» через Вашингтон и МВФ... именно потому, что, как полагает Макбрайд, в Америке недостаточно демократии и плохо соблюдаются права человека! Добавить нечего: есть позиция Хантингтона, есть позиция Фукуямы. Этим фактически исчерпываются позиции. Для американца либо речь может идти о «войне» (или без кавычек) между указанной триадой и всеми прочими ценностными системами (Хантингтон и Макбрайд, конечно же, легко путают культуру и цивилизацию, ценность и технологический прием), либо речь может идти о реальной — с американской точки зрения — актуальности указанной триады для всех и вся, и задача состоит в «просвещении дикарей». Если нам так важно «не потерять лица», давайте считать, что мы «смирились с тупостью» американцев, давайте скажем (себе), что чем примитивнее умственный стандарт, тем больше у него шансов стать общепринятым...

Но вести реальную борьбу со стандартизацией — с «американизацией», с присоединением России к технологическому Pax Britannica, — так же бесперспективно, как ударяться в «луддизм». Мы можем рассчитывать на то, что наш технический вклад в глобальную техносферу когда-нибудь перевесит вклад Америки, мы можем (зная, что Америка — лишь эпизод во всей этой истории) ожидать триумфа — но только в рамках стандартной игры. Сама же цивилизационная стандартизация, имеющая сегодня вид «американизации», так же неизбежна, как стандартизация компьютерных программ, поэтому нам не следует особо печься о своей «идентичности», если мы намерены и далее ездить в автомобилях и смотреть телевизор.

**С кем воюет Америка? Войны на «ничейных территориях».** На политику данный вывод проецируется не однозначно. С цивилизационной (технологической) точки зрения, например, Ирак, Индия и Россия практически уже во многом являются частями глобального Pax Britannica — как и успевшие уже друг с другом повоевать Англия и Аргентина. Однако военное, политическое и экономическое противостояние могут осуществляться в рамках единой — «постбританской» — технологической схемы. В частности, много говорилось уже о том, что терроризм возможен и эффективен только в современном европеизированном мире (и, как заметил Глеб Павловский в нескольких интервью, начинает превращаться в своеобразный бизнес). Таким образом, даже терроризм, на уровне СМИ отождествляемый с чем-то «нецивилизованным», в реальности является таким же *имманентным* «вызовом» глобальной цивилизации, как и прочие «глобальные проблемы» (например, экологическая). С другой стороны, если противостояние друг другу «рядовых» частей глобализованного мира — нормальное явление, то противостояние Америке — это противостояние *самому процессу глобализации*. Америка, как я попытался показать, вовсе не «рядовая» часть Pax Britannica, но символ и гегемон глобализации. Противостояние Америке, таким образом, чаще вызвано далеко не одними лишь политическими и/или экономическими причинами, но коренится в войне цивилизаций. Следует подчеркнуть: речь идет не о нытье культур, описанном выше, а именно о войне и именно цивилизаций, организационных стан-

дартов. Я уже отметил, что имперский стандарт пристраивается «сверху» к стандарту покоренного народа. «Абсорбция» в этом случае происходит медленно и почти безболезненно. Явный вид проблема приобретает тогда, когда имперский стандарт сталкивается с другим имперским стандартом. Примеры навязли в зубах: исламский мир (включая светские государства, выросшие из этого мира), Россия, «конфуцианский» мир (в первую очередь — Китай) — все это самостоятельные имперские стандарты, борющиеся за свою самостоятельность, причем в ряде случаев — борющиеся «объективно», независимо от устремлений конкретных людей, живущих в указанных мирах.

Интересен пример Югославии: можно предположить, что Югославия — осколок турецкого (то есть того самого македонского) имперского стандарта: эта страна всеми силами стремилась в Pax Britannica, и сил у нее было достаточно, чтобы претендовать на вполне достойное место... Но достойного места, как известно, не нашлось. Все прочие «осколки», не желающие мириться с третьесортным статусом, но не имеющие полноценной поддержки со стороны той или иной империи (того или иного «мира»), тоже входят в «группу риска». Ирак и Ливия — светские государства, то есть частично отколовшиеся от мира ислама, получили то же, что и Югославия. Вьетнамская война, корейская война — такие же войны на «ничейных» территориях. Афганистан — тоже «ничейная территория»: он слишком дик, чтобы считаться частью исламского мира, за которую вступится этот мир.

Кто следующий? Бывшие части России (не государства, а «мира»), рвущиеся в Pax Britannica, либо смиряются с полной организационной несамостоятельностью, либо подвергнутся «дисциплинарному воздействию». Турция ждет своей очереди, поскольку является вполне амбициозным осколком Pax Macedonica (впрочем, после Ататюрка, возможно, уже нет). В дальнейшем от империй, терпящих поражение в «войне миров», будут откалываться все новые части — кандидаты в жертвы «гуманитарных операций» Америки.

**Правь, Америка!** России в целом эта участь, как видите, не угрожает — пока Россия остается «миром», большой империей. Дело, однако, идет к тому, что россияне могут вскоре оказаться гражданами «уютных маленьких европейских стран», причем «европейскими» эти страны станут после проведения американцами «гуманитарных операций». Чтобы этого не случилось, России придется бежать впереди локомотива глобализации — в объятия США (как это представляется внешне), а на самом деле — в объятия Pax Britannica. Вся наша «модернизация» должна в реальности оказаться американизацией — причем без оглядки на конкретную эффективность. Не так важно, насколько эффективны в России американские методы организации политического управления, управления армией, экономикой и т. п. Эффективность здесь должна иметься в виду не конкретная, но общая: нам следует эффективно встроиться в Pax Britannica, стать *понятными* — в первую очередь с точки зрения тех жителей Запада, которые принимают решения в области политики и экономики, а значит, «понятность» России необходима именно *организационная*. Все неудобства от приобретения такой «понятности» будут компенсированы — инвестициями и выгодным статусом России в Pax Britannica.

Не исключено, что мой совет несколько запоздал. Незадолго до начала иракской войны Буш зачастил в Россию, и некоторые эксперты полагают, что смысл этих визитов состоял не только в том, чтобы добиться российского нейтралитета (или сотрудничества) по иракскому вопросу: Россия становится «доверенным лицом» США по делам СНГ и (мечтать не вредно) даже по некоторым европейским делам. Почему бы и нет? Когда афганская кампания только начиналась, европейцы и американцы готовы были глядеть на Россию теми же глазами, которыми рядовой-первогодок глядит на ветерана, прибывшего из «горячей точки». И если взгляд американца был несколько «замутнен» сознанием величия собственной страны, то европейцу ничто не мешало впасть в

экзальтацию. Выступления Путина о готовности России сблизиться (перед лицом террористической опасности) с Европой и, в частности, с НАТО нашли в этом контексте (пусть временно) теплый отклик: пожалте, господин дембель, к нам на чифирёк, поведайте о тонкостях войны в афганских горах. Россия неожиданно вновь стала выглядеть сильной... и надежной. Америка также представляется европейцу сильной, но при этом — не столько надежной, сколько опасной, даже заразной. Что такое Америка для европейца? Большая страна, лежащая за морем, но вполне доступная: ни языковых барьеров, ни транспортных, ни культурных между нею и Европой нет. До последнего времени (пока не поделилась с Европой своими проблемами) Америка воспринималась как опора, *пастбище*. А что такое Россия для европейца? Большая страна, лежащая за россыпью восточноевропейской мелочи, но вполне доступная: ни языковых барьеров, ни транспортных, ни культурных между нею и Европой также практически нет. Но, в отличие от Америки, Россия на Европу не давит — просто потому, что не может. Россия — тоже пастбище, не столь обильное, зато (с сегодняшней точки зрения) безопасное. Отсюда можно качать сырье, сюда можно скидывать промышленные неликвиды, а в случае опасности российский дембель готов поддержать европейского первогодка. Получается (следует подчеркнуть: с психологической, и только с психологической, точки зрения), у России появился шанс заменить Европе Америку!

При этом инициативы Путина (например, стремление России в европейские организации) встречают положительный отклик прежде всего у Буша. И это главное: чем больше Европа сопротивляется американизации своей политики и экономики, чем активнее размахивает пачками евро перед носом у американцев, тем лучше для России. Ведь наше руководство, похоже, знает, на какую лошадку следует ставить... «Антиамериканскую» полемику российских лидеров в связи с войной в Ираке можно на этом фоне воспринимать как необходимое лицемерие (возможно даже, негласно одобренное американцами), причем лицемерие временное. Куда более долгосрочным выглядит лицемерие иного рода: еще до войны Ирина Хакамада как-то заявила, что союзником России может считаться всякая страна, решившая бороться с терроризмом.

На первый взгляд может показаться, что Хакамада перепутала Россию и Америку. Это США используют бренд «борьбы с терроризмом» не только для оправдания своих действий, но и для проверки всех «на вшивость»: борьба с терроризмом аналогична «борьбе за мир», прагматика этой борьбы лежит по большей части в области PR. Что ж, Россия присоединилась к американской PR-акции, причем, очевидно, не только лишь для того, чтобы оправдать федеральные действия в Чечне. Если в тезисе Хакамады заменить «Россию» на «центральную власть», а «всякую страну» на «всякую политическую силу», то мы получим концепцию «путинской безопасности», которая, скорее всего, грядет на смену устаревшей концепции «путинской стабильности». Теперь политических овец от политических козлиц будут отделять по принципу «ястребиности»: «голуби» оказываются в оппозиции, все участники «политического процесса» спешат записаться в «ястребы», спасая политическую (овечью) шкуру.

А «голубиные» кульбиты наших политиков, повторяю, недолговечны: реальную войну Америка ведет не против «терроризма», а против отжившего мирового порядка. Здесь нет выбора — вставать или не вставать на сторону победителя. Победителем является не Америка (и уж тем более — не администрация Буша). Победитель — сама история.

А. Пионтковский, критикуя новую российскую доктрину, согласно которой возможны военные удары по странам, поддерживающим террористов, назвал эту доктрину «дурной пародией на американское имперское мышление». Если вдуматься, определение Пионтковского — комплимент: американизация нашей политики, как внешней, так и внутренней, — процесс вполне объективный и, как я пытаюсь показать, необходимый. Наши собственные теракты лишь позволили назвать вещи своими именами: Россия — это почти Америка!

**Почему Россия — это почти Америка?** Многие противники американизации любят вместо топонима «Россия» употреблять идеологизированный термин «Россия-Евразия». Идеологизированность вытекает из полемичности: евразийцы противопоставляют свой подход «западникам». Не всегда вслух, но всегда, по сути, евразийцам помимо «западников» противостоят и «почвенники». Собственно, благодаря взаимному противостоянию, своеобразной «круговой антипоручке», и существуют эти три идеологии — западничество («чаадаевщина»), евразийство («гумилевщина») и почвенничество («данилевщина»). Для обидных кличек здесь использованы имена не основателей соответствующих течений, но наиболее вменяемых представителей, с чьей аргументацией можно работать, не испытывая чувства неловкости.

Чаадаев исходил из ценностей своего времени и своего сословия — и четко осознал, что в рамках этих ценностей Россия не выдерживает критики. Данилевский указал, что оценочное сравнение России с Европой (равно как и с Азией) неуместно: критерии оценки у России свои, «автохтонные». На этом можно было бы и остановиться, однако подобный подход не позволяет заниматься исследованием, то есть именно сравнением: все русское «вытекает» из самого себя. Чтобы избежать галиматии в духе Гуссерля и Сартра, пришлось вывести Россию из чего-то не-российского: из монгольской империи. При этом сохранялась определенная чистота: монголы, отправившиеся на завоевание мира (монголы «пассионарные»), суть вовсе не те монголы, которые остались дома, — о чем Гумилев писал достаточно подробно. Монголы-завоеватели — не европейцы (очевидно), но и не азиаты. Получилось, конечно, что теперь уже монголов ни с чем нельзя сравнить, однако предметом исследования являлась Россия — и здесь все выглядело вполне нормально и научно. Вот что, однако, забавно: Евразия как идеологема суммирует Европу и Азию (под крылом России), в то время как в основе этой идеологемы лежит нечто противоположное: Евразия — это ни Европа, ни Азия, ни Россия.

Теперь учтем, что разговоры на идеологические темы ведутся обычно в политическом контексте. Какая из перечисленных идеологий может лечь в основу современной политики России? Вопрос, конечно, не совсем корректен. Идеология (в идеале) существует для «мобилизации масс», а для «внутреннего употребления» нужна методология. В таком случае, какую из этих идеологий можно превратить в методологию?

В принципе методологией может выступать как западничество, так и евразийство. Проблема, однако, в том, что Россия, безусловно, — тут правы идеологи евразийства — соединяет в себе и Европу, и Азию. Следует добавить: и Евразию. Правда, как в европейской, так и в азиатской системе оценок Россия оказывается глубокой провинцией. Мало того: ежели будет выработана евразийская система оценок, Россия сможет считать себя до кучи провинцией Афганистана! Таким образом, перед нами пусть неприятный, но неизбежный выбор: чьей провинцией считаться? Тут могут возразить «почвенники»: давайте не будем себя ни с кем соотносить. Пусть это помешает исследованию, зато поможет опереться на русские традиции в выработке решений...

Но что из себя представляют эти самые русские традиции, особенно — традиции политические? Вся наша государственность выросла из контроля над торговыми путями, а вовсе не над «гражданами» — нищими земледельцами. Киевскую Русь, вытянутую вдоль пути «из варяг в греки», сложно назвать государством в полном смысле слова, поскольку древние русы, контролировавшие этот путь, основной доход получали, очевидно, не с местных земледельцев, а с купцов, как своих, так и чужих, возивших товары по пути. Со временем, однако, путь «из варяг в греки» стал весьма тернист, особенно — на южном его конце. В XI веке осложнились отношения между Русью и Византией. Одновременно Византия страдала от турок-сельджуков. К концу века добавились еще и половцы, нападавшие на Киев. Уходя от степных нападений, земледельцы потянулись с юга на северо-восток, к верховьям Волги. В XII веке туда же двинули князья — распространять свой контроль на торговые



пути по Волге и ее притокам, где прежде торговали хазарские «рахдониты». Следует особое внимание обратить на то, что во время этой колонизации землепашцы и князья решали совершенно различные задачи: колонисты-землепашцы сгоняли с земли местных дикарей, князья же пытались перехватить контроль над Волгой у Булгара. В XIII веке монголы разрушили ненавистный Булгар, и северные князья, в основном с монголами дружившие, долгое время чувствовали себя вполне неплохо. Апофеозом была «покупка века» (имеется в виду уже XIV век): Иван Калита «умздил» хана и приобрел в Орде ярлык на великое княжение. В результате дальнейшей скупки московским князем окрестных земель возникла наша Родина.

Отвлечемся, однако, от криминального характера возникновения российского государства (этим оно не отличается от всех прочих государств) и сосредоточимся на коммерческой стороне. Если Киевская Русь была частично государством, частично — коммерческим предприятием, то отколовшаяся от нее (после разграбления Киева Андреем Боголюбским) северная колония явилась коммерческим предприятием от начала до конца. И когда колонии пришлось все-таки превратиться в государство, эта черта никуда не делась: идея власти и идея извлечения дохода оказались слиты воедино.

Трагедия разразилась в XIV веке: Палеологи открыли Босфор и Дарданеллы для генуэзских кораблей. Генуэзцы, построившие в Крыму свои крепости, развернули торговлю в Поволжье — продублировав тем самым торговый путь через Волгу. Окончательный же удар нанесли нашим князьям Великие географические открытия: Европа дорвалась до своего Эльдorado, а к торговле через русские земли потеряла интерес. Россия была вынуждена стать государством, переключившись с проходящих купцов на собственных граждан, «лапотников». Недаром именно в XVI веке начинает стираться разница между вольными боярами и князьями, которые стали именоваться боярами «титованными». И недаром именно в XVI веке Иван Грозный провел два великих эксперимента: отделил государственную власть, власть «помазанника Божьего», от банального княжеского рэкета и попытался ввести непосредственное государственное землевладение (известное как «опричина»). Второй эксперимент, как известно, удался далеко не полностью, зато первый — основанный на опыте европейского абсолютизма — увенчался полным успехом: даже сегодня, спустя почти век после реванша прагматизма (после «Октябрьской революции»), в России многие сакрализуют государственную власть — зная вроде бы и охотно рассуждая обо всех ее «пороках». Хотя речь, конечно, следует вести не о «пороках», а о «технических характеристиках» и из этих характеристик исходить, прикидывая наши шансы в американизирующемся мире.

Все русские «традиции» (по крайней мере наиболее известные и «знаковые»), милые «почвенникам», так или иначе *импортированы* — как с Запада, так и с Востока. Безусловно, у всего, что Россия импортировала, возникла своя собственная специфика... Ну, так ведь и у всего европейского, азиатского, индийского и негритянского в американском «плавильном котле» также осталась своя специфика. Реальная же наша «почва» сводится к тому, что Россия — не столько сакральная «держава», сильная некими традициями, сколько *колониальное образование*, чисто коммерческое, прикрытое (во времена Ивана Грозного — вполне сознательно) державнической мишурой по европейско-византийскому образцу. Что ж, русская революция позволила эту мишуру частично содрать, а сегодня мишуре пора облететь окончательно. Специфика нынешней российской политики, таким образом, не столько импортирована из США, сколько «проросла» сквозь тонкий «культурный слой», продемонстрировала себя, заявила о своих природных правах.

Что делать? Петр прорубил «окно в Европу» (не забудем, что начал это окно рубить еще Иван Грозный, большой англоман). В конце концов нас это окно окончательно засосало — и Российская империя превратилась в одно

из ведущих европейских государств, более мощных, чем те, что послужили Петру примером для подражания.

Сегодня мы рубим окно в Америку, и у России появляется шанс стать одним из ведущих государств нового мира, возможно, потеснив те самые Штаты — поскольку, повторим, этот мир является вовсе не *Rex Americana*, но *Rex Britannica*, а Америка — не столько его суть, сколько всего лишь часть, пусть системообразующая и наиболее успешная.

Принятие новых правил игры лишь выглядит как «американизация» и лишь внешне связано с культурными, политическими и экономическими потерями. В культурном отношении мы либо не меняем ничего, либо — в самом страшном случае — одну «заморскую диковинку» на другую. Вспомним, что пушкинский «Евгений Онегин» — это русское развитие жанра европейского любовного романа, а лермонтовский «Герой нашего времени» написан в традиции европейского колониального романа. Лет через пятьдесят наверняка появятся русские мюзиклы и комиксы, которые войдут в сокровищницу мировой культуры — в то время как американским «аутентичным образцам» путь туда, очевидно, заказан.

Что ж до обороны, политики и экономики (говоря шире — до стандартов управления), то приверженность к собственным имперским — великодержавным — стандартам приведет Россию к окончательному развалу на «самостоятельные» части, каждая из которых окажется перед лицом военной угрозы со стороны сегодняшней доминанты *Rex Britannica* — Соединенных Штатов. Нам это надо? Не лучше ли согласиться с новыми правилами? Кажется, нынешнее руководство России, невзирая на все «колебания», вполне готово к «американизации».

Тем более, что через какое-то время положение может измениться, и Америка займет в *Rex Britannica* место, аналогичное месту самой Великобритании, а Россия превратится в заглавного игрока... Но чтобы принять участие в игре, нам надо сперва избавиться от евразийских бород, почвеннических кафтанов и остатков устаревшей уже щепетильности «русских европейцев» — прежде всего в организационной сфере. Петр в борьбе с бородами проявил достаточную непреклонность. Такой же непреклонности требует наше время от нынешней администрации.

---

---

---

АННА АРУТЮНЯН



## СТЕКЛЯННЫЙ ЗАНАВЕС АМЕРИКИ

**Д**о семилетнего возраста, пока я жила в Москве, мне внушали, что книги, наука, ученость — это хорошо. Поэтому, когда я переехала в Америку, я была очень удивлена, узнав, что книги — это что-то излишнее, сомнительное, чуть ли не постыдное.

В этой статье я постараюсь проанализировать, как и почему возникает такое ощущение в стране, оправданно гордящейся своими успехами в науке и технике.

Знаменитая американская писательница и публицист Сьюзен Зонтаг наделала много шума статьей в номере «Нью-Йоркера», посвященном событиям «прошлого вторника» (как было сказано в журнале, который готовился к печати через неделю после 11 сентября). Ее иронический призыв сравнить «храбрость» американцев, собиравшихся бомбить Афганистан в почти полной безопасности, с «трусостью» террористов, пожертвовавших жизнью, тогда был сочтен неадекватным, а слова о необходимости разумного, критического, исторического рассмотрения теракта вызвали обвинения в отсутствии патриотизма в роковые для страны минуты. Не время тогда было говорить, что «можно горевать сообща, но не надо быть сообща глупцами».

Накануне первой годовщины «черного вторника» Зонтаг еще раз изложила в «Нью-Йорк таймс» ту же самую позицию. Она привела примеры посягательства американского государства на частную свободу человека за последний год, обвинила раскручиваемую провоенную кампанию в распространении «пустой метафоры» патриотизма и подвела все это под уже известное среди американской интеллигенции клише — продолжение «давней традиции американского антиинтеллектуализма». На этот раз, видимо, ее выступление было сочтено вполне адекватным — хотя бы потому, что его взялась в качестве «мнения редакции» опубликовать взвешенная (и даже сравнительно консервативная) газета, которая, как хорошо известно ее читателям, не публикует «мнений», еще не устоявшихся в обществе.

Действительно, еще до 11 сентября 2001 года немало интеллектуалов высказывали недоумение (а чаще — возмущение) по поводу того, что они обозначали как новую волну американского антиинтеллектуализма. Под этим понимались две вещи. Во-первых, де-факто возникший в прессе мораторий на критику государства и его политики, а во-вторых — ставшее уже притчей во языцех упорное стремление американских СМИ к легковесности.

Однако существует одно важное обстоятельство, которое напрочь упускают из виду Зонтаг и ее единомышленники. Обрушиваясь на антиинтеллектуализм и предостерегая от тоталитаризма, интеллигенция не замечает, что сама настойчиво распространяет своего рода «антиинтеллектуальную» идеологию. Она выражается в поверхностном мультикультурализме и «толерантности», под

---

Арутюнян Анна Георгиевна — журналист, критик. Родилась в Москве; с 1987 года жила в США, где и получила образование. Выпускница факультета журналистики Нью-Йоркского университета. Публиковала статьи по медиа-критике в российских изданиях («Русский Журнал», газета «Консерватор»).

которой понимается подчеркнутая благожелательность ко всему нетрадиционному. Обычно это не совсем точно именуют политкорректностью<sup>1</sup>. Я бы назвала это *идеологией обязательного релятивизма*: необходимо смотреть на все, как бы отказываясь от личной предвзятости, чтобы уразуметь в итоге, что «истины не существует». Такая идеология диктует и правила поведения, — следовательно, является и политикой<sup>2</sup>.

Есть ли свобода слова в Америке? Во всякой стране и во всякой среде существует свой информационный этикет. Если большинство правил того или иного информационного этикета основано не на этических, а на политических табу, то этот этикет — антиинтеллектуален. Называть такой этикет «политкорректностью» не совсем верно: одним и тем же термином обозначаются и очень важные и полезные демократические процессы, и довольно опасное давление на гражданское общество.

То, что мы и в Америке, и в России не без иронии называем «политкорректностью», — это в лучшем случае искренняя забота о тех или иных отдельных сообществах или смешное, но безобидное вкрапление новояза в английский язык. В худшем же случае это систематическое избегание правды и явное цензурирование, если правда для кого-то обидна или невыгодна. Перед тем как описывать процессы, которые позволили этой идеологии превратиться из невинного «заигрывания с народом» интеллектуалов-шестидесятников в мейнстрим гражданского общества, рассмотрим проявления ее именно в худшем случае — в виде цензуры и замалчивания.

Те три года, что я отучилась в Нью-Йоркском университете, позволили мне увидеть все это в действии. Можно сказать, что в курсах программ по обоим моим специальностям — журналистике и лингвистике — наблюдалась одна и та же идеологизация, которая, словно паутина, опутывала строго научную подачу многих предметов догматическими постулатами.

Так, по курсу, который назывался *bilingualism* — «двуязычие», предмет, достаточно изученный и лингвистикой прикладной, и психолингвистикой, в списке обязательной литературы были указаны статьи, прочитав которые я убедилась, что это совсем не та лингвистика, по которой я собиралась получить диплом.

Одна такая статья, некой Джейн Хилл, — «Шутливый испанский, скрытый расизм и (слабое) разграничение между публичной и частной сферами»<sup>3</sup>. Хилл, долго и наукообразно описывая разницу между этими «сферами», приводит робкий ответ одного респондента на вопрос об основной проблеме страны: «Да вот если бы только все эти цветные не так много требовали...» Этот случай, по словам Хилл, показывает, что даже если на публичном уровне нам не дозволяют определенные высказывания, покуда они есть в «частной сфере», — они будут вкрапляться в «публичную».

Этот «скрытый расизм», считает Хилл, еще более опасен в повседневной речи: когда мы шутливо говорим на прощание «*hasta la vista*» вместо «до свидания», мы этим шуточным отношением к чужому языку определяем всех испаноговорящих как народ, не способный ни на что, кроме шуток. И этим невольно укрепляются расистские стереотипы, из-за которых испаноговорящие не могут добиться того, чтоб их воспринимали всерьез.

<sup>1</sup> См.: Menand Louis. Undisciplined. — «Wilson Quarterly», 2001, August (<http://wwics.si.edu/OUTREACH/WQ/WQSELECT/MENAND.HTM>).

<sup>2</sup> Хороший пример этого приводит Мария Ремизова, язвительно разбирая в «Новом мире» (2002, № 4) книгу Ирины Жеребкиной «Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России». Такая книга — первая российская ласточка массового в Америке явления: пока что (по мнению Ремизовой) в России подобные исследования пишутся только для получения западных грантов. То есть это попытка говорить с западными грантодателями на их собственном языке.

<sup>3</sup> Hill Jane H. Junk Spanish, Covert Racism, and the (Leaky) Boundary Between Public and Private Spheres. — «Pragmatics», vol. 5, № 2, p. 197 — 213.

Оспаривать такие утверждения на лекциях было почти бесполезно. И все не потому, что возражающему затыкали рот. На лекциях (которые устроены скорее как семинары) можно говорить что хочешь, и тебя вежливо выслушают. Однако возражения, основанные на том, что перед нами политизация лингвистики, попросту пропустят мимо ушей — точно так же, как замечание неполиткорректного респондента в статье Хилл.

Очень похожие рассуждения нас заставляли читать и на курсе журфака, который назывался «Медиа-этика и закон». В книге Элизабет Висснер-Гросс «Без предвзятости. Редактирование в диверсивном<sup>4</sup> обществе»<sup>5</sup> редакторам и копирайтерам предлагались методы очищения текстов от нежелательных «стереотипов».

Гросс начинает свою книгу с «теста на предвзятость». Она приводит разные фразы и просит читателей найти в них предвзятость, как она предлагала это и своим студентам. Среди не замеченных студентами «скрытых предвзятостей» оказалось традиционное в английском языке употребление по отношению к кораблю местоимения женского рода she («она») — единственный случай, когда местоимение, обозначающее неодушевленный предмет, имеет грамматически выраженный род. Таких оборотов, пишет Гросс, нужно избегать, потому что они подразумевают, что кораблем управляют одни мужчины, и вообще это неуместная сексуальная аллюзия.

Когда я с некоторой долей сарказма предложила не останавливаться на чистке только английского и избавить язык суахили от его таксономических классов (существительные разделяются на несколько классов: в частности, в мужской класс входят все длинные объекты, в женский класс — все круглые и так далее), преподавательница без тени улыбки ответила: почему бы и нет, если это сделает язык суахили менее сексистским.

Хотя в рамках этого курса речь в основном идет об осторожности, с которой, например, репортеру нужно писать о подозреваемом в убийстве (не рекомендуется указывать, что он негр, если больше о нем нечего сказать), Гросс тут же переходит к языку как таковому. «Редакторы должны быть особо бдительны по отношению к пассажирам, в которых черный цвет ассоциируется с плохим, а белый с хорошим»; «...эта бдительность должна относиться не только к разговорам о цвете кожи, но и ко всем метафорам, которые употребляет пишущий». И которые «усиливают стереотипы».

В их число у Гросс попали такие слова, как «черный рынок», «шантаж» (blackmail — причем в английском языке это чуть ли не единственное слово для обозначения соответствующего понятия), «руки были в черной грязи», «черный юмор», «черная магия», «черный кот». Соответственно был список и «белых» выражений: «невеста была в белом», «белый флаг» (знак перемирия), «пол был чистый и белый», «белая магия», «отбеливание» (whitewash) и т. п.

Самое поразительное, что Гросс никаких синонимов или альтернатив не предлагает. Американские газеты тем временем следуют указаниям Гросс, даже если они ее никогда не читали. Парадоксально, что все эти методы применяются во имя стремления в прессе к абсолютной объективности — идеалу, который занимает особое место в американских СМИ.

Интерес газет к разным меньшинствам напрямую связан с таким стремлением и хорошо иллюстрирует другие, менее очевидные, причины замалчивания и цензуры.

Здесь, впрочем, нельзя бросаться и в противоположную крайность. Очень важно отметить, что в Америке порой наблюдается патологическое чувство вины перед меньшинствами именно потому, что множество нарушений гражданских прав действительно допускалось. Кроме того, здесь и типично амери-

<sup>4</sup> Я оставляю неуклюжую кальку с английского, потому что перевести это слово еще сложнее, чем пресловутую privacy. Это не просто «разнообразие», «многоликость», но официальная идеология.

<sup>5</sup> Wisnner-Gross Elisabeth. Unbiased: Editing in a Diverse Society, Iowa State University Press, 1999.

канская забота о своем «community», сообществе, которая, как считается, лежит в основе повышения общего уровня жизни, — каждый человек должен заботиться, чтобы в его сообществе все было благополучно, чтобы оно успешно развивалось. Причем «сообщество» определяется очень широко — от местного до круга людей с общими интересами (есть gay community, Hispanic community, urban black community и т. д.).

При рассмотрении заявлений в университет, на работу или на грант обычно учитывается, повлиял ли аппликант на свое сообщество (made a difference in his/her community), — то, что в СССР называлось общественной работой. То есть если у абитуриента оценки средненькие, но при этом он активно участвовал в организации благотворительных акций в своей школе или был членом шахматного, книжного, музыкального клуба, то шансы попасть в данный университет сильно повышаются. И наоборот: эти шансы понижаются, если данное лицо не принадлежит к «правильной» категории меньшинства, — например, у меня было бы больше шансов поступить в Колумбийский университет, если бы я указала, что я хочу изучать физику, а не журналистику, потому что университеты должны стремиться к увеличению доли женщин в нетрадиционных для них специальностях.

Это и есть основной принцип affirmative action («решительного действия») — попросту говоря, квот для меньшинств, поступающих на учебу или на работу. (Так, в том или ином университете, в той или иной редакции должно быть не меньше какого-то процента негров.) Достичь этого можно в основном одним способом — понизить проходной балл для какого-нибудь из меньшинств.

Если года два назад этот принцип бурно обсуждался в университетах и в классах — было множество аргументов «за» и «против», — то сейчас оспаривать его правильность стало уже неловко: отклонения от него рассматриваются как случаи дискриминации и расизма. Поднимать вопрос о том, что такой подход понижает стандарты в образовании и квалификации не только для определенных групп, но и для всех, стало неудобно.

Тем более не принято вспоминать историю о предельных квотах на евреев в американских университетах (в шестидесятые годы это было почти так же принято в США, как и в Советском Союзе). А также — обсуждать тот непреложный математический факт, что если в любой редакции должно быть не меньше 25 процентов негров, то, значит, для белых устанавливается семидесятипятипроцентный «потолок».

Демагогия, навязываемая «либералами с сердцами, обливающимися кровью», как их называют американцы (bleeding-heart liberals), имеет вполне реальные последствия.

Резкий упадок в уровне американского образования (в частности — высшего) за последние двадцать лет, на который жалуется пресса, связан именно с этими установками. Скажем, в США принят закон, касающийся публичных школ, одно из требований которого — к 2014 году полностью сгладить разницу в успехах белых детей и детей, принадлежащих к меньшинствам, в том числе негров.

Как следствие многие муниципальные чиновники попросту пошли на более низкие стандарты для всех, чтоб удовлетворять норме закона. То есть, если большинство негров не может освоить тот или иной предмет, этот предмет делается проще для всех. И федеральные, и муниципальные чиновники понимают, что это понижение стандартов — единственное решение проблемы при имеющемся бюджете. Похожие процессы происходят и в частных университетах.

Такая политика связана не только с упадком в образовании, но и с ограничением свободы слова, причем цензором в данном случае выступает не государство, а университеты, озабоченные благополучием своих меньшинств.

Студенты университета Беркли в Калифорнии, написавшие в местной газете, что мусульмане, не осуждающие теракты, их тем самым поддерживают, были наказаны за «нетерпимость» и отправлены на «курсы по разнообразию» — что-то подобное тому, чему г-жа Гросс пыталась научить будущих ре-

дакторов<sup>6</sup>. В другом, более серьезном, случае запланированный приезд бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в университет Конкордия в Монреале был отменен из-за демонстрации, в ходе которой студенты набрасывались на приехавших послушать гостя и избивали их. В ответ на эту демонстрацию университет объявил временный мораторий на все «студенческие занятия, связанные с Ближним Востоком».

**Из истории антиинтеллектуализма.** Если все это так и идеология релятивизма и мультикультурализма действительно имеет такие последствия, то возникает еще один вопрос: каким образом релятивизм превратился в идеологию, то есть почему умонастроение сравнительно узкой страты интеллигенции стало частью общепризнанного информационного и политического этикета?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сказать кое-что об истории образования — хотя бы потому, что образование в той же мере воспитывает массовую идеологию, что и пресса.

Американская идея (и в частности — идеология образования), как подробно показывает Ричард Хофстадтер в своей классической книге 1963 года «Антиинтеллектуализм в американской жизни», включает в себя отречение от чего-либо элитарного, замысловатого, «интеллектуального». Американские реформаторы образования всегда настаивали на том, что образование нужно дать и самому малообеспеченному гражданину. (То есть мы видим проявление у интеллигенции той самой черты, что и в России, — заигрывание с народом.)

Нужно напомнить одно ключевое обстоятельство. К 1870 году Америка стала первой страной, где начали распространяться бесплатные публичные средние школы. Потом она становится первой страной, где эти школы обязательны. Это приводит к определенному перевороту в образовании (в том числе — высшем): если раньше средние школы строились по модели колледжей, то теперь, после «антиинтеллектуальных» реформ начала XX века, колледжи были вынуждены подстраиваться под модель образования средней школы и под уровень ее выпускников. А идеал обучения у реформаторов был простой: «Обучить потреблению и способности получать удовольствие [от этого потребления]»<sup>7</sup>.

Еще один ответ связан с исчезновением так называемого «публичного интеллектуала». Как пишет Джон Лукач в статье «Устаревание американского интеллектуала»<sup>8</sup>, интеллектуалов в том виде, в каком их описывал Хофстадтер в начале 60-х, за пределами университетов более не существует. Хофстадтеровские «публичные интеллектуалы» — идейные интеллектуалы, которые в социальной или политической жизни в некотором смысле играли роль «совести нации», всегда подвергались жестокой критике, а вскоре и просто исчезли. По мысли Лукача, их функцию в идеологическом плане стали выполнять сравнительно безликие институты, такие, как СМИ, и университеты. Таким образом, тот информационный этикет, о котором говорилось выше, выработан фактически анонимными коллективами.

**Антиинтеллектуализм с точки зрения интеллектуалов.** Марк Миллер в статье «Утечка мозгов» предлагает два способа постижения американского антиинтеллектуализма: «удобно устроившись в собственном кресле за чтением знаменитого труда Ричарда Хофстадтера» — или же «выйдя в поле» — то есть, как

<sup>6</sup> Справедливости ради нужно сказать, что за бестактные («нечувствительные» — *insensitive*) высказывания увольняли профессоров по обе стороны израильско-палестинского конфликта — так произошло по крайней мере с профессором инженерных наук Университета Южной Флориды Сами аль Арианом, которого уволили за антиизраильские высказывания в ходе какой-то телепередачи (а впоследствии арестовали по подозрению в связях с террористами).

<sup>7</sup> Hofstadter Richard. *Anti-Intellectualism in American Life*. N. Y., «Vintage Books», 1963, p. 328 — 356.

<sup>8</sup> Lukacs John. *The Obsolescence of the American Intellectual*. — «The Chronicle of Higher Education», 2002, № 4 (<http://chronicle.com/free/v49/i06/06b00701.htm>).

выражается Миллер, в «бесконечный вопёж (shitstorm), которым теперь является наша гражданская культура»<sup>9</sup>. (Когда какой-нибудь простой избиратель «орет в телефонную трубку или строчит угрожающее письмо при малейшем признаке того, что ему может показаться либеральной предвзятостью».) Надо сказать, что Миллер, типичный либерал (из тех, что голосуют за демократов), очень откровенно (и по делу) критиковал президента Буша в своей недавней книге «*Bush Dyslexicon*».

Для Миллера правые силы в лице безграмотного президента, чрезмерного военного бюджета, повышенной чувствительности к диссидентству или к «конструктивной критике», которая, благодаря антитеррористическим законам вроде *USA Patriot Act*, стала рассматриваться как потенциальная поддержка терроризма, — это и есть воплощение «американского антиинтеллектуализма».

Взгляды Миллера и даже Зонтаг на этот счет действительно отражают нынешнюю обеспокоенность американской общественности тем, что страна постепенно превращается в закрытое полицейское государство. Получается так, что после 11 сентября государство обвиняют в антиинтеллектуализме и цензуре достаточно мейнстримовые источники: «конструктивная критика» проникает в солидные газеты вроде «*Нью-Йорк таймс*» и является прямо-таки основной темой в молодежных газетах, как «*Village Voice*» — знаменитой газете богемного южного района Манхэттена Гринвич-Виллидж. Практически любой обыватель признается, что после 11 сентября у него вызывают беспокойство новые ограничения его свобод, в особенности тех, что касаются распространения информации.

Больше всего озабочены проблемой информационной свободы, конечно, интеллектуальные круги — университеты и средства массовой информации. Но безотносительно ситуации, возникшей после терактов 11 сентября, обнаруживается парадокс: каким образом средства массовой информации могут хлопотать по поводу цензуры, если они одновременно и являются ее источниками?

Постараюсь этот парадокс разъяснить.

В опубликованной в декабре 2000 года статье известный медиа-критик Тодд Гитлин объясняет тенденцию к отказу от навыков размышления, особенно проявившуюся, по его словам, на последних президентских выборах, «инфляцией визуальности», свойствами современной массовой культуры. «Для повседневно существующего, перенасыщенного картинками и „фишками“, интеллектуальная жизнь делается безнадежно замедленной и обременительной. В мире видеоигр интеллектуальная практика — кропотливые поиски истины, честное сопоставление разных гипотез, уважение к сложностям, нежелание делать поспешные выводы — выглядят умственной отсталостью»<sup>10</sup>.

Впрочем, его коллега Марк Миллер еще в 1988 году писал: «Цель телевидения — в том, чтобы *быть повсюду*; не просто загромождать среду обитания, но быть ею...» Телевидение, каламбурит Миллер, не просто «в эфире» («*on the air*»), оно и есть тот эфир, который мы вдыхаем, «*the very air we breathe*».

Но Гитлин, который выступил со своей статьей как раз в дни финала президентских выборов, когда между Гором и Бушем вышла ничья, описывает и другую особенность прессы. Если американское общество более озабочено постоянными развлечениями, нежели процессом избрания собственной власти, то и пресса заиклена не на политических взглядах и программах, а на личностях политиков: на их жестах и на их отношении к сигнальным пунктам — таким, как аборт, права гомосексуалистов, повышение-понижение налогов. Освещение прессой выборов, таким образом, уподобляется освещению футбольного матча.

Сейчас об этом медиа-стиле написано много обстоятельной критической публицистики. Джеймс Фэллоуз посвящает этой теме главу в своей книге<sup>11</sup>. С

<sup>9</sup> Miller Mark Crispin. Brain Drain. — «Context», 2002, № 9 (<http://www.centerforbookculture.org/context/no9/miller.htm>).

<sup>10</sup> Gitlin Todd. The Renaissance of Anti-Intellectualism. — «The Chronicle of Higher Education», 2002, № 9 (<http://chronicle.com/free/v47/i15/15b00701.htm>).

<sup>11</sup> Fallows James. Breaking the News. N. Y., «Vintage Books», 1997, p. 21.



явно выраженным либеральным уклоном Фэллоуз подчеркивает, что пресса полностью игнорирует потребность обыкновенных людей в какой-либо конструктивной критике и аналитике собственного государства.

Но ни Гитлин, ни Фэллоуз не касаются чисто культурологического объяснения этого явления. Анализировать что-либо стало невозможно не потому, что у рядового американца не хватит на это внимания или «моральной вовлеченности», а потому, что серьезный анализ требует личностной оценки; другими словами, журналист должен изложить *свою* точку зрения на рассматриваемую проблему и постараться доказать справедливость своего взгляда.

В мейнстримовой же американской прессе, как мы отчасти уже видели, не принято выносить так называемые ценностные суждения (value judgements), ибо это считается признаком необъективности. Семантически насыщенное «problem» («проблема») превращается в совершенно нейтральное «issue» («вопрос») — почти по той же модели, по которой Гросс предлагает нам избегать словосочетаний типа «черный рынок». Два оппонента рассматриваются как абсолютно равные, даже *одинаковые*: и у того и у другого есть stances (позиции) по одним и тем же issues (вопросам). Можно долго говорить, почему именно этот кандидат выбрал ту или иную позицию, но разговор будет идти только о фактах личной биографии и карьеры, которые могли повлиять на его политический выбор. При таком рассмотрении исчезает оценка и, что важнее, аналитическое суждение. Это стремление к «объективности» превратилось в американской прессе в культ.

В конце 40-х годов, когда газеты были политически ангажированы до предела и издатели использовали печатный орган для протаскивания политических взглядов или для поддержки того или иного кандидата, ректор Чикагского университета Роберт Хатчинс собрал по своей инициативе так называемую «комиссию по свободе прессы». Первоочередной задачей комиссия объявила борьбу с недостатком объективности, возникающим, когда медиа-монополист использует свои газеты для достижения собственных политических целей либо когда репортеры гонятся за жареными фактами. Стандарты, разработанные этой комиссией, висят теперь на стенах любой «уважаемой» газеты — такой, как «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс» или «Лос-Анджелес таймс».

Но комиссия Хатчинса в результате добилась того, что американская пресса по своим принципам стала резко отличаться от прессы мировой. Деятельность комиссии привела к совершенно уникальной ситуации с «объективностью»: если в Европе, а тем более в России, для газеты нормально, даже свойственно иметь ту или иную политическую позицию, то в Америке, когда на такую позицию есть хоть малейший намек, это считается неприличным. У газеты «Нью-Йорк таймс», например, ровно столько критиков, обвиняющих ее в «либеральной предвзятости», сколько тех, кто обвиняет ее в консерватизме. И это то, к чему должна стремиться любая газета.

Тем самым журналисты словно берут на себя роль небожителей, смотрящих на наши земные дела с недостигаемых высот. Это они должны выслеживать расовую, гендерную, экономическую или любую другую «предвзятость». Это они должны стремиться к истине — провозглашая, что ее нет. То, что мы называем «политкорректностью», — то есть чрезмерная чувствительность к тому, что может задеть слабых или меньшинства, — опять же всего лишь одно из проявлений информационного этикета, который так часто приводит к цензуре. Императив объективности нередко сам по себе и есть замалчивание.

Когда человек становится журналистом, от него требуется самоограничение и за пределами редакции: он вообще должен расстаться со своими «предрассудками» и «предвзятостями». В учебнике по журналистской этике приводится такой пример. После того, как репортер «Нью-Йорк таймс» Линда Гринхауз в свободное время поучаствовала в демонстрации перед зданием Конгресса за право на аборт, ее чуть не уволили, «поставив на вид», что, если она пишет на темы Верховного суда США, она не имеет права посещать такие

митинги даже как частный человек. Любая инициатива, не связанная с «заданиями редакции», признается вступающей в конфликт с профессиональными обязанностями журналиста<sup>12</sup>.

«Честные и сбалансированные» статьи равномерно рассматривают разные точки зрения, не склоняясь ни к одной из них. Соответственно поиск объективности в американских СМИ оборачивается релятивизмом, утверждающим, что нет одной правды, что в любую истину включены твои biases (предрассудки, предубеждения). А раз истины нет и искать ее незачем, в действие вступает коммерция развлечений.

**Как релятивизм стал массовой идеологией.** Что представляет из себя релятивизм постмодернистской эпохи, чьи корни уходят в культурную и социальную революцию 60-х годов? Общая тенденция, лежащая в основе идеологии шестидесятников, — это некий нигилизм, всяческое отвержение канона, особенно в культуре. Впрочем, еще Вирджиния Вульф призывала сжечь университеты; их старинные интерьеры, грандиозная архитектура и пыльные фолианты, написанные «интеллигентными мужчинами», способствуют несокрушимости фаллоцентричного канона и подавляют возможность возникновения чего-либо нового. Точно так же отвергаются традиционные, с упором на логику, разум и анализ, системы мышления — в этом-то и заключается антиинтеллектуализм релятивизма.

Но такой взгляд, переплетаясь с политическими и общественными переворотами, начатыми 60-ми годами, приобретает агрессивно-дидактический характер: правда и логика придуманы белым, богатым, европейским, гетеросексуальным мужчиной ради угнетения небелых, небогатых, неевропейских, негетеросексуальных женщин. Применительно к рассмотрению текстов такой подход выражается примерно так: слишком долго мы игнорировали многие этнические, политические, национальные и сексуальные «правды», так давайте теперь всё рассматривать с точки зрения оппозиции между большинством и меньшинством — обязательно привлекая гендерный, этнический, классовый и политический контекст автора, а главное, читателя. Короче говоря, давайте спросим себя, как прочитает этот текст нищая темнокожая лесбиянка из Палестины.

Парадоксально, что именно либерал Марк Миллер в статье «Урок окончен» очень зло описывает такое «хождение в народ» и даже находит здесь «некое родство со сталинистами вчерашних дней»: если марксистско-ленинская критика была зациклена на классовой борьбе с капиталом, то сегодняшние западные либеральные теоретики зациклены на борьбе между «власть имущими» (powerful) и «безвластными» (powerless).

С одной стороны, пишет Миллер, многочисленные теории, основанные на релятивистских и постмодернистских предпосылках, стремятся переобъяснить и деконструировать традиционную систему мышления. Но с другой стороны, те же теории на удивление дидактичны — они, на старый марксистский лад, претендуют на то, что написаны для обездоленных масс (и это несмотря на путаный, наукообразный язык) и что написанное в этом духе непременно возымеет действие. В последнем они отчасти правы: политический результат существует: это, по словам журналиста Роджера Кимбалла, цитируемого Миллером, «обычное меню для левых — от феминизма до радикального мультикультурализма».

Откуда взялось столько скучной, трудночитаемой, политизированной академической литературы? У Миллера есть довольно простое объяснение: «академический рынок» для поддержания престижа и продвинутости того или иного академического заведения требует постоянного притока новых, а главное, эксцентричных публикаций, модных потому, что они разрушают прежний канон. А раз «власть ценит ясность анализа, логику, четкую аргумента-

<sup>12</sup> Этический кодекс «New York Times» приведен в кн.: Smith Ron F. Groping for Ethics in Journalism. Iowa State University Press, 1999, p. 298.

цию и правильную грамматику, то вот и верней всего писать левой ногой», то есть «назло» этой власти<sup>13</sup>.

Еще раз вспомним для наглядности 60-е. К тому времени осталось очень мало законов, с которыми стоило бы бороться; за сексуальную дискриминацию уже тогда можно было подать в суд и выиграть большую компенсацию. Воинствующим феминисткам мешали не патриархальные законы, а «буржуазные предрассудки». Сексуальная революция боролась не с законами, а с мыслями.

И это касается не только феминисток. В 1978 году американский литературовед и в дальнейшем публицист арабского происхождения (а кроме того — участник палестинских интифад) Эдуард Саид выпустил знаменитую впоследствии книгу под названием «Ориентализм»<sup>14</sup>, где критиковал «предвзятость» традиционной литературной теории. Его методика, как он сам признает, многое почерпнула из феминистских концепций.

Саид прилепил ко всему, когда-либо написанному или сказанному европейцами о чем бы то ни было восточном, ярлык «ориентализма»; дескать, *ориентализация* Востока — это создание Западом для Востока некоей репрессивной схемы, по своему существу империалистичной. Другими словами, все, что писали и пишут европейцы о Востоке, несет отпечаток той структуры власти, которая была создана ради колониализации. Ориентализм — это «западный способ доминировать, реструктурировать и утверждать свою власть над Востоком»<sup>15</sup>. И этот колониалистский «ориентализм», как доказывает Э. Саид, продолжает жить в академической среде. Короче, анализ индивидуальности писателя подменяется чтыванием в его текст империалистической идеологической надстройки. Любые попытки европейца понять Восток Саид готов назвать чуть ли не расистскими.

Саид был одним из первых, кто предложил читать литературные произведения только как идеологический памятник, с неизбежной предвзятостью отражающий свой исторический и этнический контекст. Эстетический анализ — наивен, потому что в *каждом* произведении должна быть учтена *политика*. Политику же создает этническая, гендерная, сексуальная и национальная идентичность автора.

Остается все-таки непонятным, почему вся эта сформированная в интересах более слабых групп идеология релятивизма, для которой такие понятия, как правда, сила, красота, в абсолютном смысле потеряли свое значение, — почему она перешла в мейнстрим? Почему ее догмы внедряются теперь на массовом уровне в прессу, образование, психологию (императивы «найди своего внутреннего ребенка», «соединиться со своей женской частью» и другие терапии, якобы делающие человека более жизнеспособным, удовлетворенным и здоровым, тоже возникли благодаря шестидесятникам) и затрагивают почти каждый аспект жизни обывателя?

Проще говоря, в каждом обществе были радикалы — так почему же в Америке они победили?

Мы можем вспомнить описываемый Хофстадтером рост в геометрической прогрессии численности учеников средних школ в начале XX века. Такой же рост произошел в сфере высшего образования за последние двадцать пять лет. Луис Менанд в упомянутой выше статье «Undisciplined» («Недисциплинированный») ставит примерно тот же вопрос, что и Миллер: почему в университетах сегодня столько лабуды? Но ответ Менанда в некотором смысле более циничен. Менанд говорит, что в университетах отвергается само понятие «научная дисциплина». Если лет сорок — пятьдесят назад, пишет он, профессор

<sup>13</sup> Miller Mark Crispin. Class Dismissed. — «Context», 2002, № 4 (<http://www.centerforbookculture.org/context/no4/miller.html>).

<sup>14</sup> Said Edward. Orientalism. Iowa State University Press, 1978.

<sup>15</sup> Ibid., p. 3.

антропологии определил бы свою специальность каким-то формальным образом («антропология — это то-то и то-то»), то сейчас он скажет: «антропология — это мои собственные предположения о том-то и о том-то».

Менанд переходит к сухим цифрам. В 1947 году среди студентов американских вузов был 71 процент мужчин, сегодня они в меньшинстве — всего 44 процента. Еще в 1965 году 94 процента студентов классифицировались как белые — то есть не негритянского, южноамериканского или азиатского происхождения, в то время как сегодня белых всего 73 процента. С 1984-го по 1994 год количество американских студентов увеличилось на два миллиона, но не за счет белых мужчин. В 1997 году было выдано 45 394 докторских степени (Ph.D — что сейчас не вполне соответствует российской докторской степени, а считается чуть ниже); из них 40 процентов — женщинам, а в гуманитарных областях — почти 50 процентов.

Если рассматривать американский университет не как общественное учреждение, а как бизнес (что ближе к истине — университеты получают с каждого студента 30 000 долларов в год, а это — приемлемый годовой доход семьи из трех человек), то эти цифры многое объясняют. Университетам невыгодно поддерживать свои стандарты — им выгодно поддерживать престиж, а это не всегда то же самое. Когда в начале 70-х первое поколение меньшинств хлынуло в вузы, оно радикально стало менять структуру дисциплин на свой лад — тем более, что идеологическая атмосфера того времени этому соответствовала.

При массовом высшем образовании резко уменьшается доля студентов, желающих заниматься настоящей академической работой. Но поскольку университет — это именно бизнес, он будет ориентироваться на большинство и его обслуживать. Большинству же почему-то интересней изучать новоизобретенные теории о себе самих, даже если эти теории придумали не женщины и не меньшинства, а «белые мужчины».

Те самые интеллектуалы, которые артикулировали постмодернизм, постструктурализм и релятивизм и которые так хотели «пойти в народ», получили наконец эту возможность, потому что такого народа в Америке нашлось предостаточно. А поскольку народа оказалось много, то и денег за свежий «продукт», продаваемый в университетах, тоже потекло немало.

Приведу последний пример для иллюстрации взаимоотношений между интеллигенцией, меньшинствами и академическим бизнесом. Преподавательница английского языка и литературы в университете в Марокко, некая Хасна Леббади, пишет статью под замысловатым названием «Towards a Transgressive Mode of Being: Gender, Postcoloniality and Orality» («К трансгрессивному образу бытия: гендер, постколониализм и оральность»). По словам Леббади, личная проблема ее такова: много лет она преподавала английский в арабской стране, но теперь ее мучит вопрос, не являлась ли ее работа просто «подлаживанием под структуры языка, который навязывал мне чужую идентичность». И вообще, как могла она выражать свои мысли на столь «империалистическом и патриархальном» (в смысле мужского сексизма) языке (подразумевается, что арабский язык — не «патриархальный», хотя моя преподавательница по медиа-этике, если бы она его знала, наверняка нашла бы его еще более «сексистским», чем суахили)?

Но теперь, пишет Леббади, на Западе на факультетах литературы (которые, замечу, нынче, как правило, занимаются тем, что не назовешь учебной дисциплиной) появилось множество предметов — «женские исследования», «постколониализм» (благодаря Э. Саиду) и тому подобные, что открывает «новые интересные, яркие возможности» и позволяет лучше понять конфликт интересов, который она, Леббади, до сих пор переживала в одиночку.

Наш последний вопрос: кто это читает? Упомянув о тех меньшинствах, для которых якобы это все написано, я ответила на свой вопрос только наполовину. Пишется это не только для них. Не нужно забывать, что добрая поло-

вина людей в университетской среде — интеллектуалы, развивающие те самые теории, за которые им так благодарна г-жа Леббади, — это белые американцы среднего или даже иногда выше среднего экономического уровня, и они охотно читают такие же статьи, какие пишут сами.

Почему меня, жителя и США, и России, так тревожит эта тенденция в Америке?

Некоторые русские «публичные интеллектуалы» любят порассуждать о моральном разложении американского общества. Судя по кое-каким из приведенных примеров, они отчасти правы. Но не совсем. Делая своей мишенью всемирное зло потребительства и «моральное разложение», которое из него вытекает, они не замечают, что говорить следует скорее о стремлении буржуазии к коллективизму.

Происходит нечто очень похожее на то, что предшествовало русской революции 1917 года. «Хождению в народ», какими бы благими намерениями оно ни обставлялось, по определению присущи тоталитарные, нивелирующие свойства. Парадоксально, но плюрализм, отрицая правду, отрицает на самом деле индивидуальную точку зрения, потому что в мультикультуральном обществе, где все взгляды одинаково субъективны, индивидуальная точка зрения теряет значение.

Но, к разочарованию левых московских интеллектуалов, нынешнее американское преклонение перед слабостью, необразованностью, импульсивностью и иррациональностью все-таки не приведет к пролетарской революции и не воспроизведет русско-советскую модель интеллигенции.

Оно приводит к другому — оправдывает не только претензии антиглобалистов, но и притязания исламистов, которые жаждут заполнить вакуум, образовавшийся на месте отмененной истины. И которые куда лучше американцев адаптировались к риторике релятивизма, обращая ее себе на пользу.



---

---

# О П Ы Т Ы

ОЛЬГА НОВИКОВА

\*

## ИЗ ЦИКЛА «ВЫМЫСЛЫ»

### ЖЕНЩИНА С ЕЕ ПРОЕКТАМИ

**С**трелки часов вытянулись во фронт — шесть утра. Когда легла-то? В четыре. Блин, опять бессонница! До лета не дотянуть... Может, Франсуа отыщет прогалину, чтоб дней на пять вместе смотаться на наше озеро...

Сомнамбулически схватила мобильник и с еще отключенным сознанием, на автомате, стала нажимать нужные кнопки, но тут окончательно очнувшийся взгляд напоролся на зеленые циферки — время предъявило себя не геометрической линией, а своей арифметической сутью, да еще средневропейской: 4.05. Телефончик куплен в Париже, а будильник со стрелками московский — и не сообразишь со сна, в каком из домов просыпаешься, вспоминается сразу только «bonne nuit» от Франсуа, которым заканчивается почти каждый день с тех пор, как они вместе, вместе и тогда, когда она в Москве (Лондоне, Риме, Токио, Вашингтоне...), а он в Париже (Риме, Токио, Вашингтоне, Лондоне...). Вчера в час ночи по-ихнему муж похвалился, что назавтра есть шанс отоспаться...

Инга подняла руки над головой и потянулась всем телом, каждой своей клеточкой (и тела, и мозга) ощутив, что наконец-то ее корневая система живет не в замкнутом сосуде — нет больше стеклянных стенок, о которые так больно ударяются новые ростки, да и вода сама — такое ненадежное вместилище: быстро испаряется в сухом воздухе или протухает при большой влажности. Нет теперь этой зловонной зависимости, Франсуа пересадил ее в открытый грунт, позаботился, чтоб она в нем укоренилась...

Ха! А ведь это первый раз в жизни не она заботилась, а о ней. Точно, впервые. Может, несколько часов-дней после рождения матушка и беспокоилась об орущем комочке, и то вряд ли. Помнятся только ясли с сердитыми няньками-лимитчицами, детский сад-пятидневка с унижениями почти концлагерными (ксерокопию солженицынского Гулага — в универе на одну ночь дали — читала без охов-ахов наивного открывателя, а как бы вспоминая то насилие, которое претерпел и весь их коньковский род, берущий начало от крепостных, и она сама с самого раннего детства). Даже в первое свое первое сентября она топала в школу одна (с вечера нагладила коричневое форменное платье из дешевенькой шерсти и белый сатиновый фартук с оборками, на даче срезала сбереженные от материнских импульсивных дарений гладиолусы-георгины-астры со спаржей — лучше всех венчик тогда получился).

Класса с восьмого начались проблемы со здоровьем, маминим здоровьем. Недавно совсем прочитала в журнальчике глянцево (случайно наткнулась, на одной странице с ее фотографией была заметка), что у какого-то американского президента жена пару десятков лет в лежку лежала — болела то есть, чтобы муж несколько часов в день гарантированно с ней проводил. Не этого ли разлива были материнские хворобы? Но по больницам пришлось с курины-

---

Новикова Ольга Ильинична — прозаик, автор книг «В. Каверин. Критический очерк» (1986, в соавторстве с Вл. Новиковым), «Женский роман» (1993), «Мужской роман» (2000), «Приключения женственности» (2003).

ми бульонами побегать. Может быть, поэтому так деловито, без детского мандража сдала она экзамены на психфак и с первого раза поступила... Без блата. Некогда и не у кого было узнать, что связи нужны, — врачей лучших искала, лекарства нужные доставала (вот тут без блата не обойтись), помаду с лаком для ногтей цвета «калипсо» (редко кто тогда знал, что ногти и губы, по правилам, следует одним оттенком красить). А мамаше еще и краску для волос надо было такую же найти, медно-малиново-каштановую, вот это какой сложный цвет. (Поэтому позже, много лет спустя, ничего удивительного для Инги не было в том, что семидесятидевятилетней тетушке Франсуа, аристократке французской, после операции понадобился парикмахер, нет, она потребовала парикмахершу — как можно предстать перед мужчиной! в таком неухоженном виде!)

Первая любовь пришла, когда она Илюшу узнала. Правда, потом, со мной споря, она назвала это чувство «любовью к великой русской поэзии», а не к отдельному и маленькому ее представителю. «Но главное — у него душа тогда пела». Из провинциального украинского сельхозинститута (куда еще мог поступить гениальный поэт с пятым пунктом в паспорте?) его надо было перетащить в Москву. Ну, это-то проще простого — на закорках нести не понадобилось. Поженились. А высшее образование все равно нужно. Хоть какое... Правда, когда появляется выбор, человек начинает привередничать. Переводом можно было получить даже академию, но только профильную, сельскохозяйственную. Поэту же хотелось поближе к другим поэтам, в Литинститут...

Инга решила действовать наверняка — и связи установить, и знаниями Илюшиными экзаменаторов поразить. За руки взялись и пошли — в приемной комиссии застенчивому юноше достаточно было почитать свои необычные стихи, чтобы обзавестись почитателями. Манера письма и манера чтения совпали (случайно ли?) с повадкой главной тогдашней знаменитости. Вскоре удалось как-то и познакомиться с мэтром, которому совсем не претили талантливые эпигоны, ведь в одиночку сам он вчистую проигрывал отщепенцу Бродскому: в соревнование вступил исподтишка, открыто в этом не признаваясь даже себе, из-за этого и потерпел поражение. Не состязался бы — всем на Парнасе бы места хватило. Но теперь уж что говорить: с мертвыми не поспоришь, а проигравший, бывает, смердит сильнее погребенного мертвеца.

Со знаниями филологическими у недоучившегося агронома было туговато. По сложной цепочке вышли на Владимира Николаевича, которого сразу же, как только опознали в нем своего и почти ровесника, стали называть Володей. Стоило чуток помедлить, и уже не осмелились бы по жердочке «тыканья» переходить пропасть, которая разделяла ренессансного филолога и их, понимающих ценность таких знаний. Но и то верно — чем меньше пиетета, тем больше впитывающая поверхность: не одним только умом можно понимать, усваивать — и Россию, и человека всего, и даже отдельные его достижения.

Илюша поступил, а она тем временем окончила свой психфак. Он оброс поклонниками, соратниками, чем больше сверкала былинно-хоккейная тройка (Илюша, Ваня, Саша), тем меньше было официального признания — ну нигде их не печатали, буквально нигде, — и заработков, конечно, никаких.

Чтобы выбраться из завала, надо было понять ситуацию, посмотреть на нее с высоты, только не с заоблачной, а увидеть все в человеческом измерении. От Илюши помощи никакой: его взгляд поэтически эгоистично искажал любую жизненную картинку — так уродует лицо слишком близко приставленный объектив фотоаппарата. Помог Бергсон, у которого она вычитала философию «слоеного пирога». Буквально — начала для гостей торт-наполеон стряпать, и модель мира ощутила как множество непересекающихся сфер. Если в данный момент чувствуешь боль, то надо расслоить ситуацию.

«Мама, он же гений! Какие деньги! Не хочешь с внуком сидеть — так и скажи! Будем квартиру снимать. На какие шиши, блин? Это уж не твое дело!»

Слепая любовь, так это, кажется, называется? Нет, в Ингином случае годится только слово «любовь», а эпитеты подойдут другие: самоотверженная и действенная. Инга была источником энергии, но от ее излучения у Илюши сперва закоптился золотой нимб, которым она же поэта одарила, а потом и сам он начал скукоживаться.

Был момент, когда она решила, что сама все испортила безоглядной самоотверженностью, что обывательская логика права — нельзя мужчине полностью отдаваться, привыкают они быстро, используют тебя и начинают искать другую дурочку, потом еще одну, и так продолжается до тех пор, пока не нарвутся на хищницу, а тогда... Умирание имеет много разных ступеней, об умирании личности речь, а физически умирать они, бывает, и приползают к первой жене. Но до этого пока еще не дошло.

Любовью, и только любовью, открывается новое, неэвклидово пространство, где все зависит от самого человека, ничего не предопределено ни тем, в каком веке он родился, ни тем, в какой стране, в какой касте — дворянин или крепостной, все границы может смести твоя собственная духовно-интеллектуальная работа — пешком выберешься из задворок империи в столицу и станешь равен царям. Но сперва перестань подчиняться оправдывающей бездействию обывательской логике!

Илюше страстно захотелось напечататься, во что бы то ни стало увидеть свое имя кириллическим, а не только латинским типографским шрифтом. (Финляндия, Дания, Франция даже — всего лишь провинция для русского поэта.) Чем она могла ему помочь? Ну, перед защитой своей диссертации опубликовала Инга несколько статей о психологии метафоры, куда (на манер знаменитого «Комы», спрятавшего в комментарий к книге Выготского «Психология искусства» запрещенное пастернаковское «Гул затих...») подсунула пять Илюшиных стихотворений, целиком, в качестве примеров. Среди ночи разбуди — могла начать декламировать наизусть мужнины опусы, с первого до самого последнего, только что родившегося. (Сказать честно? Не так уж много их было. Илюшиной требовательностью к себе оправдывала так медленно растущее собрание сочинений.)

Там кудрявый кронштейн пробегает в малиновых плавках,  
Интуиции минус-сигнал мучителен и убог.  
Силуэт растворимый распяли на скользких булавах,  
И удоды играют с подобьями в фотофутбол.

Примерно так он сочинял... Меня и В. Н. позвали это послушать — недалеко от коньковского метро дело было, мы, провинциалы с подмосковной пропиской, там квартиру снимали, а они, коренные москвичи благодаря Инге, кооперативную неподалеку купили. Один доцент Литинститута и владелец отдела поэзии толстого журнала был тоже приглашен. Тоже! Именно перед ним Илюша подобострастничал и Ингу пытался заставить. Нас в качестве гарнира пригласил. (Насчет гарнира — это я сейчас могу сформулировать, тогда только цапнуло, но лишь на миг — на молодом заживает все мгновенно, — нерассуждающий азарт общения, влечения к людям, еще и не в такие места затягивал...)

Володя-то как наивный ученый, в исследовательском раже анализируя любые экскременты, запаха не слышал, а мое чутье сразу поморщилось... (Грубовато выходит, сердито... Надо подумать, почему?)

Пили, конечно... (Помня, что на гарнир подавали нас с Володей, я сказала, мол, закуски не было. Инга, прочитав черновик этого рассказа, обиделась: «Я без пирожков никогда никого не принимала!» Наверняка она права, но для меня в те времена все гурманские удовольствия проходили через цензуру идейного похудания, так что к мучному я не прикасалась. И свои-то пирожки, когда гостей угощала, не пробовала.) Белое («Фетяaska» кисловатая) на голодный желудок притупило вкусовые ощущения, но когда потоком стихи пошли, я не выдержала... Нет, минут тридцать еще потерпела, убеждая себя,



что просто не понимаю новую поэтику, вслушивалась если не в слова (дурно пахнут мертвые слова...), то в мелодию (заемную), от Володиного интереса пыталась прикурить — ничего не вышло... Не могу больше усидеть, и все тут! Эх, если б знала, что можно, как отважная поэтесса Елена Шварц, начать метать в стену пирожные — красивый бы жест был! Но и пирожных не подавали к столу, и смелости такой у меня тогда не было (сейчас словцо метнуть могу, а стены портить все равно бы нигде не стала) — про гастрит вспомнила, и ушли мы, сославшись на боль в моем животе.

Что дальше было — лет через десять узнали, от Инги, когда она ночью приехала к нам, уже на нынешнюю квартиру. Не терпится ту сценку дорассказать, употребив (во зло?) Ингину откровенность. (Неблагодарно, скажете? Но, во первых, я только слушала тогда, ни одного вопроса не задала, ей самой захотелось так открыться... И знала она, что рассказывает — писателю. А во вторых... Невозможно без исследования реальных поступков реальных, живых людей структурировать хаос жизни посредством приставляемых друг к другу слов. Невозможно по-другому оказывать необходимую и, по сути, благородную помощь своим читателям. Так ведь?)

Отряд не заметил потери бойцов, то есть нашего с Володей отсутствия. К «Фетяске» водки добавили, и Ингу, как самую трезвую, расчетливый муженек отправил провожать до метро подвыпившего гостя. Пока она пописать на дорожку уходила, мужчины о чем-то пошептались, и когда Инга почти на закорках тащила профессора по безлюдному парку к остановке автобуса, он полез к ней, причем не только щеку облизнул, но и трусы стал снимать, свои вонючие трусы, да еще в ухо шептал, что муж не против... Коленкой в пах пришлось ему заехать и под березой бросить... Не холодно было, и гад живучим оказался... А дома в гневе так топнула ногой, что пятка треснула — громоздкий, неудобный гипс несколько недель пришлось на себе таскать.

И эту тяжесть ее любовь вынесла. Илюша же продолжал экспериментировать. Слайды свои нам показывал — белая Инга с черными пятнышками сосков и лобка на берегу черно-белого озера, в графическом лесу, со спины в домашнем интерьере... И она научилась говорить о метафоре в фотографии, в изобразительном искусстве, да так талантливо, что ей предложили сделать документальный фильм о советском подпольно-авангардном искусстве. Суматошно урывала для этого минуты-часы у ночного сна (тогда и появилась бессонница), у дневной еды (видимую людям худобу оформила эстетически, а невидимую язву не выдала ни разу не только словами, но и страдальческой гримасой) — не дай бог ущемить хоть в чем-то Илюшеньку: слава и успех, дружно перестроившись, кинулись в объятья к подпольным и гонимым (многим — в пугающем большинстве то были мужчины — не хватило ума понять, что ненадолго это, ибо не настоящей любовью объятья продиктованы, да и откуда свободным от моральных пут творцам распознать подлинность чувства, с блядами в основном они дело имели, что и проще, и безответственней), книжку в бывшем партийном издательстве выпустили. Стихи — тиражом десять тысяч экземпляров!

В первую границу вдвоем съездили, в Румынию. По возвращении Илья смачно и в то же время отстраненно (про достоинство не забывая) рассказывал, как там приятно в кафе на улице посидеть (у нас тогда и этого простенького удовольствия еще не было), сколько разных пирожных они перепробовали... И вдруг эмоции совсем отключили разум, и поэт наивно проговорился, что там бы мог просто жить-кайфовать, зарабатывать фотоаппаратом и стихов не писать...

А в Москве сказочное время было для всего непонятого, но поэт не сообразил, что бесконечных сказок не бывает. Снял себе «студию», чтобы никто, ни сын, ни жена, работать не мешали.

Как он там трудился, не знаю, но вспомнилось, что совсем недавно на тусовке один молодой поэт-прозаик-журналист с умом и талантом, будучи раскрепощен парой пластиковых рюмок, советовался, снять или все же купить

квартиру для его подруги с трехлетним стажем. «Надоело по чужим хатам мотаться. Я ее люблю, но и жену люблю». — «А не меркантильно ли ее чувство?» — спросила я, узнав, что кандидатка в гарем — беженка из Баку. Алкоголь и с меня снял вериги деликатности. Нет, скорее азарт исследователя мной руководил, реальную жизнь писательский инстинкт учуял. «Что вы, у нее были очень богатые любовники». — «Тогда лучше купить — вложение в недвижимость самое надежное». — «А жене что я скажу? — спросил он. И сам же ответил: — „Студио“, мол, для работы снял... Только вы никому не рассказывайте». — «Конечно, никому не скажу, только в следующем же своем опусе опишу ваш случай, и все». Это я не в уме, а вслух ему пообещала. Выполняю. (Опять неблагородно? Но я открыто это делаю, с риском для самой себя — как только мои знакомые поймут, что под наблюдением находятся, начнут, чего доброго, меня чураться. А самое главное, полезно помогать человеку увидеть себя со стороны — на фото или киноплёнке, в тексте или на картине. Врачевание своего рода. Узнаешь о своем недуге и, глядишь, сумеешь что-то поправить. А то ведь не ведаешь, насколько роково отозвалось твое ироничное слово, твой взгляд исподлобья в твоей собственной судьбе. Памятливы люди на обиду. Из своего жизненного сора творить... стихи, искусство — трудно, врага же — всякий может... И живут потом с ненавистью к не подозревавшему об этом человеку — хочется ведь чувства испытывать, без них скучно, а любить надо уметь. Насколько легче ненавидеть...)

Одна из посетительниц нового Илюшиного жилища, американка, устроила ему аспирантуру в Калифорнии. (А Инга в это время другой фильм сняла. Снова успех. «Я в Канны не поехала, так как считала, что форму для этого материала не нашла. А награды... Срать мне было на медали...») В Америке уже выяснилось, что сперва надо магистерскую работу написать. Про себя, любимого, оказывается, нельзя. Принялся сочинять про друга-концептуалиста, еще более хилого, на мой наивный взгляд, версификатора, но зато по американской конъюнктуре — абсолютное «прохонже».

На каникулы, в августе девяносто первого, приехал Илюша в Москву. Девятнадцатого сильно испугался (это потом, во время ночного визита, Инга рассказала), и пока бывшая жена (обремененная международной славой и поэтому добывшая кинокамеру с оператором, чтобы исторические события заснять) отважно у Белого дома трое суток проработала, он все канючил, чтобы она достала ему билет в спокойную тогда Америку, но уже двадцать третьего августа пригласил в ее замоскворецкую квартиру, купленную на призовые гонорары за фильм, американского культурного атташе и нас с Володией — опять для гарнира. Победу праздновали, «нашу победу». Осадок у меня неприятный тогда остался, про метание пирожных в стену вспомнила, тем более что теперь они в меню присутствовали, и вино французское было, и «Абсолют» настоящий... В общем — сервильность высшего класса.

И когда через пару дней Илюша вкрадчиво так, по-американски вежливо попросился в гости, я дала слабину, пригласила его. А чтобы не так заметна была моя неискренность (в преувеличенном радушии она тогда выражалась, только в нем — самой было потом противно), Верену позвала.

Приятель-переводчик ее в наш дом направил. Она стала часто заходить, с дочкой нашей, ее ровесницей почти, подружилась. А все-таки ближе к нам была. Я это объясняла тем, что Верена уже в шестнадцать лет стала самостоятельной — ушла из слишком для нее консервативного родного дома, квартиру снимала, а мы с дочкой даже и не думали разлучаться, и не столько из-за отсутствия денег на расширение жилплощади, сколько из-за привязанности друг к другу, в чем-то вредной для ребенка (это я потом поняла, а тогда наша близость грела душу, гордилась я ею, как спесивая баба).

Когда дочь сдала свою первую летнюю сессию в МГУ, мы с ней приехали в Швейцарию, к Володе, уже полсеместра там отскачивавшему. У него в тот день были лекции, поэтому в Базеле Верена с мамой встретили нас, двух те-

тех, испуганных двухсуточным пересечением Европы, где нас на границе чуть не арестовали: чиновницы Союза писателей, оформлявшие документы, поленились съездить в немецкое посольство за транзитными визами (но список необходимой им мануфактуры беззастенчиво составили; вообще подарки-взятки того дефицитного времени — отдельная тема, ужас как этот оброк мешал, портил удовольствие, а смелости не платить тогдашним рэкетирам не было), пересадили на цюрихский поезд и в Кюснахте сдали на руки главе семейства.

Так и не вылупились мы с моей Лизой из кокона робости, который в России свивало и свивает вековое рабство (я не только не пыталась порвать эти путы, но даже кичилась ими, ведь они были изготовлены из такого добротного материала, как скромность), и Веренина свобода уже сама по себе восхищала, а еще она нас так опекала, как родных! К родителям в Базель свозила — никакие они оказались не бирюки консервативные: мама, депутат Базельского парламента, сердобольная, добрая, заботливая, терпимая, ну прямо русский идеал; отец, профессор философии, под стать ей, только ниже ростом. В общежитскую Веренину комнату мы втроем пришли, там она нас с другом познакомила, студентом философского факультета, который тоже русский учить начал. На его машине, двухдверной букашке, впятером съездили на гору Риги (такая же экскурсия, как на озеро Рица в нашем отечестве)... В общем, отсутствие теплоты к Верене я считала своим изъяном, в котором даже себе признаваться не хотела.

В Москву мы возвращались опять из Базеля, опять Веренина мама принесла нам целую сумку гостинцев, и по ее открытому лицу было видно, что она не потешается, не осуждает и не презирает нас за количество багажных мест: чертова дюжина была тюков, сумок, чемоданов; тринадцатым шел телевизор, с которым мы двое суток делили нижнюю полку в узком купе — больше его деть было некуда. (И вы не иронизируйте — дело было в августе девяносто первого, пшеничная мука и та распределялась по талонам. Веренина мама позже прислала нам посылку с самым необходимым, так ящик шел почти полгода, почтовые расходы в два раза превышали стоимость его содержимого, и вдобавок коробка со стиральным порошком прорвалась, и сахар-соль-крупы пропитались химическими запахами, по мне, так очень приятными.)

Ну и вот, через несколько дней после нашего воссоединения с родиной (сосед еще спросил: зачем вернулись? Тогда мы как-то виновато пожалы плечами, а сейчас я, пожалуй, могла бы ответить, но что-то многовато отступлений, найду другой случай, тем более что наши резоны примерно те же, что у Инги, — она ведь тоже не эмигрирует), через три-четыре дня приехала и Верена, получила стажировку в не помню каком институте. Тридцатого августа они и встретились на нашей просторной девятиметровой кухне, Илюша и Верена. Он, как всегда, был какой-то неестественный — искательно-суетливый и слащавый, так и боишься к нему прилипнуть. Верена смотрела на него свысока, надменно даже. (Теперь уж и не знаю, расчетливо или бессознательно она выбрала самую лучшую позу для привлечения к себе внимания. Мы с Володей даже обманулись ее устной рецензией на гостя, сугубо отрицательной.)

На наших глазах они вместе были еще несколько раз — на вечере, например, где Илюша триумфально читал свои стихи. Потом они оба уехали, он в Калифорнию вернулся, а она — в Цюрих, закончила там университет и стажироваться в Америку прилетела, к Илюше. Ее мама нам позвонила из Базеля, деликатно очень все про друга нашего расспрашивала. Я тревогу ее поняла, но слишком общо. Потому что причину материнского страха уяснила позже, из письма своей цюрихской подруги: студент-философ, узнав о расторжении помолвки с Вереной, застрелился из отцовского охотничьего ружья. И она про это в письме упомянула, но так равнодушно, что я отпрянула, как будто на жестокость фашистскую напоролась. (Трусливо постаралась тогда забыть это ощущение. Теперь думаю — почему по-бабьи от неприятной реальности отшатнулась?)

Приятель, нас с Вереной познакомивший, сцену мне по телефону устроил: как, мол, ты, такая умная, мудрая, могла допустить их сближение! Да ты должна была, как Ахросимова Наташу Ростову, спасти Верену от этого бездарного поэтишки-обольстителя... (Потом Илюша про него в газете несколько добрых слов напечатал, и они прекрасно поняли друг друга, а я... я почувствовала враждебность к себе у обоих.)

«Ох, использует она Илюшу и выбросит...» — встревожилась Инга, когда в четвертом часу ночи мой рассказ пришел к промежуточному финалу. Она все еще заботилась о нем! Тут высокопарно хочется заговорить — такой широтой личности, щедростью, высотой духа пахнуло от этой нерасчетливой заботы!..

Не знаю, болезненным ли был для Инги развод с Илюшей, но через столько лет вдруг ночью приехать к нам и так незлорадно выслушивать историю бывшего мужа может только... Кто? Назову это так — самодостаточная личность. (Творческая или нет — не знаю, вот что Инга сама сказала: «Чтобы создать шедевр, нужен бриллиант безумия. Вряд ли он у меня есть, но я могу почувствовать бриллиант в другом...») К тому времени она уже встретила Франсуа, известного французского галериста, уже пожила во Франции, перепробовала много разных занятий — про них я отовсюду слышала, даже из телевизора узнавала. Все время соотечественников продвигала, в том числе и меня приласкала не только словом, но и делом: один из ее неожиданных звонков был с вопросом, нет ли у меня рассказа какого — ее приятель-англичанин составляет антологию из произведений писателей Восточной Европы.

Помню, договорились встретиться у памятника Пушкину. Полчаса я ее прождала на ветру, под мелким дождем, перешедшим в снег, без зонтика стояла, но даже не сердилась — отказы и тычки, которые знакомы почти каждому начинающему писателю, так изранили к тому времени мою душу, что она на какое-то время (ох, ненадолго, теперь снова болит) просто отключилась от сознания, которое все-таки велело отдать двенадцать страничек «Филемона и Бавкиды», новеллы, по-русски не опубликованной. «Какая ты красивая!» — вот как извинилась Инга за опоздание. Спросила, нет ли у нас репетитора для сына, упомянула про коллекцию живописи для Инкомбанка, которую она собирает, про растущую в мире актуальность фотографии, и упорхнула. Через год Майкл, переводчик, приехал в Москву, сорок долларов вручил (первый мой гонорар, стирающий грань между материальной и духовной ценностями, в рамочку я готова была их оправить и на стену повесить) и томик в супере «Description of A Struggle», завершающийся моей новеллой.

Упоминаю про этот случай не себя ради, а чтобы Ингину легкую, умелую руку в действии показать. Ничем не обусловленная доброжелательность — редкое человеческое достоинство. Я-то все время сталкиваюсь с совершенно противоположным: наобещают безответственно три короба благ, потребуют за это невозможное количество услуг, воспользуются ими, и ничего не сделают, даже пардона не попросив, только руками разведут: ну, старуха, ты же понимаешь. К сожалению, я все понимаю. И Инга насчет людей совсем не заблуждается, но деятельный человек понимает, что разоблачение другого — не конечная цель, а только промежуточный этап, что возвыситься над любым, любым смертным, не так уж трудно, все мы напичканы недостатками, а вот использовать свое знание, чтобы взаимодействовать с людьми — это умеют редкие, избранные. Инга из их числа.

Кто это сказал, что Запад и Восток с мест не сойдут и никогда не соединятся? Сами-то пробовали их связать, создать из них единую энергетическую систему? У них там при всем режиме экономии есть деньги для так называемого *exception culturelle* (льгота для культуры), а в России денег без толку пропадает гораздо больше, и кто-то может их под вывеской культуры отмыть.

Идешь в зарубежный фонд и выбиваешь бумагу, написанную иностранными вилами по русской воде, что, мол, есть заинтересованность в развитии контактов. Потом в министерстве или мэрии, размахивая этой писулькой и ни

в коем случае не давая ее в руки, добиваешься включения маленького пунктика в бюджет будущего года. Потом снова в Париж, где по-французски объясняешь, что поддержка российских властей тебе обеспечена, а месье-мадам, подключившись к твоей затее, будут пользоваться большими привилегиями. Вот так — камень на камень, кирпич на кирпич — была создана Ингина фотогалерея «Кадр». Любой каталог выставки или фотобиеннале открывается перечислением спонсоров, несколько столбиков он занимает, и за каждой строчкой стоит человек или несколько людей, с которыми Инга выстроила выгодный ее делу тип отношений.

Теперь о каждом событии ее жизни можно узнать из газет-журналов (на все зарубежные выставки она берет с собой избранных журналистов), по телику ее показывают регулярно (результат умения создавать информационные поводы), глянцева периодика исправно тиражирует ее открытое, улыбающееся лицо с лучистыми глазами, блеск которых не под силу скрыть даже самому ремесленному фотографу. («Всегда безразлично было, какой фирмы пиджак или башмаки на мне, в каком доме живу, но раз для дела раздеться надо и лейбл показать — пришлось и это изучить. И смириться, что все равно все перевирают. Ведь каждый пишет прежде всего о себе... Вот и ты о себе написала больше, чем обо мне... Но я всегда решаю, тратить силы на борьбу или другим путем пойти». — Ингины слова. Угрозы в них я не почувствовала.)

Так что остается за кадром? Никаких особых, многоходовых интриг, подковой борьбы, просто на ковер иной раз надо прийти в восемь утра, когда градоначальник еще не окружен плотным аппаратным кольцом и мирно диктует поздравительную телеграмму победителю Уимблдонского турнира.

Освоить эту нехитрую арифметику деловых шагов может даже человек с двумя извилинами, но только и результаты получит арифметические (вот и выкуп за заложников требуют в мелких банкнотах отдавать), каждое достижение будет рукотворно и единично, за собой ничего не повлечет, само по себе ничто не подвинется, всякий раз с нуля он должен начинать. Инга же действовала по законам высшей математики, то есть алгебры (уже не простую арифметику!) с гармонией повенчала, со своей внутренней гармонией. Обретение ее и есть тот фундамент, на котором только и может крепиться жизнь женщины. Подтачивают эту основу природные, стихийные силы — родственники, самые близкие порой (каждая может в пример привести мать-отца, брата-сестру, сына-дочь, не говоря уж о мужьях-любимых), компаньоны и сослуживцы, время с женщиной борется агрессивнее, чем с мужчиной...

Но больше всего вреда эстетической гармонии наносит... бабскость неосознаваемая. В своей безоценочной сущности это то, что отличает два пола, совсем ее уничтожают в себе некоторые умницы, становясь мужиками, в юбке ли, в брюках — все равно по теперешней моде. Много их среди успешных дам — и в политике, и в бизнесе, и в искусстве, а в литературе, высокой литературе (не в масскультурной и не в приближающейся к ней беллетристике) — только такие и были пока, железные женщины. Умение держать удар (и град пинков, и неожиданный тумак в спину, и прямой мордобой), без которого личностью не стать, вот оно и обезличивает половую природу.

Хищность тоже добивается нужных ей результатов (ее обладательницы хорошо знают, что им нужно), но хитрость, мстительность, коварный расчет так сминают лицо женское, столько морщин на коже оставляют и такими мутными глаза делают, что никакая косметика, никакие очки затемненные вернуть этой маске жизнь не в состоянии. Мужчин многих эта хищность — молодежь, конечно, а не стареющая — очень даже привлекает: безответственно можно ею наслаждаться, сама она себя защитит, и обхитрить ее — дополнительное удовольствие. Мало у кого есть смелость хотя бы разглядеть, не говоря уж о сближении, — женщину, в которой первородная бабскость благодаря духовной работе превратилась в глубокую женственность, самодостаточную и непредсказуемую. Леня с нею возиться, трусят русские мужики, интимное одиночество становится чаще всего уделом такой женщины.

Но Инга встретила Франсуа.

Венчались они через несколько лет после гражданской регистрации брака. В Рождественском монастыре дело было. Инга в длинном серебряном платье с капюшоном (многие модельеры предлагали свои самые новые модели, ведь обе церемонии — и церковную, и светскую, в «Метрополе» — снимали настоящие профессионалы) ну невозможно прекрасная, Франсуа в бабочке и в черном костюме, с застенчивой и очень доброй улыбкой. Он растерянно слушал ритуальные слова — по-русски-то ничего не понимал, и даже мило так оконфузился: на вопрос священника: «Раб божий Франсуа, не обещался ли еси другой невесте?» — радостно кивнул головой.

Володя мне на ухо шепнул: «Илюша — единственный неудавшийся проект Инги» (всегдашнее профессорское добродушие сдалось на милость-немилость остроумию), а у меня перед глазами встала другая свадьба, на которой не было ни одной неточности относительно соблюдения религиозного ритуала, и все же вся она оказалась ошибкой. Начиная с того, что венчались явный тогда атеист и номинальная католичка. Об Илюше и Верене речь... Мы с Володей минут сорок держали над их головами свадебные венцы, у меня правая рука онемела, пришлось украдкой переложить венец в другую. Было это в престижном храме, только что возвращенном Церкви и еще не скинувшем гражданский костюм — на неубранное клубное помещение было похоже. Но ни Илюшу, ни Верену, ни друга-концептуалиста, бывшего среди приглашенных, ни форма, ни содержание не смущали.

Из Америки, где Илюша не смог получить никакого ученого звания (так как... что причина, что следствие — разве можно определить? попивать он начал, и нешуточно), они переехали в Базель, где он хотел фотографией заняться, правда, это оказалось слишком дорогим для них удовольствием — нигде служить свободный русский поэт не хотел. Деньги у Верениной бабушки были, но она давала их только на внуков — не на идею продолжения рода, а на реальных орущих комочков. И добрые тещь с тещей никак не сумели уговорить «старую каргу» (Илюшины слова). В конце концов, Верена, начав переводить Илюшины вирши («У меня жена с немецким языком», — хвастался он), бросила не только это бескорыстное занятие, но и автора (вспомните Ингино пророчество), и сама стала писать стихи. Последний раз я слышала ее голос по телефону — она приглашала на свой литературный вечер в Москве: одна знаменитость перевела ее стихи, и вот презентовали только что появившуюся книжку.

А Илюша, его сестра и родители воспользовались своим пятым пунктом и переехали в Германию. Временами наезжает он в Москву, по телику как-то интервью давал, я вслушивалась, вслушивалась, чтобы для этого сочинения использовать, но... Так и не смогла я понять, за что же Инга его любила... Может, и теперь еще любит.

И последняя сцена. Франкфурт, книжная ярмарка. Инга туда приехала, чтобы сделать рекогносцировку местности на будущий год, когда Россия станет главным гостем. Расширяется «Кадр», издание книг — самое разумное развитие бизнеса. На все тусовки приглашена. Только переступает порог любого зала, как вокруг нее начинается клубление, в ход она пускает и ум, и опыт, и женское кокетство, импровизационное, а не заученное — всякому, на кого попадает его лучик, кажется, что только для него она светится. Сама не раз грелась, так что по собственному опыту утверждаю.

Отделились вчетвером на один вечерок и устроились на верхотуре небоскреба в небольшом ресторане. Официанты вокруг Инги так и забегали. (Есть у меня один знакомец, который так же заводит службу противоположного пола. Секрет очень прост: сними мысленно униформу с челяди и говори душа с душой, человек с человеком, весело, заинтересованно, а не натужно. В общем, искренне интересуйтесь другими людьми, и они ответят вам тем же.) И она расслабилась (не только с нами говорила, но и по мобильнику):

— Думали, куда сыночку поступать... Умные люди посоветовали академию экономическую. Он вроде согласился, на собеседование пошел. Я его учу: «Отвечай всегда правду, не надо юлить, боком это выходит». Вернулся, все хорошо прошло, говорит. Вроде бы экзаменаторы остались им довольны. Звоню советчикам. Оказывается, когда его спросили, почему сюда решил поступать, мой сынок, вспомнив материнский совет, ответил, что ему бы только тут перекантоваться, к экономике у него никакого интереса нет, он кинооператором вообще-то хочет стать... И правда, так даже лучше получилось — во ВГИК поступил в этом году. Я подарила ему фотоаппарат навороченный. Вечером, когда от электрички к даче близоруко плелся, на него напали, он сумку не отдавал, так они ударом по голове его отключили. Пришел весь в крови, череп пробит, я его в ближайшую больницу везу, в Подольск. Там в травмопункте ни бинтов, ни игло-лок, чтоб голову зашить, ничего... Несемся в Москву, в Склиф. «Если хотите, чтобы шов качественный был, платите двести долларов, а иначе — у нас ничего нет». Вокруг на каталках голые бомжи, с которых кровь капает, девчурка со сломанной рукой плачет... Ужас библейский. Я, конечно, заплатила. Представить даже не могу, что бы было без денег. Зашили отлично, в Париже потом врачи поразились качеству работы... Это ты, мон амур? — На мурлыканье мобильника ответила. Как будто другая женщина заговорила. Лицо ее расправилось, губы сложились в трубочку и стали мило подсюсюкивать. Киска, да и только. Но это не было то, что называют плохим словом «двуличие», это как раз была одна личность, вмещающая в себя и строгую даму, и стервозную начальницу, и заботливую мамашу-наседку, и жесткого профессионала, и влюбленную молодую жену... — У меня все хорошо. Я тебе сама позвоню — в моей гостинице связь не работает, ты не волнуйся. — Дала отбой и тут же набрала другой номер. — Петька, если ты друг, приезжай сейчас сюда и заведи меня. Поздно? Ну, ты не джентльмен. Ладно, встретиться все равно надо — возьму такси и сама к тебе приеду... Так вот теперь я сама все, что могла, в травматологию отдала, и еще устраиваю благотворительную выставку, чтобы каждый банкир сделал пожертвование в фонд Склифа, а кто откажется, я его так ослаблю! Противно иметь дело с тем, у кого душа не поет...

## ПИТЕР И ПОЭТ

Только так — Питер — мы панибратски называли его тогда, когда он был Ленинградом, да и теперь продолжаем, когда его снова передела, на этот раз не в новую, а в старинную одежду. Конечно, мода возвращается, но... Вновь ставшее актуальным платье из бабушкиного сундука естественнее выглядит на выставке, в музее, на подиуме, а не за служебной конторкой или на вечеринке любого статуса, ведь конструкция, то есть уловимые только профессионалами очертания, все же меняется — в природе не может быть и нет скуки абсолютного повтора, да и портится старое — сколько ни пересыпай шерсть нафталином, за долгие годы работы мошь усердно найдет неотравленное, съедобное место. До длинного Санкт-Петербурга она добралась, а коротенький Питер устоял.

Почему мы так часто ездили туда до девяностых годов прошлого века, а с тех пор я ни разу там не была? Самое простое объяснение, материалистическое — раньше билет в купейном стабильно стоил пятнадцать рублей, а теперь семьсот или тысячу (сколько будет, когда этот текст станете читать, мне не предсказать). Но простота в России хуже воровства, в политических целях ее используют, чтобы электорат заморочить, а по правде — когда это русского человека деньги останавливали? Если душа просит, то и нищий пролетарий добудет бутылку, и нищий интеллигент — книжку редкую, и нищий коллекционер — Зверева или Яковлева, и нищий путешественник до Питера доберется.

Не окном в Европу Питер был, когда мы жили за «железным занавесом» (чужими метафорами пользоваться нехорошо, но это уже термины), — самой

Европой он был для нас, заключенных в советские границы. В Чеховым открытом стремлении просвещенного провинциала «в Москву!» смысловое ударение падает не на цель, а на вектор, на охоту к перемене мест, на неумный интерес к новому. И конечно, от себя самого, непознанного (и непознаваемого?), хочет сбежать русский человек, то есть тот, чья корневая система раскинулась по всему простору обрезанного, но все еще огромного государства. Он и теперь свободно может добывать себе пропитание в любом национальном уголке, без ограничений (если только сам себя не сдерживает, по глупости или по хитрости — и то и другое закрывает дорогу к непредсказуемой бесконечности, ради которой и хочется жить).

Ну а литературоцентричного человека в Питер так и тянет. Выходишь, неумытая, ранним утром из московского поезда на обновленный, омытый ночным безлюдьем Невский, и бытовая, неудобная, обидная «совковая» жизнь забывается вплоть до возвращения на Ленинградский вокзал в Москву. Настоящая, непритворная любовь, то есть тяга к кому-то или к чему-то (перечень бесконечен, очень необычные бывают любви), такую крепость может придать хрупкой человеческой особи, что она, преодолев пути пространства и времени, на та-акую дух захватывающую свободу вырвется... Да, да, я имею в виду Того, кто всех нас полюбил... И в семьях бывают бабушки-дедушки, о которых поколение за поколением помнит, и в искусствах-науках о гениях веками не забывают. Гениальность — это ведь производное любви. Взаимной любви мужчины и женщины, писателя и слова, ученого и предмета исследования... Но взаимность не может быть постоянной, она возникает (сама собой или ее добиваются) и исчезает, а чтобы возвращалась — нужны усилия, работа, и чем дальше, тем усерднее надо трудиться. Любовное напряжение не всякому под силу, гении часто становятся психически больными. Или рано погибают.

Мы еще живы? Тогда в Питер вернемся. Влекла меня туда раз за разом любовь к Литературе, начавшаяся в тот момент, когда мама, еще молодая, красивая (она и сейчас прекрасна), весело, по голосам, читала «А от тебя, лиса, и подавно уйду...». Теперь я могу полагаться на это чувство как на природную данность — столько испытаний оно уже выдержало. Самое варварское из них — отнюдь не бесконечное число рукописей, которые приходится перепаривать профессиональному литератору, а... Долго думать не пришлось — близкое знакомство с творцами любимых текстов это. Шок вначале вызывали их эгоизм, человеческая жестокость, тщеславная мелочность... Много раз поранилась (вся бы кровь незаметно вытекла, если б с ними только и зналась — а ведь именно к этим дружбам приговаривала меня женская природа, не умеющая думать, рассуждать, анализировать), прежде чем поняла, что из сора, своего душевного сора, они нечто создают. Вот почему так называемые отрицательные герои всегда и у всех (ну где исключения, где?) убедительнее. Что ж, значит, есть куда вклиниться, может, и получится натюкать что-то новое — если и когда смогу вымести из своей души весь тривиальный сор, который не дает ей вверх двинуться. Зачем подниматься? Кругозор большой необходим, ведь только с горней высоты можно неописанное разглядеть и полководцем собственных слов сделаться. И взаимность мне ведома — когда фраза за фразой так и льются из тебя, восторгом, как музыкой, наполняя каждую клеточку твоего тела. (О-о... тут ты напутала, это не может служить доказательством взаимности. — А что, кроме собственной веры, может?) И страданий она принесла и приносит...

Первый раз в Питер поехала, потому что хотелось путь Раскольников (с топором) к старухе-процентщице своими ногами пройти. Зачем? Рационального объяснения нет. А иррациональных — множество, у всякого, кто эти семьсот с чем-то шагов сделал, свое. Теперь и в книжках с подробностями описано, и экскурсии, говорят, там водят. Но мы сами открывали, раз и навсегда закрывая своей мысли тропинку, ведущую к насилию. Любому насилию, убивающему чувство, идею, человека, государство...



Потом на набережную Мойки, 12 потопали (пешком, только пешим ходом познается город, сколько населенных пунктов на машине ни проколеси, ничего не поймешь о них — а значит, и о себе) — мысленно полежала там на пушкинском предсмертном диване... На Офицерской, 57 под белой чашей абажура в эстетном стиле модерн с Блоком чаю попила... По-европейски сберегают в Питере (насколько все же Москва расточительнее!) и пространство, и время, сохраняется оно не только в храмах, для этого приспособленных, но и в квартирах, на лестницах и в подвалах, в подворотнях и на улицах...

Пройдя всю улицу Зодчего Росси, на Фонтанке лишний билетик на «Холстомера» спрашивала, спрашивала, отчаялась и в отчаянном порыве к служебному входу метнулась. На имя режиссера Евгения Карелова выманила другого Евгения, Лебедева. Сама поверила, когда убеждала уже загримированного народного артиста, что Карелов мне лично советовал к нему обратиться. «Эх, Женька, ну надо же заранее предупреждать», — беззлобно поворчал Лебедев (питерец не тратит нужные ему для работы эмоции на отказ, просящему — подает, даже если тот жулит) и проводил меня к кассирше, которая ровно то же сказала про «Женьку», слово в слово, выдавая контрамарку на два лица. (Вот так писатели и творят, ухватившись за шапочное знакомство с человеком и за слух, что тот снимал великого Лебедева в невезучем фильме, на полку положенном. Но это не обман, это созидательное, душу формирующее стремление, и оправдывает оно все. Кроме насилия.) Катарсис испытала, когда Серпуховской на скачках Холстомера загнал, катарсис в самом прямом, греческом, смысле. (Неужели душа возвышается только от трагедии, от страдания? Неужели от счастья — не бывает? Успею ли до конца своей жизни проверить?) То был лучший спектакль из всех виденных, а я лет десять была искренней, правдивой театралкой, то есть не суетная приятность причастности, а интерес к сути зрелища заставлял из теплого, семейной любовью согретого дома в любую пору и любую погоду выходить. Человек театра (не подумайте, что кто-то конкретный — никогда своей физической сущностью я ни к кому из притворщиков не тянулась) имел фору в моем сознании, почти наравне с человеком литературы. Негордую профессию театроведа к себе примерила и поносила ее даже, но гордость или гордыня не позволили долго находиться «при»: в «Мужском романе» за все отчиталась и теперь снова могу в театр ходить, уже не больно.

Улица Зодчего Росси в тот приезд была для меня только архитектурным чудом: в Москве нет такой, чтоб состояла из одного длинного дома, века смотрящего на своего близнеца напротив. И вдруг оказалось, что в этом музее живут... Поэт живет, в коммунальной квартире, переделанной из дортуаров тонюсеньких учениц Вагановского училища, что напротив. «На львиных лапах зверь-аристократ», — он про себя написал, и в питерских декорациях эту роль исполнял величаво-безупречно. Я рот открывала и всему, что он рассказывал, верила. Верила, что Лиля Брик велела знаменитому «Андрюше» не читать своих стихов в присутствии «Виктора Александровича». Верила, что он в партизанском отряде жил. Что у него две головы при рождении было — тоже верила. Что в Париже ему не понравилось и он уехал оттуда, не отбыв весь срок, в то время как все остальные (все ли?) правдами и неправдами его продлевали или даже превращали в бессрочное свое европейско-американское заключение. В семьдесят седьмом году, и такая независимость от вожделенной заграницы! — только гений мог таким быть, казалось. Это сейчас (четверть века миновало... неужели? снова пересчитала... именно двадцать пять лет спустя, в две тысячи втором году) я специально подъехала на улицу Бобийо к убогой, даже без звездочек, гостинице «Виктория», из которой он когда-то сбежал, — тоска взяла уже от тесной лестницы, по которой к «рисепшн» надо подниматься (питерские декорации не так безразличны к живой душе?). Абсолютно неизбежным оказался побег поэта, но в те времена такая естественность была большой редкостью. Впрочем, когда она не в диковинку?

Молчим как-то друг против друга за бело-желтым столом из живой, неподдельной сосны — было это незадолго до его переезда на «проспект Удав-

ленников», петербургскую окраину, где отшельнику дали отдельную камеру-квартиру. Глаза в глаза смотрим. В его бездонности я такое одиночество изгнанника из жизни читаю, что за руку хочется его схватить, чтоб на краю удержать. Не подумала, хватит ли моих сил... Что женские жесты вне пола не толкуются, тоже не учла. Когда сообразить, если всего мгновение было равенства-понимания нас обоих — эстетиков, а не реалистов... А он вдруг ребром той руки, к которой я еще и не успела потянуться, ударил по столешнице, да так, что чашка-самоубийца прыгнула на пол.

— Нет, не могу! Грань чувствую... — выдавил он.

Здравый смысл сразу делает стойку: а что между ними было? Отвечаю. Самые разнообразные, непредсказуемые отношения между мужчиной и женщиной случаются и вне секса, без всякого насилия над собой. (Эротическое топливо не обязательно для продолжения глубоких, сложных отношений. Да и при наличии секса просты они лишь тогда, когда это соревнование: кто кого победит — важно, а не то, что после. Но спорт — дело молодых, с возрастом добиваться выдающихся результатов можно только с помощью допинга, чревато это крупными бедами.) Если картина в музее — а Питер для москвича что, как не музей? — нравится, то вовсе не обязательно трогать ее руками, покупать или воровать. Любоваться лучше издалека, дольше чувство длится, глубже внутрь проникает, срастаешься с ним и становишься другим. Правда, тогда я про тривиальный взгляд на м/ж отношения совсем не думала, жила с открытым и наивным доверием к человекам. Столько узнала благодаря своей неосторожности, но и страданий многовато зачерпнула из жизненного моря — теперь учусь понимать и взгляды пошляков.

Из всего рассказанного питерским поэтом достоверно было одно, главное: стихов и прозы им написано много, отважно много — если учесть, что после нескольких тонких книжек целое десятилетие ничего не издавали. По филологической привычке все проверять пошла к книжным полкам, достала библиомалютки, податенные поэтом нашему семейству. Одна с предисловием Асеева, другая со вступительной статьей Лихачева... Тиражи — десять тысяч, десять... двадцать пять... Восемьдесят седьмой год — избранное в «Ардисе». В лицейскую годовщину восемьдесят восьмого он написал: «Я автор 31 книги стихотворений, 8 книг прозы, 4 романов и пьес — и все это не опубликовано. Я самый элитарный изгнанник русской литературы».

Что, кроме восхищения, такой храбрец мог вызвать? О письме против цензуры, отправленном писательскому съезду, и о расплате за него упоминал он вскользь не как о подвиге, а как о бытовом, необходимом поступке. По утрам умывается, бреется, так автоматически и текст написал...

(Как это отличалось от хрущевского оклика-окрика, растиражированного другим поэтом, который на манер унтер-офицерской вдовы кичился следами от словесных побоев. Было это, не выдуманно — на пленке даже сохранилось. Верю, что в первый момент ему страшно стало, но ведь позже не мог он не понимать, насколько рык распутившегося барина отличается от молчаливо-смертоносного взгляда тирана. Не грех, конечно, о притеснениях раз-другой упомянуть, но не из года в год же... У писателя есть возможность использовать любые страдания как материал и на время или даже навсегда — от таланта это зависит, только от него — сделать так, чтобы помнили. Много, много выбалтывается у обессилевших творцов, когда взаимность исчезает.)

Я думала, мы подружились. Когда в Москву приезжал, он звонил всякий раз, приглашал к Эрику, у которого останавливался, — в центре, на Дорогомиловской жил его армейский товарищ. Рукописи свои, энные экземпляры машинописи, хранить доверил. С его ведома мы их в разные места предлагали — я сама перетюкивала, если речь шла о периодике, а чтоб в издательства кипу давать, приходилось профессиональных машинисток искать. Набрели однажды на ту, которая для солженицынских «схронов» убористо умещала на одной папиросной страничке фантастическое количество слов. Как к бизнесу она относилась к этой работе, за опасность гонорар увеличивая. Не принято было у

интеллигентных людей заранее обсуждать сумму, знали бы, нашли что-нибудь подешевле. Впрочем, за новые знания всегда приходится раскошелиться, и деньги, даже самые большие, это все равно дешевле, чем боль, страдания, жизнью некоторые расплачиваются.

Весной он обычно уезжал из Питера в Эстонию, на «хутор потерянный». Один или с Ниной, женой, там жил месяцами. Звал в гости. Съездили. Долгая прогулка к дальнему лугу запомнилась. Серпы жестких волос на голове поэта лежали, как молодая осока по бокам болотца, возле которого он остановился. Невысокий, прямой, губы сложены в брезгливую, но не таящую обиды полуулыбку-полугримасу. Несуетливый, спокойный, что-то от бухгалтерской стати Заболоцкого, правда, одежда разная: у того на карточке — шелковая пижама в полоску, а у этого — байковая клетчатая ковбойка навывпуск, абсолютно адекватная оболочка для поэта-эстетика *par excellence*. Не надо тратить силы на объяснение, кто ты такой, — и так видно всякому, кто хоть сколько-нибудь внимательно смотрит. И слушает. Стыдно стало за сюсюканье (полежала на пушкинском диване, чай с Блоком попила), когда поэт о Пушкине заговорил:

— Негармоничен он. Экзальтация, нервность, аритмичность, ничем не ограниченная свобода психики, наполненное доверху Я, без толп, социальных конструкций, даже вне... религии. Я не нашел в нем ничего православно, кроме Пимена, списанного с Карамзина (сахаристого).

(Реплика *à part*. Услышь это Валентин Семенович, для которого Пушкин — столп православия, вступил бы он в диалог-поединок? Не узнаем — параллельные миры не пересекаются.)

— К 37 годам Пушкин написал 42 416 строк — только стихов!

Ну чем не бухгалтер? Сам сосчитал, где-то подсмотрел или просто выдумал — какая разница. Любовь к цифре — вот что важно.

Без наводящих вопросов, питаюсь только моим вниманием, к Блоку переключился:

— Он — нечто близкое дostoевскому Идиоту. Плохо спит, все время на ногах, с вином, много ходит, он даже ночью пишет на скатертях, на манжетах, в книжечки, в поездах. Придя домой, он всегда отмечает в дневнике положение месяца (луны) — месяц полный, половинка, месяц справа, месяц красный, — будто ангел, что готовится к полету. Блок смотрит на планеты каждый день. Он вращается в хаосе, а его тянет к реальности, к врагам.

Дух захватывало от такой свободы. Уже дома, в Москве, и моя мысль разогналась: значит, и его самого можно так же препарировать? И меня? Да, можно.

Все эти частые встречи — не столько с физическим человеком, сколько с его духовной сущностью (стихи и прозу его мы читали и перечитывали — устно растолковывали друг другу и письменно расшифровывали для других читателей сложную, лишь в новом веке ставшую более понятной, образную систему) — делали его совсем близким, почти родным. Так чувствовалось.

Напитавшись энергией стиха, это безрассудное чувство одинокой ракетой умчалось вперед. Не заметила я, когда истаяла взаимность. В этом вина всякого безрассудного чувства. В невнимательности. Но не обо мне речь. Понимая, насколько огромна пропасть между нами (если сравнивать им сделанное и мной), я думала (она думала, ха-ха!), что есть же, не может не быть, в горней вышине, куда люди голенькие, без мундиров и регалий попадают, божественное равенство личностей. Авансом, как любовь Бога, оно выдается каждому, и потом уж от тебя зависит, что с этим капиталом сделаешь. Либо я сама его растранижила, либо вообще версия моя про равенство — всего лишь очередная женская глупость. Но ведь могла возникнуть взаимность, то есть порывисто-естественная забота друг о друге, интерес к тому, что друг натворил... Но что говорить о том, чего не случилось...

Много лет думаю: почему? Почему тогда, за сосновым столом, он чашку разбил? Почему случилось то необъяснение? Наверно, неправильно я себя одеваю. И речь не о тряпках (хотя о женщине они сообщают больше, чем о мужчине). В скромность, в робость, в боязнь я была одета, как в тюремную робу.

Как наивная подпольщица, прятала от мира свою писательскую сущность. Себе навредила, и другим, получается, тоже. Ведь и без взаимности мы все равно все связаны. А когда нет взаимности, страдают обе стороны. Жизнь страдает.

Показал поэт как-то несколько страничек из дневника, где свое пятидесятилетие описывал. Перечислены были все посетившие его знаменитости и оmundиренные творцы, а про нас — ни слова. Я удивилась: почему? Не обиделась даже — к тому времени уже осознала, что *при ком-то* быть не могу, пусть этот кто-то — гений, муж, дочь, любовь моя. И хотела, и пробовала — не получается. Либо сама собой, либо никак. Но все-таки логику поэтовой забывчивости вычислить не смогла, и он сам ничего вразумительного не сказал. Вот так началось мое возвращение из намечтанной, эстетической красоты в реальность — не в болотистый быт, а в жестокое и прекрасное бытие. (Жестокое не только ко мне, безжалостное ко всем пишущим, вдруг узнавшим, что непечатание — не последняя преграда. Нечтение — вот напасть.)

А что поэт? Любое восхищение он воспринимал как поклонение, естественное при таком даре. Считал его — осознанно или нет, какая разница — положенной ему платой мира. (Гениальность со всем миром во взаимодействии вступает, это ясно, но человечность должна строить отношения с каждым индивидом. Мир только берет, отдача через конкретного человека проходит, только так!) Когда энергия поклонников до поэта не доходила, он по-другому подзаправлялся...

Очередной срыв настиг его в одиночестве, на хуторе. На «скорой» отвезли в больничку, хоть и эстонскую, но по качеству — обычную районную, где фельдшеры вместо врачей. Что-то там с ним сотворили, от испуга в городскую сплавили, где на операционный стол сразу уложили. Убить не убили, но слух повредили. Несколько месяцев его там Нина выхаживала. Я сначала ничего не знала, а когда узнала, даже навестить не приехала. В голову не пришло, раз не было взаимности, той внутренней связи, что существует объективно, что обнимаема, осязаема, зрима.

С тех пор были только звонки — Нининым, не своим голосом о чем-то просил, что при таком отдалении сначала удивляло, потом казалось дерзостью, потом я стала отвечать на них, как всегда делаю, когда считаю, что человек не имеет передо мной права на такую просьбу, — «да, да, конечно, сделаю, если смогу» — с тем чтобы тут же выкинуть суть дела из головы и не сердчать на наглеца-хитреца.

Тем временем его стали издавать и переиздавать, пришло и банальное признание, в премиях выражаемое. А когда деньги недетские навалились, он не выдержал... Приехать в Москву на торжественное вручение даже не смог, потому что опять грань переступил. Слава Богу, питерская реанимация высокий класс показала. И последний наш разговор: Нина предупредила, что ему трубку передает, и он своим треснутым, отвыкшим от обратной связи голосом попросил эти деньги получить и ему привезти. Отличный был повод в Питер прокатиться, но что-то удержало...



---

---

# КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



## ПОРА ГАСИТЬ КОСТРЫ

**В** книге Натальи Ивановой «Ностальгическое» (М., «Радуга», 2002) рассказана история, как литовский писатель и критик Альгимантас Бучис после развала Советского Союза собрал свои книги советской эпохи и прямо в собственном вильнюсском доме «предал четверть века своей работы и жизни огню. Сжег все, кроме двух тоненьких сборничков — стихов и прозы, которые он посчитал все-таки достойными выжить». Эта история на меня настолько подействовала, что, встретив Наталью Иванову, я даже попыталась выяснить детали. Как, мол, сам процесс проходил: сжигание было публичной акцией или делом частным, книги горели в камине или на костре? Хотя очевидная символика этого жеста вовсе не требует подтверждения ритуальной обрядностью.

Наталья Иванова упоминает об этом эпизоде в связи с грузинскими семинарами, участником которых я тоже была (они продолжались лет восемь и закончились с началом перестройки). Проводила их странная организация с непроизносимым названием: Главная редакция по переводу и взаимосвязям между литературами при Совмине Грузии. Возглавлявший ее Отар Нодия был классическим советским либералом, не скрывавшим конфронтационных отношений своего детища с одиозным руководством писательских союзов. Отчетливый привкус интеллектуальной и политической фронды царил в конференц-зале на верхнем этаже Дома творчества писателей в Пицунде, не говоря уже о разговорах во время частых неформальных застолий. Любой донос мог положить конец собраниям — уже поэтому ни ортодоксальных приверженцев соцреализма, ни чиновных литераторов, ни скользких карьеристов не звали. Среди постоянных участников семинаров были Андрей Битов, Олег Чухонцев, Булат Окуджава, Евгений Рейн, Владимир Лакшин, Наталья Иванова, Галина Корнилова, Алла Марченко, появлялись Вадим Скуратовский, Георгий Гачев, Светлана Семенова, Галина Белая. Грузинская сторона была, естественно, самая многочисленная, приезжали не только литераторы, но и кинематографисты, привозили новые фильмы — грузинское кино, переживавшее тогда расцвет, было приятной частью программы.

Приезжали и литераторы из других республик, хотя принцип представительства не соблюдался — это вам не конференция Союза писателей СССР. Не буду пытаться всех вспомнить. Но Альгиса Бучиса я как раз помню, хотя держался он с прибалтийской сдержанностью, а выступал и вовсе осторожно и никогда не заходил так далеко, как мог это сделать, скажем, Вадим Скуратовский, часто забывавший, что он все же не на диссидентской сходке. (Помню, как после одного выступления Скуратовского забеспокоился Лакшин: не подставить бы Отара Нодия, сам же Отар хранил, по крайней мере внешне, полнейшую безмятежность.) Общий враг — идеология, — казалось, сплывал нас, русских, грузин, украинцев, прибалтов. Прошло не так уж много лет, и выяснилось, что это только нас угнетал коммунизм, а бывших друзей (и не только грузинских), оказывается, тиранили русские. Так они писали в своих новых статьях. Вспоминая семинары, я думала теперь больше о том, сколько же в наших дискуссиях под магнитофон было фальши и недоговоренностей. Да и вообще насквозь советская идея: прикормить группу либеральных литераторов за государственные деньги. А мы, как глупые рыбы, клевали подсуну-

тых червячков, приняли условия игры. Бучис сам сжег свои книги, наше общее прошлое тоже сгорело в огне войны, прокатившейся по некогда любимому побережью. А, туда и дорога.

Но вот прошло еще сколько-то лет, встречаю одного за другим участников тех семинаров, и у каждого на вопрос «А помнишь?» — отчетливо ностальгическая реакция. И не столько пустынный берег моря вспоминают (собирались в межсезонье, весной и осенью), сколько бесконечные разговоры, в которых ведь (как ни смешно) стремились «мысль разрешить». Нет, что-то все-таки сожгли напрасно.

Наталья Иванова еще несколько лет назад изобрела замечательный неологизм, составленный из слов *ностальгия* и *настоящее*, давший теперь название книге. Нерв ее — драмы и парадоксы расставания со своим прошлым. Многочисленные примеры и наблюдения подготавливают вывод, что «отрицание... негодование, расторжение связи, отказ от наследства», характерные для первого периода постсоветского искусства, ныне меняются на иной стиль отношений с «историческим, в том числе и художественным, актуализированным и возрождаемым прошлым», в котором отчетливо ощущимы ностальгическая идеология и эстетика. Иванову этот процесс не слишком радует: по ее мнению, происходит «банализация истории», уничтожающая ее трагизм. «Уже Сергей Соловьев со светлой печалью вспоминает прекрасное советское кино — и его посреди киноразрухи сегодняшней можно понять. Что так резко отменял Виктор Ерофеев? Поминки-то были, оказывается, преждевременные», — иронизирует Иванова.

Мне же культурная ностальгия по прошлому кажется все же явлением более предпочтительным, чем культурный нигилизм (хотя, конечно, это выбор между котлетой недожаренной и пережаренной, а лучше бы — все в меру). А уж озадачившая Иванову терпимость соратника Ерофеева по «Метрополю» Евгения Попова, попытавшегося разгадать ребус о гении и злодействе в связи с юбилеем Валентина Катаева и закончившего статью сентенцией «Не судите, да несудимы будете» — и вовсе отраднa на фоне размашистых ниспровержений и суровых приговоров.

И хотя прокурорский пафос суда над советской литературой и ее деятелями все более сменяется пафосом исследовательским, я не уверена все же, что пора ниспровержений вовсе миновала. Доказательством тому является книга Станислава Рассадина «Самоубийцы» (М., «Текст», 2002).

Книга в своем роде замечательная. Цены бы ей не было, напиши ее Рассадин лет двадцать назад. Кое-какие из глав удалось бы и в доперестроечной периодике напечатать с немалыми, правда, купюрами. Самоубийство Маяковского, спасшее, возможно, Булгакова; разговор вождя с Булгаковым, после которого писателя даже взяли на работу в МХАТ, звонок Сталина Пастернаку по поводу Мандельштама — все это были популярные сюжеты. Рассуждать о губительном влиянии сталинизма на литературу было возможно и при Брежневe. Сказать же, что вся советская литература потерпела поражение, что весь ее долгий опыт — самоубийствен, и безжалостно припечатать, вслед за Аркадием Белинковым, советского интеллигента, сдавшего власти, рабски пресмыкающегося перед нею, — этого бы подцензурная печать не вынесла.

Зато с каким мазохистским восторгом читалась бы заклеянной трусливой писательской интеллигенцией эта яркая, легко написанная, полная сарказма книга, изданная двухтысячным тиражом где-нибудь в «Ардисе», как, припав ухом к хрипящему транзистору, слушали бы мы отдельные ее главы на волнах радио «Свобода». О Николае Эрдмане, авторе гениальной пьесы «Самоубийца», запрещенной самим Сталиным, блистательном драматурге, сломленным арестом, а уже потом литературной подцензурной (мультифильмы, либретто правительственных концертов и оперетт, «Цирк на льду» — и незадолго до смерти в 1970 году, как отдушина, дружба с Любимовым, с молодой «Таганкой»). О феноменальной роли Сталина, который не только был «цензором советской литературы, распределителем поощрительных премий и... режиссе-

ром крепостного театра», но сумел воздействовать на сознание многих писателей (даже таких, как Пастернак и Булгаков) одним своим присутствием. О Юрии Олеше и Александре Фадееве, чей двойной портрет — «нищего полуизгоя» и пребывающего во власти баловня судьбы, ничем, кроме алкоголизма, кажется, не объединенных, — «именно в качестве крайностей демонстрируют нам, как возникало явление: советский писатель». О тех, кто дотянул до «идеального воплощения качеств» советского писателя, — «отличнике» Сергее Михалкове, без терзаний и сомнений и с каким-то даже артистизмом умевшем приспособиться ко всякой власти; двойственном, двуличном Валентине Катаеве. О способах, которыми развращали писателей, угрозах и искушениях, о нравах писательской среды, о бесчинствах, хамстве, угодничестве, бесстыдстве, доноситечестве одних, о трусости, цинизме, безволии, постыдном конформизме других. Досталось всем. То-то был бы повод для пересудов.

Однако книга «Самоубийцы» с подзаголовком «Повесть о том, как мы жили и что читали» написана не двадцать лет назад, а совсем недавно, и издана в России не в начале перестройки, а в конце 2002 года, в издательстве «Текст» скромным четырехтысячным тиражом, и встречена не возгласами восхищенного удивления перед мужеством автора, а тем скептическим равнодушием, которое сквозит, например, в рецензии Михаила Эдельштейна, недоумевающего, кому адресована книга Рассадина.

«Тому, кто за литературой не следит, она не нужна по определению, тот же, кто в курсе материалов и документов, опубликованных за последнее десятилетие, может такую книгу, кажется, уже и сам написать». И далее:

«Конец XX века задал принципиально новый темп мышления. То, что вчера было открытием, на завтра становилось общим местом... Книга Рассадина — своего рода памятник „шестидесятнической“ мысли... Само мышление автора, его реакции, его видение проблемы порождены вчерашним днем и ему принадлежат».

Жестоко? Конечно. Но беспощадность современного критика не порождена ли запоздалой беспощадностью Рассадина к своим героям? Возьму тему неприятную и скользкую — страх и порожденная им покорность режиму, конформизм писателя.

Известна история, как в 1954 году Зощенко и Ахматова были продемонстрированы английской студенческой делегации в доказательство того, что они живы и здоровы. Пришлось отвечать на вопросы студентов. Зощенко позволил себе усомниться в справедливости постановления ЦК, Ахматова же отчеканила: «Оба документа — и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными». В результате Ахматову на время оставили в покое, а Зощенко должен был пройти через новую проработку на следующем собрании. Тогда-то, выслушав очередную порцию обвинений и вызванный к трибуне для покаяния, опальный писатель (по версии одного из мемуаристов) бросил в зал: «Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден Георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть».

В напряженной тишине зала вызовом прозвучали одинокие аплодисменты. Они принадлежали Израилу Меттеру. Рассадина занимает реакция на эти аплодисменты двух друзей Меттера, преклонявшихся перед талантом Зощенко. Это Евгений Шварц и Юрий Герман. Оба они принялись Меттера журить. По мнению Шварца, аплодисменты не только не помогли Зощенко, но, наоборот, разозлили затеявших собрание «подлецов». Храбрость бессмысленно проявлять, когда на тебя «мчит курьерский поезд» — шаг в сторону надо сделать из «нормального благоразумия», а потомки поймут, «что мы делали искренно, а что по внешнему принуждению. И судить о нас будут по тем рукописям, что мы оставим в нашем письменном столе...».

«Какой стереотип поведения предпочесть, — спрашивает Рассадин. — Меттеровский? О да!.. Но — как вспомнишь „Дракона“ и „Обыкновенное

чудо», возможно ли отогнать мысль: не является ли все это убедительным искуплением конформизма?» Но логика эта «ужасна», — сурово одергивает себя Рассадин. «Чуковский и Шварц, не устану твердить, искупили часы конформизма долгой жизнью собственных книг — да и много ли пришлось искупать?.. Но ведь и самый ничтожный, самый малюсенький литератор словно бы тоже имел... право исключать Пастернака, участвовать в травле Солженицына и при этом оправдывать свою гнусность точно теми же аргументами». «И вот результат политики власти и встречных движений интеллигента: *цинизм и, что еще хуже, умение оправдать свой цинизм* — в этом была *свобода* советского интеллигента» (курсив автора).

Позволю заметить сначала, что нравственный императив одинаков для гения и посредственности, для Юпитера и быка, и не следует ставить писателю отметку за поведение в зависимости от того, какого качества рукопись у него в столе.

Поведение Евгения Шварца на собрании совершенно аналогично поведению Ахматовой перед английскими студентами. Можно, конечно, называть это конформизмом, можно цинизмом. Но никакие моралисты никогда не ставили в вину человеку показания, данные под пытками. Галилей, только увидев страшные подвалы, отрекся от выстраданного научного открытия; ведьмы, допрашиваемые инквизицией, признавались в связи с дьяволом, только бы быстрее на костер; попавшие в мельницу ГУЛАГа подписывали показания, нелепость которых была очевидна и им, и следствию, зачастую оговаривали друзей, близких, знакомых. Последнее особенно ужасно — и все-таки мало кто брал на себя смелость осуждать словавшихся (например, Бабеля или Мейерхольда).

От человека можно требовать многое. Но подвиг — потому предмет нашего восхищения, что он вне категорий долженствования. В десяти заповедях, врученных Богом, не определены правила поведения под пытками. В ответе Ахматовой английским студентам можно, конечно, увидеть и цинизм, и недостаток мужества, и расчет (сын в тюрьме, сама на волоске от ареста). А можно — высокомерие. Английские недоумки, не чувствующие, что присутствуют на сеансе инквизиции, — недостойны *откровенности*. Что же касается Шварца и Германа, то модель их поведения совершенно аналогична ахматовской. Можно восхититься героизмом Зошенко. Но на каком же недостижимом нравственном пьедестале нужно находиться, чтобы осудить Ахматову?

Чего мне не хватает в рассуждениях Рассадина о постыдном страхе советского писателя — так это сочувствия к человеку, оказавшемуся в нечеловеческой ситуации. Вот рассказывается история, как Павел Антокольский, во время праздничного застолья в Баку неосторожно высказавшийся в присутствии хозяина Азербайджана Багирова, был одернут всесильным местным палачом. «Антокольский, встать!» — скомандовал Багиров. Тот встал. «Антокольский, сесть!» Тот сел. Встать! Сесть!

Кошмарное унижение. Смелым человеком Антокольский не был, но и подлостей за ним не водилось. В ноябре 1967 года, когда писателей всколыхнуло солженицынское «Письмо к съезду», Антокольский откликнулся письмом Демичеву, пущенным в самиздат («Хотя все еще в рамках партийной терминологии, но с пробивами честного сердца», — как определит Солженицын в «Телёнке» — Первое дополнение, ноябрь 1967). В начале же пятидесятых, в эпоху борьбы с космополитизмом, Антокольский, с его сомнительным происхождением, дореволюционной учебой в университете, с пристрастием к французской культуре и французским поэтам, коих переводил, вполне мог мысленно примеривать на себя одежду арестанта.

Кстати, байку о поэте, которому восточный двойник Берии командовал встать-сесть, — я слышала не раз. Молва меняла действующих лиц и финалы анекдота. То герой рыдает в истерике после застолья и его отпаивают водкой, то сам напивается до состояния, когда не может уже ни сидеть, ни стоять, а только лежать. То есть молва скорее сочувствовала несчастному, чем смеялась над ним.



Павла Григорьевича я знала в начале семидесятых — он нередко в ту пору печатал в «Литературной газете» свои литературоведческие штудии, вечно хлопотал за кого-то из своих студентов (преподавал в Литинституте, его семинар был популярен). Любил поговорить. Я охотно слушала, много расспрашивала — он был интересным собеседником. Но ни под каким видом я бы не посмела задать вопрос о бакинском инциденте и тем более с вызовом спросить: «Зачем же вы послушались Багирова?» Человеку нельзя напоминать о публичном унижении. И этот глумливый (а вовсе не наивный) вопрос анонимного собеседника Антокольского, который сочувственно воспроизводит Рассадина, больше говорит о его непростительной бестактности, чем о «непростительном бесстыдстве» — ответ Антокольского: «А как же я мог поступить иначе? Я же член партии». Если только такой разговор был вообще. Признаться, я в него не верю. «Один мой знакомый давно рассказывал» — это зачин для застольной байки, а не ссылка на источник в литературоведческой книге.

Называть же словом «бесстыдство» унижение Антокольского — все равно что мазать дегтем ворота изнасилованной девчонки: почему-де не предпочла смерть бесчестию. Хотя есть, есть героические личности, которые именно смерть предпочтут. Что ж — большинство писателей оказалось не из их числа.

Но тут возникает вот какой вопрос — о праве на суд.

В 1972 году, когда Варлам Шаламов опубликовал в «Литгазете» свое покаянное письмо (или подписал текст, написанный закосневшей гэбистской рукой), помню, я ужасно огорчилась. И в компании коллег, попивавших кофе в литгазетовском буфете, сказала что-то, Шаламова осуждающее. Мол, как мог человек, пройдя через долгий кошмар лагеря, сломаться в ту пору, когда ничего серьезного ему уже не грозило, написать, что проблематика колымских рассказов снята жизнью. И как это ужасно выглядит на фоне поведения Солженицына. И тут Лев Малкин, один из самых ярких авторов тогдашнего отдела науки, произнес: «Девочка, что ты знаешь о лагерях?» Сам-то он о лагерях немало знал: был взят в 1949-м студентом мехмата МГУ и по делу, не совсем уж вымышленному: был какой-то студенческий кружок, рассуждали о государственном устройстве, додумались до того, что в стране диктатура, кто-то стукнул — как же тут в заговоре против Сталина не обвинить? И вот этот человек, убежденный противник режима (ничуть не скрывал), нам, щенкам, объясняет, что у нас нет права осуждать Шаламова. А Солженицын — дело другое, он это право выстрадал.

Я этот урок тогда слишком буквально усвоила. Хорошо, Шаламова не мне судить (не сидела), но подписавшим письмо против Синявского — как это не припомнить? А сейчас мне стыдно вспомнить, как в Малеевке уклонилась от приглашения Сергея Михайловича Бонди зайти к нему на чай. Стыдно и за то, что, когда мой учитель Владимир Турбин, лекции которого я с восторгом слушала на первом курсе университета, принес в начале семидесятых в «Литгазету» статью о Лермонтове (я тогда заведовала историко-литературным отделом) — я ее под благовидным предлогом не напечатала... Как же, он ведь оскорбился, подписал подлое письмо «профессоров и преподавателей МГУ», осуждающих «беспринципную деятельность Андрея Синявского».

Лет через десять я дозрела до того, что Турбина стоит печатать. И вот, ожидая подписную полосу в моем кабинете (а все тогда делалось неторопливо), он вдруг зачем-то стал вспоминать о литгазетовской публикации 1964 года — статье Михаила Лобанова «О веселых эскападах на критической арене». Я помнила эту статью по поводу молодогвардейской рубрики Турбина, воспринимавшейся тогда в студенческой филологической среде как глоток свежего воздуха. Турбин писал о Бахтине, о Проппе, о русском авангарде и о современной культуре живо, ярко, парадоксально, — а тут Лобанов стремится подрезать ему крылья. Но о чем не знала — так это о том, что после статьи Лобанова Турбина прорабатывали на собрании и чуть не выгнали с факультета. И когда он это рассказывал, я вдруг поняла, что это он передо мной, своей бывшей студенткой, так оправдывается за малодушную подпись. Похудев-

ший, постаревший, с нездоровым цветом лица, как-то согнувшийся, он мало походил на победительного кумира студентов. Дорого же он заплатил за минуты слабости. И уж, конечно, вынося нравственный вердикт Турбину, стоит принять во внимание и все, сделанное им для Бахтина, и итог преподавательской деятельности, и итог научной — не перевесят ли они злополучную подпись? Для Рассадина — нет. Турбин заклеимен навеки. Никакое покаяние не поможет (да еще за запоздалое публичное покаяние и упрекнуть можно — оно, мол, даже ужаснее былого проступка).

Неколебимая уверенность в собственном моральном превосходстве порой травестийно оборачивается против автора, что он не всегда слышит.

Как известно, Борис Слуцкий выступил на том печальном писательском собрании, которое осуждало Пастернака, и выступил отвратительно. Выступление это ему помнили очень долго. Да он и сам тяжело переживал свое падение (что нашло отражение и в стихах), и многие связывали депрессию последних лет и душевную болезнь Слуцкого с терзаниями из-за злополучного выступления.

Рассадин приводит одну из литературных баек, демонстрирующих отношение части литературного сообщества к Слуцкому, и тут не столько важна ее достоверность, сколько интерпретация поведения действующих лиц.

«— Боря! Вы, конечно, пойдете на похороны Пастернака? — спросил его, тайно, да, в общем, и явно глумясь, один наш общий знакомый.

— Я не могу, — сухо ответил Слуцкий. — Я еду в Ленинград на юбилей Ольги Берггольц.

— Боря! — В интонации явственной зазвучала насмешка. — Вы обязаны взять с собою Берггольц и вместе с нею явиться в Переделкино. Неужели вам непонятно, что и вы и она — поэты эпохи Пастернака?

Пауза.

— Вы недооцениваете Берггольц, — только и нашелся ответить Слуцкий.

Обхожешься... Да мы и смеялись, слушая этот рассказ...»

Вот уж кто не вызывает никакого сочувствия в этой сцене — так это человек, глумливо пытающий Слуцкого. Как и те, кто хохочет над рассказом. (Почему, кстати, Рассадин снова не называет имени «одного знакомого»? Не потому ли, что тогда особенно наглядно выступит мерзость глумления — вряд ли этот «знакомый» окажется на одной доске со Слуцким по творческому да и нравственному уровню.) И не случайно, что критик совсем другого поколения, уже упоминавшийся мною Михаил Эдельштейн, разбирая этот эпизод, недоумевает: «Как можно... не заметить, что победителем-то в итоге вышел — Слуцкий?! Как можно не оценить ту точность, с которой Слуцкий нашел для завершения этого обмена уколами единственно возможный ответ?!»

Для молодого критика Слуцкий — это поэт, оставшийся в истории, а кто те, издававшиеся над ним в приступе морального превосходства?

И здесь я снова вернусь к проблеме, о которой уже упоминала, — о праве на суд. Прежде чем вынести суровый приговор «советскому интеллигенту», прежде чем осудить этот тип, который, «пристроившись к советской власти, с готовностью ей служа»... создает «такой воображаемый мир, где самая мерзкая подлость может быть оправдана с позиций целесообразности», прежде чем осудить цинизм писателя, принявшего «условия власти» (а эти условия, получается, приняли и Шварц, и Ахматова, и Герман), хорошо бы все-таки иметь в биографии опыт иного поведения в аналогичной ситуации.

Рассадин, конечно, может возразить, что осуждать Шкловского и Слуцкого, у которых не хватило мужества уклониться от участия в кампании травли Пастернака, Владимира Турбина, трусливо подписавшего письмо против Синявского, Ираклия Андроникова, явившегося на редколлегии «Юности», чтобы воспрепятствовать публикации рассадинской статьи, — это право у него есть. Сам-то он подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Напомню, однако, что смелость в то время тоже имела иерархию и то, что почиталось гражданским мужеством одними, — оценивалось как конформизм другими.

И те, кто вошел в открытый конфликт с властью, конечно же, могли предъявить Рассадину обвинение в сотрудничестве с нею. Почему не протестовал против цензуры, против вторжения в Чехословакию, против высылки Солженицына, против травли Сахарова, против арестов диссидентов? Зачем публиковал статьи в подцензурных изданиях, одобрительно писал о советских поэтах, выпускал книжки в издательстве с гнуснейшим названием «Советский писатель», зачем вступал в Союз советских писателей, который контролировался ЦК и КГБ, зачем участвовал в парадных мероприятиях этого союза — съездах, всяких там днях литературы в республиках? Почему, наконец, не написал всю беспощадную правду о советских писателях при советской власти? Ах, нельзя было напечатать в СССР? А переправить на Запад, в «Континент», в «Грани», в «Ардис»? Ах, могли посадить? Так честные люди и должны сидеть в брежневской тюрьме.

Конечно, логику диссидентства я утрирую. Но любой, кто сталкивался с ней, не скажет, что она доведена здесь до абсурда.

Я не случайно сказала вначале, что книга Рассадина опоздала лет на двадцать. (Правда, в ту пору не могли бы быть написаны симпатичные статьи об Окуджаве и Липкине, но они и сейчас выглядят не как часть концептуальной «повести», а как отдельные «рассказы», объединенные лишь издательской обложкой и именем автора.)

Тогда книга эта воспринималась бы не хуже, чем пристрастная, несправедливая, безжалостная и блистательная книга Аркадия Белинкова о Юрии Олеше. Ибо сам факт написания подобной книги был поступком, отделяющим автора от интеллигентской массы, был правом бросить этой массе упрек в конформизме. Сегодня же пафос Рассадина кажется запоздалым — как обличения «проклятого царизма» в годы советской власти. Отчаянные восклицания: «так жить нельзя», костры до небес, в которые радостно вышвыривается ненавистное прошлое, — все это приметы революционной эпохи. Потом наступает потребность поворошить угли — не сожгли ли чего лишнего. Уже и сейчас ясно: сожгли. Писателей, живших в советское время, не так уж просто рассортировать на две группы: представителей советской литературы (анафема им) и русской литературы советского периода (им — осанна). Слишком многих придется рубить пополам. Время гнева и пристрастия прошло. Настала пора спокойного исторического изучения литературы как части цивилизации советской эпохи (к чему еще десять лет назад призывал Феликс Розинер, инициатор проекта многотомной «Истории советской цивилизации»).

Конформизм советской интеллигенции уже достаточно разоблачен, осужден, припечатан. Вот только до сих пор не найден ответ на вопрос, почему эта трусливая интеллигенция создала литературу, оказавшуюся в конечном счете, по брошенному как-то замечанию Анатолия Смелянского, «могильщиком советской власти».

Куда интереснее искать, к примеру, ответ на вопрос, поставленный некогда Анатолием Смелянским: почему советская власть породила своего могильщика — советскую культуру? Но чтобы не рыться потом в груде углей, пора перестать жечь костры, на которых сгорает прошлое.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## ДАВИД САМОЙЛОВ

*Из «Литературной коллекции»*

**Д**авид Самойлов, рождения 1920, вошёл в поэзию со значительным опозданием, по сути лишь со своих 40 лет. Были замедленны и следующие его сборники.

Удивительно: точный ровесник (и одноклассник) тех неистовых мифлидцев, рвавшихся сложить головы в войне за мировую революцию (1941), и близкий по возрасту младший брат тех космических копьеметателей 30-х годов — насколько же Самойлов иной. Где тот их напор? та резкость? тот порыв к переустройству России и мира? — как же с годами изменился, психологически и творчески, тип советского поэта. (Есть у Самойлова такая строка: «...я выпал, / Как пьяный из фуры, в походе великом».)

Некоторые стихи Самойлова на тему войны, как «Осень сорок первого...» (настроение в Москве в те дни, перед паникой), «Жаль мне тех, кто умирает дома...» и всеизвестные «Сороковые», — обобщённый огляд военных лет. А «Перед боем» передаёт и фронтовое ощущение.

Хотя Самойлову довелось достичь своих предельных размеров в бурную общественную эпоху в СССР, и при обострении еврейского вопроса и уходе скольких евреев в эмиграцию, — общественные темы и приметы времени не слышны в его стихах, избегаются. В сорокалетие 50 — 80-х годов он спокойно сохранился в рамках дозволяемого к печати. «Я сделал вновь поэзию игрой <...> / Да! Должное с почтеньем отдаю / Суровой музе гордости и мщенья / И даже сам порою устаю / От всеогласья и от всепрощенья. / Но всё равно пленительно мила / Игра, забава в этом мире грозном...»

Самойлов охотно признаёт: «Российский стих — гражданственность сама» («Стихи и проза»), но нисколько не отдаётся ей, а, напротив, старательно избегает. Правда, «Люблю я страну. Её мощной судьбой / Когда-то захваченный, стал я собой. / И с нею я есть. Без неё меня нет». Однако («Залив»): «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив, / Тревоги и беды от нас отдалив...» — Напротив, Самойлов упрекает этих горячих правдолюбцев («Лёгкая сатира»): «Торопимся, борясь за справедливость, / Позабывая про стыдливость / Исконных в нас, немых основ <...> / Считаю покаянье главным делом <...> / И тут закусываем удила». — Ну, разумеется: «Кто устоял в сей жизни трудной, / Тому трубы не страшны судной / Звук безнадежный и нагой <...> / Но сладко медленное тленье / И страшны жертвенный огонь...» Да просто: «сильнее нету отравы, / Чем привязанность к бытию».

Тем не менее: «Мне выпало счастье быть русским поэтом...». И с этой страной (слова «Россия» он в лирике не употребляет) — он в моральном расчёте. Повторяя заманчивую ошибку столичных советских поэтов: «Не попрекайте хлебом меня <...> / Сам свой хлеб я сею. / Сам убираю. / Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова — / Мы друг друга кормим. / <...> Без вашего хлеба я отошаю. / Ну а вы-то — / Разве вы будете сыты хлебом да

щами / Без моего звонкого жита?» («Хлеб») — Но это — в успокоенную минуту. А в иную разберёт и сомнение: «И я подумал про искусство: / А вправду — нужно ли оно?»; и сожаление: «Зачем за жалкие слова / Я отдал всё без колебаний <...> / И вольность молодости ранней! / А лучше — взял бы я на плечи / Иную ношу наших дней: / Я, может быть, любил бы крепче, / Страдал бы слаще и сильнее». — Однако путь избран: «Уж не волнуют опасенья. / Отпущен конь, опущен меч. / И на любовь и на спасенье / Я не решусь себя обречь. / Высокой волей обуянный, / Пройду таинственной межой...» — Но в чём та таинственная межа? — «И постучусь, пришелец странный, / К себе домой, как в дом чужой».

Всё же уважение вызывает та устойчивость, с которою Самойлов сумел воздержаться от советских тем в их казённой тогда распространённости, избрал благую долю — удержался в аполитичности, сумел устоять в позиции независимого поэта. Но от этого ведущей темой его стихов стало обдуманье собственной жизни, размышление о себе. Создалась поэзия почти сплошного одиночества: из вереницы стихов, так мало населённых кем-либо, кроме самого автора, создаётся ощущение, что как будто с ним в жизни и нет рядом никого, что он весьма одинок; ещё много природы (взморье, дюны, залив — Пярну в Эстонии). Признаётся в любви к Подмоскovie. Однако: «Не увижу уже Красногорских лесов / <...> Потянуло меня на балтийский прибой / Ближе к хладному морю, / Я уже не владею своею судьбой / И с чужою не спорю».

Напряжённю, на разные лады, обдумывает он свою судьбу. В 43 года: «О, как я поздно понял, / Зачем я существую!» — Или, напротив: «Спасибо за то, что не молод / Я был, когда понял себя». Или: «Я стал самим собой, не зная, / Зачем я стал собой / <...> И понял я, что мало стою, / Поскольку счастье ремесла / Несовместимо с суетою». Чем обречённей кажется ему жизненный путь, тем настойчивей попытки осмыслить его. А к 60 годам: «Повтори, воссоздай, возверни / Жизнь мою, но острее и короче». Всё ищет Самойлов выразить некий очень глубокий смысл: «Хотелось бы по существу, / Но существо неуловимо...» Философская основа для глубокой мысли трудно состраивается: «Моя кряжёвая судьба», — а в чём же она? в чём? И — для кого ещё она кряжевая, кроме самого себя? — «Думать надо о смысле / Бытия, его свойстве», не раз убеждает он сам себя. И дальше: «Так где же начало, начало — / Ищу. И сыскать не могу». Своя сильная мысль — не находится, вертикаль мысли — не создаётся. — Тут и опаска: «Неужто всё, чего в тиши ночной / Пытливо достигает наше знание, / Есть разрушенье, а не созиданье». Да сомневается он («Красота»): «И сам господь — что знает о твореньи? / Ведь высший дар себя не узнаёт». (Весьма опрометчивое заключение.) — Вот складывается: «Усложняюсь, усложняюсь — / Усложняется душа...» Но, хотя «Слово проще, дело проще, / Смысл творенья всё сложнее». И хотя «С постепенной утратой зренья / Всё мне видится обобщённой... / Вместе с тем не могу похвастать, / Что острее зрение духа», сознаёт он.

Однако как не отметить два прорыва его сознания? Раньше ему казалось: душа — «...она парит везде / И незаметно нам её передвиженье». Но вот он узнал: «...в минуты боли / Я знаю: есть душа и где она <...> / Душа живёт под солнечным сплетеньем». И смутно догадывается: «Кто двигал нашу руку, / Когда ложились на бумаге / Полузабытые слова? / Кто отнимал у нас покой <...> / Кто пробудил ручей в овраге <...> / И кто внушил ему отваги, / Чтобы бежать и стать рекой?..»

Сквозь одиночество настойчиво постигают поэта ранняя усталость духа и мысли о смерти.

Стихи Самойлова редко передлинены, он знает меру объёма. Лучшие из них — классичны. Хотя порой он поблажает себе, допускает нарушение ритма и размера (отчего вносится некоторая раздёрганность), допускает весьма вольные рифмы (но всегда с хорошим чувством звука). К старости стих его всё более лаконичен.

Всегда искренняя интонация, вдумчивость. И неизменная скромность — никогда не заносится, как это бывает у многих поэтов.

Редко-редко ощущаешь, чтобы стих Самойлова родился из душевного порыва, толчка. Нет стихов, рвущихся из сердца. Часто стих проворачивается вхолостую, никак не увлекая за собою душу читателя. Так и стихи, которые следовало бы назвать любовными, большей частью холодны. Нет страстей, вихрей, находок, всё очень уравновешенно. (Тут выдаётся — «Пахло соломой в сарае...» и жестокая «Алёнушка».) Да и сам объясняет: «Я никогда не пребывал / В любовном иступленье Блока, / Не ведал ревности Востока, / Платок в слезах не целовал». Но вслед тому, ещё за несколькими холодными — мольба: «О господи, подай любви!» Поэтому и мало убеждает рассудительное: «А мы уже прошли сквозь белое каленье, / Теперь пора остыть и обрести закал», — как раз «белого каленья» на его 60-летнем жизненном пути нам и не проявлено. Бывает тонкая печаль («Средь шумного бала...», «Когда-нибудь...») — о неправимой разлуке, о несоединении («Баллада»). Бывают — неопределённые грёзы, через сновидения. К старости стихи всё более печальны.

В самые поздние годы постигает поэта цепочка стихов явно о семейном разладе, особенно нелёгком в таком возрасте. И здесь, от горя, прорывается глубокое чувство («Под утро», «Я вас измучил не разлукой...», «Фантазия», «Простите, милые...», «На рассвете», «Я написал стихи о нелюбви...»). Все эти стихи как бы прикрыты — и неловко — циклом «Беатриче». Неловко, потому что цикла такого по сути нет, лишь три стихотворения с назывными из Данте именами. «По окончанье этой грустной драмы / Пусть Беатриче снова просквозит». Вот в этих пробравших душу автора стихах — появляется и афористичность строк.

Пейзажные мотивы у Самойлова часты (пейзаж — из главных объектов его наблюдений): «Подмосковье», «Позднее лето», «Красная осень», «Начало зимних дней», «Перед снегом»; замечательно: «Вода устала петь, устала течь <...> / Ей хочется утратить речь, залечь / И там, где залегла, там оставаться», — но к концу этот лаконичный стих чуть передлинён.

Бывают пейзажи и городские («Стройность чувств...»). Поэт скромно признаётся: «О, как я птиц люблю весенних, / не зная их по именам. / Я горожанин. В потрясеньях / До этого ли было нам?» Вот — «Распутица. Разъезжено. Размято. / На десять дней в природу входа нет», — но игры света и запахов наблюдает зорко. А при бурях и грозе, с чувством охранённого горожанина, из-под крыши выражает стороннюю радость. — Многие пейзажные впечатления Самойлова связаны с балтийским побережьем, где он поселился на остаток своей жизни. — «Залива снежная излука...» («Пярнусские элегии»). Тут природный охват насытен душевными переменами: «Мне на свете всё едино, / Коль распался круг души», но и: «Зачем печаль? Зачем страданье, / Когда так много красоты?»; «И всё тревожит. Всё тревожно», — элегии вьются в высоком поиске.

Редки у Самойлова метафоры, но я не отношу это к недостаткам стихов. С годами его стих крепнет в лаконичности. (Однако многие стихи так и оставлены с передлинением. «Другу стихотворцу» так хочется закончить после 4-й строфы, — и зачем и куда же их девять?.. В «Расставаньи» 1-я строфа совсем не нужна ко 2-й и 3-й; избыточны 4-я и 5-я строфы и в «Химере самосохранения...». Даже в 16-строчных стихах бывает не всё сосредоточено к единому центру и смыслу, есть не подчинённые тому повисающие строки, полустроки.) Немало стихов с искусственно натягиваемой мыслью, как бы плетение звуков, рифм, строк. Немало стихов незначащих (вроде: «Завсегдатай», «Сандрильона», «Сперва сирень...», «Сад — это вовсе не природа...»), на многих так и остаётся печать искусственной сконструированности.

Но остаются в памяти, хочется отметить — «Крылья холопа», «Красота», «Бертольд Шварц», «Бессонница», «Подросток», «А если мир погибнет весь?», «За перевалом», «Дуэт для скрипки и альта».

Сквозь все годы Самойлов, видимо, не частил обилием стихов — и причина тут явная была та, что темы давались ему с большим трудом, иногда в долгом поиске, они как бы не сами к нему являются, а он напряжённо ищет их, и на многих его стихах так и сохраняется отпечаток этой работы: «Уж лучше на погост, / Когда томит бесстишь!.. / И, двери затворив, / Переживает автор / Моления без рифм, / Страданье без метафор». Хотя — «В нём брезжат тени тем». А «Может, без рифмы и без размера / Станут и мысли иного размера». — Напряжённо и ярко эти муки поисков выражены в стихе «Вдохновенье»: «Жду, как заваленный в забое, / Что стих пробьётся в жизнь мою <...> / Прислушиваюсь: не слышать ли, / Что пробивается ко мне <...> / Жду исступлённо и устало, / Бью в камень медленно и зло... / О, только бы оно пришло! / О, только бы не опоздало!»

Но, кажется, всё чаще соблазняет Самойлова более лёгкий путь: «Не мешай мне пить вино, / В нём таится вдохновенье <...> / Без вина судьба темна. / Угасает мой светильник»; «Допиться до стихов — / Тогда и выпить стоит...»; «Я разлюбил себя. Тоскую / От неприязни к бытию. / Клянусь и плоть свою людскую, / И душу брэнную свою». — Хотя и посылает он себе совет: «Питайся росинкою маковой», но это не серьёзно. Как явствует из многих стихов его, автор всю жизнь достаточно благополучен материально: у него и большой выбор мест жительства для медлительных наблюдений за природой, и большой досуг. И, иронически скопировав Пушкина: «Листаю жизнь свою, / Где радуюсь и пью <...> / Счастливый по природе / При всяческой погоде» («Дневник»). — Так что даже иногда разрешает себе кокетливо пожелать («Весна»): «Ах, побольше печалей, / Побольше тревог!» Или («Гроза»): «Бушуй, бушуй! Ударь в меня, ударь...»

А нередко проскваживают жалобы, что жизнь не оправдала огромности надежд автора. Очень ранние жалобы на ослабление пера, на старость, на семейные неурядицы. «Разрушена души структура...». Даже, кажется, ещё и не выразив свою срединную жизнь, Самойлов уже начал говорить о старости. «Старость — это вселенское горе»; «Хотел бы я не умереть, / А жить в четвёртом измереньи»; «Примеряться к вечным временам / <...> Это всё безмерно трудно нам <...> / Легче, если расстоянье — пядь, / Если мера времени — минута. / Легче жить. Труднее умирать / Почему-то». Иной раз рисуется ему «Прекрасный праздник погребенья». А то, «Рассчитавшись с жаждой и хламом, / Рассчитавшись с верою и храмом, / Жду тебя, прощальная звезда». Вокруг этих постоянных мыслей рождается и «Реанимация» и «Погост», где понята прелесть сельского кладбища. — Но и (рассчитавшись-то с храмом...): «Ты жил, чтоб стать томатной пастой <...> / Теперь тобой заправят плов <...> / И, видимо, живём напрасно. / И, кажется, уйдём в навоз».

Хотя и призывает Самойлов: «Надо хранить всё строже / Золото русской речи», — сам не очень это выполняет. Углубления в собственно русский язык — редки.

светло — <i>сущ.</i>	сверк — <i>сущ.</i>	вся недолга	протяжливо
свѣтла — <i>мн. ч.</i>	недоля	выстрадывать	плачѣя

Запоминается рифма: «Тютчев — невлюбчив».

«Дом-музей» — остроумная пародия. Юмор у него редкий, но тёплый («Старик Державин»).

Еврейская тема — в стихах Самойлова отсутствует полностью. Но и это тоже как бы объясняется — его неизменной одиночностью и сосредоточенностью на себе и на природе. — Не повторяет он и соблазна тех советских авторов, которые, от неопишуемости современности, уходили в историю. Он не уходит, редко мелькнёт «Анна Ярославна», — хорошо и с русским чувством; или короткие этюды о Пушкине. Но «Святогорский монастырь» — не выше политагитки, и о Пугачёве — вовсе ни к чему. И «Стихи о царе Иване» — ни с какою же своей оригинальной мыслью. К русскому фольклору Самойлов

закрыт — а неожиданно, с большой искренностью и натуральностью, выступают у него «Балканские песни». И с признательностью отдаёт он поэтическую благодарность приютившей его Эстонии («Эстимаа» и «Пярнусские элегии»). Но не сочтёшь за удачу «Блок. 1917». Мог Блок промахнуться в момент революции, но стыдно Самойлову в 1970: «...Весёлые бунтовщики <...> / И уходили патрули / Вершить большое дело. / <...> И ангел в небе распевал: / „Да здравствует свобода!“» (Ещё к чему-то приплетены сюда и рождественские волхвы — не в споре ли с Пастернаком?) И «Смерть поэта» (Ахматова) — перезатянута, без исторического чувства, одни умственные усилия.

Итак: всю жизнь, в жажде покоя, остерегался Самойлов печатать стихи с общественным звучанием. Но однажды всё-таки не уберётся, заманчиво — и стезя общественного поэта, и опасно: ударить по «Письму вождям» Солженицына: «Дабы России не остаться / Без колеса и хомута, / Необходимо наше царство / В глухие увести места — / В Сибирь, на Север, на Восток...». Ну, и собрал сколько-то благожелательных хихиканий среди московских образованцев — впрочем, не единодушных.

На этом мы бы и расстались с заметками о Д. Самойлове, если бы в начале 1995, да как раз в те самые дни, когда я кончил вот эти страницы, журнал «Знамя» не захотел бы ещё раз увековечить память поэта, напечатав отрывки из его дневников 70-х годов. Отрывки те — сами напрашиваются в продолжение комментария: они помогают понять и творческую обстановку, и типичный род жизни, и типичную общественную позицию признанного советского поэта.

Что можно было угадать по стихам, то подтверждается и его дневниками. В 55 лет пишет: «Я протискиваю стихи сквозь свою жизнь, как сквозь игольное ушко, и, протаскивая, устаю и теряю к ним интерес. Потраченное усилие отвращает от совершенства». Часто: «не работается, нужно упорно мобилизовать состояние ума», «никак не засяду за работу», «душевная лень, какой-то темп утрачен», «много пустых дней», «утомительные и бессмысленные дни», «в состоянии апатии и неписания»; несколько раз: «катастрофически не работается», «стихи катастрофически не идут», «к бумаге и к машинке отвращение». То — и целый год не писал. Перечитывая свои стихи после лет: да, недотянутые, вялые, незрелые; и о статье, где его критикуют за недостаток глубины: «нахожу в этой статье резонное». До своих 50 лет «всё удивлялся, что нет признания», потом: «я уже несколько знаменит», «если что-то напишется — достигну громкой славой»; к 60: «слава приятна и немного постыдна»; к концу жизни: «роскошной славой не добился, чего хотел — не создал».

Можно искренно посочувствовать этой душевной ненаполненности, при которой, конечно, ничего значительного не создашь. В чём-то она определяется задатками автора, а дальше всё больше — образом жизни. Та любовь «к вину», которая не раз отразилась в стихах, ещё ярче сквозит через дневник. То «питьё в ЦДЛ», то в баре, то «мирно глотали водку на кухне», то «выпивали с утра до обеда», «на пьянство уходит много сил», «к вечеру жаль потерянный день», вот «быстро напиваюсь, глупею», а всё же, и к концу жизни: «утешиться можно только вином». Да жить «хорошо бы, если б не деньги и не заботы», «нужно думать о деньгах», «жизнь моя сейчас может состоять только в зарабатывании хлеба» (большей частью — переводами), «всё трудней обеспечить семью», «работа не ладится, а деньги нужны», «тяжкие думы о финансовых перспективах», «денег практически нет», вот «маячат деньги», а вот, против желания, даёт газетное интервью «ради благ земных». (Теперь понимаю, почему при единственной нашей с ним беглой, короткой встрече, году в 1971, он меня упрекнул: «Что ж вы против своих?» Я не понял сперва. Оказывается — Авиетта в «Раковом»: что писателям слишком хорошо живётся финансово.) А тут же ещё квартирные заботы: вот, наконец, дали квартиру в городе; вскоре: угроза, что отнимут её «за общение с Сахаровым»; нет, напротив: дали квартиру ещё лучше, в писательском доме. Так будешь осторожен в общественной



жизни: «Интегральное отрицание революции — политическая глупость», «абсолютно честным может быть только деструктор». И пылкому прямодушному В. Корнилову (тот подписал письмо в защиту Л. К. Чуковской): «тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция» (и не подписал защитное письмо, хотя с Л. К. Ч. был весьма близок). И в каком-то ослеплении очень странно толкует «жить не по лжи»: «отдаться нации и перестать быть самим собой? цель — муравьиная»...

Но именно эти-то предосторожности и опустошают душу: «крайнее утомление от людей», «отсутствие интереса ко всему внешнему», «депрессия нравственная, потребность пересмотреть основы жизни». В 55 лет: «10 лет я исследую практику умирания», страх: «что там, за углом?». В 61 год: «никогда не думал, что старость так ужасна», «всё внутренне не ладится, жизнь кажется пустой».

Грустная судьба.

Смутно терзался в неразберихе и хлипкости перестроечных лет, о споре Эйдельмана с Астафьевым высказался так, что «не понравилось московской интеллигенции». А в январе 1990, уже перед самой смертью, записал: «Господи, спаси Россию». (Но — много жил в Эстонии и похоронен там.)

Однако есть и свидетельство помимо дневниковых. В том же начале 1995 издана объёмистая книга Самойлова «Памятные записки» — большей частью биографическая, но также — смесь литературных воспоминаний и эссеистики, с фрагментами размышлений и философских, к которым, как мы видели и по стихам Самойлова, он всегда имел тягу. (Среди них — немало рассуждений обо мне; я на них не отзываюсь.)

На биографии Самойлова тоже характерно прослеживается исторический процесс преобразования российского еврейства. Прадед его в конце XIX в., религиозно непреклонный, весь в Талмуде, до полного равнодушия к окружающей жизни, в 80 лет покинул семью и уехал умирать в Палестину. Затем «фанатические начала передавались в форме особой непреклонности нисходящим коленам», а всё же слабели. Отец писателя не терпел евреев-выкрестов, но и не фанатичен. Самойлов же осуждает выкрестов лишь в том смысле, что их переход слишком поверхностен; даже и шире того, не только о евреях, но и о христианах: «слабые верой приходят к церкви», а вот «терпеть жажду [духовную] могут только сильные», к каким относит он и себя; впрочем: «я не верю в существование русского сионизма». А «современные наши христиане — „крещёные бундовцы”», с опрометчивой снисходительностью судит он. — Из биографии узнаём, что в 1941, в свой 21 год, войну начал с эвакуации в Самарканд, в конце 1942 отправлен на Северо-Западный фронт, рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем — полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944 по фиктивному «вызову» от своего одноклассника, сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений), и вмешательством Эренбурга направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где и стал комиссаром и делопроизводителем разведроты («носил кожаную куртку» — тоже традиционный штрих). — После десятилетней московской литературной жизни (до войны учился в МИФЛИ, в известной «могучей кучке») оценивает свой выбор 70-х годов не влиться в поток еврейской эмиграции — наиболее мужественным выбором: стоять за права и достоинства человека, именно оставаясь в СССР. (Однако по его конфликту с «деструктором» Корниловым мы видели, что гражданского поведения Самойлов по сути не проявил. И считал: это «настоящая чепуха... что бездействующие не смеют оценивать действующих».) Объясняет о себе Самойлов, что «пришёл от литературы к жизни, не наоборот», «ни одна жизненная ситуация не увлекала меня так, как факты литературы», «жизненные факты переживал несколько вяло». Был близок со Слуцким («другом и соперником»), и в таком поэтическом кругу, что и в 40-х и в 50-х годах им «Ахматова и Пастернак казались вчерашним днём литературы».

Столь пристальный к литературным явлениям, Самойлов даёт волю своим обширным оценкам других авторов и, раздаривая эти многочисленные харак-

теристики, как бы спешит заполнить ими литературное пространство. Например о В. Шукшине можем прочесть такое: «злой, завистливый, хитрый [?], не обременённый культурой» (поживи его жизнью), отчего и «не может примкнуть к высшим духовным сферам города». Эх, куда мы махнули в литературной критике! — Однако и в духовно-философской сфере эти эссе не украшают Самойлова: философия — узкая по мысли и очень приспособленная к самооправданию, вроде того вывода, что «эгоизм ведёт к гуманизму». Иногда мелькнут реликты советского мировоззрения: «в советском национализме... есть некоторое положительное начало, доказывающее, что и Россия плывёт туда же, куда и всё человечество»; «нельзя считать марксизм окончательно и бесповоротно утратившим свои позиции». Отрицает, что в 70-е годы коммунизм агрессивно наступал на весь мир, никакой «угрозы» миру от коммунизма не видит. Очень обозлён на русских «почвенников», часто пользуется бессмысленной кличкой «русситы»: они «из города, может быть, из провинциального, захолустного», и именно там они «трагедию [1937 года?] пересидели». (Много же знает Самойлов о трагедии малых городов России за большевицкое время. Сунься-ка туда, «пересиди».) «В 37-м году к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ» (как если б в 20-е «рванулся» не «хам»), и особенно выделяет именно «ответственность за 37-й год» (не сопоставляя с ответственностью за 1929-33), после которого, утверждает, «власть у нас народная» и «народ лучше всего сохранился».

Тщательно обдумывает Самойлов соотношение интеллигенции и народа в России. «Пугачёвщина есть история русского идеализма», «низшая среда... с её низкими нравственными критериями»; «народ, утратив понятия, живёт сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы». (Вот тут он сильно промахнулся: народ живёт инстинктом устойчивого *порядка* жизни, а инстинктом свободы, «свободы вообще», живёт только интеллигенция, хотя бы эта «свобода» засасывала нас и прямо в анархию.) «Мужик образуется в народ... когда научится уважать духовное начало России, т. е. её интеллигенцию». Обязанность же интеллигенции перед народом: «производить мысли и распространять их»; «никогда её значение не было так велико, назначение так высоко». «Отдавая оценку на волю низшей среды — высшая совершает преступление перед действующей личностью, лишая её нравственных ориентиров», — в данном случае имею в виду я: «Солженицын выразил идеологию, наиболее приемлемую для народа», «идеологию черни». (Только из этих его записок я вспомнил, что году в 1972 я предлагал ему через Л. К. Чуковскую открытую дискуссию в самиздате — от чего он тогда отказался, взамен того накапливал записки для посмертного опубликования.) Длительный срок «почти все интеллигентские группы... не доверяли народной стихии... справедливо опасаясь, что стихия разрушения обрушится прежде всего на них». (Но изредка попадает у него строка и осуждающая презрение интеллигенции к народу.) А «русские евреи... это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных её вариантов».

Коснёмся ещё некоторых мыслей из тех эссе: «Особенность момента в том, что народ перестал быть хранителем нравственного и культурного достоинства нации. Носителем культурного и нравственного потенциала является сейчас интеллигенция». Спросим: когда «сейчас» и какого «момента» особенность? — если *буквально* это, и в этих же выражениях, мы читали в 60-е годы у Г. Померанца? Если ничего не изменилось за 30 лет — то к чему публикуется открытие? Если же изменения от «момента» произошли — то вот бы их и указать? Рядом: «Низшая среда с её низкими нравственными критериями»; «мужик нынешний... спекулировать и шабашить готов и... делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он», — как мы выше прочли, — «научится уважать... интеллигенцию». (Мимоходом о словечке «шабашить». Столичный интеллигент, служа в любом идеологическом тресте, получал солидную в сравнении с мужиком вознаграждение — и это никогда не называлось «шабашить». Но стоит простолыдину искать заработать что-нибудь

выше колхозных палочек или коммунальному слесарю попросить у хозяина квартиры троячок — это уже «шабашить».) Так вот нынче «духовное начало» в изобилии извергается нам из телевидения — и, кажется, не «мужики» всю эту мерзость совершают. И не они убеждали нас в спасительности гайдаро-чубайсовского грабежа. И не мужики, большей частью, создавали коммерческие банки, гнали миллиарды долларов за границу, а сами — на Канарские острова отдыхать. Так кто же это — *шабашит*? Очень своевременно опубликованы эти итоговые суждения.

А как понять такую фразу: «Победа в Отечественной войне — его [российского утопизма] последняя эпопея». Так понять, что утопизм был — народу собрать свои воистину *последние* силы на безнаградную победу? И дальше — вырождаться до сегодняшнего запустения и презренного передо всем миром состояния? Или — лучше бы поучиться нам эгоизму? «Эгоистическая натура терпима, потому что располагает в реальном мире», «в широком смысле терпимость и гуманизм относятся к сфере эгоистического характера».

«Терпимость» — любимая категория и высшая ценность Самойлова. «На переходе к терпимому обществу мы должны прежде всего научиться уважать любое другое мнение, даже не нравящееся нам».

Дай-то Бог. Всем нам.



# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## НЕОСТЫВШИЕ ПИСЬМА

Крест бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: письма из глубины России.  
Послесловие Л. Аннинского. Иркутск, издатель Сапронов, 2002, 510 стр.

**В** публикациях личных писем есть что-то подспудно горестное и беззащитное. Они всегда звучат прощально, вослед ушедшему автору. Годовщина со дня ухода Виктора Петровича Астафьева была отмечена выходом книги, где голос писателя слышится с каждой страницы, а последние слова отмечены неостывшими датами позапрошлой осени.

Иркутский издатель Геннадий Сапронов сроки самому себе установил жесткие — хотелось непременно успеть с книгой к поминальной дате. Но сроки не мешали литературному редактору Агнессе Гремичкой подготовить письма к печати, а художнику Сергею Элояну — оформить издание как что-то очень дорогое, домашнее.

Важная особенность этой книги в том, что астафьевские письма не остались в мемориальной тишине. Звучит голос не только Астафьева, но и его собеседника — критика Валентина Яковлевича Курбатова. Встречная переписка (в книгу вошло 238 писем) особенно драгоценна читателю; она дает объем жизни, восстанавливает ее естественную драматургию.

С первых прочитанных страниц вспоминаешь, что значило письмо в нашей недавней жизни. Что это была за радость — ворох открыток на Новый год или длинное письмо от друга.

«Вот ведь чудеса-то: можно заранее хоть до слова знать, что близкий человек тебе напишет. А все-таки письмо будет теплее твоего знания и утешительнее. Видно, сами буквы, движение рук хранят что-то такое, что иногда и дороже самого значения слова...» (В. Курбатов, 11 марта 1991 г.).

Держа в руках полновесный том писем, отправленных в недавние 70 — 90-е, вдруг понимаешь, какое это несчастье — наши опустевшие почтовые ящики, откуда раз в неделю мы выгребаем рекламные листки. Как страшны всеми забытые железные ящики, которые почтовики поставили когда-то вдоль поселковых и деревенских улиц. Проржавевшие и раскуроченные — только они и напоминают сейчас о той поре, когда из всех щелочек виднелись белые полоски газет, а по вечерам где-нибудь тут же, на бревнышке, сидели старики и читали друг другу только что полученные письма...

Нет, друзья, электронная почта не заменила нам обаяния бумажных писем, их осязаемого руками тепла. Уважая в электронке ее сверхзвуковую скорость, признаемся себе: *ожидание* письма порой ценнее для души, чем само письмо. В промедлении, кроме мучительности, есть своя ни с чем не сравнимая сладость. Потеряв эту протяжность ожидания, мы добровольно расстались с одной из житейских радостей. И если бы только с ней! С тихим уходом из нашего быта бумажного письма, сургуча и синих почтовых ящиков незаметно исчезает часть национальной культуры.

И нет большого преувеличения, когда Геннадий Сапронов говорит в предисловии: «Их письма — не просто милые послания друг другу давно и близко знакомых людей, а действительно, может быть, *последний русский эпистолярный роман* (курсив мой. — Д. Ш.)...»

Многие рассуждения о литературе в письмах пробегаются глазами как нечто уже где-то у тех же Астафьева и Курбатова прочитанное. А цепляет обыденность, трогает житейское: дети-внуки, хвори, заботы, драгоценные приметы *и нашей* жизни... Замечательны те страницы книги, где писатель на несколько минут забывает о своем гордом призвании, а критик перестает «пасти народы». И совершенно не жаль, что такие громкие в свое время истории, как полемика Астафьева с Н. Я. Эйдельманом или сумятица, поднявшаяся после «Ловли пескарей в Грузии», в письмах почти не отразились.

Окололитературные события друзьями по переписке воспринимаются как что-то досадное, мешающее, собственно, жить. Литература — ремесло, пусть и высокое, но изматывающее; «крест бесконечный...». Письма же — отдохновение от ремесла, переключка, оглядка вокруг.

«Маня одна в огороде, вся произвелась, боюсь, чтобы не свалилась... Осень стоит хорошая, ясная, только очень ветрено и некогда по лесам бродить...» (Астафьев, 30 сентября 1975 г.).

«Вчера была панихида перед Успением на Святой Горе, были цветы, поминания и тишина, которая как-то особенно слышна из-за бесшумно падающего снега... И иней, иней всюду...» (Курбатов, 11 февраля 1976 г.).

«Внук наш Витенька хорошо растет, потрошит все, что может, от стен квартиры и до книг. Ну, Валя, бодрый будь! Что-то меня пугнуло твое последнее письмо. Поклон твоим домашним от меня, Ирины и всех наших. Я обнимаю тебя. Твой Виктор Петрович» (Астафьев, 2 декабря 1977 г.).

«Я сяду тихонько на кухне и выпью один, и серый день за окном не будет знать причины, но Вы неожиданно икнете за столом...» (Курбатов, 7 ноября 1978 г.).

«Главная моя забота, чтобы ты заработал хоть какие-то деньги...» (Астафьев, 24 января 1985 г.).

«Лето так и тянет, как мальчишку, на реку, в лес. Эх бы на Амыл али еще куда...» (Курбатов, 25 июня 1985 г.).

«Наши французов обули — 2:0 выиграли! И погода по-прежнему солнечна, суха...» (Астафьев, 12 октября 1986 г.).

«Веселые мужики поют на папертях кинотеатров: „Ох ты, Мишка Горбачев, ты снаружи как Хрущев, а внутри как Берия. Нет тебе доверия...” Углан какой-то лет семнадцати таскает вечером под памятником Пушкину плакат „Долой ЦК — банду коррумпированных лжецов!” и ищет мученического венца, но венцы то ли все разошлись, то ли их, как мыла, тоже не хватает...» (Курбатов, 27 января 1990 г.).

«Я в деревне, с Полей. У меня идет ремонт избы...» (Астафьев, 22 июня 1990 г.).

«Пока мама полгода гостила, был поспокойнее, посветлее душой, а вот уехала вчера, и опять душа заметалась, опять все из рук валится... Не сидится ей тут... — Чусовой снится, подружки у дома, могила отца на Красном поселке...» (Курбатов, 11 марта 1991 г.).

«Очень тебя ждем по теплу оба с Марьей Семеновной. Право слово, назрела надобность встретиться и погутарить и на весну не чухонскую — нашу тебе посмотреть... Давай приезжай! В письме всего не скажешь, как бы длинно оно ни было. Обнимаем, целуем тебя по-чусовлянки — крепко и преданно. Я и Марья Семеновна» (Астафьев, 13 марта 1991 г.).

Многое в этой книге заставляет вспомнить «Зрячий посох», редкое в нашей литературе произведение. Ода дружеству писателя и критика, апология литературного братства. Поклон той критике, которая, собственно, не критика в обычном понимании, а опека таланта. И не только печатная, публичная, а домашняя, бытовая опека, которая никому не видима, но без которой даже сильный талант может не совладать с жизнью.

Та повесть об ушедшем старшем друге, критике Александре Николаевиче Макарове, писалась мучительно долго, а по выходе в свет осталась почти не замечена. Еще можно как-то понять читательское к ней равнодушие — вещь документальная, почти очерковая, да и размышления о творческой кухне, пусть даже самые взволнованные и честные, интересны далеко не всем. Но отчего-то и критика отреагировала на повесть вяло. Возможно, то молчание было ревнивым. Отчего это до небес вознесен Макаров?

В недавно вышедшем биографическом словаре «Русские писатели 20 века» (М., «Большая российская энциклопедия», 2000) в большой статье об Астафьеве повесть «Зрячий посох» вовсе не упоминается.

Но были люди, сумевшие по достоинству оценить астафьевский рекеиум еще до его публикации. И не случайно первым из них был Константин Симонов, однокурсник Александра Макарова по Литинституту. Незадолго до смерти он прочитал повесть в рукописи и написал (вернее — продиктовал секретарю, писать ему было уже тяжело) Астафьеву большое письмо: «Ваше повествование... обещает стать замечательной книгой, единственной в своем роде...»

И Виктор Петрович дорожил этой повестью, заботился о переизданиях — опять же в память о друге, а не оттого, что считал «Зрячий посох» таким уж шедевром.

«Помяни, но прежде всего тех, кого нет уже с нами и кто достоин наших добрых слез, светлых воспоминаний и неугасимой памяти». Это последние слова из повести.

Десять лет назад Виктор Петрович, прежде чем подарить мне книгу со «Зрячим посохом», вписал на титульный лист потерянный издателями эпиграф:

«Непамятливых памятью не мучай,  
А помнящим хоть час забвенья дай.

*Алексей Прасолов».*

И как счастье простым совпадением то, что именно в дни работы над «Зрячим посохом» Астафьев получил первые письма от молодого критика Вали Курбатова.

Отвечая Валентину (13 ноября 1974 г.) на нескольких страницах и с удивительной для первого письма душевной распахнутостью, Астафьев пишет: «Сейчас я уже очень устал. Много сделал за два месяца непрерывной работы, но еще больше надо сделать, чтобы закончить повесть и приняться за трудные размышления о судьбе покойного критика А. Н. Макарова...»

Так непостижимым образом была заполнена пустота, образовавшаяся в жизни Астафьева с уходом Макарова. Судьба во второй раз подарила Виктору Петровичу редкого по созвучию собеседника — деликатного, умного, чуткого.

«Это судьба нами так распоряжается, Виктор Петрович. Вы были первым живым писателем, на которого я смотрел из темноты зала в девятой чувовской школе, и вот мне предлагают написать о Вас первую большую работу...» (Курбатов, 23 марта 1975 года).

Зрячий посох сам собой перешел в руки тридцатипятилетнего «псковского зтворника», не по годам рассудительного, строгого и степенного в суждениях, с некой летописной важностью в слого, иногда выглядевшей напускной.

Может показаться странным, что зрелый мастер, как тогда писали в газетах об Астафьеве, все еще нуждался в каком-то «посохе», а стало быть, в некоем духовном руководстве. Виктор Петрович и партийное-то руководство, вездесущее и всесильное, уже в 70-е годы умудрялся как-то игнорировать. Да и в характере Виктора Петровича было бы с порога напомнить молодому критику, что яйца курицу не учат. Или что-нибудь покруче выдать земляку Марьи Семеновны по Чусовому. Но в жизни многое происходит вопреки обыденной логике.

Первое же замечание, которое высказал Курбатов по поводу «Пастуха и пастушки», встретило отповедь, но совершенно в обратном смысле: «У тебя голова хоть и 68-го размера, но и в нее может прийти простейшая мысль: а не обиделся ли В. П. на замечание? Повторяю тебе еще раз, что я работаю профессионально и отношусь к литературе как профессионал... Обижаются в литературе люди случайные, дамочки в брюках, которые не работают, а играют в литературу, и самолюбие у них впереди работы...» (29 октября 1975 г.).

В переписке писателя и критика на первом месте до последнего дня были человеческие отношения — уважительные даже в те моменты, когда возникал нешуточный спор. Порывистые и местами будто сплеча рубленные, письма Астафьева уравновешены вдумчивыми, а то и вразумляющими посланиями Курбатова. Оказывается, можно *не соглашаться любя и критиковать сострадая*.

«Вы начали так отчетливо клониться к ожесточению... душа осердилась...» Только человек, болевший сердцем за все, написанное Виктором Петровичем, мог высказаться столь прямодушно и пронизательно. И было это еще в 1981 году (в письме от 3 июля), когда ожесточение только еле заметной тенью пробегало по

страницам астафьевских книг. И главное-то в том письме — стремление уберечь, предупредить об опасности. Причем не через газету, что было бы логично для литературного критика, а только в личном письме.

Редкого старика можно представить мальчишкой. В Астафьеве этот мальчишка легко проглядывал. И, глядя на него, седого, иногда думалось: «Ну и набедровалась с ним бабушка Катя!» Не зря она строжилась: «Витька, учись хорошеньче — в десятиники выйдешь або в учителя!» Бабушкины строгости хоть как-то направляли бунташный характер. Безоглядная искренность часто вызывала вокруг него борения и сражения. Он мог говорить и властям, и народу, а сгоряча — и ближним своим самые жесткие вещи. Неудержимость какая-то шла у него от сердца. И в этом прямодушии сквозило что-то отчаянное, он словно весь открывался — так в мальчишеской драке открывается заводила, отвлекая нападающих противников от более слабых своих товарищей: мол, давайте на меня, бейте, вот он я...

В интервью ему не всегда удавалось быть дипломатичным. Но вдогонку Виктор Петрович прислал корреспондентов — без особой надежды, впрочем: «Не сорьте меня с людьми...»

Так и меня, когда я хотел сослаться в одной статье на его мнение, он просил в письме (16 мая 1993 г.): «Конечно, был бы ты рядом, кое-что в материале почистили бы и поправили, а так попрошу тебя к фамилиям Гроссмана и прочим добавить: Василь Быков, Константин Воробьев, Иван Акулов, Юрий Гончаров, Евгений Носов, не сорь меня с моими друзьями живыми и мертвыми...»

И вот, помня, как скор и горяч был Виктор Петрович в своих публичных «репликах», можно было ожидать, что в письмах-то уж он всем перцу подсыпает. Но читаешь «Крест бесконечный» и почти на каждой странице видишь, сколько непритворного участия, тревоги и заботы о собратях писателях выказывает этот всегда ершистый на людях детдомовец. (Кстати, это слово Астафьев никогда не считал обидным: «Я иногда горжусь словом „детдомовец“, как гордились нашим братом и командиры на фронте...»)

Вот переживает за Бондарева, за его «Берег», который критика совершенно не поняла (2 июля 1975 г.). За Виктора Конечного, которого замалчивают, а он «писатель первоклассный» (23 июня 1984 г.). «Порадовался крепости его пера, богатству воображения...»

О И. Дедкове и И. Золотусском: «...люблю их и соблезную им...» (23 января 1983 г.).

Роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день», без сомнения, ставит в один ряд с «Осенью патриарха» Г. Маркеса (3 января 1982 г.).

Советует Курбатову читать «Лето на водах» А. Титова: «Давно я с таким наслаждением ничего не читал» (4 октября 1981 г.).

Кланяется своему редактору: «Асе Гремичкой наивечнейшее мое спасибо за уважение и внимание ко мне, к моей скромной работе...» (13 марта 1991 г.).

Внимательно читает ровесников-фронтовиков. «Прелестный рассказ Жени Носова в десятом номере „Знамени“ за прошлый год, как увядающе-прекрасный и светлый островок среди параш, камер, казарм, общаг и московских квартир, где маются интеллектуалы с похмелья... Рассказ называется „Красное, желтое, зеленое“, таков был цвет хлебных карточек...» (18 июня 1993 г.).

О повести Леонида Бородин: «Словно свежим воздухом дохнул иль кусочек сахара пососал, так славно, так светло, так дружелюбно к народу своему написал бывший зек...» (2 марта 2000 г.).

А как адресата своего окрыляет: «Блистательно! Иного слова и не хочу искать — блистательно! Я лучше и вдохновенней ничего у тебя еще не читал... Не зря ты самообразовывался» (12 октября 1986 г.).

Что за важность! — скажет кто-то. Ну, сказал пару добрых слов в частном письме — кому от этого легче? Но это-то как раз и есть подлинная литературная жизнь. Не восторг рецензии, не писательские ток-шоу в телевизоре, не услуги в продвижении на премию, а вот то, что в мыслях, на сердце. Что мы думаем друг о друге — это и есть воздух литературы. Задохнуться можно и без помощи тоталитарного режима. Можно быть молча удрученным равнодушием и снобизмом. Мож-

но погибнуть под свистопляску дешевого телебалагана. (Чтобы понять это, достаточно, к примеру, прочитать последнюю, завещательную книгу «Перемены» Владимира Корнилова. Или завещание самого Астафьева. Там об этом — по-мужицки прямо.)

Кто-то из прочитавших «Крест бесконечный» справедливо поправит меня: можно ведь и других цитат «надергать», не таких идиллических — о том же Ю. Бондареве. Или Н. Эйдельмане. А разрыв с В. Беловым и В. Распутиным?.. Ведь невозможно сделать вид, что этого не было.

Было. Но было и осталось в том времени, когда случилось. *Не этим* жил Астафьев. «Чувство мое сильнее яви...» Не все, что бурлило на людях, оставалось на сердце.

«Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя... И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы... общество вместе со своими „мыслителями“ не готово к такого рода литературе... Ой дадут они Вале Распутину за повесть!..» (13 ноября 1974 г.).

Да, через много лет отношения омрачатся взаимными обидами, упреками, недоразумениями. «Валентин Григорьевич вон в „Правде“ обвинил меня в том, что я оторвался от народа. От какого? Что касается „моего народа“, то лишь в прошлом году я был на восьми похоронах, в том числе и тети Дуни... Я бы рад от этого народа оторваться, да куда мне? Сил не хватит. И поздно, и места мне в другом месте нету, да и ведь страдаю я муками этого народа. Ну ничего, *чувство мое сильнее яви* (курсив мой. — *Д. Ш.*), и я закончу роман, а тогда уж судите меня, подсудимые и большие, как Вам хочется» (Астафьев, 22 февраля 1994 г.).

Распутин с Астафьевым так скоро разошлись по разным берегам, что читатель и охнуть не успел, как и его на части стали рвать. Любишь Астафьева — значит, ты апологет демократических преобразований. Перечитываешь Распутина — стало быть, держишься за старое, ретроград, а то и коммунист заклятый.

Вот и пошла российская словесность на растопку выборов, на раскрутку провинциальных и московских политиканов. И мало кого в СМИ тревожило: а за что, собственно, погублены отношения двух замечательных русских писателей, за что на старости лет их развели, как малых детей, по разным углам?

Слава Богу, нет греха «поджигателя войны» на Валентине Яковлевиче Курбатове. Его лучшие работы 90-х годов — это предисловия к собраниям сочинений В. Распутина и В. Астафьева. Курбатов, следуя своим любимым волошинским строчкам, в статьях «молился за тех и за других». А в письмах, как мог, заговаривал беду непонимания.

«А к Валентину Григорьевичу Вы несправедливы во всех обвинениях. Его часто искушают и сталкивают в ненужную сторону, но сам он остается по-прежнему чист душой и ясен зрением. Ему бы здоровья немного... Мне тяжело видеть происходящее с нами со всеми, стыдно видеть родную литературу, в которой вчера родные люди собачатся, как враги, вместо того, чтобы увидаться друг с другом и поговорить без посредничества подлых газет и телевидения. Это, конечно, не может длиться долго. Обморок кончится, и нам будет стыдно глядеть в глаза друг другу. И чтобы это кончилось поскорее, я готов стоять посередине, как и сотни других таких же дураков, и получать обвинения той и другой стороны... Вы вот „Пеструху“ Распутину посвятили, я вчера перечитывал ее маме, смотрел, как она плачет, и не мог ей сказать, что Вы с Валентином теперь „не здороваетесь“. Она бы не поняла — и правильно бы сделала. И я не понимаю... Не так, не так относятся друг к другу родные люди. Не по-русски это, не по-Божески, не по-людски» (Курбатов, 23 февраля 1994 г.).

Огромный тяжелый урок есть для всех нас, по-русски пишущих, в этой драме. Размолвка двух художников, духовно, нравственно близких, — вовсе не эпизод литературной борьбы в стане интеллигентов-почвенников, как это представлялось многим, а событие трагическое, отозвавшееся размежеванием читательским, а значит, еще одной трещиной и в народном сознании.

И как можно было играть на *этом*, давить на больное, растравлять людские души? О неладах в отношениях Астафьева и Распутина сообщалось громко. О том,



что отношения, пусть и заочно, но восстановились незадолго до ухода Астафьева, — об этом никто не знал, да и сейчас толком не ведает. Нахлынуло другое... Но, мне кажется, еще живут в России тысячи настоящих читателей, для которых книги Астафьева и Распутина не перестали быть частью собственной души и судьбы. И вот для них-то какой отрадой, камнем с сердца, была бы весточка, хоть полслова о примирении любимых писателей. Пусть хоть сейчас она прозвучит.

«Очень жаль Валентина. Ему как-то трудно всегда давалась и дается жизнь, и вот старость подкатывает с такими бедами...» (Астафьев, 9 апреля 2001 г.).

Из письма Валентина Григорьевича Распутина Марии Семеновне Астафьевой 28 декабря 2001 года: «Примите и мою вину тоже — в том, что было между нами, русскими людьми, в том числе между мною и Виктором Петровичем, в последние годы. Но я стал бы лукавить в своем покаянии, если бы отнес эту вину только к себе. Или к Виктору Петровичу. „Все виноваты, все виноваты, если бы все это понимали” — кажется, что-то в этом роде есть у Достоевского. Вся Россия разошлась в непонимании. И характера нашего, к несчастью, не хватило, чтобы быть добрее друг к другу. Это уж я говорю не о всех, потому что всеми свое личное все равно не прикрыть... Надеюсь еще побывать у Вас и у Виктора Петровича. Порывался полететь на похороны, но слишком много народа и прощания не получилось бы. Пусть получится свидание...» (сб. «Прощание. Последний поклон Виктору Астафьеву», Красноярск, 2002).

Пусть получится свидание. Чувство мое сильнее яви.

Как все-таки оглушительно сменились времена. Закрывая книгу с перепиской Астафьева и Курбатова, отчетливо понимаешь: на нашем веку уже никогда не будет столь любима и боготворима русская словесность, не будет столь напряженного искания правды и такого братского сочувствия писателю в его каторжном труде и страдальческой жизни.

Дмитрий ШЕВАРОВ.



## НОВЫЙ ВЕК. НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА?

Пролог. Молодая литература России. Сборник прозы, поэзии, критики, драматургии. М., «Вагриус», 2002, 432 стр.

**С** наступлением нового века невольно ждешь чего-то нового и от литературы. Оправдываются ли эти ожидания? На этот вопрос хотели бы ответить авторы сборника «Пролог», чьи произведения размещены на сайте молодежного интернет-журнала с тем же названием ([ijp.ru](http://ijp.ru)). Они еще не известны широкому кругу читателей и живут в самых разных регионах России, но их творчество уже доброжелательно оценено мэтрами — редакторами ряда толстых журналов.

Идея сборника сама по себе заслуживает внимания. Что же касается получившегося продукта, то дать ему однозначную оценку довольно сложно. В него вошли очень разные тексты — не только по стилю и содержанию, но и — что самое главное — по качеству. «Неровно...», как говорят в таких случаях: рядом с яркими, талантливими произведениями, такими, как «Остаток ночи» Рамиля Халикова или «Аисты» Яны Жемойтелите, а также с просто добротной, профессиональной литературой (например, «Айкара» Кирилла Тахтамышева или стихи Льва Болдова), существуют тексты, напоминающие скорее наброски или черновики («Ненормативная лексика» Ильдара Абузярова, «Сбросим Пушкина с парохода современности» Максима Свириденкова), или произведения, выполненные стилистически безупречно, но лишённые глубины («Эрнст и Анна» Ксении Букши, «Былина о богатыре Спиридоне Илиевиче» Сергея Чугунова и Романа Волкова), или же типично женская — в не самом лучшем смысле этого слова — литература (стихи Ирины Гореловой, Инги Кузнецовой, Галины Нерпиной, рассказ Натальи Щербиной «Перестук каблуков»). В общем, претензий к сборнику можно предъявить много, но бу-

дем судить по взлетам, а не падениям. Тот факт, что в сборнике представлено несколько безусловно талантливых авторов, очень радует. Кроме того, книга интересна еще и тем, что помогает определить проблемы, типичные для современной молодой литературы.

Начнем с «безусловно талантливых». Речь пойдет о рассказе «Аисты» Жемойтелите, романе Халикова «Остаток ночи» (точнее, отрывке из романа, напечатанном в сборнике) и эссе Евы Датновой «Возвращение на кухню». Невольно задаешь себе вопрос: что же в них общего? И тут же сам себе отвечаешь: их интересно читать... На смену текстам-ребусам, которыми так гордился постмодернизм, приходит нечто куда более читаемое. Весьма распространенным стало использование приемов массовой литературы. Поменялись темы, сюжеты. Конечно, особое место занимает тема любви, которую современные авторы пытаются раскрыть по-своему, по-новому.

Жемойтелите, например, берет за основу сюжет, напоминающий скорее триллер, но развлечь читателя — отнюдь не главная ее задача. «Аисты» — жуткий рассказ. Жемойтелите показывает изуродованные до абсурда человеческие отношения; она сравнивает своих персонажей с животными, лишенными человеческой сущности. Потрясающе описывает Жемойтелите любовную сцену: «...внутри машина была набита до отказа чем-то живым, ползающим по стеклу подобно улитке... ползающее по стеклу было массой голого тела». Единственным человеком, который способен мыслить, переживать, страдать, оказывается женщина-убийца — Оксана, которая убила, находясь почти в беспамятстве, своего мужа и его любовницу. Самое страшное, что окружающие вовсе не осуждают, а, наоборот, успокаивают и даже оправдывают ее (в том числе ее следующий муж — бывший муж убитой женщины, знающий о происшедшем). Но несмотря на это Оксана не может простить себе содеянное. Она спрашивает себя: «Что предпочтительней — суд мирской или суд Божий?» Вопрос этот, безусловно, один из самых актуальных сегодня. Достаточно посмотреть, например, программу «Окна», чтобы убедиться в чудовищной потребности современного человека поиграть в людской суд, готовый оправдать что угодно, и в совершенном непонимании того, что существуют некие высшие ценности. Жутко смотреть, как далеко заходит эта игра. Кажется, что напрочь утрачен истинный смысл таких понятий, как «жизнь», «смерть», «любовь», «долг», «совесть». И недаром Жемойтелите, едва введя в свое повествование тему любви, показывает, как приземляется и опошляется это чувство. Страшно звучат в конце рассказа слова Оксаниного мужа: «А там, глядишь, обживемся и заведем козу».

Что же касается Халикова, любовь в его творчестве... Но дадим лучше слово его герою: «Впрочем, странная это была любовь. Как только я оставил после смены автостоянку, кажется, я забывал и про Лаису». Дело в том, что Халиков создает свой, совершенно особый мир, очень похожий и одновременно совсем не похожий на окружающую нас реальность. Необычно мироощущение главного героя: с одной стороны, все мироздание уместается в пределах крошечного пространства — автостоянки; с другой — существует четкая граница, за которой начинается совсем другая, обычная жизнь. Но как раз эта «обычная» жизнь Халикова не интересует. Ему важно создать абсолютно самодостаточную модель мира, в котором все, начиная с самой незначительной детали и кончая переживаниями главного героя, ценно само по себе. В отрывке, который напечатан в сборнике, Халиков рассказывает о чувствах своего героя к женщине-проститутке, это не похоже ни на любовь-катарсис Раскольников к Сонечке, ни на блоковскую «Незнакомку», пронизанную идеей вечной женственности. Халиков упивается описанием эротических сцен, он называет любовью чувства, которые бы любой психолог охарактеризовал как страсть или влечение (что весьма характерно для массового искусства). Но Халикова не волнуют привычные понятия: это его мир, абсолютно свободный, живущий в своем ритме и по своим правилам.

Конечно, есть над чем поработать и Жемойтелите, и Халикову. Первая — слишком уж не доверяет вкусу читателя, считая необходимым расшифровывать и без того понятные вещи; примитивными кажутся некоторые проводимые ею па-

раллели (аисты — дети). У Халикова — много повторов в описаниях, а его страсть к анатомизму порой раздражает.

Легкочитаемыми стремятся сделать свои произведения не только прозаики, но критики и публицисты. Лучшее, что напечатано в этом разделе, — эссе Датновой «Возвращение на кухню». Размышляя о детской литературе, она ставит важнейшие проблемы и вопросы: что, собственно, интересует юных читателей? (И тут же ответ: «Даже совсем юный читатель хочет видеть в книжке СВОЕ время».) Не запугаются ли дети в том, что такое настоящая литература, наслаждаясь детскими ужастиками и любовными романами? Какова судьба советской литературы для детей? Почему издательства не торопятся издавать «новую детскую литературу, качественную и интересную»? — и т. д. и т. п. Конечно, можно поспорить с некоторыми ее выводами (к тому же порой кажется, что эссе написано лет пять назад, сейчас «новая детская литература» издается больше), но общий настрой статьи, да и сама тема, которой критики так мало уделяют внимания, безусловно, радуют.

Теперь о падениях. Совсем не порадовал раздел «Поэзия». Единственный, пожалуй, автор из всех представленных, кого можно выделить, — это Лев Болдов. Его стихи хороши прежде всего мастерством. Ничего нового он нам не открывает, но пишет убедительно. Самое запоминающееся стихотворение из пяти, представленных в книге, — «Когда спят города, позабыв про дневные бои» (о любви). Болдов показывает, как затихшие «дневные бои» постепенно переселяются в душу поэта. Он изображает постепенно разгорающийся в ночи бой, который начинается с блуждающих позывных, переходящих сначала в бой сердца, потом — в натиск стен, превращающихся в «ночную завесу», которую «бомбят мои точки-тире», и кончается невыносимым треском тишины («Но в наушниках — ночь. В них сверчками трещит тишина»). Рефрен «Я бессонный радист. Я тебя вызываю. Прием!» с каждым разом звучит все сильнее и сильнее.

Довольно смешно и наивно выглядят на этом фоне стихи поэтесс, читая которых по-настоящему мучаешься одной-единственной мыслью: что останется от их «поэзии», когда они найдут своего суженого? Да и с «мужскими» — весьма немногочисленными — стихами дела обстоят не лучше: какие-то они... «женские», что ли. Бессмысленное нагромождение слов, какая-то размытость, недосказанность, режущая слух, попытки поднять быт на уровень бытия — все это характерно для современной поэзии и литературы в целом. Чего стоят, например, стихи Олега Мошникова. Куда более достойно смотрятся на этом фоне тексты Нины Шуруповой и Елены Есаевой, которые с юмором пишут о женских проблемах. Даже история с искусственным членом, который не могут поделить между собой две подруги, — комична и одновременно грустна, в чем-то даже трагична (Шурупова, «Женечка»).

Думается, что одна из причин такого положения дел — последствия постмодернизма. Конечно, с одной стороны — постмодернизм подарил молодому поколению писателей свободу в обращении с формой, стилем, темой, но с другой — свобода, как это всегда и бывает, нередко приводит к распушенности, примеры которой мы находим и в «Прологе» (упомянутые тексты Абузарова и Свириденкова и проч.). Безусловно, это уже не просто игра с формой, авторы задумываются над тем, как бы наполнить ее содержанием, идеями, но эти попытки оказываются весьма поверхностными. Писатели и поэты не утруждают себя глубокими размышлениями о том, о чем пишут. Особенно заметно это в романе Букши «Эрнст и Анна», занимающем совершенно незаслуженно сто с лишним страниц. Конечно, стиль этого произведения безупречен, но этим все исчерпывается! Стилизация под исторический роман, цитата на цитате, использование готовых сюжетов литературы и кино... Сколько можно?!

Но... «скоро пройдет», — утешаешь себя, в очередной раз перечитывая лучшее. Новый век не может не принести с собой новую литературу.

Дарья РУДАНОВСКАЯ.



## КОММЕНТАРИЙ К КУСТАРНИКУ

Александр Кушнер. Кустарник. Книга новых стихов. СПб., «Пушкинский фонд», 2002, 88 стр.

**В**ышедший не так давно «Кустарник» отделен от дебютного «Первого впечатления» ровно сорока годами — тут есть повод оглянуться: «Посмотри на кустарник, / Обнимающий склон. / Вот мой лучший напарник! / Я разросся, как он». В самом деле «разросся»: четырнадцать поэтических книг, появившихся неуклонно по три в каждое (если допустить крошечную хронологическую натяжку) календарное десятилетие и включающих в себя более 1100 стихотворений (это без помещавшихся в периодике и в сборниках, без адресованных детям). Число чрезвычайное, но «валовой объем» важен, понятно, не сам по себе, это показатель темпа душевной работы, непрерывности лирического процесса. «Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать. Это — инстинкт...» — признавался В. Розанов, в «Кустарнике» упомянутый. И еще из «Уединенного»: «Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только „сделать из себя писателя“. Но он не писатель». Повинуясь внутренним императивам, художник ведет чуть ли уже не синхронную запись движения жизни, сквозь него текущей, будто стремится авторизовать, присвоить себе всю ее целиком, «Не спросив разрешения, / Избавляя пейзаж / От головокруженья, / Созерцатель и страж...».

Этот правильный двустопный анапест (с «головокружительным», правда, в седьмой строке воспарением над метрической схемой) не звучал у Кушнера с 1975-го, со времени «Прямой речи»; чаще же всего мы его встречали в 1969-м, в «Приметах», писавшихся, признавался автор, под пастернаковским влиянием, — видимо, он охотно отдавался тогда ликующему ритму «Вакханалии»: «Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века...» Вот и здесь, в заглавном стихотворении новой книги, подняла его та же волна: «Последи за ветвями: / Неприметно для глаз / Разгорается пламя / В нем в полуденный час...» Дальше открывается подоплека полемическая: как бы в ответ горестным блоковским анапестам — «В этот город торговли / Небеса не сойдут...» — здесь со спокойной уверенностью произносится: «Есть на что опереться / Небесам на земле. / Он бы мог разгореться / У меня на столе...» Впрочем, оканчивается стихотворение, при всей его твердой ритмической поступательности, как-то неопределенно: «Все он помнит, все видит. / С самой жаркой из книг, / Я не знаю, кто выйдет / Из него через миг». Почему, собственно, «я не знаю»?

Стоя перед горящим терновником, Моисей, когда явившийся там ему Вездесущий возложил на него известные обязанности, был этой миссией сильно смущен: «О Господи! Человек я не речистый... я тяжело говорю и косноязычен». И услышал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым?.. Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Так губами поэта движет сама поэзия, а что произнесет он, наперед ему знать и нельзя, он — как было сказано когда-то — лишь «богов орган живой». Поэзия суверенна, свободна, и только в силу причастности ей свободен и поэт.

Вне пространства поэзии, говорит «Кустарник», человек свободен тоже, но по-другому — просто заброшен, оставлен на себя самого.

Не спрашивай с Бога: Его в этом мире нет.  
Небесное царство, небесный, нездешний свет!  
Лишь отблески этого света даны земле.  
Поэтому мир и лежит в основном во зле... —

такой вот несколько гностический взгляд. И еще сказано: «Не придет к нам Мессия, не беспокойся...» В третьем стихотворении, где про часы на церковной башне, — с нервной усмешкой: «Бог приходит, как поезд на третий путь, / и стоит недолго, минуты три...» Или среди бедных селений, на дороге, явится вдруг «...при-

видение / В одежде рабской и снегу» — не сразу и опознаешь. (Хотя однажды слезает и совершенно беззаботное: «А с другой стороны, всюду Бог, — так живи, дыши, / Плавай, радуйся жизни и с Ним говори тайком».)

Конечно же, любая декларация — только обрывок поэтической мысли, каждый раз движущейся по-своему и свободной уйти от выставленного тезиса как угодно далеко. Но, если кто-нибудь захотел бы заняться проверкой неблагоприятной версии мироустройства, вещественные доказательства собрать в книге не трудно. Они в ее пейзажах — с ледяными дорогами, свалками железного лома и руинами античного борделя. В ее безлюдных интерьерах: гостиница, холодный павильон у моря, зимняя нежилая дача. В предметах: старый галстук, надеваемый лишь по случаю похорон, фармацевтическая инструкция с длинным перечнем побочных действий препарата, начиная с «головной боли» и «усталости» до «спутанности сознания» и «отвращения к жизни» включительно. «Мир особенно грустен на склоне дня: / Отмирает обида, сникает честь...» — это стихотворение «В фойе»: дверь в зал закрыта, хотя музыка и из-под нее течет и утешает. Во нее встает преграда непроницаемая: «Стена, стена — и вдоль нее идешь, идешь ты: / Какая-нибудь дверь ведь быть же в ней должна. / Как странен этот сон...» Глаза откроешь, но выхода и в самом деле нет: «То подводная лодка, то вертолет, / Помещенный с пехотой под небосвод, / То в метро какой-нибудь переход, / То обрушивается дом...» — остается лишь бессмысленно перебирать, чтобы тут же и осечься: «Тема явно не для меня, / Но что делать, все глубже тоска, сильней. / Смерть в России стоит на повестке дня — / И попробуй забудь о ней».

Произрастающий в заново перекрашенной нашей действительности с гнилым ужасом в самой ее сердцевине, «Кустарник» недоверчив к признакам благополучия, чуждается самоуверенной рациональности — чего она стоит, если не способна спасти? — «Я-то верю в судьбу и в угрюмый рок, / Карты тоже в цыганских руках не лгут, / Это я говорю тебе, поперек / Всех разумных суждений, что тут как тут / Возникают, шепчут: не верь... / Слово дикое употреблю: чутьё...» «Дикое» слово написано тут с упрямым нажимом — напоминание о том, что «Кустарник» и вообще, коль сказано, что он «разросся», — дикорастущий, дикий, непредсказуемый (не то что былая «Живая изгородь», полурукотворная и хранительная). Временами голос книги — как у Толстого, как у позднего Пастернака — звучит апологией простоты, безвестности, бедности. И рискованной безоглядности лирического высказывания: «„С свинцом в груди и жаждой мести“ / Иль „с страстной женскою душой“... / Не верь, что звук дороже чести, / Важнее горечи земной, / Нет, есть такая боль, что звуки / Как бы немеют перед ней, — / Так трут виски, сжимают руки, / Огня пылают горячей. / Есть неуступчивая косность, / Неустранимая тоска... / Что перед нею виртуозность? / Кому нужна она? Строка / В бугры сбивается и складки, / Вся как в запекшейся крови...» (в сущности, возобновленная тема «Прямой речи», книги, тоже запечатлевшей кризис гармонии). Даже приходящая по почте «графомания и ерунда», если там растворена хоть капля живой крови, для автора «Кустарника» предпочтительней ледяной виртуозности: «Вы оцените искренность злобы / И какой-то некрасовский пыл: / „Покажи мне кого-нибудь, кто бы / Рад успеху чужому бы был“...»

О томительном дыхании жизни, о непостижимости неизбежной смерти знают и без книг и «тетя Люба», и «баба Фёкла». «Иисус к рыбакам Галилеи, / А не к римлянам, скажем, пришел...», не к Катуллу и не к Овидию, поскольку «Нищим духом видней ореол, / Да еще при полуденном свете, / И провинция ближе столиц / К небесам...». Имперская провинция, нагонявшая когда-то на обитателя метрополии некоторую оторопь уже самим звучанием ее «варварских» имен — «Я все твержу: Балхаш, Баймак, / Барабинск, Бийск. А что? Да так! / Томлюсь, как будто жмет башмак...», — становится теперь предметом сочувственных ожиданий; это проговаривается в обращении к «романтической ветке» лирики, к поэтам гипнотически впечатляющего дара и резко очерченной, всемирной судьбы: «Восхищаясь безумством отплытий, / Бегств и яркостью ваших чернил, / Мне казалось, что мальчик в Сургуте / Или Вятке, где мглист небосвод, / Пусть он мной восхищаться не будет, / Повзрослеет — быть может, поймет» (замечательная по естественно-сти интонация!).

То, что бывает у всех, но что мы не любим, чтобы другие замечали, — сбивчивость мысли, провалы памяти, — несколько даже демонстративно оставлено в «Кустарнике» на виду: «Не пойму, почему мне так хочется / рассказать...» — перебивает себя автор в стихах о гостиничном одиночестве. И снова: «Я и сам не пойму, что я делаю / и кого соблазняя тоской...» И в стихах о давнем плавании по Оке — стихах с мерным и глубоким дыханием, самых, может быть, счастливых в книге, — душа томится и ищет как во сне: «А какой это был, я не помню, год, / И кого я в разлуке хотел забыть... И попутчики были, — не помню их...» (или это-то забвенье как раз и благодатно?). А вот о вагонной спутнице, которую просто не узнать, так она, бедная, переменилась за годы: «„А помните мостик? Ну, мостик! Ну, львиный!“ (Не помню, как будто я, точно, в маразме)» — что-то в духе Анненского, о котором сильнее всего напоминает последняя строка: «Какое тоскливое, жалкое чудо!»

Анненский возникает в книге и почти прямой цитатой — в финале стихов, рисующих ржавый ужас железнодорожной «полосы отчуждения» (метафора угрюмой жизненной изнанки):

Улыбнись. Я не жалею, не жалею,  
 Что я жил, что несется Земля по кругу  
 Среди звезд, я в себя приходиться умею,  
 Хочешь, вспомню стихи я про грязь и муку  
 И про то, что, быть может, стоит за нею?

О красоте, «где-то там» все-таки сияющей, говорят у Кушнера чаще всего именно стихотворные концовки — как будто он нарочно проводит нас путями тьмы, чтобы потом явить полет «предзакатных облаков», и «сверканье зарниц ночных», и «звезды над морем». Вид звездного неба внушает автору «Кустарника» не столько веру в незыблемость нравственного закона внутри нас, сколько сознание абсолютной непостижимости миропорядка — непостижимости, оставляющей место и упованиям на то, что «...все лучшее в мире само собой / Происходит, стараниям вопреки». Бродский писал о «стоицизме» Кушнера, можно было бы, наверное, сказать и о «квиецизме» — «Даже горе оставил бы, даже зло / Под расчисленным блеском ночных светил. / И к чему бы вмешательство привело?..» — но фраза выдержана в условном наклонении, это не догма, конечно, и не доктрина.

Хотя к чему-то подобному «Кустарник» склоняется. Это ошутимо там с первой же страницы, где напечатано стихотворение «Прощание с веком». Есть у Кушнера такой сквозь времена идущий цикл — стихи о временах. В «Письме» было «Посреди семидесятых», в «Голосе» — «Времена не выбирают...», злосчастная строчка, по ее податливости истрепанная журналистами, как пословица. Новое он начал словами: «Уходя, уходи, — это веку / Было сказано, как человеку...» Имеется опасение, что в лице «века-человека» автор получит еще одного своего полномочного представителя в общественном сознании. И ведь сам будет теперь виноват — много ли народу поймет, что забубенной, сорняковой рифме он возвратил художественное достоинство, что «как человеку» звучит у него не плоским сравнением, а, что ли, упреком на повышенных тонах (из житейского, зошенковского репертуара: «Говорят же тебе как человеку!..»)? Дальше еще смешней: «Посмотри на себя, на плохого, / Коммуниста, фашиста сплошного, / В лучшем случае — авангардист...» — в абсолютно «мойдодыровском» стиле выговаривает поэт уходящему столетию — и внезапно влетает в Ходасевича, в его стихи про «дикое» слово «я»: «Разве мама любила такого?..» К концу стихотворение меняется, взятый поначалу фамильярный тон уступает элегическому, это уже реквием, похороны века, похороны времени, не только общего, но и личного: «Все же мне его жаль, с его шагом / Твердокаменным, светом и мраком. / Разве я в нем не жил, не любил? / Разве он не явился под знаком / Огнедышащих версий и сил?..» И — через паузу — «С Шостаковичем и Пастернаком / И припухлостью братских могил...» Кстати, почему названы тут эти двое? Не в оправданье, конечно, но хоть в снисхождение к веку: не были им убиты или принуждены к смерти, сумели как-то вытерпеть ход советской жизни, мучаясь в ней, юродствуя, оставаясь собой. Оба потом появятся в «Кустарнике» снова — мельком глянет сосредоточенно работающий в эвакуационном хаосе Шостакович, улыбнется Пастернак.

И Блок появится, вдвоем с Чуковским, как на наппельбаумовском снимке, — в стихотворении, названном, по мемуарной книге последнего, «Современники». Вещь неожиданная: большая ее часть — параллельный монтаж цитат из «Двенадцати» и из пародийно-патетичного «Крокодила», написанного чуть раньше блоковской поэмы, причем влияние доказано неоспоримо. Так сказать, рождение трагедии из духа пародии. Дикий кустарник поэзии «все помнит», дебри его сплетены из бесчисленных строчек, и выйти может из этого что угодно. Вот так вышли и сами «Современники», из филологических заметок про смешные параллели, но к ним восстановлен трагический перпендикуляр — судьба и смерть поэта: «Блок как будто присыпан золой, опален огнем, / Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый. / Боже мой, не спасти его. Если бы вдруг спасти!..»

«Прощание с веком» длится в книге на всем ее протяжении, и — как в «Поэме без героя», сюжетно приуроченной к моменту, когда «настоящий двадцатый» только наступил, — здесь собрались чуть ли не все его главные поэтические персонажи, кто под маскою, кто открыто: «Наваливаюсь на, / Как молвила б Цвета / -ева, но мне дана / Другая речь, не та, / Где страсть накалена, / Но спуганы цвета» — тоже беглая пародия, насмешливая и любовная сразу. Ахматовские ноты слышны в стихотворении «Сегодня странно мы утешены: / Среди февральской тишины / Стволы древесные заснежены / С одной волшебной стороны...» — «утешены», «волшебной» — все какие-то ее слова (или это всплывает еще и «Незнакомка» — «И странной близостью закованный...»?). Стихи про трамвайный кошмар в рижской гостинице вводят в книгу гумилевский мотив. Там, где у Кушнера говорится о ночном плаванье по Оке, соловьи поют, «как в любимых стихах», и надо догадаться, в чьих, в фетовских, в пастернаковских ли, — но пароход, во всяком случае, называется «Композитор Скрябин». Стихотворение, начинающееся строками «Он снимает здесь дачу, знакомы / Мы недавно. Приятный старик...», могло бы нашему формально-филологическому рассудку показаться вариацией на тему позднего Заболоцкого («В Переделкине дача стояла, / В даче жил старичок-генерал...»), но нет, это ошибка: величавый анапестический напев, соединенный с газетным словарем, — «Тихий, смиренный, не мечущий грома / В демократов, заведших в тупик / Нашу бедную, но дорогую, / Что недавно великой была. / Он заводит беседу другую, / Про житейские больше дела...» — уверенно выводит нас к Некрасовскому истоку.

Предпринятый некогда Блоком опыт приурочения прозы продолжился в стихотворении «По одному поводу», сделанном так, как если бы одну из своих «вольных мыслей» автор сосредоточил не на теме, скажем, смерти, а на теме писательского пьянства в США и сам бы при этом прилично принял: белый ямб, в основе пятистопный, сбивается с ноги, рифма то выскакивает, то исчезает, «чужим словом» проскальзывает вдруг Ахматова — беглой и чуть измененной строчкой из, понятно, «Северных элегий»: «И женщины прозрачными глазами...»; сюжетный же процесс себе идет, и к концу все успешней — в памяти автора оживает Вен. Ерофеев, они пьют уже вместе, под регулярную рифму, очень ритмично и содержательно: «...и Розанов, конечно, мракобес, / превозносился нами до небес / в его невероятной обработке».

Автор «Опавших листьев» когда-то призадумался: «Звезды жалеют ли?..» Настала долгая пауза, затем, у Вен. Ерофеева в его сочинении «Василий Розанов глазами эксцентрика», последовало: «Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: „Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?“ — „Благосклонны“, — ответили созвездия». Из этих и множества других цитат соткан мерцающий фон стихотворения «Дослушайте!».

Существуют известные читателям оговорки — «пропусти» вместо «прости», «виноват» вместо «виват» — симптомы сильного душевного волнения. Вот так примерно звучит у Кушнера и это название — пародийно, но серьезно, остроумно, но не комично, не призывом, а обращенной к звездам просьбой, мольбой (о жалости и милости). Тут почти все как в оригинале — поэт, звезды, слезы. Бога, правда, нет, и врываться не к кому, — может быть, поэтому взятый напрокат у прототипа акцентный стих тут не напорист, как там, а срывающийся какой-то, расхристанный: «Бывает так, что сердцу в тягость солнце, / и пусть бы не вставало вообще! /

Я знаю, звезды, нет таких, кому легко живется. / Одна — в пальто, / другая — в синем, кажется, плаще...» Та, что в плаще, узнается моментально, а ее подруга — не эта ли: «Одна в пальто осеннем, / Без шляпы, без калош...»? Тем более, что дело происходит в небесном театральном зале, а пастернаковские «Звезды летом» как раз и «движутся, как в театре». Героини первого ряда здесь — из Пастернака, Блока, Маяковского, имеются и другие, на следующем плане: из Анненского — та, единственная, с которой «не надо света», — и, конечно, из Лермонтова, поскольку у Кушнера тоже «звезда с звездой говорит» (мы наконец-то узнаём, о чем же так они перешептываются: « — Ну как тебе сегодняшняя драма? Могла бы ты вдруг полюбить его? / — Не знаю. Про катарсис что-то мне рассказывала мама. / Ты что-нибудь почувствовала? Я — так ничего!»).

Анненский, Блок, Гумилев, Ахматова, Пастернак, Цветаева, Маяковский... — где же Мандельштам? И он тоже здесь, «в павильоне у моря...», хотя разглядеть его непросто, поскольку там «...был свет погашен». А еще потому, что строфика, ритм, интонация — все не его, другое. Но помогает антураж: берег, игорное заведение — узнается сонет «Казино». У Мандельштама он заканчивается словами «Люблю следить за чайкою крылатой!», у Кушнера последнее слово — «крылатость». Это о стихотворной речи и ее огромной подъемной силе, о речи, работающей с реальными тяжестями, а не с картонными гириями и не с метафизическими сомнительными безднами: «Символисты испортили эти вещи / Беспредметным стенаньем по трафарету...»

Другая тень скользнула по павильону, по опрокинутым стульям: « — Проигрался? — спросил его тихий голос. / Казино золотыми, как сноп, лучами / За спиной полыхало, звезда кололась. / — В переносном значенье? — Пожал плечами. / — Знаю, ты не игрок. Но перила, сходни, / Берег, лестницы — все здесь ведет к обрыву... / — Лучше я тебя, голос, спрошу сегодня: / Смерть сулит нам какую-нибудь поживу? — / И смутился, услышав: — Еще какую...» Вспоминается «Темза в Челси» (автор которой, как мы помним, некогда «жил у моря, играл в рулетку») — там некий голос тоже подступал с решительными вопросами: «„Ты боишься смерти?“ — „Нет, это та же тьма; / но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула“...» Достаточно достоверную идентификацию позволяет произвести стихотворение «Кустарника» про мобильный телефон: «Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон, / Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, — / Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он, / Что был, не правда ли, горячий голос брата. / По музе, городу, пускай не по судьбам, / Зато по времени, по отношению к слову...»

Бродский для автора — ближайший из тех самых «братьев горячих», с которыми идет напряженный разговор в стихах, обращенных к «романтической ветке». Ближайший «по времени», что же касается «отношения к слову», то с этим (если отвлечься от таких общих вещей, как забота о выразительности, точность, ответственность) дело обстоит, конечно, сложнее: неизменно оценивая присущую Бродскому «поэтическую мощь в сочетании с дивной изощренностью, замечательной виртуозностью», Кушнер часто подчеркивает и момент их в буквальном смысле «разноречия». Причем оспаривая, например, стилистические принципы Бродского, предопределяющие состав его поэтического словаря, где находят место «вульгаризмы, грубость, соседство высокого и низкого, чересполосица белого и черного», Кушнер тут же говорит и о несовпадениях фундаментальных — мировоззренческих, ценностных<sup>1</sup>. Близость поэтов «по музе», «по городу», «по времени» не только не исключала отношений полемических, но даже — в силу «тесноты» лирической территории, где оба действовали как фигуры вполне самостоятельные, — предопределяла их неизбежность. Со смертью Бродского живой диалог прервался, но все-таки он продолжается. Иногда реплика оппонента угадывается в подтексте стихотворения Кушнера — так, в «Дослушайте!» не только Маяковский, Розанов и другие, но и одно из «Примечаний папоротника» должно быть, кажется, учтено: «По силе презренья догадываешься: новые времена. / По сверканью звезды — что

<sup>1</sup> И. Роднянская видит в этой коллизии черту типологическую: «На почве романтизма Кушнер размежевался с Бродским вполне принципиально — как Пастернак с Маяковским» (см.: Роднянская Ирина. И Кушнер стал нам скучен. — «Новый мир», 1999, № 10).



жалость отменена...» Порой Бродский оказывается в фокусе лирического сюжета — как в стихотворении «Война была закончена. В поместья...». Там мальчики эпохи войны с Наполеоном, Александр, Евгений, Федор, вырастают в поэтов под звуки французских, как сказано в пушкинской «Метели», «завоеванных песен», а мальчики 1946-го — напевая мелодии американские и «трофейные», в том числе и «Лили Марлен», которую Бродский потом даже перевел.

И еще две вещи назовем, обе о смерти, вернее, о посмертном бытии (небытии?). Сюжет одной, написанной в развитие державинской «грифельной оды», — это плавание по «реке времен» (замечательно придумано, что вверх по течению — в прошлое!): «Ты увидишь, как царства, короны плывут, венки, / Огибая воронки, цепляясь за топляки...» — об адресате напоминает тут уже самый ритм, излюбленный Бродским пятистопный анапестический дольник, но главное — то, что видно в пути. Сперва «топляки», которые, должно быть, целенаправленно приплыли сюда из стихотворения Бродского «Загадка ангелу» («...и воткнутый в крыльцо топор / один следит за топляками»), затем — возможность встречи с Сарданалом (у Бродского — «Небольшой особняк на проспекте Сарданала...»), затем «...смешки и ругательства солдатни, / Как своих полководцев чествят почем зря они...» — это уже отсылка к стихам «На смерть Жукова», варьирующим державинского «Снигиря» и возвращающим нас, таким образом, к пииту, с которого путешествие началось и который поджидает плователя в конце стихотворения: «А Гавриле Романовичу под шумок шелни, / Что мы любим его, из судьбы извлекая общей».

В другом загробном сюжете, «Можно ли мертвых любить, — так они далеки...», самым верным ключом к атрибуции оказывается последняя строфа: «Так беззастенчиво, так откровенно, при всех / Спать! Никогда его спящим не видел, мне жутко. / Чем не фантазия этот скворечник, орех, / Этот челнок, плоскодонка, дупло это, будка?» — описание, вполне совпадающее с тем, какое дано у Кушнера в эссе «Здесь, на земле», где речь идет и о прощании с Бродским: «Он лежал в американском, обтекаемом, дорогого дерева гробу, открытый до пояса, выступая из него, как из дупла. Я не всматривался в мертвое лицо: ведь я никогда не видел его спящим». В связи с чем и «бронтозавр» первой строфы, с которым срифмован «лавр», воспринимается как близкий родственник «динозавра» из стихотворения Бродского «Конец прекрасной эпохи», рифмующегося с тем же растением. И затем, в центральной строфе стихотворения, где дана фантазия на тему парадоксальной посмертной перемены прижизненных ролей — «Марья Ивановна, может быть, стала звездой? / Байрон, с его сумасбродством, пошел в почтальоны, / Жизнью пленившись совсем незаметной, простой? / Сумка, фуражка, да стая дроздов, да вороны...», — имя «Байрон» легко прочитывается как субститут иного, которое, будучи подставлено в строку, вызывает эффект каламбурный: «Бродский, с его сумасбродством, пошел в почтальоны» (с Байроном — по романтическому типу поведения — Бродский сравнивался Кушнером многократно). Но дело не в отдельном эффекте — игра богаче, и покойный оценил бы ее наверняка: определив героя именно в почтальоны, автор, кажется, напоминает ему про его стихотворение «Письмо в оазис», вызвавшее между получателем и отправителем серьезное выяснение отношений (поэтому и возникает «сумасбродство»), — см. воспоминания Кушнера «Здесь, на земле», названные по первой строке «Разговора с небожителем», вспомнив текст которого — «В Ковчег пленец, / не возвратившись, докажет то, что / вся вера есть не более чем почта / в один конец» — мы обнаруживаем и еще один возможный смысловой аспект «почтовой» шутки из «Кустарника».

В одном из стихотворений «Кустарника», построенном анафорически, с повторяющимся союзом «потому что» (ср.: «Потому что искусство поэзии требует слов...»), есть ироничная фраза: «Потому что всего интереснее комментарий / К комментарию и примечания...», — сочувственно ссылающаяся, очевидно, на язвительную запись Чехова: «Не Шекспир главное, а примечания к нему».

Но куда ж нам без них? Декларированный многими строками «Кустарника» отказ от виртуозности в пользу искренней простоты не следует понимать слишком прямо — Кушнер вовсе не соблазнился вдруг каким-то «песенно-есенинным» идеалом. Реальное соотношение вещей он сам объяснил в одном интервью, сказав,

что в поэтической речи происходит «постоянное наращивание структурности, сложности» и что «чем сложнее эта речь, тем она легче, тем больше она похожа на устную, разговорную, — никаких видимых усилий».

Сложность не противостоит интимной естественности речи — тут мы опять сошлемся на Розанова. Вернее, на статью Мандельштама «О природе слова», где он, характеризуя розановскую писательскую позицию, различил понятия «литературы» и «филологии»: «Литература — это лекция, улица; филология — университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках... Вот почему тяготение Розанова к домашности, столь мощно определившее весь уклад его литературной деятельности, я вывожу из филологической природы его души».

Богатство семантики «Кустарника» и его тайный жар ждут от читателя внимания чрезвычайного — только это позволит различить невидимые кавычки, расслышать подводный ход скрытой цитаты, распознать увлекательную многослойность интонации. Напрасным такой труд не будет. Есть, кстати, в книге стихотворение и о филологическом семинаре — «Английским студентам уроки / Давал я за круглым столом...», оно весело бежит в ритме лермонтовского «Воздушного корабля» сквозь темы и сюжеты отечественной поэзии и достигает грядущего, отдаленного от настоящего ровно настолько, насколько новая книга Кушнера отстоит от первой: «Английский старик через сорок / Лет, пусть пятьдесят — шестьдесят, / Сквозь ужас предсмертный и морок / Направив бессмысленный взгляд, / Не жизни, — прошепчет по-русски, — / А жаль ему, — скажет, — огня / И в дымке, по-лондонски тусклой, / Быть может, увидит меня».

Леонид ДУБШАН.

С.-Петербург.

\*

## СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Сестры Герцык. Письма. Составление и комментарий Т. Н. Жуковской. СПб., «ИНАПРЕСС»; М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2002, 760 стр.

**О** парадоксах отечественного книгоиздания, точнее, того его сектора, который занимается публикацией наследия «возвращенных» авторов, впору уже писать специальное исследование. Несколько лет назад специалисты и читатели получили тщательно составленную лилльским профессором Л. Алленом книгу «Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников» — при том, что стихи самого Поплавского в сколько-нибудь пристойном виде были изданы много позже. Не так давно томский «Водолей» порадовал нас комментированным изданием «Неизданного и несобранного» Эллиса — серьезного свода «канонического» Эллиса нет до сих пор.

В этом же ряду издательских парадоксов теперь можно назвать и весьма полный корпус писем сестер Аделаиды и Евгении Герцык. Тут, правда, дело не в том, что эпистолярный издается раньше основных сочинений — выпущенные Домом-музеем М. Цветаевой две тоненькие (и заведомо неполные) книжечки «Стихов и прозы» Аделаиды Герцык появились в московских книжных лавках уже около десяти лет назад. Любопытно другое: такого тома писем нет ни у Вяч. Иванова, ни у К. Бальмонта, ни у М. Волошина, ни у многих других, гораздо более сестер Герцык известных писателей той эпохи.

Такое «везение» тех, кого принято числить литераторами второго — третьего ряда, обычно объясняется единственно личным энтузиазмом того или иного исследователя (а также издателя). Случай сестер Герцык не исключение. Практически все последние «герцыковские штудии» (а кроме уже упомянутых «Стихов и

прозы» Аделаиды Герцык нынешним «Письмам» предшествовало первое полное издание «Воспоминаний» Евгении и ряд журнальных публикаций; здесь же можно упомянуть и о проведенной в Судаче в середине 90-х годов конференции «Сестры Герцык и их окружение») — заслуга Татьяны Никитичны Жуковской, сотрудницы Дома-музея Марины Цветаевой и внучки Аделаиды Герцык. Читателям «Нового мира» она известна, в частности, по нескольким публикациям из семейного архива Герцык — Жуковских (см. «Новый мир», 1997, № 6; 1998, № 7; 1999, № 5 — последняя публикация, осуществленная Т. Н. Жуковской совместно с Н. А. Богомоловым, включает и некоторые из писем, вошедших в настоящий том).

Рискнем предположить, что для многих читателей том «Писем» сестер Герцык представляет больший интерес, нежели их художественные произведения и эссеистика. И это вполне оправданно, так как и Аделаида, и Евгения воспринимаются сегодня скорее как фигуры фона, люди своей эпохи, а не самостоятельные творцы. Даже самая, пожалуй, известная (и действительно замечательная) работа Аделаиды Герцык — статья «Из мира детских игр» — на слуху сейчас прежде всего благодаря знаменитому отклику на нее М. Волошина. Жестокая и неизбежно «генералоцентричная» история литературы заставляет нас видеть в сестрах Герцык в первую очередь персонажей из окружения Н. Бердяева, Вяч. Иванова, М. Цветаевой...

Так же, впрочем, воспринимали Аделаиду и Евгению и многие современники. За подтверждением достаточно обратиться к известной рецензии В. Брюсова на «Стихотворения» А. Герцык — заметка эта, написанная в разгар внутрисимволистской полемики 1910 года, использована автором, по сути, только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свое негативное отношение к поэтике и мировосприятию Вяч. Иванова.

Естественно поэтому, что большинством читателей, как профессионалов, так и «интересующихся», этот том будет воспринят как важный набор сведений о жизни многих известных поэтов, мыслителей, философов. Уверен, что в ближайшее время цитаты из писем сестер Герцык станут неизменным атрибутом исследований о Вяч. Иванове, М. Волошине или Л. Шестове. И это вполне закономерно — как источник по истории культуры начала XX века только что изданный эпистолярный свод стоит в одном ряду с постоянно цитируемыми в работах о названных (и многих других) авторах «Воспоминаниями» Евгении Герцык.

Вместе с тем не стоит забывать, что письма сестер Герцык ценны не только тем, что позволяют уточнить фактические моменты — даты, хроникальные подробности, те или иные конкретные детали. Давно замечено, что для характеристики и понимания таких — «романтических», по терминологии В. М. Жирмунского, — эпох, как русский серебряный век, фигуры второго плана, носители отраженного света, приобретают значение, вполне сопоставимое со значением крупнейших творцов и признанных мэтров. В чем-то они оказываются даже важнее — в них меньше личностного искажения и больше беспримесного «духа эпохи». И несколько коротких писем Е. Герцык к М. Сабашниковой — жене М. Волошина и своей сопернице по любви к Вяч. Иванову — характеризуют внутренний мир человека того времени не хуже, чем сборники самых известных поэтов.

Еще один интерес этих писем — в отраженном в них женском типе. Любопытно следить, как преломляются силовые линии блестящей, но имморальной и полной того, что принято называть духовными соблазнами и этическими провокациями, эпохи в сознании женщины, которую М. В. Михайлова в предисловии к книге сравнила с евангельской Марфой. Речь идет, конечно, об Аделаиде Герцык — случай Евгении, на мой взгляд, более прост и, может быть, более органичен. А в письмах Аделаиды нередко ошутима достаточно явственная внутренняя борьба между традиционно женским взглядом и «серебряновечным» восприятием.

Усложненность человеческих отношений вокруг Вячеслава-ивановской «башни» переживает Аделаиду мучительно, но это нисколько не препятствует вере в самого «Вячеслава Великолепного» как в учителя и тайновидца. Беседа с ним в присутствии А. Минцловой приносит А. Герцык сознание, что она «в первый раз принята и признана в мире Духа», и переживается как религиозное действие: «Потом зоркими вопросами они (больше он) стали узнавать мою душу, ступень, на кот <орой> стоит она, сферы, открытые ей. Самыми бедными, неукрашенными словами,

самыми честными отвечала я, заботясь только, чтоб была правда. Как перед судом, как перед Богом».

«Грустная любовь» А. Герцык к Д. Жуковскому не снимает эту раздвоенность, а скорее усиливает ее. Свой брак — сложный, как и все человеческие отношения той эпохи, с разрывом между духовным и физическим, с влечением мужа к сестре жены, — А. Герцык то оценивает непосредственно-эмоционально («Думаю, что он вернется послезавтра, и не радуюсь этому — мне легче без него»), то «переводит» на язык серебряного века («Вечером еще придут к нам Цытовичи: надо соборно обсудить и оправдать наш брак»).

Из такого двойного зрения вырастает и сам тип письма А. Герцык, стоящего на грани между обычным бытовым посланием и характерным, опять-таки, письмом человека серебряного века — литературным, выстроенным и в то же время пульсирующим напряжением духовного поиска. Переходы от прачки и коровы к Риккерту с Шестовым и обратно здесь смотрятся абсолютно естественно. Литературные подробности в соседстве с бытовыми одомашниваются и приобретают соответствующее интимное звучание...

А теперь пришло время влить в бочку меда ложку дегтя. Ценность подобного издания не в последнюю очередь заключается в справочном аппарате, прежде всего в комментарии. Так вот, комментарий к «Письмам» сестер Герцык совершенно очевидно избыточен. Наличие в примечаниях сведений, явно лишние для человека с законченным средним образованием, — общая беда многих изданий последних лет, и проблема эта затрагивалась уже неоднократно. Но обсуждения обсуждениями, а принципы комментирования зачастую остаются прежними. Так, едва ли читатель подобной книги будет обращаться к примечаниям, чтобы узнать годы жизни «русского писателя» Л. Н. Толстого, «великого итальянского поэта» Данте или «великого немецкого поэта» И. В. Гёте. Да и справка вроде следующей: «Александр Александрович Блок (1880 — 1921) — поэт, одна из центральных фигур поэтического Петербурга» — вряд ли окажется ему полезной.

Присутствует в комментарии и довольно значительное количество неточностей и ошибок. Вот лишь некоторые из них: год рождения старшего сына Л. Зиновьевой-Аннибал С. Шварсалона, обозначенный в книге знаком вопроса, — 1887-й; год смерти теософки А. Минцловой, напротив, неизвестен: можно лишь утверждать, что последние достоверные сведения о ней относятся к 1910 году; Г. Чулков в 1907 году отнюдь не выходил из состава редакции «Золотого руна», более того, именно после внутриредакционного кризиса и последующего отказа от сотрудничества с журналом группы литераторов во главе с Андреем Белым и В. Брюсовым он стал одним из ведущих сотрудников издания Н. Рябушинского; «It is true» нельзя перевести с английского как «это грустно», а книга У. Джемса «The will to believe», конечно, в переводе должна называться не «Доверять воле», а «Воля верить» или, учитывая традицию, «Воля к вере», и т. д. В одном месте неверно названа даже упоминавшаяся выше знаменитая статья самой А. Герцык — вместо «Из мира детских игр» напечатано «В мире детских игр».

Впрочем, недостатки есть практически у любого комментария, и при наличии профессионального редактора подобного рода неточности достаточно легко исправляются. Но институт редакторства в последние годы заметно деградировал. Обычно эту проблему затрагивают в разговорах о переводной беллетристике, но научные издания страдают от забвения редакторских традиций в не меньшей степени. Причем это касается как литературной редактуры (достаточно почитать перевод монографии М. Юнггrena «Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера», изданной не так давно петербургским «Академическим проектом»), так и собственно научной.

У рецензируемого издания редактора, судя по всему, не было вовсе. Проставленную на обороте титула, напротив слова «редакторы» фамилию руководителя издательства «ИНАПРЕСС» Н. Кононова следует считать скорее данью приличиям. Отсюда, например, бросающиеся в глаза повторы — одни и те же сведения с небольшими вариациями приводятся в комментариях к разным письмам. Иногда эти вариации довольно забавны. Так, на стр. 394 сообщается: «Сочинения Рёскина в издательстве „Книжное дело“... выходили в 1900 — 1904 годах в переводах

Л. П. Никифорова», а страницу спустя читаем: «Фирма „Книжное дело” издавала „Сочинения” Джона Рёскина в 1900 — 1905 годах».

Не лучше обстоят дела и с корректурой. Если загадочное «русский онимписатель-сатирик» (о М. Салтыкове-Щедрине) еще поддается расшифровке, а «Ессо Ното» без труда трансформируется читателем в «Ессе Ното» (отметим, что количество опечаток в иноязычных словах вообще весьма велико), то информация о вхождении в редакцию «Русского богатства» «И. Ф. Анненского» уже вносит некоторую путаницу (на самом деле речь идет, конечно, о старшем брате поэта Н. Ф. Анненском).

И при всем том упрекать людей, причастных к появлению этого более чем семисотстраничного отлично изданного чуда, язык не поворачивается. Ведь нежелание издателя вкладывать дополнительные средства в книгу, которой явно не грозит стать бестселлером, вполне объяснимо и, быть может, неизбежно...

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.

## КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

### ТРИ ФИЛЬМА О ВОЙНЕ

#### 1

**Г**олливудскую картину «К-19» показали 23 февраля, в День защитника Отечества, на Первом телеканале, в наилучшее время, в назидание россиянам. Эта лента, поставленная режиссером Кэтрин Бигелоу по мотивам реальных событий 1961 года, в американском прокате — провалилась. А может, ее делали для нас? Может, целенаправленная диверсия? Наверяд ли, кажется, старались. Мечтали заработать, но попутно воспеть общечеловеческие ценности, как-то: «героизм», «патриотизм», «самопожертвование».

Итак, первая атомная советская подлодка, К-19. Гордость Вооруженных Сил, ракетоносец, фактор сдерживания потенциального агрессора и одновременно фактор риска. На лодке, дежурившей у американских берегов, случается авария. Необходимо заглушить ядерный реактор, в противном случае неизбежна катастрофа. Советские военные моряки исполняют долг ценой собственной жизни: несколько человек по очереди входят внутрь смертельно зараженного реакторного отсека, монтируют систему охлаждения. Через десять — пятнадцать минут они — трупы. Харкают кровью, блюют собственными внутренностями, кишками.

Между тем на лодке начинается пожар. Реактор по-прежнему барахлит. Новые советские люди входят в реакторный отсек, устраняют, скажем так, неисправность. Сражение за живучесть выиграно. Начинается идеологическая борьба.

Обнаружившие лодку американцы предлагают советским помощь. Наш Командир (Харрисон Форд) от помощи отказывается: «Я ни при каких обстоятельствах не сдам корабль Врагу!» Его коварно арестовывают предатель-замполит (ну, понятно, профессиональные коммунисты *по определению* хуже всех) со своим усатым подручным. Его выручает Старпом (Лиам Ниссон), в целом не согласный с непреклонной политикой Командира, но верный воинскому долгу, присяге, соблюдающий субординацию.

Ожидают помощи своих, советских. Лодка скользит по водной поверхности, моряки тревожно прогуливаются по верхней палубе, кутаются в бушлаты, косятся на американский эсминец, на вертолеты вероятного противника. Прямо с вертолетов американцы ведут фотосъемку. Как же реагируют наши, дикари? Конечно, синхронно сбрасывают штаны и демонстрируют вероятному противнику — *жопы*.

За «жопы» — отдельное спасибо. Не будь этого духоподъемного эпизода, мы бы сомневались в намерениях американских кинематографистов чуть дольше. А

так — все стало на свои места, достаточно быстро прояснилось. Самопожертвование? — Да, но самопожертвование пещерного человека. Дескать, смотрите, простые, совсем простые, *запредельно простые* русские медведи.

Вот что интересно: американские звезды первой величины назначены играть советских морских офицеров, вчерашних стратегических противников. Харрисон Форд, знаменитый «Индиана Джонс» Спилберга, теперь в роли Капитана подлодки Зябликова, Чижикова или как его там?

Думаю, это означает крайнюю степень геополитической слабости России. Ее *запредельное* психофизическое ничтожество. Старший брат — Америка — назначает наших командиров. Кроме шуток! Не важно, что герои экрана. Общенациональный американский статус кинозвезды под кодовым названием «Харрисон Форд» навряд ли ниже статуса Госсекретаря, немногим уступает статусу Президента. Они *уже смеют* играть в своих стратегических противников, Врагов, как в солдатики. Если нужно, заголяют «жопы» наших «героических, но недалеких» матросов. Если нужно, снисходительно одобряют упертый патриотизм Чижикова-Пыжикова. И конечно — ведь это нужно всегда — не ленятся лишний раз разоблачить манихейскую сущность нашего вчерашнего миропорядка, где «добрые» по натуре индивидуумы противостояли «Советской империи зла». Самое омерзительное, но и мобилизирующее одновременно, — именно снисходительная интонация. Интонация многомудрого опекуна, дядьки. Опытный рубака, боец, отец, семьянин, организатор производства, то бишь товарного обмена, патрон Всемирного валютного фонда готов простить приемному постсоветскому внуку инфантильное недомыслие. «Дедушка, я хороший, герой?» — «Геро-ой, гвардеец, боец!»

Был у прежнего, не теперешнего, Гайдара талантливый, уютный рассказ. Мальчик с пальчик ожидает вояку отца. С материнской помощью выстрегивает деревянную сабельку. Мастерит плюшевую лошадку. Шьет игрушечную португею и буденовку. В тот самый момент, когда имитация военных приготовлений недоросля завершена, возвращается батяня-комбат, командует «баста!», командует «мирное сосуществование, дружбу, едва ли не консенсус, едва ли не перестройку». «А где же я проявлю свои лучшие мужские качества?» — согласно апокрифу удивляется паренек. «А вот тебе, сына, киношка».

«Отчего же я, батяня, с голой жопой? Прямо даже обидно». — «Ты — мой нежно любимый сынуля. Станешь перечить, выпорю». Уже забыто то обстоятельство, что противостояли и враждовали. Раз теперь у России нет политики и собственных Врагов, значит, и Врагов, и политику предпишет ей дядька-опекун.

Именно с его подачи картину показали в лучшее вечернее время 23 февраля, в день не самого почитаемого, но все же массового и *символически нагруженного* отечественного праздника.

Вовремя подоспевшая и, как выяснилось, совершенно необходимая рифма: картина питерского некрореалиста Евгения Юфита «Убитые молнией». Камерный экспериментальный фильм, сделанный на деньги западноевропейских фондов, подписанный, однако, российскими продюсерами, среди которых неоднократно воспетый мною Сергей Сельянов.

Внимание, сейчас случится невероятное: Сельянов станет неоднократным антигероем моего тематического обзора. Вот ведь постарался! Что делать, единственный вменяемый организатор производства в стране: к нему особый, гамбургский счет. С остальных, корыстных, но неуклюжих маниаков, — какой же спрос?

Следует заметить, что к основателю некрореализма Юфиту автор новомирского обзора всегда относился хорошо. Чтобы не сказать *отлично*. Юфит — самородок, талант. Его безумные 16-мм самоделки второй половины 80-х — неоспоримая классика. Его короткометражный дебют в профессиональном формате «Рыцари поднебесья», его первый полнометражный шедевр «Папа, умер Дед Мороз» — *навсегда*. Не вдаваясь в особенности, не касаясь специфической поэтики, замечу лишь, что Юфит добился невозможного: визуализировал мертвую позднесоветскую повседневность. Карнавальное брожение, броуновское движение бессмысленных, сексуально озабоченных мужичков из его 16-мм короткометражек, равно как их же угрюмая, животная медлительность в 35-мм картинах, — выразили смутную, бес-

смысленную и беспорядочную эпоху 80 — 90-х самым что ни на есть убедительным, *пластическим* образом.

Тяжелая правда уходящей эпохи и еще более гнусная правда эпохи наступающей дались в нашем кино только Юфиту и Муратовой. Все остальные кинематографисты экранизировали свои *безупречно сытые*, не имеющие отношения к нашей социальной реальности фантазмы — оттягивались.

Когда бы Юфит вовремя остановился или трансформировал свою творческую манеру в соответствии с новыми культурными и, чего греха таить, политическими задачами, стоящими перед страной, я бы, вероятнее всего, поименовал его «камерным гением». Но Юфит не остановился, зато перестал контролировать свою специфическую форму, без остатка вместившую клиническое бессознательное советского обывателя. Точно раковая опухоль, это бессознательное подчинило незаурядную волю кинематографиста и деформировало его фильмическую конструкцию. И в прямом, и в переносном смысле «Убитые молнией» — фильм-катастрофа.

Впрочем, сегодня Юфит не тема, а *рифма*. Выморочное, скучное (чего раньше за Юфитом не водилось, скучали только глянцевого и недоразвитые), претенциозное нелинейное повествование. Омерзительный, стилизованный под «Пионерскую зорьку» девичий голосок рассказывает про своего отца, Командира советской подводной лодки. Про его боевых товарищей. Про изнурительные походы и внезапное исчезновение.

Полуголые, а то и обнаженные, похотливо заглядывающиеся друг на дружку моряки — совсем не то же самое, что озабоченные нелегитимной близостью костюмированные аппаратчики картины «Папа, умер Дед Мороз». Аппаратчики актуализировали внутрисоветский конфликт, военные моряки-подводники включены в иную оппозицию. Аппаратчики обозначают частную государственную опухоль, военные моряки, по сути, обозначают это Государство в общем и целом, сливаются с ним.

Фильм Юфита был готов, был показан раньше, чем американцы явили миру агитку Кэтрин Бигелу «К-19». Тем поразительнее, тем невероятнее совпадения! Юфит, Сельянов и компания отработали политический заказ американского «союзника» до мелочи, до детали. Снятые общим планом «жопы» советских военных моряков словно бы укрупнены, замедленны, извините, подставлены мировой общественности. Типа ладно, чего там, общественность эта по определению доброжелательна.

Страшная ядерная авария на К-19 непредумышленно, но оттого еще более зловеще трагестирована Юфитом. Видение девочки-рассказчицы, иначе фантазм постсоветского коллективного бессознательного, вот он: аварийная ситуация на лодке спровоцирована... неконтролируемым влечением военных моряков к товарищам по кубрику. Командир отворяет люк в соседний отсек — там фирменное юфитовское сплетение тел, хаос, бардак. Герои срывают друг с друга штаны и тельняшки, управление потеряно, катастрофа неизбежна. На необитаемом острове советские военные моряки превращаются в неуправляемых обезьян.

Заявившие об окончании «холодной войны» американцы решились на этот шаг именно потому, что повергли, развалили, уничтожили заведомого Врага, Советское Государство. Картина «К-19» *ни на секунду* не забывает про американские национальные интересы: советским индивидам — светлая память и уважение, но супротивному Государству — непримиримое «нет».

Но картина Евгения Юфита, произведенная в России, на русском языке (пardon, конечно, важно, что не на русские, а на западные деньги!), подписанная вмняемым вроде бы Сельяновым, оставляет впечатление антигосударственной диверсии. Что с того, что ее никто никогда не увидит? Дело же не в персональной ответственности, а в том, какая идеология господствует в головах. Массовое искусство — кино — замечательно точно фиксирует мутации коллективного бессознательного. Вместе с военными моряками, которые по определению противостоят Врагу, вражескому Государству, тем самым маркируя Государство свое, опускается Государственная Идея как таковая.

У Российского Государства нет иного выхода, кроме как встать с колен, определиться с насущными целями и задачами, в том числе с политикой и врагами. Потому что это — жизненная необходимость для *подавляющего большинства* населения страны.

Когда повзрослеем, определимся, можно будет заботиться о мирном сосуществовании, о противостоянии, сдерживании. Но начинать следует вот с этой простейшей идеи, которая должна наконец овладеть массами: образ «своего» солдата необходимо лепить чистыми руками, бережно и ответственно. Унижение своего солдата есть по определению унижение Государства и предательство национальных интересов. С предателями не церемониться: пленку смывать, негативы закапывать.

## 2

Второй фильм о войне, на этот раз не «холодной», а «горячей», сделал балканский режиссер по фамилии Танович. Год назад его «Ничья земля» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший неанглоязычный фильм».

Балканский режиссер закономерно сделал картину о недавней балканской войне. Босния. В переходящем из рук в руки глубоком, эшелонированном окопе повстречались непримиримые враги: два мусульманина и серб. Впрочем, поначалу один мусульманин был мертв. Во всяком случае, в этом были уверены все, включая зрителя. Вот почему коварные сербские минеры без особых проблем уложили труп на мину-попрыгушку. Мина эта безопасна лишь до той поры, пока никто не трогает бездыханное тело. Но стоит тело пошевелить, мина активизируется, уничтожая все живое. Но оказалось, мусульманин скорее жив, нежели мертв. Теперь он, раненный, лежит на mine, боясь пошевелиться, ругается почему зря. Рядом суетятся противники: мусульманин и серб. Совсем недавно они жили в одном государстве, а теперь обвиняют друг друга: «Вы первые!» — «Врешь, гад, вы!» По очереди овладевают оружием, берут друг друга на мушку, угрожают расправой. Но, в сущности, все трое заложники натовских голубых касок, миротворцев.

Генералы, лейтенанты, капралы, все эти пацифисты из НАТО не знают, что делать. Ситуация не поддается. Разминировать мину-попрыгушку невозможно. Ко всему участники конфликта говорят только на сербскохорватском, не понимают ни французоз, ни англичан. Что говорить, дикий, дикий народ!

Прибывают назойливые западные журналисты, и генералы морщатся. Приходится врать, что мина разминирована, а драма предотвращена. На глазах у журналистов гибнут, охотясь друг на друга, непримиримые участники конфликта, туземцы, выведенные за пределы окопа. Таким образом, самым удачливым следует считать того заминированного парня: еще несколько часов, а может быть, дней и ночей жизни ему гарантировано.

Этот опус — срединный вариант. Картина, явно сделанная в расчете на продажу, на фестивальную успех, на сочувствие чувствительного западного зрителя. Картина откровенно коммерческая, но все же не стыдная, не позорная, из популярной серии «жизнь сложна».

В соответствии с общеупотребимым западным стандартом война представлена как некий бессмысленный, до смешного абсурдный случай. Вроде широко известных в России «Случаев» Хармса. Как анекдот. Как комические куплеты с отдельными драматическими обертонами. Участники конфликта ненавидят друг друга скорее как частные лица, склочники-соседи, Иван Никифорович и, хоть убейте, не помню второго.

Но я уже заметил: фильм явно «продажный», заказной, проплаченный. В то же время режиссер Танович, кто бы он ни был в смысле государственной принадлежности, в равной степени сочувствует всем участникам сюжета, включая истеричного, загнанного обстоятельствами в угол натовского генерала. Никого не подставляет, не продает.

По определению, анекдот — это история частных людей. К анекдоту и отношение отдельное, неполитическое. Какая-то сборная натовская солянка, боснийские мусульмане, боснийские сербы, не имеющие оформленной государственности в рамках боснийской территории. Эта, видимо, страшная война не имеет — во всяком случае, пока что — характера смыслообразующего национального мифа. Пока что в фильме Тановича состоялся лишь миф интернациональный, общечеловеческий, пацифистский, абсурдистский, фестивальный, товарно-денежный.



Если я передергиваю и упрощаю, то лишь для того, чтобы обострить проблему, поставленную третьей отчетной картиной про войну — триумфальной «Кукушкой» сценариста и режиссера Александра Рогожкина, продюсера Сергея Сельянова.

## 3

Вот когда я насторожился: в прямом репортаже с Московского кинофестиваля жизнерадостный телеведущий Дмитрий Дибров заметил Сельянову: «...ваш с Балабановым отвратительный второй „Брат“, ваша с Рогожкиным гениальная, долгожданная „Кукушка“». Но долго, до последнего времени, не смотрел, остерегался. Предполагал: какая-то заведомая подлянка, но все оказалось гораздо хуже, чем предполагал.

Вначале позвонил однокурсник: «Знаешь, „Кукушка“ — калька „Ничьей земли“». Ну, это вряд ли. Но сопоставление интересное, полезное, показательное. Вот что действительно совпадает: герои не понимают друг друга, говорят на разных наречиях. Чужие!

Мало ли что! В таком случае следует записать в предшественники Бергмана с гениальным, начала 60-х, «Молчанием», где две героини и мальчик приезжали в какую-то загадочную, в какую-то военизированную (танки, танки, танки на железнодорожных платформах) страну, где никто не говорит на сколько-нибудь понятном героям языке.

Другой общий мотив куда более интересен: и Танович, и Рогожкин превращают войну в анекдот. В случае Рогожкина превращение это неуютно и травматично.

Итак, «Кукушка» — для того, кто не видел. 1944 год, где-то в Карелии. На отдаленном хуторе судьба сводит русского, финна и молодую женщину-саами, хозяйку. Более-менее пожилой русский, офицер младшего командного состава, бежал от злокозненного СМЕРШа. Совсем молодой финн, снайпер-смертник, бежал от эсэсовцев, намертво приковавших его к скале. Женщина-саами четыре года обходится без мужчины, выращивает оленей. Говорят на разных языках, не понимают ни слова, тем не менее худо-бедно достигают взаимопонимания, даже удовлетворяют друг друга. Судя по интервью Рогожкина, главной «фишкой» для него был именно момент лингвистической несовместимости: «Такого еще не было. Никогда!» Вот и ладно, гордитесь на здоровье.

Двухчасовую, неоднократно премированную в России картину смотрел четыре часа: отматывал обратно, пересматривал, переслушивал, не верил глазам и ушам. Неоднократно и, признаем, талантливо живописавший особенности национальной охоты кинематографист умудрился сотворить самую антирусскую, самую антигосударственную картину нашего времени. Чтобы не наговорить лишнего, буду сравнительно краток.

Начинается вроде за здравие: раненый русский пытается тем не менее заколоть вражеского, преднамеренно одетого немцами в эсэсовскую форму солдата. То и дело употребляет обидные, слегка понятные финну речевые обороты «фриц» или «фашист». Русский — усталый деревенский простак, финн — бодрый, продвинутый студент Стокгольмского университета, интеллектуал. Ничего себе позиционирование, с далеко идущими последствиями. Интересно, почему не наоборот? Разве мало было в Советской России университетов? Разве не хватало на фронтах 1944-го бодрых, агрессивных, только что призванных юных лейтенантов, самцов?! Вопросы отнюдь не праздные, смыслообразующие вопросы.

Наш — усталый и бессильный. Финн — неунывающий оптимистенко, победитель. Наш: «Гадко здесь и мерзко!» Финн: «Здесь красиво!»

Финн: «Лев Толстой, Достоевский, Хемингуэй, Прометей!» Наш: «Да понял я, понял, что вы, фашисты, Ясную Поляну спалили!»

Финн: «Я никогда не разделял взглядов фашистов, я демократ. Де-мо-кра-тия!» Наш долдонит одно и то же: «У-ух, проклятый фашист!»

Дальше — больше. Педалируется никчемность, второсортность русского. Женщина постирала его одежду, так наш унылый дурак фланирует в женских одеждах. Финн добродушно скалится: «Что ты в женской юбке ходишь? Смотреть на тебя смешно». Или: «Ты, как всякий русский, стесняешься, саами этого не понимают. У

них простая и естественная жизнь». Конечно, с некоторых пор зритель и без авторских подсказок догадывается, что наш дурачок олицетворяет «всех и всяких русских».

Наш скорбно смакует собственную мужскую несостоятельность: «Если честно, мне с женщинами никогда не везло. Два раза был женат и оба раза — коряво». Закономерный выбор: женщина-саами уединяется с финном. И что же наш?! Слушает ее жизнерадостные завывания, но так и не решается войти в дом, где ненавистный «фашист» удовлетворяет приглянувшуюся русскому бабу. Более того, с легкостью плюет на свою недавнюю принципиальность: чтобы не замерзнуть, кутается в эсэсовскую форму соперника. Эпизод с эсэсовской формой — спланирован и просчитан. Так вот чего, дескать, стоит хваленая русская воля к победе. Замерзнет — поклонится черту лысому, не пикнет.

Вот он, русский дурак, безропотно уступивший и бабу, и тепло очага, и достоинство. Наутро заискивал перед самкой: «Ты мне сразу понравилась, а предпочла фашиста. Он моложе, но он фашист! Я слышал, как ты стонала под ним. Мне было очень больно. Я хотел вас убить. Ты прости меня за эти мысли». Вот это да! А чего же смирился с ее выбором, не поставил на место, не убил? А потому, что так захотел ловкий, даже ловкий Александр Рогожкин, продающий нас с потрохами.

Попутно замечу, что интеллигентская рефлексия («Мне было очень больно. Ты прости меня за эти мысли») никак не соответствует имиджу простого рабочекрестьянского дурачка. Чтобы обосновать спонтанную тонкость натуры, Рогожкин сочиняет для нашего какую-то безумную легенду, дескать, в юности героя напутствовал Всенародный Поэт: «Видишь, сам Есенин! Я лирику писал про красоту и природу!» Вот это кич! Вот это уровень! Несомненно, уровень этот объединяет Рогожкина с Дибровым и прочими «лидерами» современной отечественной культуры, то бишь тусовки.

Теперь — антивоенная риторика. Все же Танович понимает: анекдот анекдотом, а реальные проблемы лучше всего записать отдельной красной строкой. Живой человек на mine, оставленный благополучными миротворцами на произвол судьбы, — по мне, не слишком хорошо, грубовато. Однако такой саркастичный финал нейтрализует пошлые, безответственные пацифистские заклинания. Этот обреченный человек в переходящем окопе — своего рода кавычки, ограничивающие жанровую условность киноповествования. Дальше, намекает Танович, черная дыра, внехудожественное. «А теперь не смотри!» — по названию одной по-настоящему жуткой жанровой ленты 70-х.

Наш Рогожкин готов разрулить, разрешить все мыслимые проблемы. Война? — *Недоразумение*, и только. На этой точке зрения то и дело настаивает самец-победитель, грамотный финн Вейкко, а как ему, красивому и грамотному, не поверить?

Финн то и дело позиционирует себя в качестве частного лица, независимого индивида, и режиссер явно ему сочувствует. «Среди этой грязи и мерзости очень почетно остаться в живых. Главное — мы живы, ты и я!» Или: «Мне не нужна эта война, к черту ее! Я — человек, как и ты. Я хочу жить, а не воевать!» Или: «Люди будут с ужасом думать, что они делали на войне. Человек — существо странное, привыкающее делать вещи непонятные. Это еще Достоевский говорил». Ах вот что, Достоевский. Давай его в хвост и в гриву, к месту и не к месту: сойдешь за интеллектуала.

Рогожкин явно сочувствует тому, что говорит Вейкко. Судя по всему, *наша война* представляется автору «непонятной вещью». Психологическая позиция Рогожкина очевидна: дистанцироваться от Государства и его экзистенциальной задачи, Войны, в качестве эмансипированного индивида. Нет сомнений, картина призвана обосновать и зафиксировать поражение Советского Союза в так называемой «холодной войне». Для этого режиссер ненавязчиво *охлаждает* «горячую», Великую Отечественную. Хитроумно отделяет Солдата от Государства, которое только и обеспечивает Солдата и его кровавую работу — *смыслом*. «Да и устал я воевать, устал, — постанывает русский, — душа пустой стала от войны!» Между тем на дворе 1944-й, недалеко до Победы.

Высшей ценностью картина объявляет домашний уют. Беда в том, что делает ся этот пируэт на территории смыслообразующего национального мифа, Великой

Отечественной! То, что было уместно в «Особенностях охоты и рыбалки», неприемлемо здесь. Главной мужской функцией объявляется функция самца, оплодотворителя и удовлетворителя капризной бабы. Статус Солдата понижается донельзя.

Фальшива антропология Рогожкина. Нам заявлено следующее: крестьянская женщина-саами четыре года живет на хуторе без мужчины. Между тем эта «одинокая крестьянка» стреляет глазами, вращает зрачками, точно многоопытная городская шлюха! Или режиссер полагает, что биологические инстинкты, точно трава, прорастают социальными привычками?! Навряд ли. Таким улыбка и привычкам *обучаются* в человеческом обществе. В одиночестве — от них отучаются.

Эта «Кукушка» отвратительна с первого кадра до последнего. Русский солдат, извините, срет (ну куда же без голой жопы!), женщина и соперник глядят да посмеиваются: «Дикий ты человек!»

Наконец она снисходительно решила подарить нашему кусочек себя. Потому что финн лежит в бесчувствии, ранен. «У тебя глаза добрые, иди ко мне под одеялку!» — поясняет саами. Пожалела, сердешная! Снизошла.

Наконец, главное: *у русского нет имени*. Русского солдата в фильме зовут «Пшолты». То есть он же грубый, мурло, бранил финна последними словами: «Да пошел ты...» Вот и прижилось. Финна, знатока Достоевского и Толстого, зовут Вейкко. Женщину, язычницу и колдунью, зовут Анни, или «Кукушка». Русского — «Пшолты»!

В финале наш дурачок уточняет: «Вообще-то меня зовут Иван». — «Будет тебе, всех русских зовут „Иван“. Ты — Пшолты», — ставит его на место европеец.

Последний, вполне закономерный удар — финальные титры: «Вейкко», «Анни», «*Пшолты*». Все встало на места! Титры — авторская точка зрения, объективная информация. Рогожкин не постеснялся, слился в чувственном экстазе с эмансипированным финном и блядовитой саами. «Пшолты» — это, например, я, Манцов.

Ладно, запомним.

---

## CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

### ЗАМЕТКА О ЧАРЛИ КРИСЧЕНЕ В ЖАНРЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО СМЫСЛА

Charlie Christian, «The Genius of the Electric Guitar», 4CD set, Columbia, 2002

**Ч**итать джазовую энциклопедию — занятие не для слабонервных. Джаз — явно не тот тип творческой деятельности, который следует выбирать, имея в виду долгую, здоровую и благостную жизнь. Думаю, если бы кому-нибудь пришло в голову учитывать джазовое музицирование в соответствующей статистике, профессия джазмена попала бы в десятку самых опасных. Наиболее популярны здесь три вида скончевать свой жизненный путь и музыкальную карьеру: наркотики и пьянство, автомобильные катастрофы, а если уж болезни — то такие, чтобы выжало, выело и унизило до конца.

По крайней мере так было, покуда джаз был настоящий.

Американский кинорежиссер Майк Фиггинс, известный главным образом по драматическому фильму «Покидая Лас-Вегас», уделяющий большое внимание звуку и музыке в своих лентах (для некоторых он даже самостоятельно сочинял звуковую дорожку), а в прошлом джазовый музыкант, сказал однажды:

«От раннего джаза веет счастьем, в основном мелодии тогда писались в мажоре. Но история джаза — это история пристрастия к героину. Чарли Паркер говорил, что, с его точки зрения, героин очень подходит для джаза. Все последователи Чарли Паркера, принимавшие героин, пришли к крайне интровертированному стилю, к грустным, минорным мелодиям вроде „Глаз ангела“. Их тематику можно

определить так: „Эй, вы, я наркоман, принимаю героин, мне нравится все мрачное, и я скоро умру”. На что Луи Армстронг отвечает: „Бред, я выкуриваю одну обыкновенную сигаретку в день, я счастлив, я улыбаюсь. Но на самом деле я не улыбаюсь, и я величайший музыкант на свете”».

(Тут я не могу удержаться и не привести, без явной связи, еще одну цитату по поводу джаза — из всех высказываний на джазовую тему эти два нравятся мне более всего. Эксцентричный французский композитор начала двадцатого века Эрик Сати: «Джаз рассказывает нам о своих горестях. А всем на это наплевать. Вот этим-то он и хорош».)

Довольно резкое мнение американского киношника, как ни крути, а попало в точку. И к нему следует прислушаться именно в силу его отличия от расхожих суждений по поводу джаза и героина в собственно джазовой литературе. Ибо там авторы намеренно или бессознательно стараются припрятать, прикрыть темные стороны музыки, которую любят и пропагандируют.

Линия раздела между двумя джазовыми эпохами, которая тут определена, — не открытие. Переломным моментом считается середина сороковых годов, создание джазового стиля, который никто и никогда иначе как «революционным» не называет, — стиля под абстрактным названием «би-боп» или просто «боп», со всеми его легендарными историями и фигурами, среди коих главная, конечно, Чарли Паркер. Стандартный взгляд на вещи приблизительно таков: до би-бопа джаз — развлекательная музыка, главным образом для танцев, хотя и являет ряд гениальных открытий, сочинений, исполнений, которые уже на «высоких» правах достойны быть помещены в мировую музыкальную сокровищницу. Начиная с бопа, джаз в наиболее глубоких своих проявлениях порывает с развлекательностью, под Чарли Паркера уже не особо потанцуешь, и понимает себя как отдельное искусство, со своими собственными законами и логикой развития.

Есть еще разделительная черта — не столь очевидная, скорее всего ее следует провести где-то в конце семидесятых, когда весь джаз быстренько опрокидывается в синтетическую музыку «джаз-рок» или «фьюжн» (от английского «сплав»). Повальное увлечение джаз-роком продержалось всего лет семь-восемь, уже к концу семидесятых более традиционный, акустический джаз снова вступает в свои права — однако это уже не тот джаз, который был покинут в прошлом десятилетии. И по сравнению с тем джазом, а уж тем более по сравнению с ранним, наивно-цельным джазом, новый, современный джаз — только форма джаза. Живой нерв, право на музыкальное выражение действительности властно перехвачены рок-музыкой. Отныне джаз либо цепляется за форму, либо ищет себе «подпорок» вовне — сегодня, как правило, в этнической музыке, — спешит отдалиться в инобытие.

Но ведь и от мрачной участи своих предшественников нынешние джазмены избавлены. Современный джаз производит впечатление музыки совершенного душевного здоровья и благополучия — странно, что джазовые пластинки не додумались еще продавать в «лавках жизни». Один мой приятель, сын которого лет в двенадцать выразил желание учиться играть на саксофоне, очень волновался: насколько это опасное увлечение? Я успокоил его с чистым сердцем: типичный американский джазовый музыкант сегодня не то что к наркотикам не притрагивается, чаще всего он воздерживается и от табака с алкоголем. Это исполнитель-интеллектуал, белая кость, потенциальный профессор высшего учебного заведения (тут, правда, надобно быть негром, поскольку миф о том, что джаз — прежде всего «черная» музыка, необычайно живуч). Ему не знакомы ни страшные урны Чарли Паркера (метафора из кортасаровского «Преследователя»), ни тяжелейшие депрессии Майлса Дэвиса, не позволявшие великому трубачу по три года притрагиваться к трубе (пройдя через такую, выбравшись, Дэвис никогда уже не мог заставить себя вернуться на концерте к публике лицом). Отдавая на словах великий почет трагическим гигантам прошлого, на деле нынешний джазмен в духе психолога из реабилитационного центра пытается развести музыку и трагедию, отделить мух от котлет. Вот я, чистенький, умный, спортивный, я играю здорово, может, и не Чарли Паркер — ну так другой, еще неведомый, я живое доказательство, что для того, чтобы заниматься джазом, отнюдь не обязательно погибать в мучениях, что наркотики, урны, депрессии — всего лишь признак слабости, заблуждение, неправ-

вильный взгляд на мир, и если почувствую нехватку энергии — обращусь не к героину, а к проверенным латиноамериканским ритмам...

Вот оно, ключевое слово, — «проверенным».

Стоп, стоп... Я уже договорился. Как будто признаю наркотики средством, помогающим музыканту поймать в прицел неведомую заранее цель. Боже упаси. Я просто отмечаю, что в джазе, избавившемся от специфического внутреннего надлома, начисто исчезло само усилие такого рода — и вряд ли оно когда-нибудь сюда вернется.

А что же ранний джаз, достаточно безмятежный в сравнении с будущими бурями? Весь этот роскошный, богатый танцевальный свинг тридцатых, с чудесными аранжировками, с великолепным чистым звуком солистов: здесь-то надлома захочешь — не сыщешь. Вот именно за это я добоповый джаз и люблю. Ибо усилие стать больше себя, не мотивированное прагматическими соображениями, чистое трансцендирование достигало в ранней джазовой музыке такой напряженности, до какой джаз, пожалуй, никогда уже больше не поднимался. И вместе с тем было оно настолько естественно, что с отдаления в полвека уже мало кем воспринималось — адепты джаза развращены истеричной «подачей», своего рода театрализацией такого усилия (еще, впрочем, подлинного в основе) в сороковые и позже.

Джазовая музыка живет легендами. А главная джазовая легенда — о возникновении стиля би-боп. О том, как группа молодых музыкантов в нью-йоркском клубе «Минтонс» вдруг начала в узком кругу исполнять что-то такое совершенно неведомое, подобного чему никто и никогда раньше не слышал. Но стиль все не обретал своей окончательной формы, пока к этим новаторам не присоединился саксофонист Чарли Паркер, в голове у которого играл некий его собственный джаз, — разумеется, этой музыки тоже никто не понимал, да и сам Паркер, мыкая горе и ведя бомжеватую жизнь по старым гаражам, не сразу доискался, как ее вообще можно воплотить, привести к реальному звуку. С приходом Паркера революционный би-боп получает как будто недостававшее ему прежде живое сердце — страстное, неровное. И в считанные месяцы буквально завоевывает джазовый мир, коренным образом преобразуя его.

Исторически, видимо, все почти так и было. Изложение портит только обилие придыханий и восклицательных знаков. Демонстративный, куда более экстравертивный, нежели даже прежний развлекательный джаз, би-боп яростно отпихивается от любого соседства с какой-либо прежней манерой исполнения, практически замыкается в себе (пресловутые сверхбыстрые по тем временам темпы боперов нужны были лишь затем, чтобы не позволять музыкантам не их круга даже на джем-сейшн выйти на сцену и поимпровизировать с ними). Спору нет, звучали боперы очень свежо и не похоже на то, что было раньше. Но объявить би-боп явлением совершенно новаторским по всем параметрам потому и стремились так рьяно, что на самом деле принадлежность именно боперам многих как будто неотъемлемо их концептуальных находок при спокойном взгляде можно без труда оспорить. Скажем, знаменитый, и тоже вошедший в легенду, открытый Чарли Паркером способ построения импровизационных линий путем разворачивания «в горизонталь» интервалов аккордов темы — способ, который, по собственному признанию Паркера, явился ему как озарение, после долгих и мучительных поисков; на самом деле подобная метода давным-давно уже тогда не представляла собой ничего нового: то же самое делало множество импровизаторов во второй половине тридцатых, в расцвете эры свинга, и самым крупным из музыкантов, разрабатывавших эту манеру, был великий тенор-саксофонист Коулмен Хокинс, тоже, конечно, пользующийся у джазовых историков уважением, однако лавров харизматического первооткрывателя и потрясателя основ ему не досталось, не в последнюю очередь потому, что он не был героиновым наркоманом, не бузил, не уходил со сцены посреди экстаза, не оставлял где ни попадая свой инструмент — словом, не хватало выступленности и видимого надлома. (Разумеется, Паркер не был плагиатором, присваивавшим себе чужие достижения; о том, что и как играет тот же Хокинс, он мог до какого-то момента вообще не знать, ибо формировался как музыкант в достаточно замкнутой среде джаза Канзас-Сити, где ориентировались главным образом на вечно молодой и довольно прямолинейный блюз, многие

модные нью-йоркские вещи были ему попросту неизвестны; но факт остается фактом: концептуально Паркер изобретал велосипед, хотя и весьма оригинальной конструкции.)

Может быть, самые радикальные нововведения боперов, во многом и определившие оригинальность их звучания, были сделаны в области фразировки. Очень приблизительно суть их можно изложить следующим образом. Представим себе нотный стан, на котором нотными знаками записана мелодия — тема импровизации, скажем, какая-нибудь баллада вроде «*Lover Man*». В песне мелодия повторяется на различный текст куплетов несколько раз, то есть композиция будет состоять из ряда повторяющихся фрагментов, содержащих определенное количество тактов, и начало мелодии, кульминация, конец, акценты, «точки дыхания» в каждом таком фрагменте останутся на одних и тех же тактовых позициях. Импровизационная линия, которую построит тем или иным способом на основании данной темы солист, может с «первозданной» песенной мелодией вообще не иметь ничего общего. Но, если мы возьмем какую-нибудь импровизацию добопового периода и также запишем ее на нотном стане, как бы над оригинальной мелодией, мы заметим, что импровизационная линия начинается, кульминирует, «дышит» и т. д. в тех же самых позициях, что и ее прообраз. Традиционному джазмену или музыканту эры свинга даже не то чтобы трудно было отвергнуть это правило — он просто не понял бы, зачем это нужно. А первым человеком, который решил все-таки попробовать по-другому — и попробовал он сразу в полный рост, — был гитарист Чарли Крисчен, чье почти полное собрание записей издала фирма «*Columbia*».

Чарли Крисчен вообще фигура весьма занимательная, поскольку именно он, а не признанные супервеликие вроде Паркера или Диззи Гиллеспи стоит — во всех отношениях — точно на линии раздела двух эпох: добоповой, донадломной, и боповой и постбоповой, уже надломленной, назад не починишь. Крисчен был, конечно, великолепным гитаристом, но вдобавок сфокусированность на нем практически всех силовых линий джазового «поля» тех времен сильно выделяет его даже из ряда лучших тогда музыкантов. Начнем с того, что Крисчен первым из джазовых гитаристов приобрел и освоил гитару с электрическими съемниками звука. И еще неизвестно, кто для кого сделал больше: Крисчен для электрогитары или электрогитара для Крисчена. Новый инструмент сделал Крисчена первым в истории джаза оркестровым соло-гитаристом. Музыкант, играющий на обыкновенной акустической гитаре, даже усиленной микрофоном, мог убедительно солировать в небольшом ансамбле, но и то остальным музыкантам группы приходилось тушеваться во время его соло, чтобы позволить слабому гитарному звуку выйти на первый план. В большом джазовом оркестре — а мало что в мире звучит так же мощно и плотно, как полновесный джазовый биг-бэнд, — при несовершенных еще методах и аппаратуре звукоусиления акустической гитаре ловить было нечего. Электрический же инструмент, звучание которого уже не снималось через микрофон, усиливать можно было практически безгранично — и сольные фразы Крисчена, ритмически и позиционно раскрепощенные новым принципом фразировки, возникающие, пропадаящие в самых неожиданных местах, прихотливо, по-новому контрапунктирующие и с основным ритмом, и со «сдвинутыми» относительно его ритмическими рисунками инструментов, теперь свободно, не теряясь в общей звуковой массе, летели над упругими оркестровыми риффами. Но следует помнить, что купил себе Крисчен один из самых первых экземпляров первой «доведенной до ума» электрической гитары «*Gibson ES-150*» (*ES* — означало «*electric spanish*», то есть «электрическая испанская», шестиструнная; а *150* — цену гитары в долларах, в 1936 году, надо полагать, немалая сумма). Этот вполне еще экспериментальный инструмент продавался только в одном магазине одного города штата Мичиган — города Каламазу, где и располагалась начинающая фирма «*Gibson*», и покупка произошла всего несколько недель спустя после того, как гитара поступила в продажу. О том, была ли встреча музыканта со своим инструментом чистой случайностью, или Крисчен целенаправленно искал что-то подобное, сведений не сохранилось. Так или иначе, со своим невиданным «*Gibson*» уже через год двадцатилетний Крисчен становится одним из самых заметных джазовых исполнителей на Юго-Западе Америки, а в 1939-м его берет в свой свинговый оркестр — самый популяр-

ный свинговый оркестр всех времен и народов — сам Бенни Гудмен, имеющий уже мировую славу. Лучшую рекламу инструменту нового типа и лучший способ продемонстрировать его возможности трудно и придумать — именно Крисчен буквально «вбрасывает» электрогитару в мир современной музыки.

Крисчен умер от туберкулеза, осложненного развеселой жизнью, в двадцать пять лет. Он был очень востребованным музыкантом, в нищете отнюдь не перебивался, вполне мог бы позволить себе систематическое лечение и, вероятно, продлить свое пребывание на белом свете на достаточный еще срок — но предпочел другую стезю. Проживший очень короткую и очень яркую жизнь в джазе, Крисчен становится первым «героем» эпохи надлома — в смысле «сделать бы жизнь с кого» (однако его положение на «разломе» заметно и здесь: в Крисчене совершенно не ощущается мрачной трагичности, какой зачастую не прочь будут щегольнуть музыканты, уже принадлежащие этой эпохе всецело). И в раннем джазе имелись персонажи — причем из самых талантливых, — довольно быстро сгоревшие от алкоголя или наркотиков: скажем, один из величайших трубачей двадцатых годов, да и джаз вообще, Бикс Бейдербек. Но судьба их рассматривалась и другими музыкантами, и публикой как неудавшаяся — потому что система ценностей в музыкальном мире оставалась незатейливой: стремиться нужно не к единичным проявлениям гениальности любой ценой, а к продолжительному, устойчивому успеху, к деньгам, к американской мечте. Начиная же с Крисчена, обозначившего в джазе новое поколение, на такой вариант судьбы смотрят иначе: чуть ли не как на знак отмеченности богами, избранничества. Романтическое представление о неприкаянном, не вписывающемся в окружающий мир художнике, которому только и остается, что быстро выплеснуться и умереть, в других искусствах, разумеется, поселившееся уже давно — со времен Рембо, Модильяни и проч., а то и с Байрона, — наконец добралось и до вечно запаздывающего в культурологическом отношении джаза. Джазовые музыканты нового поколения видят себя не развлекаемыми на потребу, но свободными творцами и радостно принимают миф, согласно которому такому творцу вроде как положено и пренебрежение к буржуазным жизненным ценностям и правилам, и маниакальное стремление гробить себя любыми возможными способами. Джазу потребуется несколько десятилетий, чтобы выбраться — и едва ли не ценою потери себя — из этого губительного мифа. Зато его радостно подхватит рок-культура: на высшую степень крутости рок-н-рольных героев возводит только ранняя смерть. И как ни далеко разведены во времени Чарли Крисчен и Курт Кобейн — наследование здесь по прямой.

Роль Чарли Крисчена в создании би-бопа, перевернувшего джаз в сороковые, переоценить невозможно. Достаточно очевиден вклад в новый стиль каждого из небольшой группки музыкантов, собиравшихся в «Минтонс»: от барабанщика Кенни Кларка — новая манера игры на ударных; от пианиста Телониуса Монка — концепция мелодико-гармонического единства (как раз почти не игравшая в последующем, расцветшем би-бопе существенной роли), но и вообще расширение гармонических представлений; от Крисчена — фразировка; наконец, от трубача Диззи Гиллеспи — темп, энергия, продуманность и эксцентричность. Потом пришел Паркер и, как принято считать, сообщил остававшейся до него чем-то достаточно лабораторным, экспериментальным музыке душу, сразу сделал ее общезначимой, послание ее нужным. Как бы там ни было, в принципе, наиболее важны для звучания бопа, для его отличия от предшествующего джаза, вклады Крисчена и Гиллеспи. Но вот как любопытно получилось. Все прочие отцы основатели нового стиля тоже, конечно, играли в свинговых ансамблях и оркестрах — где им, собственно, было еще играть и набираться опыта? Однако приживались они в этих коллективах плохо, со скандалами, поскольку играть желали по-своему, а никого это не устраивало, и записи их со свинговыми оркестрами немногочисленны, иногда вообще единичны, зато дискография в период расцвета би-бопа порой необозрима. Крисчен же, напротив, в новом стиле вообще ни одной записи сделать не сумел: он умер в сорок втором, а боперы начинают записываться с сорок четвертого. А вот его работ со свинговым оркестром Бенни Гудмена набирается на четыре полных компакт-диска — при том, что так «по-своему», как Крисчен, тогда вообще никто не играл. И вот тут хочется привести еще одну джазовую легенду,

мою любимую. Она особо настоятельно требует задуматься о смысле джазовой музыки и подлинных ее ценностях.

Это история о том, как Крисчен попал в оркестр Бенни Гудмена. Я уже говорил, что во второй половине тридцатых Чарли Крисчен со своей экстравагантной и громкой электрогитарой и нарастающей странностью фразировки делается довольно известным на американском Юго-Западе. Но те края, хотя и важные для джаза как поставщики блюзового «первичного материала», все же и культурно и географически были весьма удалены от джазовых столиц, где имелась развитая развлекательная индустрия и кроилась, с использованием этого материала, модная музыка, рассчитанная на большой успех. Крисчена, однако, заметил джазовый критик и менеджер Джон Хэммонд. И, зная, что Гудмен был бы не прочь ввести в свои малые составы гитару, предложил ему молодого гитариста прослушать. Как пишет, ссылаясь на очевидцев, историк джаза Джеймс Коллиер, Крисчен приехал на прослушивание «в шляпе невероятных размеров, в остроносых желтых ботинках, ярко-зеленой куртке поверх пурпурной сорочки и в довершение всего — эlegantный штрих — в галстуке из бечевки. Серьезный и консервативный Гудмен был до того шокирован попугайской внешностью Крисчена, что не мог слушать его внимательно. Хэммонд и другие музыканты чувствовали, что Гудмен не уделил Крисчену должного внимания. В тот же вечер они тайком провели Крисчена с его инструментом на эстраду, где уже находились музыканты из квартета Гудмена. Когда на сцену вышел сам Гудмен, он был поражен, увидев рядом с собой настырного молодого гитариста. Раздосадованный Гудмен решил не устраивать скандала и велел начинать пьесу „Rose Room”. А дальше — если верить легенде — он так пленился игрой Крисчена, что заставил ансамбль исполнять „Rose Room” в течение 48 минут!.. Прошло всего несколько недель, и Крисчен уже считался корифеем в мире джаза»<sup>1</sup>.

На мой взгляд, здесь происходит довольно загадочная вещь, ее трудно описать в сегодняшних культурных координатах. Причем главный таинственный персонаж в данном случае отнюдь не Крисчен; фигура новатора всегда достаточно ясна — в любом виде искусства до определенного момента разворачивается пружина, заставляющая искать и разрабатывать новые языки, новые способы выражения, это в природе вещей, и новаторы появляются вполне закономерно, а джаз в период становления Крисчена еще очень молод. Другое дело — Бенни Гудмен. Великолепный музыкант, истинный джазмен, весьма творческий человек — но и last but not least весьма удачливый деятель шоу-бизнеса, капиталист от джаза, уже добившийся огромного успеха и, казалось бы, не нуждающийся в каком-либо движении к новому, напротив, ему положено нового чураться, задача — оставаться как можно более узнаваемым, сохранять статус-кво, по крайней мере покуда ты еще в моде и люди готовы платить за тебя такого, какой ты есть. Собственно, непонятно даже, зачем было постоянно поддерживать в своем оркестре Гудмену (да и многим другим бэнд-лидерам) высокий импровизационный «градус» и держать отличных солистов-импровизаторов — это часто выглядит как столь не свойственная вроде бы всему американскому работа для неведомого будущего, для Бога, как проработанные детали одежды на спинах скульптур в нишах готических соборов, детали, которые никто и не увидит никогда. Широкая публика ценила в свинговых оркестрах прежде всего мощный, зажигательный звук да более-менее сладкие голоса певцов, и Гудмен вполне мог без потери популярности пойти по стопам другого известного музыканта той поры — Глена Миллера, чей оркестр здорово звучал, но к подлинному импровизационному джазу не имел вообще никакого касательства. И уж тем более непонятно, зачем Гудмену понадобился Крисчен. Конечно, сразу просятся на язык слова: «для обновления крови», для расширения аудитории — разве плохо взять в ансамбль молодого модерниста? — так и станут делать руководители оркестров очень скоро, в половине сороковых. Но тогда будет уже иная ситуация. В джазе уже «застолбится» место для модернизма, и всякий менеджер или руководитель коллектива теперь будет иметь в голове: модернисты существуют и, может

<sup>1</sup> Коллиер Джеймс Линкольн. Становление джаза. М., «Радуга», 1984, стр. 242.



быть, с каким-то из них, модным в узком кругу, есть смысл и стакнуться, чтобы привлечь к себе новую публику. А во времена Гудмена никакого модернизма в джазе нет и в помине, нет даже в проекте: джаз — это развлекательная музыка, обязанная обеспечивать потребителя песнями, танцами или, на худой конец, — приятными звуками для клубного времяпрепровождения. И все, что в джазе происходит, — происходит так или иначе внутри такого представления. Чарли Крисчен — первый джазовый модернист — взялся буквально из ниоткуда. Но так каким же образом могли что Гудмен, что представивший ему Крисчена Хэммонд вообще разобрать крисченевскую игру, совместить со своими представлениями, почувствовать ее потенциал, понять — вот то, что надо? Собственно, в этом вопросе и сконцентрирована, как мне представляется, сущность настоящего джаза, отсюда разворачивается все, чем джазовая музыка подлинно очаровывает и завораживает...

Джазмена однажды спросили: куда идет джаз? «Если бы я знал, — ответил он, — я был бы уже там».

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*«Топос» как сочетание модной литературной тусовки  
и реальной литературы*

**С**айт интернет-журнала «Топос» (<http://www.topos.ru/>) начал работать сравнительно недавно (в декабре 2001 года), но уже стал одним из самых представительных и по количеству выставленных текстов, и по изначальной установке его редакторов. И еще одно существенное обстоятельство: с самого начала ощущалось, что редакторы журнала ориентируются на отражение последних веяний нашей литературы чуть ли не во всем их разнообразии.

Структура сайта проста и удобна — основные разделы: «Проза», «Поэзия», «Литературная критика», «Онтологические прогулки» и «Без рубрики» (единственная претензия к сайту — отсутствие сводного каталога всего ресурса). На титульной странице вывешивается список новых текстов с краткими анонсами. Задачу свою устроители сайта (Владимир Богомяков, Валерия Шишкина и Петр Белюсов) обозначили как попытку «понять таинственный процесс образования новой русской культуры» (<http://www.topos.ru/about.shtml>). В принципе, это можно считать программой каждого второго литературного сайта, но здесь важно, какие именно явления их редакторы относят к «новой русской культуре».

**Проза «Топоса»:** Слава Сергеев, Владимир Глухов, Александр Железнов, Салават Юзеев, Александр Альпер, Владимир Медведев, Алексей Варламов, Дмитрий Данилов, Михаил Завалов, Дмитрий Бавильский, Валерия Шишкина и другие. Несколько знакомых и множество новых, а значит, манящих имен. Если ориентироваться на регулярность появления, то к середине марта (время составления этого обзора) одним из ведущих авторов прозы «Топоса» оказался Владимир Глухов с текстом «АРТЕФАКТ. Дневники Мини Саксина» ([http://www.topos.ru/articles/0303/02\\_10.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/02_10.shtml)). Вывешено уже четырнадцать частей этого текста, представленного автором как дневник ростовского школьника 1938 — 1939 годов, найденный «в заброшенном доме». Цитата:

«4ое мая четверг. Проснулся в 7 ч. Поел попил чаю. Пошел в школу. В школе контрольная по физике. Пришел домой поел. Ходил к Гульке. Ходил в город за фотобумагой по 60 коп., но ее уже нет. Хотел рисовать, но не нарисовал ни чего. Обедал. Гулял. Учил уроки. Пил чай. Проявлял снимок мамы. Получилось сперва хорошо, а потом я засветил. Ужинал. Писал дневник. Печатал карточки. У меня чирий. Лег спать в 11 часов.

5ое мая пятница. Проснулся в 7 ч. Почитал. Поел попил чаю. Пошел в школу. В школе спрашивали по литературе и русскому поставили „отлично“. Пришел до-

мой поел. Гулял. Снимал Лидушку. Мама примывалась. Раскрасил все рисунки которые были в тетради по рисованию. Обедал. Гулял. Проявлял снимок получился хороший. Печатал карточку. Лег спать в 11 часов».

Предшествующие и последующие дневниковые записи ничем от этих и друг от друга не отличаются. Каких-либо более или менее внятно прописанных картин или образов (в том числе и образа самого автора дневника) здесь нет. Сюжета — тоже. Мы имеем дело с бесконечной вариацией одного и того же мотива: «Проснулся. Поел. Катался на лыжах. Купил марку. Смотрел кино». Перед нами как бы осколок зеркала, отражающий суженный сегментик специфического бытия, — некая вполне обесмысленная ритуализированная форма «дневникового письма», письма самого по себе. Это и не реальный дневник, и не художественное произведение в виде дневника. Это художественный проект. Концепт, эстетическое содержание которого повторяет зады уже сделанного нашими концептуалистами в конце восьмидесятых. У меня, например, единственной ассоциацией, помогавшей читать этот текст, было воспоминание о давней выставке московских концептуалистов, где демонстрировалась стена, заклеенная увеличенными до формата 9 × 12 паспортными фотографиями; при том, что на фотографиях были разные лица, все они чем-то безумно походили друг на друга, являясь, по сути, одним лицом. Наверное, полезное в чем-то переживание, но уже и тогда эстетическая выразительность жеста художника перешибалась этической его двусмысленностью — невольно возникал вопрос, использовал ли художник в этой композиции фото из своего паспорта или из паспорта своего отца. И при чтении «Дневников Мини Саксина» трудно было отделаться от ощущения дежавю.

Другой дневник, другое самовывговаривание помещено рядом: «Записки средне-статистического человека, или Трактат о пустяках» Ф. М. Плюева ([http://www.topos.ru/articles/0303/02\\_09.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/02_09.shtml)). После глуховского этот текст читается легко и с удовольствием — энергично написанная, фрагментарная лирико-философская ироническая стихопроза. Зачин: «Никак я не могу понять: ну что, ну что со мной случилось? Хотел о главном я повествовать, и вот что получилось» — и далее следует перечень примет, из которых состоит для повествователя мир: питье кагора, бесплодно прошедший юбилей Пушкина (не удалось выпить), поездка в такси, намерение бросить пить, любимые песни в собственном переложении и проч. — набор поводов для высказываний хаотичен, но не противоречив внутренне. Лейтмотив: «В одиннадцать часов вечера я вышел из блинной, выпрямив спину, горд и одинок, как идиот. Стоял сентябрь на дворе, мертвые листья тополей... редкие прохожие смотрели криво и косо. Я сплонул и закурил. Меня тошнило, т. е. хотелось слегка взблзнуть (и Сартр здесь, сука, ни при чем)». На самом деле как раз «при чем» — автор пытается изобразить именно «тошноту», его повествователь проходит сквозь текст «гордым и одиноким», преждевременно усталым от жизни, даже как бы надломленным, противостоящим миру и смакующим свою философическую хандру. Раёшный вариант литературной позы Вен. Ерофеева. Чтение забавное, но требующее от читателя держаться заданных первыми фразами условий игры, то есть держать в голове и Сартра, и Ерофеева.

Другая, тоже сугубо литературная, игра предлагается в тексте Славы Сергеева «Тайный агент, или Коронация» ([http://www.topos.ru/articles/0302/02\\_09.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/02_09.shtml)) — пародирование стилистики фандоринских романов Акунина и, шире, культивируемых сегодняшней массовой литературой образов русской истории.

Есть еще энергично написанные, с некоторыми покушеньями на философичность, гротески Александра Железцова, работающего в жанре, который можно было бы обозначить как социально-психологический анекдот, — «Курица — птица», «Курносая», «Криминогенная обстановка», «О равенстве и братстве».

Перечисленные и подобные им тексты (а на «Топосе» такой вот игровой прозы достаточно) не лишены интереса, как правило, читабельны, но все же представляют собой некую форму внутрилитературных упражнений. Все это острые приправы в отсутствие основного блюда — начинаешь тосковать по простодушию прямого литературного жеста, по эстетическому проживанию собственной жизни, а не ее литературных отражений. В принципе, голод этот мог бы быть удовлетворен, скажем, эпико-лирической жизнеописательной прозой Алексея Варламова (<http://>

[www.topos.ru/articles/0303/02\\_11.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/02_11.shtml)), достаточно регулярно публикуемой на «Топосе». Но там свой вариант литературности — постоянное присутствие (в кадре или за кадром) фигуры автора-повествователя с его специфической «варламовско-писательской» рефлексией относительно своего места в мире и литературе.

Мне скажут — не придирайтесь, это Интернет, чтение с экрана, здесь как раз и хороша короткая эстетически или философски приперченная проза. И я бы согласился, если б не мешало ощущение некоторой излишней производственной дисциплинированности авторов, четкой расписанности их по уже существующим «продвинутым литературным дискурсам». А хочется непредсказуемости, художественного риска — не просчитанного, а настоящего.

Разговор об эстетических ориентирах «Топоса» логично было бы продолжить, обратившись к разделам, специально отведенным для литературного самопознания, — критике и философской эссеистике, но я должен сделать здесь некое, возможно конфузное для себя, отступление, посвященное поэзии.

**Поэзия «Топоса»:** Светлана Рычкова, Александр Павлов, Елизавета Ганопольская, Всеволод Емелин, В. Перельман, Владимир Важенин, Мирослав Немиров, Владимир Богомяков и другие.

Сожалею, но дать читателю сколь-нибудь внятное представление о поэзии на «Топосе» я не в состоянии. Похоже, что-то произошло с моими способностями откликаться на поэтическое слово. Я добросовестно открывал на экране подборку за подборкой. Я видел там наличие всего необходимого для стихов: рифмы (или их отсутствие), ритм, интонация, образные выражения, поэтические, так сказать (или специально непоэтические — тоже язык поэзии). Я видел, что авторы «Топоса», несомненно, приемами версификации владеют и т. д. И одновременно я вполне отчетливо ощущал, что лично мне до всего этого дела нет. Не затягивает, не завораживает меня процесс чтения этих стихов, не ощущаю я исходящей от них энергии. Скорее наоборот. Я обнаружил, что как бы намеренным усилием вчитываю в эти строки то, что мог бы чувствовать, будь они для меня живыми. И как только я уставал от этих усилий по реконструкции первоначальной эмоции поэта, так тут же напрочь терял способность даже просто понимать, о чем, собственно, речь. Ощущение, похожее на внезапную слепоту или глухоту. Ну, например:

Ты — вольная пташка, ты — пешка в законе,  
Ты — червь, что гранит разъедает зело.  
Ты нынче впотьмах, а на завтра в притоне,  
Но ты — гениален. Ты — слово в погоне  
За истиной. Мощь высоты. Повезло, —

и т. д. ([http://www.topos.ru/articles/0302/01\\_04.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/01_04.shtml)).

Ничего плохого об этих стихах сказать не хочу. Я не про них, я — про себя. Видимо, я из тех читателей, про которых на «Топосе» сказано, что нет более идиотского и загадочного явления, чем поклонники Фета или Тютчева. Поэтому я ухожу от разговора о поэзии «Топоса». Наверняка там есть хорошие стихи, до которых я так и не добрался, — приношу их авторам свои извинения.

(Правда, уже решив остановиться, я попробовал еще: «В предчувствии дыханье тяжело. / Под сердцем дрожь от близости рожденья. / Во тьме плывет удушьем навяжденья / замерзшее оконное стекло. / И пахнет снегом, и палитра ночи / седым покрылась инеем зимы, / и тихо все...» ([http://www.topos.ru/articles/0302/01\\_03.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/01_03.shtml)). Нет, не отзывается во мне слово нового поэта. Лучше Фета почитаю.)

**Литературная критика и философская (в «Онтологических прогулках») эссеистика на «Топосе»:** Владимир Богомяков, Игорь Касаткин, Маруся Климова, Денис Иоффе, Дмитрий Бавильский, Евгений Майзель, Евгений Из, М. Кошкин, Татьяна Волошина, Лев Пирогов, В. В. Мароши, Василий Фриауф, Е. Е. Ермакова, Надежда Горлова и другие.

По количеству появлений в разделе критики абсолютным лидером является **Маруся Климова**, автор двух книг прозы, переводчица Л. Ф. Селина, Жана Жене, Пьера Гийота и других. На «Топосе» Климова выступает с циклом литературно-

критических эссе «Моя история русской литературы» (выставлено уже не менее тридцати текстов), а также с рецензиями и беседами.

В названии ее эссеистского цикла упор следует делать на местоимении *моя* — главным героем здесь выступает не русская литература, а сама Климова. Автор рассказывает о своих эстетических предпочтениях и о методе, которому она хотела бы следовать как критик (метод, описанный в эссе «Горные вершины» ([http://www.topos.ru/articles/0211/03\\_10.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/03_10.shtml)), где Климова сравнивает себя с инспектором ГИБДД, изучающим след, оставленный автомобилем при аварийном торможении, кажется мне заслуживающим внимания, жаль, что он не реализован ею в самих эссе); передает свои впечатления от сочинений и внешности русских писателей, вспоминает различные истории из собственной жизни, как-то связанные с ее чтением книг (здесь, кстати, попадаются достаточно выразительные сцены и портреты — скажем, мальчик Виталька из Шепетовки, о котором автор вспоминает в связи с «Мелким бесом» Сологуба — [http://www.topos.ru/articles/0212/03\\_01.shtml](http://www.topos.ru/articles/0212/03_01.shtml)). Но говорить о какой-либо выстроенности этих текстов, создающих более или менее системное представление о русской литературе, — трудно. Единственное, что хоть как-то скрепляет целое, — образ повествовательницы. Но тут другая проблема: с одной стороны, перед нами вполне реальная Маруся Климова со своей биографией, своими друзьями и коллегами, поездками в Париж, участием в литературных акциях и проч., а с другой — еще и как бы некий литературно-критический проект. Однако Маруся Климова — не Аделаида Метелкина, хотя можно проделать специальную работу, выбрав из ее текста гротескные ходы мысли, рассчитанные на шокирование «литературного обывателя», всякого рода вкусовые капризности и парадоксальности и с их помощью выстроить сугубо игровой образ (отчасти эту работу сделал Андрей Василевский в «Периодике» настоящего номера). Реально же существующий текст настаивает на определенной близости, если не идентичности автора и его «маски». Перед нами, при всей его игривости и «крутизне», непроизвольно простодушное, пафосное даже выговаривание своих взглядов, вкусов, своей, как кажется автору, дерзости и оригинальности. Пафос заключен в позу противостояния чуть ли не всем установившимся традициям восприятия русской литературы. Единственный прием, которым Климова пользуется последовательно, — это столкновение того, что ей кажется мифом о литературе (конкретном писателе, эстетической традиции и проч.), с единственно доступным для автора образом мира. Скажем, Лев Толстой, сам вид которого — «злобного лохматого старикана с развевающейся бородой» — давит Климовой на психику, «воплощенный тиран, кирпич, такой же, как и его книги»; «Толстой был закомплексованным уродом как в детстве и отрочестве, так и в юности... сразу становится понятно, почему в его романах все положительные герои тоже закомплексованные уроды» ([http://www.topos.ru/articles/0207/03\\_11.shtml](http://www.topos.ru/articles/0207/03_11.shtml)). В истоке ход абсолютно правильный. Другого инструмента, кроме собственного восприятия, для оценки литературы нам не дано. Специальное наращивание «культурного инструментария» — это уже факультативно, это уточнение частностей того, что непосредственно воспринято. Другое дело, что эта позиция подразумевает и некое сомнение в своей способности понимать все, сомнение, присутствующее «по умолчанию» у всех пишущих о литературе. Ноу-хау Климовой — как раз в категорическом неприятии вот этого люфта. Если я не вижу, значит, этого нет. Вот пассаж о Вячеславе Иванове: «Как-то мне даже попала в руки его книга с очень сложным названием, написанная в высшей степени научным языком, что-то про дионисийство... Несколько раз я бралась за эту книгу, но так и не сумела ее осилить. Честно говоря, я ничего в ней не поняла... С тех пор не могу избавиться от ощущения, что Вячеслав Иванов был полным идиотом» ([http://www.topos.ru/articles/0211/03\\_13.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/03_13.shtml)). Нормально. Тот случай, когда не поспоришь: речь не об Иванове, а о Климовой и ее ощущении. С ощущениями не спорят. Нет, игра, конечно (ну, скажем, в Гертуру Стайн), но и не только игра.

Так подробно я останавливаюсь на текстах Климовой не потому, что считаю их такими уж интересными литературно, дело в другом — в симптоматичности выбранной ею позы.

Постоянное оппонирование литературным традициям у критиков «Топоса» производит впечатление прямо-таки болезненного зуда. («Можливо здесь заметить, что все нескончаемые „Новые миры“, „Знамени“, „Звезды“ и прочие „Современные записки“ являют на люди хлебательные изразцовые образцы плевательского ОТСТОЯ столь ядреной и гадостной силы, что никаких читательских терпений не напасешься...» — Денис Иоффе ([http://www.topos.ru/articles/0211/03\\_14.shtml/](http://www.topos.ru/articles/0211/03_14.shtml/)). В этом же ряду радостное (и даже, пожалуй, мстительное) описание нелепого литературно-концертного действия в Нью-Йорке с участием вчерашних героев литературного андерграунда в эссе Татьяны Волошиной «Мы наш, мы новый мир построим» ([http://www.topos.ru/articles/0302/03\\_06.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/03_06.shtml/)). Дались им все эти «Новые миры» или бывшие андерграундники! Чем мешают-то? Отодвигайте отжившее художественными достижениями, а не декларациями.

Пока чуть ли не единственным результатом этих наскоков на классиков и современников стал (укоренившийся не только на «Топосе») некий интеллектуально-блатной жаргончик, на котором наши «молодые» пытаются общаться с предшественниками и пращурами, так сказать, «через губу» («Жил-был чудаковатый паренек, и звали его Платон; он считал политику „царственным искусством“» ([http://www.topos.ru/articles/0210/04\\_14.shtml/](http://www.topos.ru/articles/0210/04_14.shtml/)).

Эти стилистические — а значит, и содержательные — крены могло бы поправить наличие рядом с «Литературной критикой» раздела «Онтологические прогулки». Там, по идее, игровое литературное начало должно бы подчиниться собственно мысли. Все-таки философия — это еще и *ratio*. Однако при первом же знакомстве с этим разделом обнаруживаешь, что гуляют здесь отнюдь не по маршрутам онтологии. Здесь все больше идеология — и отнюдь не только эстетическая. Вот, скажем, эссе Владимира Богомякова «О впадении в болезнь» ([http://www.topos.ru/articles/0212/04\\_02.shtml](http://www.topos.ru/articles/0212/04_02.shtml/)). Автор, что называется, мыслит художественными образами, не настаивая на буквальном их понимании, то есть предоставляя читателю определенную свободу толкования. Образный ряд, надо сказать, сильный: гниющая нижепоясная мужская плоть, операционная, больничная палата; окно, за которым мир, скованный морозом; и вот тут в тексте возникает имя Леонтьева с его мечтами подморозить Россию. В сочетании с упомянутой ранее Чечней как раной на теле России образный ряд больничных экзерсисов Богомякова получает четкую идеологическую сориентированность: болезнь как знак всего, происходящего в России. «Россия была монархическая, потом стала коммунистическая, потом — демократическая и в конце концов стала кибернетическая и пидорастическая...» Текст выполнен не без изящества и лукавства — можно и сладко погугать себя описанным, отозвавшись на жизнерадостное в общем-то звучание стенающего голоса. Да и сочетание суровой аскетичной максимы Леонтьева с лихостью и бесцеремонностью авторского поведения (то бишь ни о какой «подмороженности» для себя лично тут и не помышляют) тоже производит впечатление. ...Пусть и ощущается отработка некоего идеологического ритуала, но образная все-таки, нестесненная мысль, — так думал я об этом эссе, ожидая, когда загрузится следующее за ним. Однако появившийся на экране текст Варюхина В. В. и Вишневого В. Г. «Русский этос и русское распутье» ([http://www.topos.ru/articles/0302/04\\_05.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/04_05.shtml/)) заставил прикусить язык. Если Богомяков — продолжу образный ряд его эссе — выступает в роли писателя, «который боль», то авторы «Русского этоса» выступают в роли хирургов-целителей. Чтение и жутковатое, и комичное одновременно. Комичным выглядит сочетание бесшабашности мысли с импозантностью упаковки. Экипировка, так сказать, фирменная: эпиграф из С. Франка, употребление в качестве терминологии древнегреческих слов «эпистрофе» и «метанойя», плотная уснащенность цитатами из Библии, ссылки на Шпенглера, Флоренского, Хайдеггера, К. Леонтьева, Достоевского, Солженицына и Юрия Андропова..

Ну а теперь о начинке. Суть русского этоса, по убеждению авторов, определяет «крестно-подвижнический, покаянный и бунтующий исторический путь Руси-России. Это путь народа, решившего жить по правде и совести, в мире, который „во зле лежит“, следовательно, это путь праведника, но не идиота, не непротивленца злу, а воина, борца с земным злом силою». Зло — это Запад. Абсолютную человеческую и духовную полноценность способен воплотить только русский. Си-

туация же «распутья» в том, что Россия ныне — под пятой постсоветского «трансмутанта», установленного «ельцино-абрамо-чубайсами». Но это, надеются авторы, ненадолго — из «русского этоса неизбежно следует действительно русский, т. е. православно-соборный, коммунизм», «православный коммунизм должен быть последовательным народоправием и в экономике и в политике. Прообраз этого народоправия являли Советы...». «Православный коммунизм должен уметь защитить себя. Следовательно, он должен создать православно-коммунистическую Империю, ибо меньшее будет смято и раздавлено или с Запада, или с Востока». Ну и так далее. Текст этот не рассчитан на анализ и размышление. Агрессивность формулировок, отсутствие какой-либо философской рефлексии относят этот текст к жанру политического манифеста. Хайдеггера и Флоренского можно было и не тревожить. Однако к интенции и напору я отношусь серьезно. Возможно, кому-то покажется живительным и лестным в очередной раз прочесть, что русские — единственные, кто способен жить не по лжи, но меня как русского оскорбляет гипертрофированный комплекс национальной неполноценности, которым — вряд ли осознанно для самих авторов — рожден этот текст.

Впрочем, тут же я почувствовал как бы даже некую неловкость: зачем всерьез, да еще с таким пафосом наезжать на авторов? Может, и писали все это с истовостью, может, чувствовали себя на многолюдном вече, перед тем как ринуться в свой «последний и решительный», — но общий контекст «Топоса» делает подобные эмоции просто смешными. «Русский этос» окружен вполне игровыми текстами Льва Пирогова, Евгения Иза, Дениса Иоффе и т. д. Не похоже, чтобы такой вот «Этос» был идеологическим манифестом «Топоса». Скорее — просто еще одна из красочек, разложенных редакторами сайта на своей палитре. Нужно ведь добавить что-нибудь будоражащее и престижное — а уж левая-то хлесткая фраза, да еще сопряженная с православием Флоренского и трагизмом Шпенглера, — ну как от такого отказаться?! Тут ведь главное, чтоб градус был.

Надо учитывать сам жанр наблюдаемого на «Топосе» действия. В основе его — обслуживание так называемого «продвинутого читателя» образом самого что ни на есть продвинутого писателя. Нужно выдать этакое вот интеллектуально-забористое, суперное и при этом сразу же узнаваемое. Короче, нужен образ писателя новейшего призыва, образ, так сказать, в чистом виде, не обремененный особой индивидуальностью и всякими там творческими заморочками. На создание этого образа работает и левая крутизна наших православных коммунистов, и раскидистая отвязанность Маруси Климовой, и провокативность литидеолога Пирогова, сюда, хотя бы они этого или нет, вплетается и эстетическая эссеистика **Евгения Иза** ([http://www.topos.ru/articles/0303/03\\_17.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/03_17.shtml)) про «муракамность бытия», и размышления о стратегиях постмодернизма **С. С. Мапоши** ([http://www.topos.ru/articles/0303/04\\_05.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/04_05.shtml)), и исследование феномена веры у **Василия Фриауфа** ([http://www.topos.ru/articles/0303/04\\_03.shtml](http://www.topos.ru/articles/0303/04_03.shtml)) и прочее и тому подобное. Сайт большой. Тут все есть. Это, можно сказать, сайт на вырост. Продекларированная им свобода обеспечивает ему перспективы.

О перспективах — не ради политкорректности. Кроме основных страниц, по которым мы немного прогулялись, есть еще разделы на первый взгляд «факультативные». Скажем, страницы авторского проекта **Дмитрия Бавильского «Библиотека эгоиста»** ([http://www.topos.ru/cgi-bin/my\\_reader.pl?section\\_id=07](http://www.topos.ru/cgi-bin/my_reader.pl?section_id=07)). Я рад, что зашел на них. Авторы Бавильского, в принципе, как бы те же самые, и интонации их, и стилистики вроде похожи. Но вот странно: чтение выставленного на этих страницах затягивает и дизайн «Топоса» уже кажется милым и привлекательным. При том, что читать «Библиотеку эгоиста» я начал со стихов. Но со стихов, например, **Глеба Шульпякова** ([http://www.topos.ru/articles/0210/07\\_07.shtml](http://www.topos.ru/articles/0210/07_07.shtml)), не слишком озабоченного наличием атрибутики продвинутого поэта и несмотря на это (а точнее, благодаря) воспринимающегося поэтом. Повторяться не буду — про Шульпякова я уже писал («WWW-обозрение», 2001, № 2 — [http://magazines.russ.ru/novyj\\_mi/2001/2/www\\_obozr.html](http://magazines.russ.ru/novyj_mi/2001/2/www_obozr.html)).

А вот стихи молодого **Санжара Янышева** ([http://www.topos.ru/articles/0211/07\\_12.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/07_12.shtml)) были открытием. Не скажу, что подборка сплошь из шедевров, но это

сегодняшний язык поэзии, сложность его не от литературной игры в современного поэта, а от сложности и полноты эмоции («Мне нужно выговориться — вот что»).

Или — проза. Скажем, эффектно поданный «берлинский мачо» **Владимир Сергиенко** ([http://www.topos.ru/articles/0212/07\\_13.shtml](http://www.topos.ru/articles/0212/07_13.shtml)), русский эмигрант, пишущий о блатном мире по праву человека, знающего его изнутри. Казалось бы, персонафикация мечты Маруси Климовой, пытающейся мерить русскую литературу Жаном Жене. Но проза Сергиенко сразу же отсекает какие-либо подозрения в литературной позе — там реальный жизненный опыт, давший не только материал, но и особую художественную форму, особую эстетику, исключая знакомые прежде поведенческие и литературные штампы вроде «Записок серого волка».

Здесь же проза молодого казанца **Дениса Осокина** «**Барышни тополя**» ([http://www.topos.ru/articles/0211/07\\_05.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/07_05.shtml)), о его писательской манере мы уже говорили (см. «WWW-обозрение», 2002, № 10 — [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2002/10/kost.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/10/kost.html)).

Очень советовал бы интересующимся посмотреть рассказы **Андрея Башаримова**, в частности «**Рахит**» ([http://www.topos.ru/articles/0211/07\\_02.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/07_02.shtml)) — поток сознания «умственного» инвалида, способного фиксировать только свои психомоторные реакции плюс — страх, боль и агрессию, написанный как бы с минимумом художественных средств (почти с помощью назывных, из одного или двух-трех слов, предложений), но при этой суженности возможностей автор достигает удивительной полноты в изображении героя, его ситуации.

Более традиционным выглядит авантюрно-философское повествование **Владимира Аристова** «**Предсказание очевидца**» ([http://www.topos.ru/articles/0212/07\\_15.shtml](http://www.topos.ru/articles/0212/07_15.shtml)), герой которого обладает удивительным даром проектировать будущее и потому привлекается компетентными государственными органами к сотрудничеству. Мы уже читали подобное у Сергея Носова в «Хозяйке истории», но Аристову удалась увлекательная беллетристика, не раздражающая вторичностью.

Замечательна философская плотность рассказа **Романа Кривушина** «**Смерть Делрада**» ([http://www.topos.ru/articles/0211/07\\_14.shtml](http://www.topos.ru/articles/0211/07_14.shtml)). Неожиданным и свежим кажется сочетание импрессионистичности клочковатого письма с композиционной стройностью в «**Скупщике непрожитого**» **Андрея Лебедева** ([http://www.topos.ru/articles/0212/07\\_10.shtml](http://www.topos.ru/articles/0212/07_10.shtml)) (выставлены две главы из этого романа). Кроме перечисленных здесь новых имен Бавильский привлек к сотрудничеству известных — **Андрея Левкина**, **Сергея Юрьенена**, **Игоря Клеха**, **Владимира Солоуха**. Здесь же, глава за главой, выставляется перевод романа **Пола Остера** «**Левифан**» в переводе **Ирины Кушнаревой** ([http://www.topos.ru/articles/0302/07\\_14.shtml](http://www.topos.ru/articles/0302/07_14.shtml)).

В принципе, сочинения этих авторов не создают уж очень ощутимого контраста с текстами основных страниц «Топоса» — круг один. Но в предложенном «Библиотекой эгоиста» контексте они не просто представляют от лица нового литературного поколения, они становятся собственно литературой. Такое ощущение, как если бы вы попали на модную литературную тусовку, потолкались среди людей, старательно удерживающих на лице и в позитуре выражение своей литературной значительности и избранничества, и, утомившись от усилия соответствовать, вдруг обнаружили дверь, за которой в отдельном помещении укрылась небольшая компания практически таких же людей, но расслабившихся для нормального, то бишь литературного, общения. В данном случае — для литературного. Вот тут становится понятным, для чего дана эстетическая и даже лексическая свобода на «Топосе». Ею пользуется не одна лишь Маруся Климова, но и перечисленные только что авторы. Общий замысел «Топоса» — выбрать из реально существующего в новейшей литературе действительно живое, создав для него необходимый контекст, — осуществился (на мой, разумеется, взгляд) прежде всего на страницах «Библиотеки эгоиста».

Так что поставьте в свое «Избранное» ссылку на «Топос». Стоит того.



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Вуди Аллен.** Шутки Господа. Сборник. Перевод с английского О. Дормана. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2002, 271 стр., 5000 экз.

Собрание коротких рассказов и пьеса, написанная для чтения. Знаменитый кинорежиссер, сценарист и актер в ипостаси, которую считает для себя главной (и как выясняется, не без оснований), — сочинителя рассказов: ироничная, лирическая, горчащая, игровая и при этом (а может, благодаря этому) абсолютно серьезная проза.

**Ромен Гари.** Европа. Роман. Перевод с французского Н. Калягиной, Е. Чебучевой, Е. Березиной. СПб., «Симпозиум», 2003, 496 стр., 5000 экз.

Один из последних романов знаменитого француза — современный вариант античного мифа о похищении Европы.

**Андрей Геласимов.** Год обмана. Роман. М., О.Г.И., 2003, 254 стр., 3000 экз.

Новый роман молодого прозаика, лауреата Малой литературной премии Аполлона Григорьева за 2002 год.

**Регина Дериева.** Придурков всюду хватает. Повести. М., «Текст», 2002, 190 стр., 1000 экз.

Собранная в книгу проза поэтессы, эмигрировавшей в начале 90-х, о которой (прозе) критики, по аналогии с католическими романами Грина или Ивлиана Во, пишут как о русской католической.

**Владимир Каминер.** Russendisko. Рассказы. Авторизованный перевод с немецкого Н. Клименюка, И. Кивель. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 192 стр.

Название книги переводится как «русская дискотека», автор ее, эмигрант «пятой волны» (евреи и этнические немцы, выехавшие из России в начале 90-х), — организатор этой самой реально существующей известной берлинской дискотеки, а также — немецкоязычный радиожурналист и колумнист в газете «Франкфуртер Альгемайне». «Сколько же русских в Германии? Шеф самой большой русскоязычной газеты Берлина утверждает, что нас — три миллиона. Только в Берлине — 140 тысяч. Правда, он никогда не бывает трезв, поэтому его сведениям я не доверяю... в одном старый редактор прав: русские везде. <...> Вчера в трамвае два парня громко разговаривали по-русски, думали — никто не понимает: „Из двухсотмиллиметрового у меня не получится. Вокруг него всегда народ топчется“. — „Так ты возьми пятисотмиллиметровый“. — „Так я с пятисотмиллиметровым никогда не работал“. — „Ладно, пойду завтра к шефу, скажу, чтоб дал инструкцию к пятисотмиллиметровому. Не знаю, как он будет реагировать... Попытка — не пытка“. — „Что правда, то правда“».

**Марина Москвина.** Изголовье из травы. СПб., «Ретро», 2002, 285 стр., 3000 экз.

«Изголовье из травы» — по-японски означает «путешествие». Новая, на этот раз путевая, эссеистская, про Японию, проза Москвиной — акт совместного творчества с известным графиком (и мужем) Леонидом Тишковым, присутствующим в тексте еще и в качестве персонажа. Страноведческая составная повествования влетает в собственно прозаическую — в проживание художником своего, родного в «чужом», в цивилизации, явленной путешественникам как реалиями современной японской жизни (ритм мегаполисов, уровень технологии и урбанизации быта, обилие причудливых музеев — музеи сумок, сейфов, велосипедов, зажигалок, очков и т. д.), так и образами традиционными (буддийские и синтоистские храмы, отнюдь не превратившиеся в музеи; чайные церемонии, бамбуковые сады, гейши и проч.); и все эти реалии, как обнаруживает автор, отнюдь не противостоят друг другу, как прошлое и настоящее, а образуют гармонию. Над загадкой этой гармонии, неистребимости культуры и духа и размышляет прозаик, приглушая (как бы) пафос первооткрывателя своей «фирменной» стилистикой, сочетающей лиризм с самоиронией. Из предисловия к книге Дины Рубиной: «...я <...> пытаюсь понять, в чем кроется секрет ее негасимого удивления перед лицом жизни... Может быть, в том, что, как человек мастеровой, она руками перебирает все материи — шерсть и ткани, тесьму и бисер, пуговицы и глину, из которых возникают потом свитера, куклы, люди, а также слова <...> из которых она мастерит столь осяза-



емые на ощупь свои повести и рассказы. Разнообразие *жизненной матери* — вот что не устает удивлять мастерового человека».

**Александр Тимофеевский.** Опоздавший стрелок. Предисловие Е. Рейна. После-словие Вл. Новикова. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 240 стр., 2000 экз.

Вторая — первой, если не считать тоненького сборника 1992 года, была «Песня скорбных душ» (М., «Книжный сад», 1998) — книга поэта, достигшего художественной зрелости уже в шестидесятые годы, но вынужденного почти четыре десятилетия писать «в стол». «Поэтика Тимофеевского зиждется на канонизации авангардного опыта русского стиха. Это рационализация иррационального, придание ясного смысла конструкциям и приемам изначально бессмысленным» (из послесловия Вл. Новикова). Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

**Ричард Хьюз.** В опасности. Роман. Перевод с английского В. Голышева. М., «Иностранка», «Б.Г.С.-ПРЕСС», 2003, 202 стр., 5000 экз.

Из классики новой английской литературы — «морской роман» Ричарда А. У. Хьюза (1900 — 1976) о судне и людях, противостоящих урагану; микромодель человеческого сообщества, испытываемого бурями XX века.

**Шолом-Алейхем.** Кровавая шутка. Перевод с идиша под редакцией Д. Карельского. М., «Лехаим», 2002, 560 стр., 10 000 экз.

Полный текст одного из последних романов классика. Сюжет принца и нищего, положенный на русско-еврейскую проблематику начала XX века, — завязкой романа становится сцена, в которой празднующие окончание гимназии молодые люди, русский и еврей, решаются на эксперимент — меняются документами: Григорий Попов решается на год стать Гершке Рабиновичем. Впервые на русском языке роман появился в сокращенном изложении Д. Гликмана (1928). Полный перевод был осуществлен для израильского издания в 1977 году (переводчики Гита и Мириам Бахрах). Новое издание романа представляет собой компиляцию двух этих переводов, подвергнутую смысловой и стилистической правке.



**Р. Арон.** Мемуары. 50 лет размышлений о политике. Перевод с французского Г. Абрамова, Л. Ларионовой. М., «Ладомир», 2002, 873 стр.

Французский философ и публицист Раймонд Арон (1905 — 1983) размышляет о содержании событий, определивших историю XX века в Европе.

**Галина Бродская.** Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба. Документы. Письма. Историко-театральный контекст. М., О.Г.И., 2003, 464 стр., 2000 экз.

О реальной судьбе героини цветаевской «Повести о Сонечке», актрисы Второй студии Художественного театра Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894 — 1934).

**Петр Вайль.** Карта Родины. М., Издательство «Независимая газета», 2003, 416 стр., 5000 экз.

Новая книга эссе Вайля-путешественника, на этот раз, в отличие от книги «Гений места», путешествующего по России и некоторым странам бывшего СССР. «Он объехал страну, но при этом не стал ни географом, ни социологом, а остался философом, влюбленным в слова» («Книжное обозрение»).

**Александр Габричевский.** Морфология искусства. Составитель Ф. Стукалова-Погодина. М., «Аграф», 2002, 864 стр., 2000 экз.

Работы разных лет по эстетике теоретика и историка искусства, литературоведа Александра Георгиевича Габричевского (1891 — 1968).

**Чарльз Грант.** Делор. Добро пожаловать в дом, который построил Жак. Перевод с английского Д. Васильева. М., «Московская школа политических исследований», 2002, 472 стр., 2000 экз.

Жизнеописание Жака Делора, одного из главных идеологов и практиков завершающегося на наших глазах процесса объединения Европы; министра экономики в правительстве Франции, возглавившего затем (1985 — 1995) работу Еврокомиссии.

**Дело Сухово-Кобылина.** Составление, подготовка текста В. М. Селезнева и Е. О. Селезневой, вступительная статья и комментарии В. М. Селезнева. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 544 стр., 2000 экз.

Впервые так полно представленные широкому читателю материалы следствия и судебного дела об убийстве московской купчихи, гражданской жены Сухово-Кобылина

Луизы Симон-Деманш. Большинство документов публикуется впервые. Выразительно-му и драматичному повествованию в документах, составившему первую половину книги, предшествует статья В. М. Селезнева «„Факты довольно ярких колеров“: жизнь и судьба А. В. Сухова-Кобылина». Во второй части книги публикуется — также впервые — дневник писателя за 1851 — 1858 годы (следствие по его делу длилось с 1850 по 1857 год). Завершает композицию подборка воспоминаний современников о Сухово-Кобылине — Н. В. Минин, А. Н. Афанасьев, П. Д. Боборыкин, Е. А. Салиас, Л. Н. Толстой, К. Н. Леонтьев и другие. Авторы — составители книги, не беря на себя роль следователей (история смерти Симон-Деманш так и осталась до конца непроясненной), тем не менее исходят из невиновности писателя, а семилетний судебно-тюремный марафон писателя относят к особенностям русского судебного делопроизводства (очень выразительны, в частности, приводимые в материалах книги суммы взяток, запрашивавшихся судебными чиновниками с представителей богатейшего семейства Сухово-Кобылиных). Несмотря на продекларированную названием книги определенную зауженность взгляда на писателя, сама композиция ее — сочетание документов следствия с дневником Сухово-Кобылина, воспоминаниями современников, вступительной статьей и подробнейшими комментариями — позволяет авторам-составителям воссоздать сложный образ одного из лучших русских комедиографов (сторонившегося при этом литературной среды); человека, державшегося всегда подчеркнуто независимо; азартного наездника, покорителя женских сердец, серьезного помещика и заводчика, вдумчивого читателя и переводчика Гегеля (рукописи переводов, итог многолетнего труда, погибли во время пожара в имении); несокрушимого внешне, победительного мужчины и рефлексирующего, усилием воли преодолевающего растерянность перед жизнью человека — каков он в своих дневниковых записях.

**Никита Елисеев.** Предостережение пишушим. Эссе. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 336 стр., 2000 экз.

Одна из первых книг новой серии издательства «Лимбус-Пресс» «Инстанция вкуса», предназначенной для издания книг современных литературных критиков, — представление творчества одного из ведущих современных критиков Петербурга, способных сделать чтение литературно-критических текстов процессом не менее увлекательным, нежели чтение фабульной прозы. Елисеев владеет искусством строить напряженный сюжет литературоведческого (или критического) эссе, каковым всегда выступает собственно мысль и где нет ничего общего с приемами литературного «оживляжа». Неожиданность подхода, внешняя простота исходных мыслей и наблюдений, образующих при дальнейшем развитии сложную и емкую конструкцию, заставляют читателя как бы заново увидеть знакомый текст — это когда речь идет о классике (Гоголь, Достоевский, Набоков, Бунин, Олеша и другие). В обращении же к новейшей литературе (Маканин, Владимов, Кононов, Бутов, Веллер, Сегень, Буйда, Фанайлова, Виктор Ерофеев, Павлов и другие) Елисеев независим, непредсказуем — и всегда логичен. Эмоциональный напор его текстов никогда не идет впереди анализа. Полемический дар реализуется не на уровне «стилистической крутизны», но исключительно на уровне мысли. Впрочем, для Елисеева нет особой разницы между классиками и современниками — творчество и тех и других в его восприятии (в чем он успешно, на мой взгляд, убеждает и читателя) одинаково важно, интересно, одинаково актуально для сегодняшнего разговора о них.

**Наталья Иванова.** Ностальгящее. Собрание наблюдений. М., ОАО Издательство «Радуга», 2002, 256 стр., 3000 экз.

Собрание эссе известного литературного критика. «Ностальгящее — слово-кентавр, составленное из двух: *ностальгия* и *настоящее*. Взвесь/смесь/крошево/месиво культур, в котором сейчас существует Россия; варево, в котором варят родившихся в одной стране и проживающих в другой. Отчасти — новой. Отчасти — старой, но о себе напоминающей в новых культурных проектах». В книге два раздела: «Время/место» (по сути, исследование социокультурного пространства современной России, написанное с публицистическим напором) и «Место/время» (путевая изобразительная проза, позволяющая автору вернуться к поднятым в первом разделе темам с некоторой историко-географической дистанции, — описаны путешествия на шведский остров Готланд, в Швейцарию, Гонконг, Петербург; специфика материала и задач позволяет Ивановой выступить в новом для ее читателя качестве — прозаика).

**О. Киянская.** Павел Пестель. Офицер, разведчик, заговорщик. М., «Параллели», 2002, 512 стр., 1000 экз.

Первая в России биография знаменитого декабриста — попытка воссоздать реальный облик исторического деятеля, искаженный в научной и художественной литературе сменяемыми друг друга мифами о Пестеле — от честолюбивого интригана до пламенного революционера.

**Никита Ломагин.** Неизвестная блокада. Книга 1. СПб., «Нева», М., «ОЛМА-Пресс», 2002, 448 стр., 5000 экз.

Историческое исследование, посвященное некоторым закрытым до последнего времени аспектам ленинградской блокады: сложные взаимоотношения Кремля и Смольного даже в военные годы, ситуация на властной верхушке города, фигура Жданова, умонастроения ленинградцев.

**Самуил Лурье.** Муравейник. Фельетоны в прежнем смысле слова. СПб., Издательство «Журнал „Нева”», 320 стр., 1000 экз.

Литературно-критическая, а также культурологическая, социопсихологическая (о быте и нравах наступивших времен) эссеистика одного из ведущих литературных критиков и публицистов Петербурга.

**Н. И. Оловянишников.** История колоколов и колоколотейное искусство. Под редакцией А. Ф. Бондаренко. М., НП ИД «Русская панорама», 2003, 520 стр., 1200 экз.

Переиздание изданного Николаем Ивановичем Оловянишниковым (1875 — 1918) в 1912 году и сохранившего статус самого полного, на энциклопедическое издание ориентированного исследования истории колоколов и колокольного искусства — технология производства колоколов, история колоколотейного дела в России и Европе, описание самых знаменитых колоколов Новгорода, Владимира, Москвы, Казани и т. д., искусство колокольного звона, легенды, которыми обросло колокольное дело, реальные истории и различные исторические анекдоты, знаменитые звонари и другие стороны колокольного дела. Предисловие к книге написал А. Ф. Бондаренко, биографический очерк — потомок автора Н. Е. Прянишников; издание снабжено таблицами, чертежами, репродукциями старинных гравюр, комментариями, подробной библиографией по теме (297 позиций).

**Валерия Пришвина.** Невидимый град. Подготовка текста и комментарии Я. Гришиной. М., «Молодая гвардия», 2002, 529 стр., 3000 экз.

Мемуары жены Михаила Пришвина.

**Пьер Сиприо.** Бальзак без маски. Перевод с французского Е. Сергеевой. Вступительная статья А. Левандовского. М., «Молодая гвардия», 2003, 503 стр., 6000 экз.

Вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» биография Бальзака, в которой описание литературной судьбы героя сопровождается тщательно прописанными частными сторонами его жизни (семейные, любовные, финансовые и др.) в контексте политической, общественной, научной, культурной и сугубо бытовой жизни Франции бальзаковских времен.

**Олег Теслер.** Составители Ольга Теслер, Леонид Тишков. М., «ПЕНАТЕС-ПЕНАТЫ», 2002, 120 стр., 1000 экз.

Художественный альбом, содержащий избранные работы одного из самых замечательных художников-графиков, работавших в жанре карикатуры, «грустного философа с неиссякаемым чувством юмора» Олега Теслера (1938 — 1995), а также воспоминания о нем и о его времени Марины Москвиной, Миколы Гнисяюка, Владимира Каневского, Игоря Смирнова, Леонида Тишкова и других; фотографии, дружественные шаржи.

**Тыняновский сборник.** Выпуск 11. Девятое Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., О.Г.И., 2002, 992 стр., 1200 экз.

Материалы сборника расположены в пяти разделах. I раздел посвящен литературе XVIII — XIX веков (авторы: Елена Погосян, Дмитрий Сегал, А. Л. Осповат, Вяч. Вс. Иванов, Ольга Майорова и другие о Ломоносове, Радищеве, Жуковском, Пушкине, Баратынском, Шаховском, Катенине и т. д.); II — III разделы — литература и филология XX века (в частности, посвящены творчеству Розанова, Мандельштама, Бабеля, Тынянова, Домбровского, Шкловского, Эйхенбаума; среди авторов — М. О. Чудакова, М. Л. Гаспаров, А. С. Немзер, Г. А. Морев, Михаил Мейлах, Е. А. Тоддес); IV раздел — «экстралитературоведческий» (Владимир Кабо, «Сакральное искусство аборигенов Австралии и русская икона», Юрий Цивьян, «„Bisex” как тема и как художественный прием: к системе образов в „Иване Грозном” Эйзенштейна», О. А. Лекманов, «Мотивы сладостей и вина в фильме М. Формана „Амадей” и другие работы»). V раздел сборника имеет подзаголовок «Филологические мемуары»: воспоминания о Леониде Черткове, Юрии Александровиче Молоке, Валентине Берестове; о литературном объединении при Горном институте в Ленинграде в конце 50-х годов, об условиях работы архивистов 40 — 50-х годов (С. В. Житомирская, «В условиях несвободы»), о практике закрытой исследовательской работы философов и филологов 70-х годов в СССР (В. В. Библихин, «Для служебного пользования»). В конце сборника некролог М. Чудаковой «Памяти Саши Носова».

**Мария Чегодаева.** Социалистический реализм. Мифы и реальность. М., «Захаров», 2003, 224 стр., 3000 экз.

Книга одного из ведущих современных искусствоведов, посвященная истории, идеологии и эстетике «социалистического реализма».

**П. В. Чичагов.** Записки. Составление игумена Серафима и В. В. Черной. Предисловие и примечания Л. М. Чичагова. М., «Российский архив», 2002, 800 стр., 2000 экз.

Мемуары морского министра, адмирала и одного из первых русских политэмигрантов Павла Васильевича Чичагова (1767 — 1849), рассказывающие о жизни и нравах при дворах Екатерины II и Павла I. Мемуары к печати готовил (еще в дореволюционные годы) внук Чичагова Леонид Михайлович (бывший тогда игуменом и ставший впоследствии митрополитом Серафимом), а завершила работу уже в наше время праправнучка повествователя Варвара Васильевна Черная.

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



*«Вестник Европы», «Время MN», «Время новостей», «GlobalRus.ru», «Деловой вторник», «День литературы», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Комсомольская правда», «Консерватор», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Lettres russes/Русская литература», «Москва», «Московские новости», «Мужская работа», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новое время», «Огонек», «Посев», «Российская газета», «Русский Журнал», «Собеседник», «Топос», «Toronto Slavic Quarterly», «Фашистская реакция»*

**Питер Акройд.** Город контрастов. Главы из книги. Перевод Леонида Мотылева и Владимира Бабкова. — «Вестник Европы», 2002, № 6 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

«В Лондоне всегда было шумно <...>». См. другие главы: **Питер Акройд**, «После пожара» — «Вестник Европы», 2003, № 7.

См. также фрагменты книги **Питера Акройда** «Биография Лондона» в переводе Л. Мотылева — «Иностранная литература», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

**Борис Акунин.** «Я навсегда простился с Пелагией». Беседу вел Денис Корсаков. — «Комсомольская правда», 2003, № 46, 14 марта <<http://www.kp.ru>>

«<...> мне кажется, что человечество понемногу созревает для очередного Завета с Богом. <...> Не пора ли отходить от антропоцентризма, распространить эти замечательные нормы на все живое — на львов, орлов, куропаток, рогатых оленей и т. п.?»

См. также: «Та православная церковь, которую изображаю я [в романе „Пелагия и красный петух“], крайне удалена от прототипа. Это мое собственное создание, фэнтези», — говорит **Борис Акунин** в беседе с Николаем Яременко («Я стал уставать от своего ремесла» — «Книжное обозрение», 2003, № 9-10, 11 марта <<http://www.knigoboz.ru>> <<http://www.book-review.ru>>).

См. также: «Чхартишвили <...> выбрал в героини монашку не для того, чтобы поддержать институт ухода от мира, а чтобы решительно его осудить. Чтобы понять неожиданность такого поворота сюжета, достаточно еще раз представить себе Честертона, который вдруг в последнем рассказе о патере Брауне осудил бы католицизм в пользу какой-нибудь экзотической ереси», — пишет **Сергей Кузнецов** («Господин Зло» — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: «„Высокая“ культура, или культура памяти, разрушается и не выдерживает прессинга со стороны „низкой“, более того, „низкая“ культура нанимает высококлассных исполнителей для того, чтобы реализовать свои цели. Чтобы Акунин стал

Акуниным, понадобился Чхартишвили, пришелец из „высокой культуры”, — говорит философ Валерий Подорога в беседе с Наталией Осминской («НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также: Дмитрий Ольшанский, «Картонные голливуды» — «Консерватор», 2003, № 8, 7 марта <<http://www.egk.ru>>; *не любит Акунина*.

См. также: Андрей Немзер, «Совсем не благая весть» — «Время новостей», 2003, № 43, 12 марта <<http://www.vremya.ru>>; *тоже не любит*.

См. также: Алексей Данилевский, «Б. Акунин и Благая Весть» — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; *иронизирует*.

См. также: Андрей Ранчин, «Четыре заметки о „Приключениях Эраста Фандорина” Бориса Акунина» — «Русский Журнал», 2003, 14, 19 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; среди прочего: «...если „Приключения Эраста Фандорина” — детективы, то разыскиваются в них не преступник, а исторические анахронизмы и чужие тексты».

**Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.** Вера не доказывается, а показывается. — «Огонек», 2003, № 9, февраль <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«<...> Гилберт Кит Честертон высказал остроумное и убедительное предположение, что наука не способна постичь мир по той простой причине, что мир не чертеж, а рисунок художника». Отрывок из книги Валерия Коновалова и Михаила Сердюкова «Свет Патриарха. Беседы на переломе тысячелетий».

**Лев Аннинский.** Татуировка и шрам. — «Литературная Россия», 2003, № 10, 14 марта <<http://www.litrossia.ru>>

Чтение/пересказ романа Евгения Шишкина «Бесова душа». Рубрика «Событие».

**Алан Ансен.** Застольные беседы с Уистеном Оденем. Предисловие Глеба Шульпякова. Перевод и комментарии Марка Дадяна и Глеба Шульпякова. Под редакцией Марка Дадяна. — «Вестник Европы», 2003, № 7.

Уистен Оден: «Половой акт нужно описывать с комической точки зрения, смотреть на него глазами ребенка» (17 марта 1947).

**Александр Архангельский.** Женский вопрос и мужской ответ. Литературное счастье Марины Вишневецкой. — «Известия», 2003, № 42, 12 марта <<http://www.izvestia.ru>>

«Марина Вишневецкая именно из этого, срединного, корневого, ряда; без такой качественной, хотя и не всеохватной прозы, которую пишет она, нормальный литературный процесс невозможен».

Ср.: «Вишневецкая — писатель хороший, и я ее искренне поздравляю [с Большой премией имени Аполлона Григорьева]. <...> 25 000 \$ — это очень большая сумма. Круг же серьезных, не массовых авторов сегодня очень тесен и прозрачен. Кусок прозы Вишневецкой занимает менее 50 журнальных страниц. Следовательно, за страницу она получила более 500 \$. Это средний издательский гонорар за книгу серьезного, не массового прозаика. Я знаю, что искусство не имеет цены. <...> Повторяю, не в деньгах дело, но в соотношении: деньги — текст — здравый смысл», — пишет Павел Басинский («Звезды, премии и домовенок Кузя» — «Литературная газета», 2003, № 10, 12 — 18 марта <<http://www.lgz.ru>>).

См. также: **Майя Кучерская**, «Последняя любовь Ивана Петровича [Белкина]» — «Русский Журнал», 2003, 13 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>; «Теперь все изменилось. У нас появился автор [Марина Вишневецкая], который не ищет своего, не мыслит зла и сорадуется истине».

**Протоиерей Валентин Асмус.** История есть суд Божий. — «Завтра», 2003, № 11, 9 марта <<http://www.zavtra.ru>>

«Американская обезьяна (подчеловек в квадрате, многократно ухудшенный вариант современного западноевропейского подчеловека) хочет претворить все человечество в свой образ и подобие <...>».

**Афон, Порты и русская братия.** Впервые публикуются дипломатические отчеты Константина Леонтьева. — «НГ Ex libris», 2003, № 7, 27 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Отрывки из секретной «Записки об Афоне и об отношениях его к России», которую Константин Леонтьев писал с 1870 по 1872 год.

**Сергей Баймухаметов.** Эпидемия свободы. 86 лет назад Россию потрясла Великая революция — Февральская. — «Литературная газета», 2003, № 10, 12 — 18 марта <<http://www.lgz.ru>>

«<...> сегодня мы имеем все, что имели к 1917 году».

**Мария Бейкер.** О свойствах страсти. Шекспир как точная наука. — «Русский Журнал», 2003, 28 февраля <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

Литературные произведения задают стереотипы поведения.

**Александр Белов.** «Через двадцать лет в России будет Косово». — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля <<http://www.egk.ru>>

Говорит юрист **Александр Белов**, координатор Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ, создано в июле 2002 года <<http://www.dpni.org>>): «Когда государство не принимает никаких мер, то люди самостоятельно начинают решать свои проблемы. И то, что молодежь считает своими врагами не „богатых вообще“, не общество в целом, а именно нелегалов, свидетельствует о гражданском самосознании. <...> Нам совершенно чужд любой расизм. Опасность мы усматриваем в той криминальной системе отношений, которую насаждают мигранты».

**Василий Белов.** Сеятель и хранитель. — «Завтра», 2003, № 11, 9 марта.

«Аббревиатура — это один из способов лжи, особенно на телевидении и в печати. Аббревиатурами политики и журналисты запутывают крестьянина. Даже городские люди, искушенные в разных сокращениях, начинают плутать, например, в политических, иначе в партийных, дебрях. А сельскому мужику особенно нужна ясность».

**Сергей В. Бирюков.** Франсиско Франко: уроки для демократии и для России. — «Русский Журнал», 2003, 27 февраля и 3 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

«Режим Франко 1939 — 1975 годов следует оценивать не как фашистский (для которого характерны приверженность мобилизационно-футуристической идеологии и стремление „переделать до основания“ жизнь общества и природу самого человека), а как „традиционалистско-охранительный“...»

**Андрей Битов.** О Набокове. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

«Я помню, во Франции видел по телевизору интервью с Набоковым. В студии он сидел перед большим чайником и наливал себе чай. В конце передачи оказалось, что в чайнике было виски».

**Андрей Битов.** Сто лет без Чехова. — «Новая газета», 2003, № 14, 24 февраля <<http://www.novayagazeta.ru>>

«В следующем году будет 100 лет без Чехова. И это — мировая дата».

«Я много путешествовал по Союзу. <...> Но Сахалин я увидел только прошлой весной. А один Сахалин проехать — он размером с Японию... Я проехал его. И испытал какое-то счастье и ужас».

**Андрей Битов.** О преждевременности русского человека. — «Новая газета», 2003, № 16, 3 марта.

«Нет организованных людей. А свободный человек не может быть неорганизованным! Потому что он сам питает свою свободу, он защищает свою свободу, он содержит свою свободу».

**Светлана Бойм, Борис Гройс.** О свободе. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2003, № 1 (27) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

Говорит философ, специалист по современному искусству, **Борис Гройс**: «Дело в том, что мы интегрированы в систему экономических и правовых отношений, которые, как справедливо заметил еще Гегель в своей „Эстетике“, не дают нам возможности реализовать наше героическое начало. В одном месте „Эстетики“ он пишет, что истинный герой сам выращивает виноград, из которого потом делает вино, которое потом сам пьет. Он сам дает форму окружающему миру. Поэтому человек, который пьет чай и кофе, не может быть героем. <...> Невозможен героизм, невозможна креативность как акт свободы. Проблема заключается в том, что, если ты живешь в правовом обществе, ты на все должен получить разрешение, а для этого ты должен кого-то попросить».

**Дмитрий Быков.** Хашист и танец. — «Мужская работа», 2003, № 2 (8), март <<http://www.menswork.ru>>

«Из Армении я вернулся убежденным хашистом и танцем. Хашизм — образ жизни человека, потребляющего хаш...»

**Дмитрий Быков.** Впереди планеты всей. — «Собеседник», 2003, № 168 <<http://www.sobesednik.ru/weekly/168>>

«Погодите, у Америки (и Европы!) будет еще все, через что мы прошли в девяностые. <...> Все будет. А у нас — все уже было. Россия — как та фигура на форштенне: вечно все достается ей в первую очередь. Но и желанную землю на горизонте первой видит тоже она».

**Алексей Варламов.** Жизнь и вера. — «Литературная газета», 2003, № 10, 12 — 18 марта.

«Пушкин писал Чаадаеву в ответ на знаменитое Философическое письмо: „Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу“. Духовенство-то по-прежнему носит бороду. А вот хорошее общество — где оно?»

См. также: **Алексей Варламов**, «Без царя» — «Литературная газета», 2003, № 8, 26 февраля — 4 марта <<http://www.lgz.ru>>

См. также: **Алексей Варламов**, «Еврейский бог» — «Топос», 2003, 10 марта <<http://www.topos.ru>>

См. также: **Алексей Варламов**, «Чистое время» — «Топос», 2003, 23 марта; *Пришвин в деревне Усолье*.

**Andrei Vasilevsky.** *The Apollon Grigor'ev Literary Prize.* — «Toronto Slavic Quarterly». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies.* 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

Вкратце о премии имени Аполлона Григорьева.

**Анна Велигжанина.** Александр Солженицын выписан из ЦКБ. Сейчас знаменитый писатель лечится дома. О его самочувствии и сегодняшнем житье-бытье рассказывает его друг поэт Юрий Кублановский. — «Комсомольская правда», 2003, № 43, 11 марта.

Говорит лауреат литературной премии Александра Солженицына **Юрий Кублановский**: «Наташа [Наталья Дмитриевна Солженицына] — человек, уверенный в своем призвании полностью! Призвании — быть женой гения. Такой же была Анна Григорьевна у Достоевского. Конечно, Солженицын волевой. И Толстой, и Достоевский были страшными тиранами. Солженицын еще толерантен по сравнению с другими нашими классиками. И в их семье лидер — Наташа! Потому что он слишком занят своими делами, не может вникать в семейные дела. <...> Ему в тягость всякие долгие застоля, празднества, долгие беседы „просто так“. Не любит, что называется, чесать языком. А у Наташи широкий круг общения. Она и моложе гораздо. И намного общительнее».

**Алексей Венедиктов.** «Мы продаем булки». Беседовал Константин Крылов. — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля.

«Все СМИ — оппозиционны по своей природе».

«Мы не должны задумываться о последствиях той информации, которую распространяет радиостанция, или той позиции, которую она занимает».

«Свобода лучше любых ограничений».

«Ограничения должны быть только те, которые мы [журналисты] признаем сами».

**Александр Водолагин.** Нужна ли России национальная идея? — «Литературная Россия», 2003, № 10, 14 марта.

«<...> условно говоря, *вавилонско-халдейский психологический тип* поведения. Именно этот тип востребован выстроенной в России антисистемой — „людоедским“ государством, пожирающим одуроченное население <...>».

**Александр Вознесенский.** Макс Фрай вместо Борхеса. — «НГ Ex libris», 2003, № 8, 6 марта.

Говорит главный редактор издательства «Амфора» **Вадим Назаров**: «У меня есть стойкое ощущение, что серий вообще делать больше не надо, но при этом я пока ничего лучше не придумал. Хочется нащупать иной формат, но какой? Книжка „с собственным лицом“ сегодня, как правило, проваливается. Чтобы делать такие книги, нужно иметь хороший рекламный бюджет. <...> не сопровождаемая рекламным вложением попытка издать книгу „индивидуально“, со „своим лицом“ сулит сегодня одно — безвестность».

**Андрей Вознесенский.** «Политика себя не оправдала». Беседу вел Дмитрий Быков. — «Консерватор», 2003, № 9, 14 марта.

«Я никогда не думал, что доживу до таких лет».

«Что мы знали о собственной стране? Мы ее не видели, по сути. Жили представлениями верхнего слоя, в котором вращались».

«Я его [Березовского] знаю только с одной стороны — с меценатской. Знаю яркие стороны, а не темные. Меценат он идеальный, в работу „Триумфа“ не вмешивался ни разу, и с его помощью создано самое элитарное художественное сообщество в Европе. Может, и в мире. <...> Я не могу оценивать его деятельность в целом, потому что ничего о ней не знаю... да, если честно, и знать не хочу».

См. также: «В начале 90-х, когда еще сохранялись иллюзии, я впервые прочитал большой текст Андрея Вознесенского о Мартине Хайдеггере — встреча русского поэта с немецким мыслителем. Я был удивлен некоторыми оценками поэта, но еще и тем, что он не прочел, вероятно, ни строчки из Хайдеггера. Но потом то ли в „Новой газете“, то ли в другой, не помню точно, читая уже чисто журналистский текст о Хайдеггере, я понял, что время экспертов и знатоков уходит», — говорит философ Валерий Подорога в беседе с Наталией Осминской («Грамматика ускорения» — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта <<http://exlibris.ng.ru>>).

**Дмитрий Галковский.** Инопланетянин товарищ Артем. — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля.

«Погиб товарищ Артем, как и положено международному авантюристу, празднично, карнавалистски. Испытывали в Подмосковье какой-то „аэровагон“, и он на нем улетел в неизвестном направлении. То есть труп вроде нашли, но на самом деле кто знает... Может, поехал в родной Квинсленд отдохнуть от трудов праведных... А может, и на Альдебаран...»

См. также: **Дмитрий Галковский**, «Сумасшедший полковник» — «Консерватор», 2003, № 7, 28 февраля; о *Vacemise*.

См. также: **Дмитрий Галковский**, «Кучер» — «Консерватор», 2003, № 9, 14 марта; об *Антонове-Овсеенко*.

См. также: **Дмитрий Галковский**, «Артур при дворе короля янки. Святочный рассказ № 6» — «Консерватор», 2003, № 10, 21 марта.

**Михаил Гаспаров.** С русского... на русский. — «*Toronto Slavic Quarterly*». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

Элегии Жуковского, Пушкина, Вяземского и других, переведенные — с русского на русский — *верлибром*. «Я попробовал придать этому переложению такую степень формальной новизны, какую, по моему представлению, имели романтические элегии для их первых читателей». См. эту же статью М. Гаспарова под названием «Переводы с русского»: «Арион», 2003, № 1 <<http://arion.ru>>

См. также: **Сергей Завьялов**, «Переводы с русского и другие стихотворения» — «*TextOnly*», 2002, № 10 <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue10>>

**Александр Дугин.** Свобода для. — «Литературная газета», 2003, № 9, 5 — 11 марта.

«Либерализм — это отвратительное, человеконенавистническое, подлое учение. Он омерзителен в теории и на практике». Потому что либерализм — это *liberty* (плохая «свобода от...»), а не — *freedom* (хорошая «свобода для...»).

О *двух* свободах см. также: **Светлана Бойм**, **Борис Гройс**, «О свободе» — «Неприкосновенный запас», 2003, № 1 (27) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

**Михаил Дунаев.** Рукописи не горят. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 313, 2 марта <<http://www.lebed.com>>

«Различия между Писанием и романом [„Мастер и Маргарита“] столь значительны, что нам помимо воли нашей навязывается выбор, ибо нельзя совместить в сознании и душе оба текста». Глава из книги «Вера в горниле сомнений» (М., 2002). Автор — доктор филологических наук, доктор богословия, преподаватель Московской духовной академии.

**Александр Жолковский.** Новые виньетки. — «*Toronto Slavic Quarterly*». *Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

«Первую критику Окуджавы слева я услышал от Лимонова — году в 70-м...»

**Михаил Золотоносов.** Любоедка Ирочка. — «Московские новости», 2003, № 7 <<http://www.mn.ru>>

«Из этого и состоит „проза“ [Ирины Денежкиной]: она все время хочет его, а он медлит или увильчивает. Для простоты им даже никто и ничего не мешает, свобода полная, нет „социальных препятствий“ в виде, скажем, учебы или каких-то табу, исходящих от родителей, вся проблема биологическая — самки хотят, а самцы вялые и ленивые».

См. также беседу генерального директора издательства «Лимбус-Пресс» **Константина Тублина** с Александром Вознесенским о продвижении текстов Денежкиной на западный книжный рынок — «НГ Ex libris», 2003, № 8, 6 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: **Сергей Шаргунов**, «А я Денежкину люблю...» — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта; буквально — «Погладив ее по хребту <...>».

См. также лаконичную, но выразительную беседу Сергея Шаргунова с **Ириной Денежкиной**: «Деньга, хочешь денег?» — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта.



См. также: **Ирина Денежкина**, «Как я летала на „Нацбест“. Куски из новой прозы» — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта; среди прочего: «Проханов похож на труп. У него такая трупная рожа. Он может играть покойников в кино. Атас полный!..»

«Идеальный собеседник — читатель». Беседу вела Надежда Горлова. — «Литературная газета», 2003, № 8, 26 февраля — 4 марта.

Говорит **Михаил Веллер**: «<...> уровень студентов нашего филфака областного пединститута мне представляется более высоким, чем уровень русистов приличного западного университета».

**Интеллектуальные издательства в России и в мире.** «Круглый стол» [в рамках московской ярмарки интеллектуальной книги «NonFiction #4», 28 ноября 2002 года]. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2003, № 1 (27).

Говорит **Андрей Зорин**: «Меня недавно потрясла передача, в которой показывали Мариэтту Чудакову, которая сказала, что „переживает сейчас лучшие моменты своей жизни“. Я тоже хотел бы сказать, что сейчас мы переживаем лучшие моменты в истории русской культуры, ее акме. Мы его участники, нам всем посчастливилось».

**Тимур Кибиров.** Стихи. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

«<...> Внемлешь арфе серафима / И ублюдкам MTV <...>».

См. также: **Александр Архангельский.** Транзитный путь из варяг в греки. — «Известия», 2003, № 62, 9 апреля.

**Руслан Киреев.** Гоголь. Талызинский особняк. — «Литература», 2003, № 10, 8 — 15 марта <<http://www.1september.ru>>

«Гоголя мучили перед смертью — это надо сказать прямо». Из книги «Семь великих смертей».

См. также: **Руслан Киреев**, «Чехов. Посещение бога» — «Литература», 2002, № 38, 8 — 15 сентября.

См. также: **Игорь Клевх**, «Чехов: *Ich sterbe*. Версия» — «Знамя», 2003, № 2 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

**Маруся Климова.** Моя история русской литературы. Писатель и читатель. — «Топос», 2002, 18 июня <[http://www.topos.ru/articles/0206/06\\_06.shtml](http://www.topos.ru/articles/0206/06_06.shtml)>

«Люди подходят, заглядывают в глаза, просят автографы, но уже завтра они про тебя забудут и побегут за каким-нибудь очередным пушкиным».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 2. Чаадаев, Фонвизин, Радищев» — «Топос», 2002, 28 июня; «Таким образом, Чаадаев был первым русским „фарцовщиком“ <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 3. Наше всё. Метод редукции» — «Топос», 2002, 9 июля; «<...> обыватели, признающиеся в любви Достоевскому, несмотря ни на что куда менее опасны, чем те, что любят Толстого и Пушкина».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 4. Иллюзия величия» — «Топос», 2002, 17 июля; «„Ну ты прям как Наташа Ростова перед первым балом“, — помню, говорила мне другая моя школьная подруга, Оля, когда мы с ней собирались идти курить марихуану к ее знакомой, жившей в каком-то притоне на Петроградской стороне <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 5. Пуговицы Тютчева» — «Топос», 2002, 30 июля.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 6. Волнующий шепот Фета» — «Топос», 2002, 6 августа; «А потом вдруг где-то случайно я где-то увидела его [Фета] портрет и сразу почувствовала к нему глубокую симпатию: он чем-то напомнил мне моего любимого кота — с большим носом, огромными, обведенными темными кругами глазами и с черной бородой».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 7. Тургеневские юноши» — «Топос», 2002, 16 августа; «Мне почему-то всегда казалось, что Тургенев мог бы стать маньяком <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 8. Нетленная красота» — «Топос», 2002, 28 августа.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 9. Коллеги» — «Топос», 2002, 6 сентября; «Помню, одна моя парижская знакомая, селинистка, то есть литературовед по специальности, однажды в разговоре со мной с неподдельным пафосом воскликнула по поводу вдовы Селина Люсетт Детуш: „Что может понимать в Селине какая-то танцовщица!“ <...> Более того, думаю, что если бы она выпила еще — а мы как раз сидели с ней в ресторане на рю Муфтар и выпивали, — то она вполне могла бы воскликнуть еще и так: „Что может понимать в Селине какой-то Селин, ведь он же был врачом!“»

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 10. Синие брызги алкоголя» — «Топос», 2002, 16 сентября; «Сегодня в России пить не то чтобы аморально или же асоциально, все гораздо серьезнее — пить эстетически не актуально, можно даже сказать, не модно. <...> Алкоголь как эстетический феномен, кажется, окончательно перешел в разряд совершенно исчерпавших себя вещей и выглядит столь же банально, как, например, любовь мужчины к женщине <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 11. История болезни» — «Топос», 2002, 23 сентября; «Один мой парижский знакомый (ныне очень известный писатель) несколько лет назад в приливе откровенности признался мне, что вынужден был отнять у умирающего писателя Максимова кислородную подушку и не отдавать ему ее до тех пор, пока тот не подписал ему рекомендацию в ПЕН-клуб. Вот и историк литературы должен, по-моему, любить литературу не меньше, чем этот мой знакомый — ПЕН-клуб».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 12. Уроки классики» — «Топос», 2002, 3 октября.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 13. Антиэстетика» — «Топос», 2002, 10 октября; «<...> я вообще никогда не понимала, почему практически все существующие на сегодняшний день антиутопии в той или иной степени носят морально-этический, а не эстетический характер. Настоящая антиутопия, по-моему, еще не написана, так как к морали она никакого отношения не имеет и должна называться „Власть уродов“ или же как-то в этом роде».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 14. Борьба видов» — «Топос», 2002, 16 октября; «Мне почему-то кажется, что на носу у Горького росли волосы — хотя ни на одном портрете это и не запечатлелось, но я уверена, что точно росли».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 15. Предназначение писателя» — «Топос», 2002, 25 октября; «Главный герой этой пьесы Глумов, как известно, долго и старательно втирается в высшее общество, пытается сделать карьеру, но в какой-то момент в руки одной гнусной бабы попадает его дневник, где он поливает грязью всех, кому в жизни лстил и пытался угодить. Так вот, я думаю, что Островский, возможно, сам того не желая, в лице Глумова как раз и представил образ идеального писателя. <...> В этом отношении в русской литературе у Глумова, правда, уже был предшественник в лице Хлестакова. <...> Хлестаков — это вообще наш русский Моцарт, но таким, как он, видимо, не так просто прорасти на русской почве».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 16. Спящий красавец» — «Топос», 2002, 5 ноября; «<...> Блок был для меня чем-то вроде ЛСД, но гораздо дешевле <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 17. Фальшивый декадент» — «Топос», 2002, 12 ноября; «Мне кажется, что мое отношение к нему [Брюсову], наверное, даже в чем-то сродни чувствам, которые мог бы вызвать у какого-нибудь матерого уголовника удачно внедрившийся в ряды преступной группировки милицейский агент».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 18. Горные вершины» — «Топос», 2002, 20 ноября.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 19. Осколки» — «Топос», 2002, 28 ноября; «С тех пор не могу избавиться от ощущения, что Вячеслав Иванов был полным идиотом...»

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 20. По ту сторону ума и глупости» — «Топос», 2002, 5 декабря; «Белый научил писателей наводить тень на плетень!»

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 21. Идеальный поэт» — «Топос», 2002, 11 декабря; «В сущности, во всей русской литературе был, видимо, только один по-настоящему идеальный поэт — Северянин. <...> Когда я думаю про Северянина, я ухожу в себя, мне не хочется ни с кем говорить, а просто молча сидеть, уставив глаза в одну точку, задумчиво, забыв о том, что со стороны в такие моменты человек становится похож на идиота».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 22. Дегенеративное искусство» — «Топос», 2002, 18 декабря; «Начнем с того, что Хлебников всегда представлялся мне совершенно полным и откровенным олигофреном с капающей изо рта слюной. <...> Сначала, конечно, это было такое бессознательное ощущение, затуманенное всякими расплывчатыми комментариями и рассуждениями о его гениальности и т. п., но потом постепенно в моем сознании, как курица из яйца, окончательно вылутился этот образ слюнявого олигофрена. Ничего ни прибавить, ни убавить: законченный дебил!»

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 23. Конец истории» — «Топос», 2002, 25 декабря.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 24. Основной вопрос культуры» — «Топос», 2003, 9 января.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 25. Двое в комнате» — «Топос», 2003, 16 января; «<...> и даже сама удивилась — зачем я в десятилетнем возрасте писала письма Маяковскому на тот свет <...>».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 26. Нечеловеческое сияние» — «Топос», 2003, 23 января.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 27. Микромир» — «Топос», 2003, 3 февраля.

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 28. Необратимость» — «Топос», 2003, 11 февраля; «Я бы с удовольствием написала, например, сценарий к фильму (естественно, в высшей степени пафосному и гуманистическому!), посвященному этому яркому историческому событию [1922 года], в котором был бы, к примеру, такой эпизод: красноармеец долго и мучительно тянет вверх по трапу [„философского“] корабля упирающегося Бердяева, ухватив его за вывалившийся изо рта язык...»

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 29. Новая эстетическая политика» — «Топос», 2003, 12 февраля; «<...> но эта девушка [Эллочка Людо-едка] до сих пор кажется мне едва ли не самым притягательным образцом для подражания во всей русской литературе. Может быть, потому, что практически ни одно слово из ее небогатого лексикона не выглядит сегодня устаревшим и архаичным, то есть она сумела найти какой-то вечный универсальный язык для выражения своих чувств».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 30. Тишайшее из убийств» — «Топос», 2003, 27 февраля; «<...> одной из самых коварных и опасных утопий на сегодняшний день кажутся мне глубоко неверные и иллюзорные представления о женщине, взращенные русской литературой девятнадцатого века».

См. также: **Маруся Климова**, «Моя история русской литературы. № 31. Жизнь после смерти» — «Топос», 2003, 4 апреля.

См. также: «Реальным двойником Маруси [Климовой] является петербургская журналистка, переводчица, кинокритик и писательница Татьяна Николаевна Кондратович. *Curriculum vitae* ее весьма богат: это и учеба на филологическом факультете Ленинградского университета, и работа научным сотрудником в музее „Исаакиевский собор“, и сотрудничество в программе Сергея Шолохова „Тихий дом“ на РТР, и журналистская стажировка в Париже и в Праге на радио „Свобода“. <...> ее перу принадлежат переводы Л. Ф. Селина („Смерть в кредит“, 1994; „Из замка в замок“, 1998), Жана Жене („Кэрель“, 1995), Дитриха фон Гильдебрандта („Святость и активность“, 1995), Ф. Жи-бо („Китайцам и собакам вход воспрещен“, 1998), а также Ж. Батая, П. Луиса», — читаем в статье **Елены Трофимовой** «„Отъехавшая реальность“, или Поэтика безумия в прозе Маруси Климовой» («Топос», 2002, 11 ноября).

Ср.: «Беспрестанно появляется на „Топосе“ Маруся Климова с амбициозной рубрикой „Моя история русской литературы“, заполняемой причудливыми текстами. У меня эти описания вызывают лишь недоумение, но, наверное, есть у них и свой читатель, коль скоро „Топос“ чуть ли не ими и держится...» — пишет **Евгений Ермолин** («Критик в Сети» — «Знамя», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>).

Ср.: «<...> это попытка описать свои взаимоотношения с текстами и авторами как процесс едва ли не физиологический. <...> В оценке климовских писаний может быть только одна оценочная шкала — шкала убедительности: насколько писательница убедительна в своей намеренной предвзятости?! Мне-то кажется, что убедительна, значит, имеет право», — возражает Ермолину **Дмитрий Бавильский** («Знаки препинания. № 42. Почти по Фрейду. Заметки постороннего» — «Топос», 2003, 20 марта).

См. также: **Игорь Викторович Касаткин**, «Бедные люди Маруси Климовой» — «Топос», 2003, 14 марта <<http://www.topos.ru>>

**Игорь Клямкин**. Модернистский проект в России. — «Неприкосновенный запас», 2003, № 1 (27).

«Я думаю, что смерть Сталина в 1953 году подвела черту под всей тысячелетней историей России как крестьянской страны». Данный текст является выступлением автора на «круглом столе» «Модернистский проект: спрос и предложение». Полный текст дискуссии см. на сайте: <http://www.liberal.ru>

**Коктейль «Сталин»**. Беседовала Гузель Агишева. — «Деловой вторник», 2003, № 7, 4 марта <<http://www.vtornik.ru>>

Говорит **Леонид Зорин** — в связи с его новым романом «Юпитер» («Знамя», 2002, № 12): «[Сталин —] величайший из злодеев в истории. Если еще короче — Антихрист. <...> Громадный ум — безусловно».

Ср.: «Назвать Сталина „антихристом” — это, конечно, слишком высокая и безвкусная оценка одного из многих диктаторов в истории человечества», — считает **Леонид Радиховский** («Время MN», 2003, 4 марта).

Ср.: «В моем представлении эта фигура несопоставимо более примитивная, ясная, банальная, даже и открытая, нежели две другие [Ленин и Гитлер], о которых я снял фильмы», — говорит кинорежиссер **Александр Сокуров** («Известия», 2003, № 40, 6 марта).

Ср.: «Самое поразительное, что отец народов благополучно уживается <...> даже в самых ярых антисталинистах, считающих Кобу Джугашвили Сатаной. А мы со Светой (познакомьтесь: моя жена Светлана Кармалита, киносценарист) принадлежим именно к этой породе людей. <...> Он мне часто снится. Чрезвычайно часто. <...> товарищ Сталин относится ко мне во сне с отеческой теплотой и благожелательностью, что, не скрою, очень приятно. С прочими героями моих снов Иосиф Виссарионович гораздо менее любезен, и я понимаю: этим другим крупно не поздоровится. И как, скажите, после этого не чувствовать себя рабом? Я ведь внутренне радуюсь, что гнев вождя меня миновал. Радуюсь!» — говорит кинорежиссер **Алексей Герман** в беседе с Андреем Ванденко («Российская газета», 2003, 5 марта <<http://www.rg.ru>>).

См. также открытое письмо **Алексея Германа** и **Светланы Кармалиты** «Мы бы и без Сталина выиграли войну...» — «Известия», 2003, № 42, 12 марта <<http://www.izvestia.ru>>

См. также: **Андрей Борзенко**, «Незадачливый Антихрист. Сталин-бог в поэзии Александра Галича» — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

См. также стихотворение молодого **Владимира Высоцкого** «Моя клятва», написанное 8 марта 1953 года («День литературы», 2003, № 3, март <<http://www.zavtra.ru>>): «В эти скорбно-тяжелые дни / Поклянусь у могилы твоей / Не шадить молодых своих сил / Для великой Отчизны моей».

См. также: **Екатерина Селезнева**, «Леонид Зорин: „Сталин все еще жив”» — «Независимая газета», 2003, № 43, 5 марта <<http://www.ng.ru>>

Ср.: **Борис Дубин**, «Сталина давно нет. Его играют другие» — «Известия», 2003, № 40, 6 марта <<http://www.izvestia.ru>>; анализ социологических опросов.

См. также: **Николай Попов**, «Тиранозавры оживают» — «Новое время», 2003, № 12, 23 марта <<http://www.newtimes.ru>>; анализ социологических опросов.

**Валерий Коновалов**. Приключения миссионера. — «Известия», 2003, № 37-М, 3 марта <<http://www.izvestia.ru>>

Говорит диакон **Андрей Кураев**: «По сути дела, сегодня только религиозные организации имеют общероссийскую сеть распространения литературы».

См. также беседы с диаконом **Андреем Кураевым**: «Наша вера — это авантюра» — «Мужская работа», 2003, № 7 <<http://www.menswork.ru>>; «Консерватизм — это крест» — «Консерватор», 2003, № 4, 7 февраля <<http://www.egk.ru>>

**Культовая механика**. — «Литературная газета», 2003, № 9, 5 — 11 марта.

Говорит **Юрий Жуков** в беседе с Александром Савовым: «<...> была еще одна попытка! В январе 44-го года. Впервые за весь период войны был намечен созыв пленума и сессии Верховного Совета СССР. Молотов и Маленков подготовили проект постановления Пленума ЦК, по которому партия юридически отстранялась от власти. <...> Проект прочитал Сталин, изменил в нем шесть слов и написал: „Согласен”. Дальше — загадка. Собралось Политбюро — и проект канул в Лету: больше о нем никто никогда не вспоминал».

**Кирилл Куталов**. Литература после кризиса новизны. — «Топос», 2003, 10 марта <<http://www.topos.ru>>

«Литературу уже тошнит от революций. <...> Читательское ожидание в этом случае весьма понятно. Его определяет усталость. Усталость от погони за новым и от ощущения себя не выучившим урок школьником. Хочется, чтобы все экзамены были позади. Хочется, чтобы не нужно было ничего объяснять. Не хочется ничего нового. Хочется горячего, страшного, живого».

**Ольга Кушлина**. Ирреальный комментарий. — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

Трагикомедия — о составлении трехтомной антологии русской поэзии серебряного века.

**Евгения Ланг**. Рассказ о моей заграничной жизни. Предисловие и публикация Вадима Перельмутера. — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

Художница с советским паспортом в довоенной Европе.

**Эдвард Лип**. *There was a Young Lady of Russia*. Переводы с английского. Вступление Б. Архипцева. — «Иностранная литература», 2003, № 3.

Лимерики.

**Литература как замороженный продукт.** Леонид Латынин о своей книжке, своей дочке и несвоих тусовках. Беседу вела Анна Саед-Шах. — «Новая газета», 2003, № 19, 17 марта.

Говорит **Леонид Латынин**: «Прежде у самотека все-таки была цель — занять место в литературе. Теперь он занимает место на сайтах „Поэзия.ру“ или „Стихи.ру“ <...>».

**Борис Любимов.** «Там, где чисто, светло». — «Время новостей», 2003, № 39, 5 марта.

«И [театральная] антреприза, десять лет назад считавшаяся панацеей от всех бед, за редчайшим исключением использует лица актеров, воспитанных еще в предкапиталистические времена. Уйдет одно-два поколения артистов, вырастет одно-два поколения зрителей, незнакомых с нынешними звездами, и антрепренерам придется перекалцифицироваться в оправдомы».

**Леонид Максименков.** Неизвестное завещание Сталина. — «Независимая газета», 2003, № 42, 4 марта <<http://www.ng.ru>>

Запись беседы И. В. Сталина с послом Аргентины Леопольдо Браво 7 февраля 1953 года (Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 558, оп. 11, ед. хр. 250, л. 3 — 11).

**Евгений Манин.** Эволюция цифр Холокоста. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 315, 16 марта <<http://www.lebed.com>>

«Этот разноречивый неминуче должен был привести к „ревизии“...»

**Сергей Маркедонов.** Скромное обаяние тирании. — «Русский Журнал», 2003, 5 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

«Сталин, таким образом, разворочил „чеченский муравейник“, который было бы удобнее держать под колпаком на Кавказе».

**Александр Меленберг.** Скупой рыцарь революции (доходы, расходы и приписки гр. Дзержинского Ф. Э.). Железный Феликс вне ЧК. — «Новая газета», 2003, № 14, 24 февраля.

«Почти все советские биографы Дзержинского постарались скрыть тот факт, что весь октябрь 1918 года Феликс с семьей провел в... Швейцарии, отдыхая на берегу Женевского озера».

**Константин Михайлов.** Золото генерала Власова. Опыт художественного исследования. — «Посев», 2003, № 2, февраль <<http://posev.ru>>

Врангель. Власов.

**Валентина Мордерер.** Этюд в испанских тонах. — «НГ Ex libris», 2003, № 8, 6 марта.

Дюма. Артур Перес-Реверте («Клуб Дюма»). Пастернак.

**Дмитрий Назаров.** Сон разума. — «Огонек», 2003, № 8, февраль.

Говорит кинокритик, социолог **Даниил Дондурей**: «<...> у нашего народа есть главный ресурс — невероятная семиотическая сложность. Русские люди могут думать одно, подразумевать другое, а делать третье. Ребенок у нас умеет это! <...> Русские очень умные, очень креативные».

**Андрей Немзер.** Честь поэтам. Александр Солженицын награждает Ольгу Седакову и Юрия Кублановского. — «Время новостей», 2003, № 38, 4 марта.

«Награждая лично дорогих (всегда) и крупных (как правило) писателей, справедливо обращая внимание на их значимость в общекультурном раскладе, Солженицын остается опытным литературным политиком, следящим за соблюдением „балансов“ („западники“ — „почвенники“, „художники“ — „идеологи“, „поэты“ — „прозаики“ и т. п.). Это — политика (без которой при раздаче премий не обойтись), но политика разумная, благородная и дальновидная — вне зависимости от отношения к тому или иному лауреату».

**Андрей Немзер.** Несбывшийся гений. Двести лет назад родился Николай Языков. — «Время новостей», 2003, № 46, 17 марта.

«Языков хотел нравиться <...>».

**Дмитрий Нечаенко.** «Как варвар, критикующий Гомера». — «День литературы». 2003, № 2, февраль <<http://www.zavtra.ru>>

Обстоятельная полемика со статьей А. Андрушкина «„Раса государственников“ и О. Мандельштам» («День литературы», 2002, № 11): «<...> мы, русские православные люди, никогда не должны забывать, что непримиримый рубеж между нашей христианской цивилизацией и, с другой стороны, „глобальной“ антицивилизацией <...> прохо-

дит между нами и „ими” не по национальности или „группе крови” <...>, а только и исключительно по вероисповеданию, по этике Моисеевых и Евангельских заповедей, с одной стороны, и — человеконенавистническому, антихристову лжеучению Вавилонского Талмуда — с другой».

**Андрей Н. Окара.** Стиль «Сталин». — «Русский Журнал», 2003, 5 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

Соцреализм: не пропагандистская технология, а явление магической культуры.

**Дмитрий Ольшанский.** Я с детства не любил Квадрат, мне Репин ближе во сто крат. — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля <<http://www.egk.ru>>

Не любит Малевича, но — России необходим *футуризм*, потому что нынешнее подражание *чужому прошлому* «грозит полным истреблением всего сколько-нибудь живого здесь».

**Наталья Осминская.** Грамматика ускорения. — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта.

Говорит философ **Валерий Подорога**: «Можно вспомнить, как удачно господин Галковский посмеялся над шестидесятиником Мамардашвили. Я сам смеялся, когда читал, а ведь в то время у меня болел живот».

**Милорад Павич.** Кровать для троих. (Краткая история человечества). Интерактивный показ моделей одежды с пением и стрельбой. Перевод с сербского и вступление Л. Савельевой. — «Иностранная литература», 2003, № 3.

«При покупке билетов зрители должны выбрать, через какой вход — мужской или женский — они предпочитают попасть в зал. Это никак не связано с полом самих зрителей...»

**Vera Pavlova.** *Poèmes.* — «Lettres russes/Русская литература». *Revue bilingue.* Директор журнала Ирина Сокологорская. Главный редактор Кристина Зейтунян-Беллос. Париж, 2003, № 31.

«<...> *Et Eve vit / que c'était/satisfaisant*». Борис Садовской, Анна Баркова, Ирина Муравьева, Михаил Попов, Анатолий Ливри, Максимилиан Волошин, Светлана Кекова, Вера Павлова, Евгений Бунимович по-русски и по-французски. Гонорар авторам и переводчикам не выплачивается.

**Маргарита Павлова.** Процесс Оскара Уайльда и суд над Сашей Пыльниковым. «Художники как жертвы» и жертвы художников. — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

«Мелкий бес».

**Сергей Переслегин, Сергей Градировский.** Многостоличье. — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля.

*Географическое разделение властей*: «Пять городов, имеющих федеральный столичный статус и размещающих на своей территории соответствующие административные и политические структуры <...>».

**Людмила Петрушевская.** Попытка латиницы (на правах рукописи). — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта.

«Kak uje vy mogli Zametit <...>».

**Евгений Попов.** Приторный ад. Рассказ о любви. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

«В результате перенесенных испытаний наш персонаж, безработный Хабаров, стал всерьез и надолго задумываться о жизни <...>».

См. также: **Евгений Попов**, «*Materia.* Рассказ о непонятном» — «Вестник Европы», 2003, № 7.

**Григорий Померанц.** Ступени глобализации. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

«Во II тысячелетии до Р. Х. владыки-завоеватели стали называть себя царями четырех сторон света. С этих пор можно говорить о начале глобализации...»

См. также: **Григорий Померанц**, «Фронт как вопрос совести» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7.

*В марте нынешнего года философу Г. С. Померанцу исполнилось 85 лет.* См. об этом: **Евгений Ямбург**, «На чем держатся звезды» — «Время MN», 2003, 13 марта <<http://www.vremyamn.ru>>

**Пора избрать путь.** — «Посев», 2003, № 2, февраль.

Группа граждан настаивает на скорейшем и радикальном разрыве с советским прошлым и установлении прямого правопреемства с Российской империей (до 1917 года).

См. также: **Андрей Зубов**, «Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель» — «Континент», № 92 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

**Александр Проханов**. «Я ловил бабочек на войне». — «День литературы». 2003, № 2, февраль.

«<...> русский фольклор освоил медведя, зайца, лису, волка, белку, комара, гуся, мыша, ежа и жука. У нас есть даже блоха, ха-ха-ха-ха. Но нет бабочки!»

**Ирина Прохорова**. «Филология — веселая наука». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2003, № 45, 15 марта.

«Советские структуры, за редким исключением, не поддаются реформированию».

*Журнал «Новый мир» выдвинул Ирину Прохорову на соискание Государственной премии РФ в просветительской области за создание филологического журнала нового типа «Новое литературное обозрение».*

**Прощание славян**. Грядет ли русская национальная революция? Подготовила Ирина Фролова. — «Литературная газета», 2003, № 8, 26 февраля — 4 марта.

Говорит политолог **Александр Ципко**: «Такого, что мы сегодня наблюдаем, еще никогда в истории России не было и не могло быть. Социальное недовольство совпадает обычно с национальным только в колониях, когда туземное большинство угнетено и социально, и политически. <...> Сейчас же мы являемся свидетелями уникального явления в русской истории последних веков, русские начинают осознавать себя как нация, не только как единство единоверцев, но и как единство по крови. <...> На место имперского национального сознания приходит этническое, русское национальное сознание».

Говорит политолог **Валерий Соловей**: «<...> все современные интерпретации демографического кризиса в России сходятся на том, что его нельзя объяснить ухудшением социальных и материальных условий — русские жила и гораздо хуже. <...> Обесмысливание национального бытия ведет к тому, что русские не просто не хотят жить, они стремятся к смерти. <...> Смею предположить, что гибель русских, исчезновение их из истории пройдет незамеченным и никакой вселенской трагедии не создаст. Уже многое и многие готовы к поглощению русских пространств и русских ресурсов».

**Борис Пушкарев**. Невыясненные вопросы демографии России XX века. — «Посев», 2003, № 2, февраль.

«<...> общепризнанных цифр гибели людей за советский период нашей истории нет <...>».

**Вадим Рак**. О кризисе академического пушкиноведения и подметках великих пушкинистов. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 1.

Среди прочего: критика «философского пушкиноведения» в лице Валентина Непомнящего.

**Валентин Распутин**. В непогоду. Рассказ. — «Завтра», 2003, № 11, 9 марта.

«И уже через два часа осели снега, зазвенела капель, волшебными своими трубочками затрубили птицы... И мудро отступил в сторонку Апокалипсис».

**Станислав Рассадин**. Пьеро, притворившийся Арлекином. — «Новая газета», 2003, № 14, 24 февраля.

Юлий Ким.

**Евгений Рейн**. Три рассказа. — «Вестник Европы», 2003, № 7.

«Дублон любви», «Бенедиктин и кармелитки», «Маска смерти» — рассказы о писателях (как жанр).

См. также: **Елена Игнатова**, «Я и гиганты» — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>; у Рейна один из рассказов — про Евтушенко, у Игнатовой — про Рейна и Евтушенко.

**Михаил Ремизов**. Либерализм в стиле «милитари». — «Русский Журнал», 2003, 25 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Кризис системы „объединенных наций“, наблюдаемый нами в настоящее время, — это не в последнюю очередь кризис того пустотного понятия „нации“, которое легло в основу ооновской архитектуры. Пустотного в том смысле, что оно берет в качестве точки отсчета некоторую, не важно кем и как, расчерченную ячейку на политической карте мира и дедуктивно примысливает к ней соответствующий „народ“. <...> Нет нужды пояснять, что детищем той же — „дедуктивной“ — процедуры „нациегенеза“ является и неизвестный нам „многонациональный народ Российской Федерации“...»

О книге статей Михаила Ремизова «Опыт консервативной критики» (М., «Прагматика культуры», 2002) см.: Кирилл Якимец, «Просто критика. И как результат — консервативная чистота философии» — «НГ Ex libris», 2003, № 7, 27 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

**Михаил Ремизов.** История одной «мерзости». — «Русский Журнал», 2003, 17 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> восприятие политического процесса в телевизионных демократиях все больше смыкается с жанровой формой сериала. Пора осознать антропологическое значение этого сдвига и всего, что с ним связано. Нейтрализация публичной сферы через ее „одомашнивание” <...> — что это, как не еще один сокрушительный симптом феминизации нашего общества? „Феминизации” <...> в смысле универсализации женского способа обживать мир».

«Пространство „вне дома” — изначально, автохтонное мужское пространство — сегодня в большей мере является *пустым*, чем *политическим*. И даже беглый обзор нашей жизни показывает: попытки вывести свое существование за круг *быта* — посредством пьянства или художественного творчества или спортивного риска — *налицо*. Но эти попытки отчаянны, ибо заведомо не достигают ранга *бытия*. <...> Факт действительно в том, что за пределами семьи люди не видят смыслов».

«Распад социальности не может быть остановлен на семейном рубеже. <...> Ибо приходит наконец время понимать, что весь приватный порядок *дома* гарантирован — учреждаемым в публичном пространстве устройством *космоса*».

**Риски и угрозы для России в 2003 году.** Одобрен на заседании Совета по национальной стратегии. — «Консерватор», 2003, № 8, 9.

«Основные риски и угрозы для России в 2003 году связаны со следующими базовыми факторами: снижением влияния России на ускоренное формирование нового глобального порядка; ростом террористической угрозы <...>». Сокращенный вариант доклада см.: «Русский Журнал», 2003, 7 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

См. также публикации аналитического центра НАМАКОН.: «В-52 над Москвой» — «Завтра», 2003, № 5; «На рубежах атаки» — «Завтра», 2003, № 10, 12 <<http://www.zavtra.ru>>

**Лев Рубинштейн.** Мода на лояльность. — «Еженедельный Журнал», 2003, № 57 <<http://www.ej.ru>>

«Существует миф о русском дворянстве как о носителе определенных ценностей, главной из которых является честь. <...> А реальность заключается в том, что существует особый род подлости, именно дворянской, придворной подлости. Все это описано русской литературой, и незачем повторяться».

**«Русский язык умнее своих реформаторов».** Беседу вел Виталий Ярошевский. — «Время МН», 2003, 18 марта.

Говорит кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин: «Я крайне редко соглашаюсь с Жириновским, но здесь он прав: нужно вписать в закон буквально две фразы — государственным языком является русский, для написания должна использоваться кириллица. Все!»

**Валерий Савчук.** Общество длинного меча. Еще раз об актуальности «нацистского мифа». — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта.

В связи с книгой — Филип Лаку-Лабарт, Жан-Люк Нанси, «Нацистский миф» (СПб., «Владимир Даль», 2002). «<...> „нацистский миф” восходит — среди прочих истоков — к „революционному мифу”, укорененному во французском Просвещении; он владел и в отличие от „нацистского мифа” продолжает владеть современным сознанием».

**Юрий Самарин.** Америка глазами Стивена Кинга. — «День литературы», 2003, № 2, февраль.

Стивен Кинг — писатель-почвенник.

См. также: Дмитрий Быков, «Степка Король» — «Огонек», 2000, № 22, июнь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

**Михаил Свердлов.** Ужасная гипотеза Стивенсона. — «Литература», 2003, № 10, 8 — 15 марта.

«Эксперимент, проведенный доктором [Джекилом] над своей душой, показал: <...> в состоянии полной свободы человек более склонен ко злу, чем к добру».

См. также: Александр Лавров, «Стивенсон по-русски: доктор Джекил и мистер Хайд на рубеже двух столетий» — «Toronto Slavic Quarterly», 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>



**Валерий Сендеров.** Фантомы языка и политика. — «Вестник Европы», 2003, № 7.

«Евразийцы оказались абсолютно правы: в сроках они ошиблись, а все остальное идет по их рецептам. Красные лозунги опали даже там, где еще уцелели красные слова: и в книгах лидера КПРФ от [Льва] Гумилева в десять раз больше, чем от Ульянова».

См. также: **Сергей Аверинцев**, «Несколько мыслей о „евразийстве” Н. С. Трубецкого. Опыт беспристрастного анализа» — «Новый мир», 2003, № 2.

См. также: **Валерий Сендеров**, «Солидаризм — третий путь Европы?» — «Новый мир», 2003, № 2.

«Скажи мне, что любишь меня...» Эрих Мария Ремарк — Марлен Дитрих. Письма разных лет. Перевод с немецкого Евгения Факторовича. — «Вестник Европы», 2003, № 7.

«<...> у тебя сейчас, наверное, третьи по красоте ноги <...>» (1939).

**Дмитрий Соколов-Митрич.** Убить постмодерниста. Против организаторов выставки «Осторожно, религия!» возбуждено уголовное дело. — «Известия», 2003, № 41, 7 марта.

Здесь же — беседа Дмитрия Соколова-Митрича со священником **Иваном Охлобытиным**: «Те, кто устраивал эту выставку [в Центре имени Сахарова], отлично понимали, что делают и чем это кончится. Окажись я там, не знаю, как бы я себя повел. Скорее всего присоединился бы к [шестерым] братьям по вере, [разгромившим выставку]. <...> Я не удивлюсь, если что-нибудь случится с организаторами выставки. И даже при всем терпении православных людей — я не уверен, что они будут скорбеть об этом. <...> Я бы на месте властей посадил бы их, причем максимально быстро. Потому что, если они останутся безнаказанными, их здесь убьют».

См. также коллективное заявление бывших узников ГУЛАГа **Леонида Бородина**, **Анатолия Карягина**, **Игоря Огурцова**, **Владимира Осипова**, **Ирины Ратушинской** «Богохульство в Центре Сахарова» («Завтра», 2003, № 9, 25 февраля): «Среди политзаключенных было немало верующих, сам академик Сахаров исключительно деликатно относился к Православию. Почему же его наследники теперь глумятся над святыней новомучеников и оскорбляют память тех, кто не жалел жизни во имя Христа? <...> Мы выражаем протест против кощунства „художественных провокаторов” и призываем одуматься их приверженцев из стана „неоправозащитников”!»

См. также: **Александр Люсий**, «Перечеркнутый сарай. Тер-Оганьян зарабатывает георостратов популяриность» — «Новое время», 2003, № 11, 16 марта <<http://www.newtimes.ru>>; «Среди приключений [Авдея] Тер-Оганьяна, говорят, было и такое — в Черногории во время какого-то очередного антирелигиозного перформанса он был избит местными монахами <...>». *И это правильно!*

**Джордж Сорос.** Разоренье: почему рынки не могут регулировать сами себя. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

«Равновесие на финансовых рынках труднодостижимо, поскольку финансовые рынки оперируют неизвестными величинами; они пытаются предвидеть будущее, которое само зависит от того, каким его предсказывают в настоящем».

**Сталин — это наше что?** Руглый стол № 34. — «Русский Журнал», 2003, 5 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

«Сталин дал ход новой модели развития России, которая приняла черты принципиально нового инновационного проекта — атомно-космического, который был эффективно воплощен и дал еще более эффективный результат. <...> Сейчас нет никаких реальных перспектив для сталинизма» (**Александр Неклесса**).

«Сталинизм в России всегда перспективен» (**Федор Гиренок**).

«<...> за последние 500 лет Россия никогда не была так слаба, как сейчас. Первые, кто это понимает, — этнически русские молодые люди» (**Александр Ципко**).

«Но и зло привлекает, многих и многим. Сталинизм как империя зла, как это ни парадоксально, оказывает притягательное воздействие — особенно на молодежь» (**Александр Дугин**).

См. также: «<...> в сегодняшней буржуазной России символом русской государственности, самым авторитетным деятелем прошлого неумолимо и неизбежно становится Сталин. Новый парфюмерный магазин „Арбат-престиж”, у метро „Алексеевская”, украшен живописными портретами Сталина. Рекламный проспект магазина гласит: „Сталинградская битва — переломный момент во Второй мировой войне и в истории XX века. Этот магазин посвящен 60-летию Победы в самой варварской войне за всю мировую историю, войне, где русский народ сумел подавить, победить и уничтожить немецко-фашистских грабителей. Так будет со всеми, кто придет на русскую землю с мечом”. <...> Не удивлюсь, если в скором времени появятся духи „Stalin”. Этого не надо бояться. <...> Сталин принадлежит всем. Он — творец современного русско-

го стиля. Россия, непредсказуемая, загадочная, в своих рывках и движениях и по сей день остается сталинской Россией», — пишет Андрей Фефелов («Восход Сталина» — «Завтра», 2003, № 10, 2 марта <<http://www.zavtra.ru>>).

См. также: «Сейчас я как раз пишу маленькое ариозо Сталина для оперы, над которой мы работаем с писателем Владимиром Сорокиным <...>. Мне пока не ясно, нужно ли просить певца, исполняющего эту роль, имитировать грузинский акцент. Ведь акцент — это что-то, так сказать, человеческое. Сталин же — воплощение абсолютного зла, нечто, находящееся за пределами морали и культуры», — говорит композитор Леонид Десятников («Московские новости», 2003, № 8 <<http://www.mn.ru>>).

**Михаил Тульский.** Россия вымирает. — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля.

«Национальная принадлежность влияет на уровень рождаемости и смертности намного сильнее, чем региональные особенности. <...> „Консерватор“ публикует эту статистику впервые».

**Ревекка Фрумкина.** Сквозь асфальт. — «Русский Журнал», 2003, 3 марта <<http://www.russ.ru/kgug>>

«Стоит назвать еще одну книгу, оказавшую на меня сильнейшее и непосредственное влияние, — это „Жан-Кристоф“ Ромена Роллана. Ее я прочитала *во время*, то есть в 17 лет <...>. Задним числом мне кажется удивительным, что книгу, безусловно бунтарскую по духу, не запретили каким-нибудь особо хитрым способом. И когда мне сегодня говорят: „И вам нравились эти слюни?“ — я пожимаю плечами. *Сегодня* просто невозможно понять, какой мощный запас индивидуализма и независимости из жизнеопи- сания героя Роллана мог почерпнуть подросток, живший в наглухо закрытой стране и не слышавший ни о „Даре“ Набокова, ни о „Чуме“ Камю».

**Стивен Хвин.** Воспитательница с Тверской. Перевод с польского К. Старосельской. — «Иностранная литература», 2003, № 3.

Текст выступления, прозвучавшего 10 ноября 2002 года в Гданьске в ходе дискуссии «Глобализация: можно ли выработать единое представление о справедливости?»: «Поистине таинствен наш — замечательный и страшный — мир. <...> Нам не под силу разгадать все эти тайны. Кто их коснется, может поплатиться помрачением рассудка. Неправда, что сон разума рождает чудовищ. Чудовища рождаются не тогда, когда разум спит, а когда он настойчиво пытается заглянуть за завесу тайны».

**Егор Холмогоров.** От Шипки направо. Дневник консерватора. — «Консерватор», 2003, № 8, 7 марта.

«<...> в политике надобно руководствоваться реальностью. Для сантиментов по отношению к восточноевропейцам и славянам не существует у нас сегодня никаких оснований».

**Егор Холмогоров.** Консерватизм, как и было сказано. — «Консерватор», 2003, № 9, 14 марта.

«Мы — русские люди, вполне разделяющие мнения, суждения и предрассудки своего народа. И в особенности — предрассудки. <...> Секрет наш как страны и как народа — почему мы еще как-то живы — в том, что нас держат еще эти предрассудки и этими предрассудками друг друга мы понимаем».

**Хроника пикирующей субмарины.** Писатель и сценарист Валерий Залотуха — о фильме по прозе Александра Покровского <...>. Беседовала Наталия Савоськина. — «Новая газета», 2003, № 15, 27 февраля.

Говорит Валерий Залотуха: «[Фильм] „Иваново детство“ — шедевр, а рассказ Богомолова „Иван“ — просто крепкий, хороший рассказ».

См. также: Валерий Залотуха, «Великий поход за освобождение Индии. Революционная хроника» — «Новый мир», 1995, № 1; «Последний коммунист» — «Новый мир», 2000, № 1, 2.

**Георгий Чистяков.** Мученичество как феномен. — «Вестник Европы», 2002, № 6. Все мученики — жертвы, но не все жертвы — мученики.

«Чувствую себя последней из могокан». Беседовала Ксения Молдавская. — «Книжное обозрение», 2003, № 8, 3 марта.

Говорит поэт и переводчик Марина Бородинская: «Жалко переводческой школы, жалко ее безумно. Я себя уже чувствую последней из могокан. Потому что я училась у тех, кто учился у Гинзбурга и Маршака».

**Сергей Шаповал.** Вопросы языкознания. — «Независимая газета», 2003, № 45, 7 марта.

Говорит **Виктор Ерофеев:** «<...> в советское время бестселлер моего однофамильца „Москва — Петушки» воспринимался как песня протеста. Прочитав книгу сегодня, можно увидеть, что в ней содержатся все симптомы болезни народного сознания».

**Сергей Шаповал.** Вверх по лестнице, не ведущей никуда. — «Независимая газета», 2003, № 49, 14 марта.

Говорит социолог **Борис Дубин:** «<...> и культура, и молодежь как социально значимые категории есть не всегда и не везде. Это явления исторические, связанные с особенностями развития Европы нового и новейшего времени <...>».

См. также беседу **Бориса Дубина** с Сергеем Шаповалом — «НГ Ex libris», 2002, № 20, 20 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

**Сергей Шаповал.** Роман как нравственный поступок. — «Независимая газета», 2003, № 49, 14 марта.

Говорит художник и писатель **Семен Файбисович:** «Старшего [сына], которому 16 и который все читает, я попросил не читать этот роман [«История болезни»], и он обещал, а младший еще маленький. Остается надеяться, что они прочтут мои „страшные” откровения о своих ближайших родственниках в том возрасте, когда это чтение уже не травмирует их психику, и они смогут что-то понять и простить мне на основании собственного жизненного опыта, в том числе и опыта любви».

**Сергей Шаргунов.** Юрий Витальевич, вас клонируют? — «НГ Ex libris», 2003, № 7, 27 февраля.

Говорит **Юрий Мамлеев:** «Наша жизнь настолько необычна и непредсказуема, что представляет для автора-реалиста очень богатый материал. <...> Разговоры о гибели литературы — это наглая пропаганда, которая внушает народу, что он должен умереть».

**Сергей Шаргунов.** «Чтоб в груди дремали жизни силы...» Нина Андреева и мода на нигилизм. — «НГ Ex libris», 2003, № 9, 13 марта.

«Да, именно в этот день [13 марта 1988 года] в газете „Советская Россия” появилась знаменитый антиперестроечный манифест рядовой коммунистки („Не могу поступиться принципами”). Пылкие слова, заклинания не отступать от партийных догм. Последний искренний текст на тему идеологии. Женский всхлип, вслед за которым душа отлетела... Чья душа? Душа советская. <...> Проиграла не только Андреева. Проиграли все идейные крохоборы. Оставшись в прошлом веке, проявив несостоятельность, они ничего не предождают мало-мальски глубокому человеку. Выиграл нигилизм».

См. также стихи **Сергея Шаргунова** — «Арион», 2003, № 1 <<http://arion.ru>>

**Елена Шерман.** Политика женского рода. — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> при всем богатстве и разнообразии героинь русской классики, мы не найдем там ни одной женщины-интеллектуалки, изображенной всерьез и уважительно».

**Владимир Шехов.** Формула интеллигентской духовности. — «Фашыстская реакция». Сетевое фашыстское обозрение. 2003, 28 февраля <<http://www.nationalism.org/news.htm>>

«Наконец, он [Шариков] обладает главной добродетелью русского интеллигента. Он готов осудить все, что попадает в его поле зрения, и дать совет по любому поводу».

Ср.: **Евгений Ермолин,** «Идеалисты. Интеллигенция бессмертна!» — «Новый мир», 2003, № 2.

**Дмитрий Шушарин.** На пути к исторической нации. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru/polemica/seraph>>

«Главное — понять и принять наконец разницу меж равенством, недостижимым в земной жизни, и равноправием, лежащим в основе общественного устройства. Равноправие и неравенство — это справедливость. Вот, собственно, и весь либеральный консерватизм. И никакой „идеологии” не надо, равно как и „новой национальной идеи”. Тем более что, напомним, действующая Конституция прямо запрещает государству обзаводиться идеологией. Все это нечто принципиально новое в истории России. Но из того, что чего-то не было, не следует, что этого не будет и не может быть никогда. Очередной исторический парадокс в том, что принципиально новым для нашей родины оказался консерватизм. Но консерватизм либеральный, имеющий приставку „нео-”, то есть действительно новый, обновленный».

См. также: **Дмитрий Шушарин,** «Конституция как средство против энтропии» — «Со-Общение», 2003, № 1, январь <<http://www.soob.ru>>

**Василий Шукин.** Между полюсами. — «Вестник Европы», 2003, № 7.

«<...> я глубоко убежден в том, что русское западничество не было ни случайным, ни вторичным по отношению к Западной Европе, ни эпизодическим явлением. Оно было столь же органично для России <...>. И не менее судьбоносно, чем все другие ранние проявления нашего национального самосознания».

**Михаил Эпштейн.** Жуткое и странное. О теоретической встрече З. Фрейда и В. Шкловского. — «Русский Журнал», 2003, 14 марта <<http://www.russ.ru/krug/gazbor>>

«Это фрейдовская теория жуткого и концепция остранения у Шкловского». В конце статьи — о *Черном Пиаре*.

**Евгений Яблоков.** Семейные скандалы для отца народов. Сталин и некоторые вопросы литературы. — «Русский Журнал», 2003, 4 и 5 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«Семья Иванова» Андрея Платонова и «Семья Ивановых» Александра Афиногенова.

**Кирилл Якимец.** Да здравствует господин Сталин! — «Русский Журнал», 2003, 27 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Нынешние двадцатилетние не хотят свободы (которая у них и так есть), они хотят порядка и могущества — которыми нынешняя Россия едва ли может похвалиться. Для двадцатилетних Советская власть и Сталин — всего лишь символы, причем символы вовсе не негативные. <...> Мне было противно жить при Советской власти, это мой аргумент, который я не могу предъявить молодым. Им противно жить сейчас (по ряду причин, которые для меня, например, не выглядят существенными), а в те времена молодые еще толком не жили. Лет через десять нынешние молодые вполне могут объявить себя сталинистами — и при этом не оказаться маргиналами. <...> Скоро сталинизм в России станет аналогом французского голлизма. Разрабатывать эту идеологическую золотую жилу нужно начинать уже сегодня <...>».

С Кириллом Якимцом полемизируют **Лев Пирогов** и **Евгений Лесин**: «Сталин навсегда. Скоро ли утвердится в России „солидная консервативная идеология“?» — «НГ Ex libris», 2003, № 8, 6 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: «К фигуре Сталина каждый может отнестись как угодно, но никто не может (пока) отнестись окончательно. В ее сердцевине — фундаментальная неизвестность, которая вызывает, однако, не к прошлому, а к будущему. <...> Нам неизвестно главное: та конкретная констелляция *памяти и забвения*, посредством которой его наследие будет освоено опытом вступающих в силу поколений», — пишет **Михаил Ремизов** («К проблеме „сталиноидеи“» — «Русский Журнал», 2003, 11 марта <<http://www.russ.ru/politics>>).

См. также: «<...> у „юношей Эдипов“ из мировой периферии просто нет другого выхода, как заново полюбить сурового Отца и понять, что государственный патернализм, несмотря на все его издержки, лучше безотцовщины, грозящей прямой гибелью», — пишет **Александр Панарин** («О Державнике-Отце и либеральных носителях эдипова комплекса» — «Москва», 2003, № 3 <<http://www.moskvam.ru>>).

См. также: **Ярослав Добролюбов**, «Все мы — наследники Сталина» — «Консерватор», 2003, № 7, 28 февраля <<http://www.egk.ru>>

См. также: **Михаил Гефтер**, «Сталин: вечное возвращение» — «Русский Журнал», 2003, 3 марта <<http://www.russ.ru/politics>>

См. также: **Валерий Лебедев**, «Криминальный ум товарища Сталина» — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 313, 2 марта <<http://www.lebed.com>>

См. также: **Максим Соколов**, «Х. О.: тов. Сталин выдержанный, высшего качества» — «Огонек», 2003, № 8, февраль <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

См. также: **Сергей Хачатуров**, «Ползучая реабилитация» — «Время новостей», 2003, № 37, 3 марта <<http://www.vremya.ru>>

См. также: **Юрий Буйда**, «Гроб для памятника» — «Новое время», 2003, № 9, 2 марта <<http://www.newtimes.ru>>

См. также: **Виктор Тополянский**, «Сквозняк имени Чейна-Стокса» — «Новое время», 2003, № 9, 2 марта <<http://www.newtimes.ru>>

См. также: **Лев Рубинштейн**, «Долгие проводы» — «Еженедельный Журнал», 2003, № 58 <<http://www.ej.ru>>

См. также: **Юрий Богомолов**, «Вождь в рамочке экрана» — «Новое время», 2003, № 11, 16 марта <<http://www.newtimes.ru>>; «Сталин был, судя по всему, увлекающимся человеком. Двум предметам он остался верен навсегда — авиации и кинематографу».

См. также: **Елена Высочина**, «Михаил Гефтер. Настало время понять, что мы такое относительно Сталина» — «Новое время», 2003, № 12, 23 марта <<http://www.newtimes.ru>>; *фрагменты из архива историка*.

**Виктор Ярошенко.** Калинов мост. — «Вестник Европы», 2002, № 6.

*Калининград.* «Тем летом [1976 года] мы с женой увлеченно читали „Иосифа и его братьев“. Было странно узнать, что книгу эту Томас Манн писал здесь, в Раушене, вот в этом домике (показывал экскурсовод), и неподалеку, на Куршской косе, в литовской Ниде, через которую я уезжал потом автобусом...»

Составитель **Андрей Василевский.**

---

«Арион», «Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии»,  
«Дружба народов», «Звезда», «Знамя»

**Михаил Айзенберг.** Учитель без ученика. — «Знамя», 2003, № 2 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Очень личная, нежно-строгая проза о замечательном писателе Павле Улитине, умершем в 1986 году. «Ладно, Миша. Нам-то спешить некуда. У нас в запасе вечность».

**Дмитрий Бобышев.** Червоточина нашего времени. — «Арион», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/arion>>

О новой книге Сергея Стратановского «Рядом с Чечней. Новые стихотворения».

«Мифоборец здесь оказывается сочувствующим мифотворцем». См. новые стихи Стратановского в «Новом мире», 2003, № 5.

**Питер Брук.** Нити времени. Воспоминания. Перевод Михаила Стронина. — «Звезда», 2003, № 2 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

«Благодаря встречам с замечательными людьми я обрел одну светлую уверенность. Качество — это реальная вещь, и у него есть источник. В каждый момент в человеческом поступке может возникнуть новое, неожиданное качество — и оно может быть быстро утрачено, обретено вновь и вновь утрачено. Эта безымянная ценность может быть предана религией и философией; предавать могут церкви и храмы; верующие и неверующие передают ее все время. И все же скрытый источник не иссякает. Качество священно, но оно всегда в опасности. Я никогда не видел чуда, но я убедился, что замечательные мужчины и женщины существуют, они замечательны той мерой сил, с которой они работали над собой всю жизнь. Это единственное, в чем я уверен, и поиски чего-то постоянно от меня ускользающего всегда служили мне направляющей силой <...> С радостью я направлял других или пытался делать что-то сам, и неизбежно я вынужден был склоняться перед неудобной правдой, заключающейся в том, что мы начинаем существовать только тогда, когда служим цели, находящейся за пределами наших симпатий и антипатий».

Перевод выполнен по рукописи, предоставленной знаменитым режиссером и театриком театра, живущим и работающим в Париже.

**Василь Быков.** Цена достоинства. Из книги воспоминаний. С белорусского. Перевод автора. — «Дружба народов», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

«Начался многолетний период в жизни писателя, состоявший из непрерывных, изнуряющих попыток прорвать заколдованный круг абсурда». Это о писателе Алексее Карпюке, одном из героев данного фрагмента воспоминаний. Вот что бы я хотел знать: Василь Быков *пишет* книгу или она готова? В любом случае путь на родину при нынешнем режиме закажет он себе окончательно. Несмотря на то, что пока мы имеем дело с прошедшим временем: шестидесятыми. Эта *неостывшая* документальная эпопея станет подлинным событием для тех, для кого стали таковым, например, дневники Игоря Дедкова.

**Владимир Губайловский.** Место для обгона. Итоги литературного года. — «Дружба народов», 2003, № 2.

«Литература остается заповедником иерархий. Здесь царствует „табель о рангах“. Увы. Мне отсюда — снизу — не видно, сколько звезд на погонах у Андрея Немзера, но чувствую, что много и больше. По некоторым крайне неприятным для себя признакам я чувствую, что и сам уже выбился куда-то в сержантский состав. Ну ничего. Надеюсь, найдутся старшие товарищи, поправят, укажут, поставят на место, а то и разжалуют». (Знали бы Вы, Владимир, что у меня написано в военном билете: «годен к нестроевой службе в военное время». Гм.)

«Действие рассказа Михаила Бутова „В карьере“ („Новый мир“, 2002, № 7) происходит в заброшенном карьере, оставленном человеком пейзаже, оставленном времени-пространстве, пограничном со смертью. Человек здесь настолько сосредоточен, что кажется, проступают какие-то глубокие истины». Одну из них я все-таки сам себе напомню: любовь.

«Пока я читаю Стратановского, я понимаю, зачем существует поэзия и как можно существовать в поэзии. Его стихи придают смысл моей собственной работе и дают силы ее продолжать». Моей, честно говоря, — тоже, хоть я и не пишу стихов.

**Д. С. Деннет.** Почему каждый из нас является новеллистом? Перевод с английского Н. С. Юлиной. — «Вопросы философии», 2003, № 2 <<http://sysres.isa.ru/vf/index.htm>>

Статья современного американского философа-аналитика Дэниэла Деннета была опубликована пятнадцать лет назад в «*Times Literary Supplement*» и посвящена явлению *самости*. Объясняя самость, философ прибегает к аналогии с такой вещью, как *центр гравитации* объекта. Участвуют: Моби Дик, Шерлок Холмс, апдайковский Кролик и другие. В предваряющей публикации статье профессора Нины Юлиной упоминается об известной смелости основного проекта Деннета — «представить непротиворечивую на самом современном уровне материалистическую концепцию сознания». В России Деннет малоизвестен, на Западе же он — знаменитость, автор восьми популярных книг, переведенных на многие языки. Среди них: «Содержание и сознание», «Пространство для свободы. Варианты свободы воли, стоящие того, чтобы их желать», «Виды сознания», «Дети мозга» и другие.

**А. А. Искандеров.** Очерки истории советского общества. — «Вопросы истории», 2003, № 2.

«История Советской власти полна тайн и легенд».

**Бахыт Кенжеев.** Ангел от Иоанна. — «Знамя», 2003, № 1.

<...> Где же оно, вопрошаю гулко, серебро моих верных и прежних рек?

На аптечных весах, вероятно, там же, где грешников грозно судят.

Не страшись карачуна, говаривал хитроумный грек,  
вот зайвится, вытрет кровь с заржавелой косы — а тебя-то уже не будет.

Только будет стоять, индеев, архангел у райских врат,  
облицованных ониксом. В безвоздушной пустыне белеют кости  
алкоголиков некрещеных. Мне говорят: элегик. А я и рад.

Лучше грустью, друзья мои славные, исходить, чем злостью. <...>

**Галина Корнилова.** «Вот моя деревня...» Рассказы. — «Знамя», 2003, № 2.

Их два, маленькие. И очень хорошие.

**А. Кофман.** Переживание аналогии. — «Вопросы литературы», 2003, № 1, январь — февраль <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Редкое в нашем литературоведении исследование философии и поэтики Октавио Паса.

«Для Паса нет ничего безвозвратно ушедшего, нет мертвого — все пребывает в растянута в вечность „здесь и сейчас“. <...> Особенность его поэзии состоит в том, что в ней невозможно выделить собственно любовную тему, поскольку в том или ином воплощении она присутствует фактически везде, — само мировосприятие Паса, его художественное мышление глубоко эротичны».

**Инга Кузнецова.** Комната с открытым окном. — «Арион», 2003, № 1.

Очень просит перестать их с друзьями обзывать «традиционалистами», ибо и термин сей многосмыслен, и категориальная резервация надоела. Здорово подмечено о *страхе банального* в современной поэзии.

**Александр Кушнер.** Стихи. — «Звезда», 2003, № 1.

<...> Нет, я к таким рассказам

Не склонен, прошлое — прилив сплошной тоски,

И приступ слабости, и призыв лжи — все разом.

**Светлана Львова.** И как долго ни тянется жизнь — все окажется мало... — «Дружба народов», 2003, № 2.

Наверное, так устроен мозг у любящего стихи человека: назовешь город, и сразу всплывает имя поэта. Когда я слышу «Калуга», всегда с радостью и беспокойством думаю о Львовой.

<...> Не доходное дело уход — только я не про то,  
просто очень люблю этот мир, этот миф, эту зыбкость  
перевода с чужого и дерево в красном пальто.  
Я на правильном белом живу речевой ошибкой.

И покуда меня не исправили красной чертой,  
сладко верить в прекрасную ложь нескончаемой речи,  
презирать афоризмы, терять перстенок золотой  
и смеяться, что горе несут долгожданные встречи.

**Ж. А. Медведев.** Сталин и «дело врачей». Новые материалы. — «Вопросы истории», 2003, № 1, 2.

«Почему в 30-е годы Сталин мог организовать несколько очень крупных „открыто-показательных“ судебных процессов по полностью фальсифицированным обвинениям и не смог по сходным сценариям организовать открытые суды в послевоенный период?

Технология подготовки дел в период следствия была такой же и с теми же результатами, наполнявшими заранее подготовленные сценарии. Невозможными стали, однако, открытые суды, в связи с решительным отказом обвиняемых от их показаний на предварительном следствии. Видимо, это связано не только с тем, что изменился контингент людей, попавших после войны в репрессивные кампании Сталина, но и с изменением психологии всех советских людей, переживших столь кровопролитную и длительную войну и одержавших в ней победу. Люди в этот период пережили столь большие физические и моральные испытания, что страх смерти уже не был фактором, управлявшим их поведением».

**Петер Надаш.** Конец семейного романа. С венгерского. Перевод Елены Малыхиной. Предисловие Бориса Дубина. — «Дружба народов», 2003, № 2.

Невероятная, обжигающая проза. Можно только догадываться по, кажется, отличному переводу, какое наслаждение/испытание в чтении этой вещи на языке оригинала. Повесть была написана тридцатилетним — тогда — писателем в 1972 году и наконец дошла до нас. «Вообще говоря, мысль о том, что большая литература непременно создается лишь в больших странах, — предрассудок XIX века. Для недавно закончившегося столетия, эпохи „бунта окраин“, это высокомерное соображение явно не годится» (Б. Дубин).

**В. В. Овечкин.** Дезертирство из Красной Армии в годы Гражданской войны. — «Вопросы истории», 2003, № 3.

«За полтора года (с 1919 г.) было зафиксировано около 3,4 млн. случаев дезертирства. <...> В целом за годы Гражданской войны уклонения от явки к призыву составляли 75 процентов, побеги после приема на военную службу — 18 — 20 процентов, побеги из войсковых частей — 5 — 7 процентов».

**Т. И. Ойзерман.** Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм. — «Вопросы философии», 2003, № 2.

«Ленин был, как известно, воинствующим безбожником в духе барона П. Гольбаха, который не столько критиковал, сколько шельмовал религиозное мировоззрение. Что же побуждало Ленина выступить с этим недвусмысленно идеалистическим слоганом?» Речь идет о сентенции «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно».

**Письма Вадима Андреева Владимиру Сосинскому и Даниилу Резникову (1922 — 1923).** К 100-летию со дня рождения Вадима Андреева. Публикация, вступительная заметка и примечания Людмилы Кен. — «Звезда», 2003, № 1.

Из берлинского письма 1923 года, ровно восемьдесят лет тому назад. «Дом искусств и Клуб писателей продолжают существовать. Недавно была в Доме искусств лекция „поэта“ Шаршуна о „дадаизме“ — есть такая новая школа. Рецепт, по которому следует писать как стихи, так и прозу, такой: „Возьмите газетную статью. Вырежьте ножницами каждое слово отдельно. Положите все в мешочек. Потрясите и, по очереди вынимая одно за другим слова, перепишите их. И вы получите величайшее произведение искусства“. Я не помню, когда я еще так хохотал, как на этой лекции. Все слезы от смеха выплакал».

**Александр Ревич.** А век твой был один во всей вселенной... — «Дружба народов», 2003, № 1.

Грустная поэма-мемуар о Коктебеле, написанная осенью прошлого года, и новые стихи.

<...> Свидетели Содомы и Гоморры,  
пред вами кирпичей разбитых горы,  
за вами сокрушенные века,

над вами небо в дымовой полуде,  
послушайте, не уходите, люди,  
вы ничего не поняли пока.

(из стихотворения «Голос»)

**Евгений Солонович.** «По острию ножа». Беседу вела Е. Калашникова. — «Вопросы литературы», 2003, № 1, январь — февраль.

Крупнейший переводчик итальянской поэзии о себе и своей работе. Замечательно воспоминание о том, как он в 1958 году приходил в Боткинскую больницу — советоваться с оказавшимся там великим Сальваторе Квазимодо («объяснить мне какое-нибудь из темных мест в его стихах»).

**С твердой верой в добро...** (А. Т. Твардовский и Н. Я. Мандельштам). Публикация, вступление и комментарии В. А. и О. А. Твардовских. — «Дружба народов», 2003, № 1.

«Я принадлежу к людям, глубоко уважающим Вашу деятельность. Именно поэтому я и хотела, чтобы Вы прочли „записки“. А если есть идиоты, которые думают, что Вы не печатаете Солженицына из страха „потерять место“, то таким вправить мозги не сможет никто». Как явствует из предисловия к публикации писем, Н. Я. «передала свои воспоминания Твардовскому, не претендуя на их опубликование в „Новом мире“: за журналом она, как видно, следила и хорошо представляла его положение».

**Елена Чижова.** Новая агрессивная идеология. — «Вопросы литературы», 2003, № 1, январь — февраль.

«В наши же времена перемен, когда огромное число „образованных“ читателей пребывают на той же стадии развития сознания, что и их любимый автор, между ними и Сорокиным происходит долгожданная встреча: читатели находят „своего“ писателя и наоборот. <...> Высокая культура, вызывающая отвращение „новых“ читателей, и есть тот тонкий слой, который в нашем не имеющем иных догматов обществе защищает сознание от выплесков лавы бессознательного. Если этот слой сорвать, ничто не остановит буйства „темного“, копошащегося на дне всех без исключения человеческих душ. <...>

Однажды в начале XX века Райнер Мария Рильке воскликнул: „Россия граничит с Богом“. В начале следующего века возникает ощущение, что она граничит с идиотизмом, и эта граница истончается на наших глазах».

Две рецензии на роман Е. Чижовой «Лавра» см. в «Новом мире», 2003, № 5.

**Олег Чухонцев.** Отсрочка. — «Арион», 2003, № 1.

Короче, еще короче!  
четыре, ну восемь строк  
от силы — и если точен  
навылет и поперек  
всему и сквозь всё, а лица —  
размноженный негатив:  
туринская плащаница  
на каждом, на всех, кто жив.

**Сергей Шаргунов.** На донышке свиного зрачка. — «Арион», 2003, № 1.

Стихотворные сочинения молодого прозаика. Из восьми «человеконенавистнических» стихотворений разрывы сердца, трупы и вообще *покойническое* — в шести.

**Г. И. Шмелев.** Национализация земли в теоретических схемах большевиков и в реальности. — «Вопросы истории», 2003, № 2.

«Нигде в мире крестьянство в массе своей не выступало с требованием национализации всей земли, включая свою собственную. Нигде в мире, кроме России, во всем ее копирующей Монголии, а также, пожалуй, Северной Корее, не была осуществлена национализация всей земли».

Составитель Павел Крючков.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

**15 лет назад** — в № 6 за 1988 год напечатана подборка материалов «Варлам Шаламов: проза, стихи», подготовленная И. П. Сиротинской.

**25 лет назад** — в № 6 за 1978 год напечатан «Алмазный мой венец» Валентина Катаева.

**75 лет назад** — в № 6 за 1928 год напечатан рассказ Андрея Платонова «Приключение».



## SUMMARY



This issue publishes the ending of the narration by Valery Popov «The Third Breath», «The Water and the Flame» — a story by Marina Paley, as well as a number of stories by Victor Panov. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Irina Vasilkova, Grigory Korin and Bakhyt Kenzheyev.

The sectional offerings of this issue are as follows:

*Philosophy-History-Politics* presents an article by Kirill Yakimets «A Window to America» reflecting whether Russia should be integrated into «Pax Americana». There is also an article by Anna Arutyunyan «The Glass Curtain of America» highlighting the political correctness and the obstacles on the way of freedom of speech in the USA.

*Essais* — two pieces from «Fantasies», the new cycle of essays by Olga Novikova.

*Comments* — «Time to Put out the Camp-Fires» — an article by Alla Latynina provoked by «The Suicides», a book by the literary critic and historian of Russian/Soviet literature Stanislav Rassadin.

*The Writer's Diary* contains the article «David Samoilov» by Aleksander Solzhenitsyn — another piece from his «Literary Collection».

---

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

---

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru);

по вопросам зарубежной подписки: [novy-mir@mtu-net.ru](mailto:novy-mir@mtu-net.ru)

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novy\\_mi](http://magazines.russ.ru/novy_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.12.2002 г. Подписано к печати 26.04.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 9700 экз. Зак. 3173. Цена договорная.

---

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

**Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).**

**По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ.**

**Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2003 года.**

**Объявление лауреата 2003 года и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года.**

**Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.**

**Контактный телефон: (095) 209-57-02**

**E-mail: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru)**